95 коп.

Индекс 73276

14

«Нева», 1989, № 6, 1—208

НЕВА 6 1989

6/1989

ISSN 0130—741X

Л. ЧУКОВСКАЯ
Записки об Анне Ахматовой

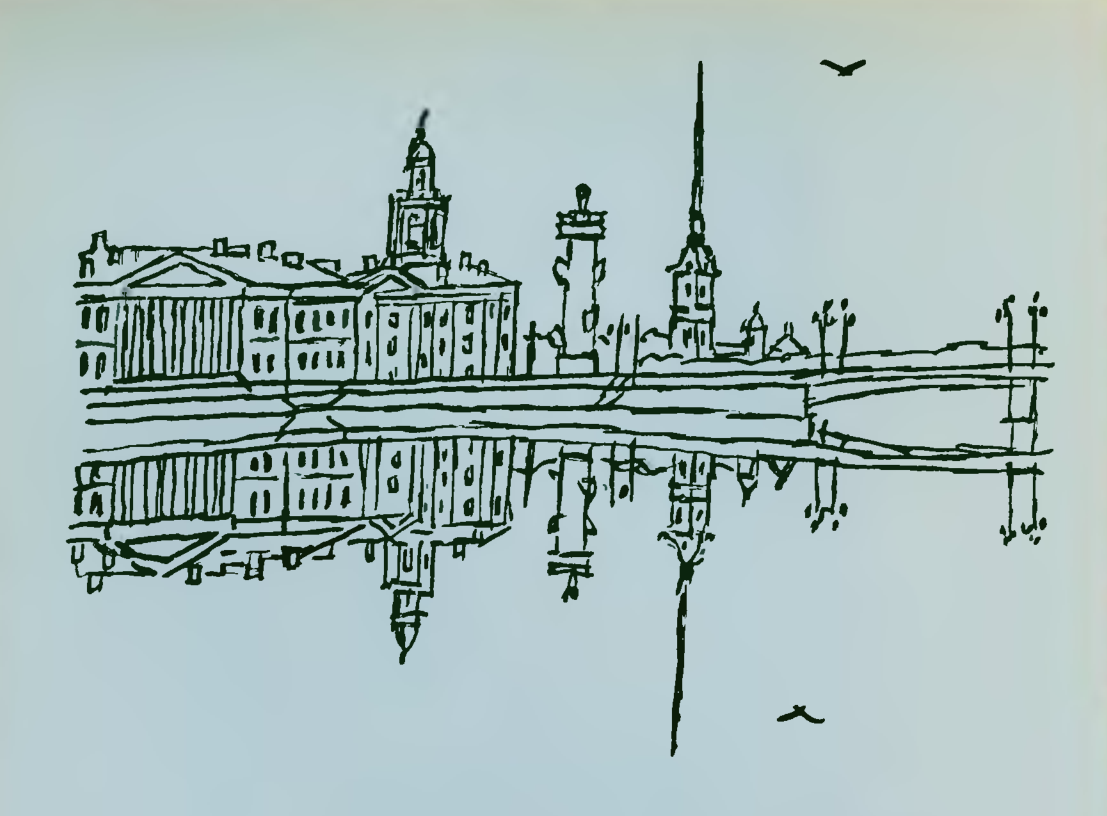
И. ГЕРАСИМОВ
Благие намерения
Рассказ

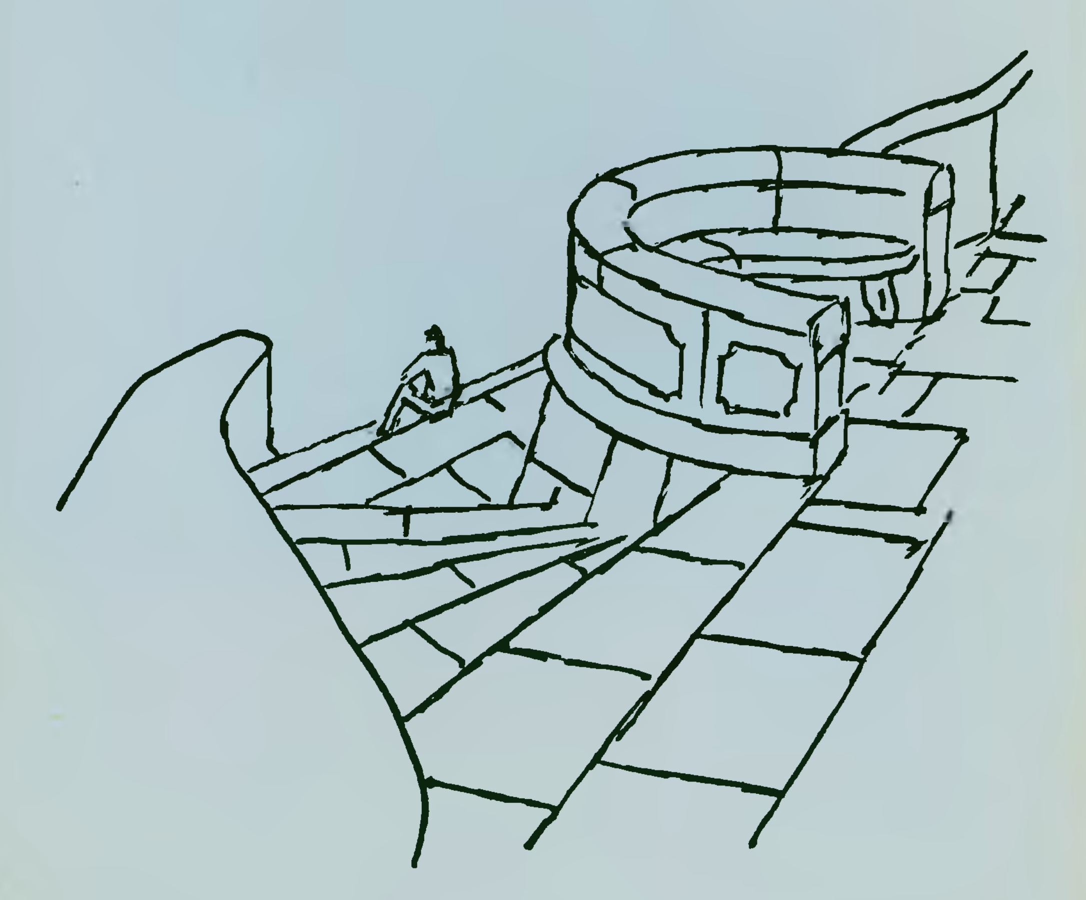
Нева

Т. ГАЛУШКО
Стихи

А. ЗЛОБИН
Демонтаж
Роман

Вольные частушки





«Июнь. Белая ночь над Невой»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

6/1989

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ

Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Старший технический редактор **Г. В. Александрова**
Корректоры **А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова**

Лидия
ЧУКОВСКАЯ

ЗАПИСКИ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

Том 1

1938—1941

Из-под каких развалин говорю!
Из-под какого я кричу обвала!
. . . .
И все-таки узнают голос мой.
И все-таки ему опять поверят.

Анна Ахматова.
Черновой набросок

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Бежать из Ленинграда мне на моем веку довелось дважды: в феврале 1938 и в мае 1941 года.

Первое бегство спасло меня от лагеря. Спасаясь, я знала, почему, зачем и от чего бегу. Второе бегство, как оказалось впоследствии, спасло меня от двух смертей сразу: лагерной и той, которая тогда еще никому не была ведома, еще не родилась — ленинградской, блокадной.

...Февраль 1938. Деревянное окошко на Шпалерной, куда я, согнувшись в три погибели, сказала: «Бронштейн, Матвей Петрович» и протянула деньги — ответило мне сверху густым голосом: «выбыл!», и человек, чье лицо помещалось на недоступной для посетителя высоте, локтем и животом отодвинул мою руку с деньгами.

«Выбыл!» Я сразу пошла занимать очередь в прокуратуру на Литейный. Каких-нибудь двое-трое суток на лестнице, и вот я уже в кабинете у прокурора. На мой вопрос он ответил, что узнать решение я могу в Военной прокуратуре в Москве. В ту же ночь, «Стрелою», я выехала в Москву. На следующее утро один из моих ленинградских друзей известил меня по телефону, что Люшу и няню Иду сегодня переводят на Кирочную, к Корнею Ивановичу... Я поняла это сообщение так: на квартиру у Пяти Углов, нашу, Митину, где мы с Люшей и няней Идой остались жить после Митиного ареста — за мной приходили. Я не ошиблась: пришли, оказывается, в час ночи, когда мимо меня, стоявшей в коридоре у вагонного окна, только-только успел проплыть ленинградский перрон.

В Военной прокуратуре в Москве, на Пушкинской, я услышала приговор, по тем временам совершенно стандартный: «Бронштейн, Матвей Петрович? Десять лет без права переписки с конфискацией имущества».

В ту пору нам уже было известно, что подобный приговор мужу означает арест и лагерь для жены. Вот почему утренний дружеский телефонный звонок с сообщением о Люше и настоятельным советом не возвращаться в Ленинград — не удивил меня. Убедились мы также к тому времени на многочисленных примерах и в том, что если жены сразу после приговора мужьям уезжают — их не преследуют. Но вот о чем мы тогда не догадывались: «10 лет без права переписки» — это был псевдоним расстрела. Я не поняла, выслушав в Военной прокуратуре приговор, что Матвея Петровича уже нет на свете. Мне казалось, я обязана оставаться живой, избегать ареста, не только ради Люши, но и ради Мити, потому что если я окажусь в тюрьме, то кто же станет организатором спасательных работ *?

Из Москвы я все-таки вернулась в Ленинград, но на квартиру к себе не пошла, на Кирочную — тоже. Два дня жила у друзей, а с Люшей, Идой и Корнеем Ивановичем виделась в скверике. Простилась, взяла у Корнея Ивановича деньги и уехала.

* О физике-теоретике Матвее Петровиче Бронштейне, о его книгах, его судьбе и наших попытках спасти его — см. в отделе под названием «...Но крепки тюремные затворы» (стр. 63).

Таковы быля обстоятельства моего первого бегства.

Поселилась я сначала у Мятиных родителей в Киеве. Потом в Ворзеле под Киевом. Потом в Ялте. Никто меня не искал. Получив от Корнея Ивановича известие, что Петр Иваныч (условное наименование НКВД) остепенился, вошел в ум и более не зарится на чужих жен,— я вернулась в Ленинград, домой. Квартира была разграблена: Митина библиотека в полторы тысячи томов перевезена в подвалы Петропавловской крепости, крупная мебель и зимние вещи вывезены в неизвестном направлении, а мелкие вещички, вроде простынь, детских игрушек, ботиков и часов распроданы кому-то по дешевке в пользу конфискующих. В Митиной комнате поселен некто Катышев, Вася, человек «оттуда», получивший в наследство от репрессированного врага народа не только комнату, но и этажерку, и письменный стол, и часы. Некоторое время я не брала Люшеньку домой, опасаясь, что меня все-таки арестуют, но недели шли за неделями, а меня не трогали. И, перестав еженощно ждать звонка, я перевезла Люшу и няню Иду к себе и снова занялась хлопотами о Мите.

Ко времени моего возвращения в Ленинград после первого бегства и относятся первые записи в моем дневнике. В эту пору я и начала встречаться с Анной Андреевной Ахматовой.

15 мая 1941 года, то есть за месяц до войны, я вынуждена была покинуть Ленинград вторично. На этот раз потому, что до Петра Иваныча дошли слухи о существовании какого-то «документа о тридцать седьмом», как яазывали неизвестный документ следователи, допрашивавшие Иду. (На самом деле это была «Софья Петровна», повесть о 37-м, написанная мною зимой 1939—1940 года.)

Но о вторичном побеге речь впереди. Так же, как и о последнем, окончательном моем отъезде из Ленинграда в 1944 году, который тоже был совершен мной не по собственной воле.

Мои записи эпохи террора примечвтельны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью одни только сны. Реальность моему описанию не поддавалась; больше того — в дневнике я и не делала попыток ее описывать. Дневником ее было не взять, да и мыслимо ли было в ту пору вести настоящий дневник? Содержание наших тогдашних разговоров, шепотов, догадок, умолчаний в этих записях аккуратно отсутствует. Содержание моих дней, которые я проводила изредка за какой-нябудь случайной работой (с постоянной меня выгнали еще в 1937-м), а чаще всего в очередях к разнообразным представителям Петра Иваныча, леяинградским и московским, или в составлении писем и просьб, или во встречах с Митиными товарищами, учеными и литераторами, которые пробовали за него заступаться,— словом, реальная жизнь, моя ежедневность, в записях опущена, или почти опущена; так, мерцает кое-где еле-еле. Главное содержание моих разговоров со старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено тоже. Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего, которого никогда не будет,— и только. В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету. Записывать наши разговоры? Не значит ли это рисковать ее жизнью? Не писать о ней ничего? Это тоже было бы преступно. В смятении я писала то откровеннее, то скрытнее, хранила свои записи то дома, то у друзей, где мне казалось надежнее. Но неизменно воспроизводя со всей возможной точностью наши беседы, опускала или затемняла главное их содержание: мои хлопоты о Мите, ее — о Леве; новости с этих двух фронтов; известия «о тех, кто в ночь погиб».

Литературные разговоры в моем дневнике незаконно вылезли на первый план: в действительности имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова, как умер, расстрелян, выслан, очередь, обыск и пр., встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но имена великих деятелей застенка я старательно опускала, а рассказы Анны Андреевны о Розанове или Модильяни, или даже всего лишь о Ларисе Рейснер или Зинаиде Гиппиус — записывала. Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную ремесленно-сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах одия на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни,— мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было; в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: «пришли», «взяли»; Аннв Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из «Реквиема» тоже шепотом, а у себя в Фонтанном Доме не решалвсь даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь очень светское: «Хотите чаю?» или «Вы очень

загорели», потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. «Нынче такая ранняя осень»,— громко говорила Анна Андреевна я, чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница,— обряд прекрасный и горестный.

С каждым днем, с каждым месяцем мои обрывочные записи становились все в меньшей степени воспроизведением моей собственной жизни, превращаясь в эпизоды из жизни Анны Ахматовой. Среди окружавшего меня призрачного, фантастического, смутного мира она одна казалвсь не сном, а явью, хотя она в это время и писала о призраках. Она была несомненна, достоверна среди всех колеблющихся недостоверностей. В том душевном состоянии, в каком я находилась в те годы,— оглушенном, омертвелом — я сама все меньше казалась себе взаправду живою, а моя недожизнь — заслуживающей описания. («И то хорошо, что прошла».) К 1940-му году записей о себе я уже не делала почти никогда, об Анне же Андреевне писала все чаще и чаще. О ней тянуло писать, потому что сама она, ее слова и поступки, ее голова, плечи и движения рук обладали той завершенностью, какая обычно принадлежит в этом мире одним лишь великим произведениям искусства. Судьба Ахматовой — нечто большее, чем даже ее собственная личность — лепила тогда у меня на глазах из этой знаменитой и заброшенной, сильяой и беспомощной женщины — изваяние скорби, сиротства, гордыни, мужества. Прежние стихи Ахматовой я знала наизусть с детства, а новые, вместе с движениями рук, сжигающих бумагу над пепельницей, вместе с горбоносым профилем, четко вычерченным синей тенью на белой стене пересыльной тюрьмы, входили теперь в мою жизнь с такою же непреложнов естественностью, с какой давно уже вошли мосты, Исаакий, Летний Сад или набережная.

Июнь — июль 1966

Москва

1938

10 ноября 38.

Вчера я была у Анны Андреевны по делу.

Никогда я не думала, что, с детства зная наизусть ее стихи, собирая ее портреты, когда-нибудь пойду к ней «по делу».

Когда мне было лет 13, Корней Иванович однажды повел меня к ней и она надписала мне «У самого моря». Я не могла поднять на нее глаз, потому что К. И., войдя, сказал: «Лида говорит — по сравнению с журнальным вариантом тут не хватает строки». Это «Лида говорит» меня убило.

Потом — или раньше? — я видела ее в Доме Литераторов на вечере памяти Блока. Она прочитала: «А Смоленская нынче именинница» * и сразу ушла. Меня поразили осанка, лазурная шаль, поступь, рассеянный взгляд, голос. Невозможно было поверить, что она такой же человек, как мы все. После ее ухода я очень остро испытала «тайную боль разлуки». Но никто не мог бы заставить меня идти знакомиться с ней.

Потом, в Ольгине, я встретила ее на прямой аллее от вокзала к морю. (А может быть, это было на Лахте?) Она шла с какой-то пышноволосой дамой (я только потом догадалась, что это Судейкина). Я поздоровалась с Анной Андреевной, еще более обычного стыдясь себя: своей нескладности, своей сутулости. Аллея была пряма, как струна, и, поглядев им вслед, я подумала, что их стройное явление на этой аллее легче было бы вырвзить какой-нибудь музыкальной, не словесной фразой.

Вчера я была у Анны Андреевны по делу **.

Сквозь «Дом занимательной нвуки» (какое дурацкое название!) я прошла в сад. Сучья деревьев росли как будто из ее стихов или пушкинских. Я поднялвсь по черной, трудной, не нвшего века лестнице, где каждая ступенька за три. Лестница еще имела некоторое касательство к ней, но дальше! На звонок мне открыла женщина, отирая пену с рук. Этой пены и ободранности передней, где обои висели клочьями, я как-то совсем не ждала. Женщина шла впереди. Кухня; на веревках белье, шлепающее мок-

* См. сборник «Anno Domini MCMXXI». Пг., «Petropolis», 1922.

** В городе распространились слухи, будто, когда Н. Н. Пунин и Лева были арестованы, А. А. написала письмо Сталину, передала его в башню Кутафью в Кремле и обоих выпустили.

Я пошла узнать, что́ она вписала. Лева в это время был уже арестован опять, а Николай Николаевич на свободе.

Лева — сын Анны Андреевны и Николая Степановича Гумилева; о нем и его судьбе см. в отделе под названием «...Но крепки тюремные затворы» (стр. 63).

Николай Николаевич Пунин — искусствовед, муж Анны Андреевны. О нем см. в отделе «За сценой», *прим. 1.*

рым по лицу. Мокрое белье словно завершение какой-то скверной истории, из Достоевского, может быть. Коридорчик после кухни и дверь налево — к ней.

Она в черном шелковом халате с серебряным драконом на спине.

Я спросила. Я думала, она будет искать черновик или копию. Нет. Ровным голосом, глядя на меня светло и прямо, она прочла мне все наизусть целиком.

Я запомнила одну фразу: «Все мы живем для будущего, и я не хочу, чтобы на мне осталось такое грязное пятно» *.

Общий вид комнаты — запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи — резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах — не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество.

Единственное, что в самом деле красиво — вто окно в сад и дерево, глядящее прямо в окно. Черные ветви.

И она сама, конечно.

Меня поразили ее руки: молодые, нежные, с крошечной, как у Анны Карениной, кистью.

— Думаю: вешать на стену картины или уже не стоит?

— 19 сентября я ушла от Николая Николаевича. Мы шестнадцать лет прожили вместе. Но я даже не заметила на *этом* фоне. Одно хорошо: я так сильно больна, что, наверное, скоро умру.

— Князев умер. Святополк-Мирский собирает корки.[2]

— Женщина в очередя, стоявшая позади меня, заплакала, услыхав мою фамилию.

Я попросила ее почитать мне стихи. Тем же ровным, словно бы обесцвеченным голосом, она прочитала.

Одни глядятсн в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью моей.

«Взоры» — «переговоры» почему-то звучат здесь так же пронзительно, как «странен» — «рвнен» у Пушкина.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навылет ранен;
Дымясь, из раны кровь текла.

Мне от этого «странен — ранен» всегда было больнее, чем от струи крови... И вот также ударяют по сердцу невесть чем «взоры — переговоры» **.

Потом она рассказала, что Борис Леонидович в ее стихотворении, посвященном ему, был недоволен строкой:

Чтоб не спугнуть лягушки чуткий сон.

Лягушка ему не понравилась ***.

Я ушла от нее поздно. Шла в темноте, вспоминая стихи. Мне необходимо было вспомнить их сейчас же, от начала до конца, потому что я уже не могла с ними ни на секунду расстаться. В ускользнувших от памяти местах я подставляла для сохранения ритма собственные слова — и и ответ откуда-то из глубины памяти эти негодные слова выманивали ее настоящие. Я вспомнила все, от слова до слова. Но зато, умываясь и раздеваясь перед сном, я не могла вспомнить ни одного своего шага на улице. Как я прошла сквозь Занимательную науку? Как пересекла Невский?

Я шла сомнамбулой, меня вместо луны вели стихи, а мир отсутствовал.

---

* Среди обвинений, предънвленных Леве, было и такое: мать, икобы, подговаривала его убить Жданова — мстить за расстрелянного отца. Но запомненная мною фраза свидетельствует, что Анна Андреевна процитировала мне уже второе свое письмо к Сталину, письмо ие 35-го, а 38-го года, то, которое уже не оказало действия. Слухи же о башне Кутафье а магическом спасении заключенных — были запоздалыми вестями о ее письме 35-го года. (См. «Записки», т. 2.)

** См.: «Бег времени», М.— Л., «Советский писатель», 1965 (в дальнейшем это издание мы будем кратко именовать БВ); «Одни глядятся в ласковые взоры» — см. БВ, «Тростник».

*** См. «Поэт» — БВ, «Тростник». (Настоящее заглавие «Борис Пастернак».)

Отсылаю читателя к отделу «Стихотворения» в конце книги, на стр. 54, № 1. Там собраны те стихи, без которых мои записи могут оказаться не вполне нсными. О стихотворении «Борис Пастернак» сказано также в «Записках», т. 2.

1939

22 февраля 39 *.

Пришла — в старом пальто, в вылинявшей, расплющенной шляпе, в грубых чулках.

Сидит у меня на диване и курит. Статная, прекрасная, как всегда.

— Я не могу видеть этих глаз. Вы заметили? Они квк бы отдельно существуют, отдельно от лиц **.

— Мальчика своего моя соседка не любит ***. Бьет его. Когда онв берет веревку и принимается за него, я ухожу в ванную. Попробовала я один раз с ней говорить — она меня оттолкнула.

— Прошлую зиму я читала «Улисса». Прочла четыре раза, прежде чем одолела. Очень замечательная книга. Правда, на мой вкус там слишком много порнографии.

— Лева уже писал собственные научные работы, овладел языками. Он спросил однажды у своего профессора: верно ли то-то и то-то? Профессор ответил: раз вы так думаете, значит верно... Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть.

Потом она оглядела мои книги — то есть Митины английские **** — выбрала E. Browning, и я отправилась ее провожать. Сухо, бесснежно, холодно. Ветер. Она идет легкой, быстрой походкой, но улицу переходить боится и на середине Невского вцепляется мне в рукав.

Долго стоит посреди, не позволяя мне идти дальше, пугаясь моих попыток. Стоим посреди улицы, она все сильнее и сильнее вцепляется пальцами мне в плечо. Говорит:

— Я не умею переводить. Осип ***** однажды мне так жалобно сказал: «Меня все заставляют переводить. Все говорят: переводите, переводите! А я не умею». Вот и я не умею.

Мы долго стояли посреди улицы. Я ее уверяла тихонько: уже можно, уже можно.

— Нет, нет, еще нельзя!

26 февраля 39.

Была у Анны Андреевны — заносила билет ******. Сидит на диване, повязанная розовым линючим платком, поджав ноги в стоптанных туфлях.

— Знаете, я перечла m-me Browning. Что-то не понравилась она мне. Муж всегда тянул одну-единственную ноту, но виртуозно... А она... может быть, тем она и плоха, что очень уж на него похожа.

Сняла откуда-то с верхней полки, став ногами на диван, зеленую тетрадь. Я хотела помочь:

— Что вы, я прыгаю, как коза!

Перелистала ее.

— Много он сделал, особенно после 28 годв.

Прочитвла мне два стихотворения: одно о могучей нищете, которое я уже слышала раньше, а другое, неизвестное мне, о Киеве-Вие [3].

— Прочтите ваши.

— У меня ничего нет нового.

Вдруг показала мне на свой лоб — там какая-то с краю темно-коричневая ранка.

— Это — рак,— сказала она.— Очень хорошо, что я скоро умру.

3 марта 39, Москва.

— Что у вас? — спросила Анна Андреевна, вскочив с дивана и приблизив к моему лицу расширенные глаза.

Это в крошечной комнате Харджиева, где-то у черта на куличках, я ехала туда часа два [4]. Анна Андреевна любит и знает Москву, а я только раздражаюсь нескладицей. Ленинград своею стройностью приводит и душу в строй, а Москва выводит из равновесия.

У Николая Ивановича холодно. Анна Андреевна сидит нв диване, накинув пальто на плечи. Пьем из каких-то кружек чай, а потом из них же вино.

---

* За это время — с 10.XI.38 по 22.II.39 г.— и встречалась с А. А. несколько раз, но записи мои пропали — навсегда или иа время, не знаю.

** Глаза у женщин в тюремиых очередях.

*** Таня Смирнова — своего старшего сына, Валю.

**** При конфискации нашего имущества — в том числе и книг — все английские книги были почему-то оставлены мне.

***** Осип Эмильевич Мандельштам.

****** По-видимому, Анна Андреевна просила меня купить ей билет в Москву.

Николай Иванович, небритый, желтый, прислушивается к шагам за стеной — к шагам соседей.

Анна Андреевна говорит о литераторах, которые боятся с ней видеться.

— Сегодня Зина уже не пустила его ко мне,— говорит она о Борисе Леонидовиче.

Разговор о Герцене. Я долго и глупо ломлюсь в открытую дверь, доказывая, что Герцен великий писатель, великий художник. Анна Андреевна горячо соглашается.

— Конечно, он гораздо крупнее, чем Тургенев, например. Но в «Былом и думах» не люблю тех глав, где откровенности о Наташе.

Я пытаюсь спорить. Я понимаю так: в обращении Герцена к мировой демокрвтии «по семейному делу» сказалась прекрасная наивность революционера, ощущавшего единство революции, морали, зстетики.

— Нет, не в единстве и не в наивности тут дело,— сказала Анна Андреевна.— Это время было тогда такое. В пушкинское время ничего о себе не рассказывали, а они выговаривали все, до дна.

2 мая 39, Ленинград.

Утром, гуляя с Люшей, зашла к Анне Андреевне и уговорила ее выйти погулять *.

Она слегка хромает: сломан каблук.

Идем по Фонтанке, мимо цирка, мимо Инженерного замка.

— Вам не приелся Петербург? — спрашивает она после долгого молчания.

— Мне? Нет.

— А мне очень. Даль, дома́ — образы застывшего страдания. И я так долго, слишком долго отсюда не уезжала.

Проходя мимо цирка:

— Тут, несколько лет назад, белыми ночами кричал тюлень...

Мимо Инженерного:

— Видите два окна с другими — цветными — стеклами? В этой комнате убили Павла.

Присели ненадолго в садике. Она говорила — восторженно — о фресках в Софийском соборе. (Видела фотографии.) И добавила:

— Новгородская София тоже очень хороша.

Мы пошли ее провожать.

— Я всю Фонтанку обжила,— сказала Анна Андреевна.— Тут жила, в доме капитула, с Олей.

(Это дом с колоннами недалеко от Симеоньевского моста.)[5]

— Вам надо почаще ходить гулять,— сказала я, прощаясь.

Она махнула на меня ручкой.

— Что вы! Разве сейчас можно гулять!

18 мая 39.

Вечером телефонный звонок: Анна Андреевна, просит придти. Но я не могла — у Люшеньки грипп, надо быть дома. Она пришла сама.

Сидит у меня на диване — великолепная, профиль, как на медали, и курит.

Пришла посоветоваться... В каждом слове — удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности.

— Вот, получила письмо. Мне говорят: посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем **. А я решила лучше с вами. Вы вскормлены Госиздатом.

(И выгнана им же!)

Текст письма: «Мы охотно напечатаем... Но пришлите больше, чтобы облегчить отбор».

— Вот, уже двадцать лет так. Они ничего не помнят и не знают. «Облегчить отбор»! Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам: они надеялись, что на этот раз, наконец, у меня окажется про колхозы. Однажды, здесь, в Ленинграде, меня попросили принести стихи. Я принесла. Потом попросили зайти поговорить. Я пришла: «Отчего же стихи такие грустные? Ведь это уже *после...*» Я ответила: по-видимому, твкая несуразица объясняется особенностями моей биографии.

Мы начинаем вместе, по памяти, перебирать стихи. Я кое-как пытаюсь слепить цикл. Она, хоть и пришла «посоветоваться», слушает меня вяло, безо всякого интереса.

— Не хочу я искать, рыться... Бог с ними... Дам «Мне от бабушки-татарки» и будет с них. Да и остались одни безумно-любовные ***.

---

* Люша (Елена) — моя дочь от первого брака.

** Михаил Леонидович — Лозинский. О нем см. *прим. 6*.

*** «Мне от бабушки-татарки» — перван строка «Сказки о черном кольце» — БВ, «Anno Domini».

Прячет издательское письмо и, увидав у меня на столике томики маленького оксмановского Пушкина, начинает говорить о Пушкине:

— Как «Пиковая дама» сложна! Слой на слое. Я это поняла впервые, когда читвл Журавлев. Он изумительно читает. Своим чтением он открыл мне эту сложность[7].

Обе мы дружно ругаем Яхонтова.

— Просто неинтересно,— говорит Анна Андреевна.

Разговор о прозе Пушкина приводит нас к Толстому. Анна Андреевна отзывается о нем несколько иронически. А потом произносит грозную речь против «Анны Карениной»:

— Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так! И подумайте только: кого же мусорный старик избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.

А как сам он гнусно относится к Анне! Сначала он просто в нее влюблен, любуется ею, черными завитками на затылке... А потом начинает ненавидеть — даже над мертвым ее телом издевается... Помните: «бесстыдно растянутое»?

Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка. Когда она умолкает, я говорю только: квкие великолепные страницы перед самоубийством.

— Да, да, конечно, множество гениальных страниц. Бормотание мужичка под колесами — великолепная заумь.

А в общем не любит она, видно, Толстого.

— Я очень дружна с его внучкой Соней. Она дала мне альбом, чтобы я написала. В этом альбоме спертый дух — ханжеский дух Ясной Поляны.

Лозинский принес ей «Ад».

— Перевод замечательный,— говорит она.— Я читаю с наслаждением. Есть места натянутые, но их мало. Я сижу и сверяю.

Я, со свойственной мне способностью ляпать не подумавши, осведомляюсь, знает ли она итальянский.

Она, величаво и скромно:

— Я всю жизнь читаю Данта.

Мельком жалуется:

— Шумят у нас. У Пуниных пиршества, патефон до поздней ночи... Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала.

— Обменяли бы комнату?

— Нет, просто выехала... Знаете, за последние два года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили, *там* их почти нет... *

И, не принимая моих попыток объяснить это **, выпуская дым в сторону, цитирует чьи-то слова:

— «Низшая раса»...[8]

Поздно. Люшенька спит, но сильно кашляет во сне. Прошу Иду лечь не на кухне, а в детской, и иду провожать Анну Андреевну. На улице теплый вечер, глубокое небо. В этой глубине — колокольня Владимирского собора.

По дороге Анна Андреевна рассказывает мне о черепе Ярослава, привезенном сюда для исследования («все зубы целы»), и о Киеве («испорчен XIX веком»).

Кругом множество пьяных. Кажется, что вся мужская часть улицы не стоит на ногах. Анна Андреевна рассказывает, как недавно вечером к ней по очереди пристали трое мужчин и, когда она прикрикнула на одного, он ответил:

— Я тебе не муж, ты на меня не ори!

Идем по ее темному двору. Споткнувшись, она говорит: «Не правда ли, какой занимательный двор?» Потом по лестнице, в полной тьме: ни одной лампочки. Она идет легко, легче меня, не задыхаясь, но слегка прихрамывая: каблук. У своей двери, прощаясь, она говорит мне:

— Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума.

29 мая 39.

Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и вызвала меня. Я выбралась поздно. Застала ее лежащей.

---

* *Там* — то есть в тюремных очередях.

** Я сказала, что в тюрьме гораздо больше мужчин, чем женщин, поэтому в очередях больше женщин, чем мужчин.

— Ничего не случилось. Это я после ванны. Я здорова.

Толстое одеяло без простыни. Грубая рубаха. Мокрые волосы на подушке. Лицо маленькое, сухое, темное. Рот запал. «Вот такой она будет в гробу»,— подумала я.

Но впечатление это скоро рассеялось. Она вскочила, накинула черный шелковый халат с драконом («китайское мужское пальто» — пояснила она) и принесла из кухни чай. К чаю был черный хлеб и какие-то соевые конфеты. Выпив чашку, она снова легла под одеяло и заговорила. У нее какая-то новая беда и позвала она меня, видно, чтобы не быть одной. О беде не говорила, а обо всем на свете.

— Перечитываю Салтыкова. Замечательный писатель. «Современная идиллия» — перечтите. Вот, говорят, бедняга, вынужден был эзоповым языком писать. А ему эзопов язык шел на пользу, создавал его стиль.

И опять о Герцене:

— Да, вот это писатель... Вы не помните, между прочим, где он называл Николая — Дадоном? Мне для работы надо.

— А бывают и дутые репутации, например, Тургенев.

(Я в восторге от такого совпадения нелюбви.)

— Как он плохо писал! Как плохо! Помните «Стук, стук!..» Прав был Достоевский: сплошное merci! И как по-барски он людей описывал: внешне, пренебрежительно.

Я сказала, что понятие «русский литературный язык» совершенно условное, что у каждого свой: у Гоголя, у Лермонтова, у Пушкина, у Толстого, у Герцена. Каждый из них писал на своем, а не на русском литературном. Вспомнила, что Корней Иванович, прочитав «Меж тем как Франция среди рукоплесканий», воскликнул: «Разве это по-русски? Это на каком-то другом, может быть и прекрасном, но на другом, особом языке. Звук другой».

— Корней Иванович ошибается,— сказала Анна Андреевна.— Это ни на каком особенном, а все дело в том, что в XVI и XVII веке во Франции существовал для начал и концов прочный канон. Например, оды должны были начинаться со слова «aussi». Пушкин часто переводил этот зачин. То же и «меж тем как». Это было просто нечто обязательное для торжественного начала. Уже Вольтер пародировал подобные зачины и использовал их в сатирических стихах. У меня об этом много написано — вон, все в тех ящиках лежит. Я уже и вообразить себе не могу, как воспринимается Пушкин без этого фона *.

Я — о «Полтаве».

Она на минуту прижала руки к лицу.

— Откуда он знал? Откуда он все знал?

Потом:

— Никогда больше не буду это читать! **

В коридоре топал и быстрым говорком тараторил Николай Николаевич.

Чтобы отвлечь Анну Андреевну от «Полтавы», я рассказала ей, как видела ее впервые на вечере памяти Блока в лазурной шали.

— Это мне Марина подарила,— сказала Анна Андреевна.— И шкатулку ***.

Я спросила о Мережковских.

— Недоброжелательные были люди, злые. И ничего не делали спроста. Мне в 17-м году Зинаида Николаевна вдруг начала звонить, звала к себе, но я не пошла. Зачем-то я ей нужна была...

— А Розанов? — спросила я.— Я так его люблю, кроме...

— Кроме антисемитизма и половой проблемы,— закончила Анна Андреевна.

31 мая 39.

Вечером у меня сидел Геша [10]. Вдруг, без предупреждения, пришла Анна Андреевна. Ей позвонили, оказывается, из «Московского альманаха», просят стихи. Значит,

---

* Наблюдения Ахматовой над «этим фоном» ныне опубликованы. См. Э. Г. Герштейн и В. Э. Вацуро. «Заметки А. А. Ахматовой о Пушкине» («Временник Пушкинской комиссии, 1970», Л., «Наука», 1972), а также «Ранние пушкинские штудии Анны Ахматовой» (по материалам архива П. Лукницкого). Комментарий В. Непомнящего, С. Великовского. Послесловие В. Непомнящего. («Вопросы литературы», 1978, № 1.) — *Прим. 1978 г.*

** Я рассказала Анне Андреевне, как, вернувшись из тюрьмы, А. И. Любарская прочитала мне две пушкинские строки:

И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;

сказав, что только в тюрьме по-настоящему поняла «Полтаву».

Об А. И. Любарской см. *прим. 9.*

*** Марина — Марина Ивановна Цветаева.

А. Осмеркин. Портрет Анны Ахматовой («Белая ночь»). Ныне хранится в Москве, в Государственном Литературном музее

все сомнения были напрасны. Она хочет, чтобы я отвезла. Я обещала перед отъездом непременно к ней забежать. Она выпила чаю и быстро ушла,— по-видимому, Геша стеснял ее.

1 июня 39.

Сегодня я зашла к Анне Андреевне за стихами. Она лежит, лицо сухое, желтое, руки закинуты за голову. Я принесла ей котлеты, вареные яйца, торт и сирень. Да, и сирень, чтобы больше было похоже на подарок...

Скоро пришел Владимир Георгиевич *.

Она попросила его переписать стихи:

— Вы ведь знаете, где.

Он долго перелистывал тетрадь, искал, не находил. Она объясняла, где и что, очень терпеливо, стараясь не раздражаться, и все-таки где-то в глубине голоса жило раздражение.

---

* Гаршин (1887—1956) — патологоанатом, профессор Военно-медицинской академии, много лет проработавший в больнице им. Эрисмана; племянник писателя Всеволода Гаршина. Подробнее о нем см. «Записки», т. 2.

Владимир Георгиевич переписывал медленно. Я подала ей в постель котлету на хлебе и чашку чая. Она ела и пила лежа, не поднимаясь.

Он спрашивал ее о знаках. Она: «Это совершенно все равно».

Я: — Вы к знакам равнодушны?..

Она: — В стихах — вполне. Такова футуристическая традиция.

Он: — Нужно тут многоточие?

Она (не глядя): — Как хотите. (Мне) К. Г.* говорил, что у меня каждая вторая строка завершается многоточием.

Владимир Георгиевич кончил переписывать и просил ее посмотреть, но она отмахнулась:

— Все равно... Не важно...

Взяв в руки тетрадь и взглянув на оригинал, я спросила:

— Тут что? Черточка? Или пробел?

— Нет, но там, к сожалению, строфа... Всю жизнь я мечтала писать без строф, сплошь. Не удается **.

4 июля 39.

Вчера я с утра позвонила Анне Андреевне: «Можно прийти вечером?» — «Можно, только приходите раньше, я хочу скорее увидеть вас».

Я пришла раньше.

Лежит — опять лежит, закинув руки за голову. Отворено окно в сад. Тихо и пусто. Около окна на полу стоит картина: портрет Анны Андреевны в белом платье.

— Хорошо написал меня Осмеркин. Он 29-го кончил. По-моему, лицо очень похоже.

Я не разглядела лица в темноте угла.

После того, как я рассказала ей, а она мне, она взяла в руки и прочитала вслух какое-то совершенно дурацкое читательское письмо: «Вы не увлекаетесь формой, вы пишете просто. А Пастернак увлекается формальными исканиями, создает комбинации слов...»

— Просто! — с сердцем сказала Анна Андреевна.— Они воображают, что и Пушкин писал просто и что они все понимают в его стихах.

А я подумала о Пастернаке. Сам он лучше всех сказал о своих судьях и о своей поэзии: «...развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы» [11].

Так обстоит дело со сложностью. Что же касается простоты, то она тоже только тогда прекрасна, когда содержательна — то есть сложна. И я не верю, что человек, не понимающий Пастернака — действительно понимает Ахматову. А уж о Пушкине и речи быть не может.

6 июля 39.

Пришла и прочитала:

и легких рифм сигнальные звоночки...***

14 июля 39.

Днем сегодня я была у Анны Андреевны. Она куда-то торопилась, так что я даже не поняла, почему по телефону она позволила мне прийти. Впрочем, она боится улиц и любит, чтобы кто-нибудь ее провожал.

Чуть я пришла, мы отправились.

— Пунины взяли мой чайник,— сказала мне Анна Андреевна,— ушли и заперли свои комнаты. Так я чаю и не пила. Ну, Бог с ними.

Мы вышли в коридорчик и она начала запирать свои двери. Это оказалось длинной, сложной процедурой. Замкнув дверь своей комнаты, она, когда мы уже вышли в переднюю, вернулась и дополнительно заперла кухню.

Мы шли через Занимательный вход.

— Посмотрите на эту дверь,— сказала мне Анна Андреевна и прикрыла ее. Там оказалась надпись: «Мужская уборная».— Вечером, когда эта дверь прикрыта так, что надпись видна — к нам никто не приходит.

---

* Коля Гумилев.

** О каком стихотворении идет речь, н вспомнить не могу.

*** Строка из стихотворения «Бывает так: какая-то истома» («Творчество») — БВ, «Седьмая книга»; № 2.

По Невскому я проводила ее до угла Садовой. Мы молчали — жара мешала говорить. Улицу Анна Андреевна перешла, держась за мой рукав, вздрагивая и озираясь — хотя было пустовато. Подошел ее трамвай. Я стояла и смотрела, как она поднялась по ступенькам, вошла, схватилась за ремень, открыла сумку... В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе, похожей на детский колпачок, в стоптанных туфлях — статная, с прекрасным лицом и спутанной серой челкой.

Трамвай как трамвай. Люди как люди. И никто не видел, что это она.

20 июля 39.

Вчера весь вечер я провела у Анны Андреевны.

Она лежит. Но уверяет, что здорова.

Меня уговорила сесть в кресло, куда до сих пор садиться я остерегалась.

— У него, правда, ножки нет,— сказала Анна Андреевна,— но вы не обращайте внимания, это не беда, стóит только подставить вон тот сундучок.

Я подставила сундучок, села и после обычных — «что у вас?» — «а у вас что?» — началась, как всегда, «1001 ночь».

Я призналась, что не люблю Мопассана. И была осчастливлена ответом, что и она его терпеть не может.

— Особенно мерзки большие вещи. Да и рассказы. Я только один рассказ люблю — тот, где человек сходит с ума [12]. Противно, что он на всех портретах подает себя мускулистым, а сам издавна паралитик. Так и в рассказах.

Потом мы заговорили о Прусте и она час целый излагала мне содержание романа «Альбертина скрылась».

Покончив с Альбертиной, Анна Андреевна вскочила и накинула черный халат. (Он порван по шву, от подмышки до колена, но это ей, видимо, не мешает.) Пили крепкий чай с хлебом — больше нет ничего, даже сахару, и я обругала себя, что не принесла его.

На серебряных чайных ложечках выгравировано маленькое перечеркнутое *а*. «Это я так пишу»,— объяснила Анна Андреевна.

Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик — это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов.

— Понюхайте, правда нежный запах? Это — «Идеал», духи моей молодости.

Посмотрев на Анну Андреевну сбоку, я спросила:

— Вас никто не лепил?

— Есть статуэтка работы Данько, но она не у меня. Один скульптор собирался было лепить меня, но потом не пожелал: «Неинтересно. Природа уже все сделала».

Она снова легла. Начала рассказывать всякие истории, перескакивая с предмета на предмет, с имени на имя. Спросила, слышала ли я о Палладе?

— Нет.

— Даже не слышали? Это можно объяснить только вашей сверхъестественной молодостью. Она была знаменита. Браслеты на ногах, гомерический блуд. Один раз при мне она сказала своей приятельнице: «У меня была дивная квартира на Моховой. Ты не помнишь, с кем я тогда жила?»

Я ее стала расспрашивать о Ларисе Рейснер — правда ли, что она была замечательная?

— Нет, о нет! Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство — она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей. Она выбежала очень сконфуженная... Поразительно она умерла: ведь одновременно умерли ее мать и брат, тоже от брюшного тифа. Мне кажется, тут что-то неладное в этих смертях.

Я спросила, была ли Лариса так красива, как о ней вспоминают?

Анна Андреевна ответила с аккуратной методической бесстрастностью, словно делала канцелярскую опись:

— Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие. Похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все.

Почему-то разговор коснулся Л. Е.

— Она раньше часто ко мне бегала. Очаровательно хорошенькая была. Джокондовская безбровость ей очень шла. А потом она вдруг изменилась. Наклеила брови. И стала жандармом в юбке. И сразу подурнела — вы заметили?

Я упомянула о хорошей фотографии с альтмановского ее портрета, которую я видела у одной своей знакомой.

Она об Альтмане не подхватила, но, помолчав, произнесла:

— У меня всегда была мечта, чтобы муж повесил над своим столом мой портрет. Но никто не повесил: ни Коля, ни Володя, ни Николай Николаевич. Он только теперь повесил, когда мы разошлись. То есть положил на стол под стекло мою карточку и дочери [13].

Ушла я поздно. Анна Андреевна попросила меня непременно прийти завтра с утра. Глаза умоляющие.

Я приду *.

21 июля 39.

Я пришла с утра, как обещала.

Анна Андреевна сидит на диване, молчаливая и пряман. Молчит — тяжело, внятно. Мы ждали какую-то даму, с которой должны отправиться вместе.

Напряжение передалось и мне. Я тоже смолкла. Не зная, чем заняться, я начала перелистывать Байрона, лежавшего сверху — толстый, растрепанный английский том.

— Не смотрите, пожалуйста, картинки,— с раздражением сказала мне Анна Андреевна.— Они ужасные. Одну я даже выдрала, видите?

— Да, они сильно оглупляют текст,— согласилась я.

— А у Байрона и без того умв не слишком много.

Пришла ожидаемая дама. Тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинках. Углы узкого рта опущены. Не поздоровавшись со мною и даже, видимо, не заметив меня, она сразу сообщила Анне Андреевне о Г.**

Анна Андреевна закрыла лицо ладонями. Маленькие детские ладони.

Нам пора было идти.

— Познакомьтесь: Ольга Николаевна — Лидия Корнеевна,— вдруг сказала Анна Андреевна на лестнице [14].

Как только мы ступили на крыльцо, мы едва не были убиты досками, которые кто-то вышвыривал из окна лестницы. Они пролетели мимо наших голов и с грохотом упали у ног. Мы вернулись внутрь и долго там стояли. Грохочущая гора досок перед дверью росла.

Наконец, швырянье кончилось. Мы перешли через гору, помогая друг другу. Вышли на Фонтанку.

А дальше все такое знакомое, как узор на обоях. С той только разницей, что с каждым разом змея все короче ***.

И вот уже все позади. Но мы еще там. Мы сидим с Анной Андреевной на скамейке, более похожей на жердочку. Ольга Николаевна встретила знакомую и отошла. И Анна Андреевна вдруг зашептала, наклоняясь ко мне:

— Ее сын — Левин брат... Он только на год моложе Левы. У него совсем Колины руки.

29 июля 39.

Вчера днем я забегала к Анне Андреевне, у нее Владимир Георгиевич и Ольга Николаевна. Пьют чай с хлебом. Я не раздевалась, присела на минутку. Они стали меня расспрашивать — и я рассказала. Если я не говорю, если я одна, я плачу редко. Но говорить мне нельзя: голос обрывается в плач.

Все сделали вид, что ничего не заметили. Но Анна Андреевна, провожая меня до дверей и прощаясь, спросила:

— Когда можно к вам прийти? Можно, я приду завтра?

(Я до сих пор не знаю: она непосредственно от природы добра, или это благородный ум, высокоразвитый эстетический вкус заставляет ее совершать добрые поступки?)

Сегодня она пришла вечером. У меня была Зоечка ****. Мы пили чай. Анна Андреевна разговаривала легко, свободно, светски. Я спросила у нее, где и как она училась.

— В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве... Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили.

---

* Назавтра ей предстояло идти в тюремную очередь с передачей.

** О чьем-то аресте — чьем, не помню.

*** Тюремные очереди в 1939 г. были несравненно короче, чем в 1937—1938. Не сутками мы в них стояли, а лишь часами.

**** Зоя Моисеевна Задунайская. О ней см. *прим. 15.*

— В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла — кажется за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала — мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем я не думала об этом много, «мы ленивы и нелюбопытны». И вот настало расставанье: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы. И я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу — это начальница меня зовет. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит: «Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива».

Скоро Зоечка ушла, Анна Андреевна, вскочив со стула, рассказала о Коле. Она была ужасно возбуждена *.

Я начала ей рассказывать о нашей Детгизовской эпопее, о провокациях Мишкевича, о его штуках с моим Маяковским.

Она замахала на меня рукой:

— Не надо, не надо, не терзайте меня [16].

Потом предложила почитать мне стихи. Прочитала: «И упало каменное слово» и «Годовщину веселую празднуй **. Спросила, какое мне больше нравится?

Я не была в состоянии ответить на этот вопрос: я была слишком счастлива. Что я дожила до этого. Что я это слышу. И слишком несчастна.

Не добившись от меня никакого толку, Анна Андреевна сказала:

— Про свои старые я знаю все сама, словно они чужие, а про новые никогда ничего, пока и они не станут старыми.

Потом все было, как повелось: я иду ее провожать, на улице пьяные, при переходе она вцепляется мне в рукав и боится сделать шаг. Занимательный вход и кромешная тьма на лестнице.

— Ем я теперь только тогда, когда меня кормит Ольга Николаевна,— сказала Анна Андреевна.— Она как-то меня заставляет.

9 августа 39.

Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку. Очаровательный рисунок карандашом — ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть.

Модильяни.

— Вы понимаете, его не интересовало сходство. Его занимала поза. Он раз двадцать рисовал меня.

Он был итальянский еврей, маленького роста, с золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже. Потом, уже в России, я спрашивала о нем у всех приезжих — они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи. И теперь уже все у меня спрашивают: неужели вы его видели?

Об Олдингтоне:

— Он какой-то первый ученик.

Я призналась, что меня раздражает фрейдизм, что я во Фрейда не верю.

— Не скажите. Я многого не понимала бы и до сих пор в Николае Николаевиче, если бы не Фрейд. Николай Николаевич всегда стремится воспроизвести ту же сексуальную обстановку, какая была в его детстве: мачеха, угнетающая ребенка. Я должна была угнетать Иру. Но я ее не угнетала. Я научила ее французскому языку. Все было не то — при ней была обожающая мать, вообще все было не то. Но он полагал, что я ее угнетала. «Вы никуда не ходили с ней». Но я и сама никуда не ходила... Какие нежные письма девочка писала мне!

Я осведомилась, как обстоят дела с ее переездом.

---

* А. А. рассказала мне, что Левин приятель, студент Ленинградского Университета, Коля Давиденков — арестованный в одно время с Левой — выпущен из тюрьмы. О Николае Сергеевиче Давиденкове см. стр. 17—18 этого тома, а также *прим. 20.*

** «И упало каменное слово» — «Реквием» — начальная строка стихотворения «Приговор» — БВ, «Тростник»; № 3. В советских изданиях до 1987 г. «Приговор» печатался без заглавия и без ссылки на «Реквием». Впервые в качестве стихотворения из «Реквиема» «Приговор» был напечатан сначала в журнале «Октябрь» (1987, № 3), а позднее, в более точном варианте, в журнале «Нева» (1987, № 6). «Годовщину веселую празднуй» — в окончательном варианте «Годовщину *последнюю* празднуй» — БВ, «Тростник»; № 4.

Стихотворение «Приговор» в то время, когда я его впервые услышала от Анны Андреевны, кончалось не так, как впоследствии:

Я давно предчувствовала это:
День последний и последний дом.

— Вы думаете, они мне мешают? Нисколько.

Я спросила о хозяйстве.

— Домработница иногда приходит. Раз в пять дней. Варит мне курицу. А когда ее нет, я варю себе картошку. Если Владимир Георгиевич должен зайти ко мне после работы — тогда я стряпаю что-нибудь основательное, бифштекс, например.

Анна Андреевна взяла из кучи книг, лежавших в кресле, толстую тетрадь, переплетенную в черное, и протянула мне, пояснив:

— Это то, что мне вернули. Друзья отдали ее в переплет. И я теперь пишу на пустых страницах *.

Я раскрыла. Два перечеркнутых штампа: один — 1928, другой — 1931 (кажется). Стихи переписаны на машинке. Чьи-то пометки красным и черным карандашом. Подчеркнуто: «Закрыв лицо, я умоляла Бога». Подчеркнуто слово «поминальный». Перечеркнуты стихотворения: «Чем хуже этот век предшествующих», «Все расхищено, предано, продано», «Ты — отступник: за остров зеленый» **.

Пока я перелистывала тетрадь, Анна Андреевна стояла у меня за стулом. Мне это было неприятно, я смотрела кое-как. Успела увидеть мне неизвестное стихотворение, кончающееся строкой:

Бессмертного любовника Тамары ***

— но тут Анна Андреевна захлопнула тетрадь и снова сунула ее в кучу книг в кресле.

Не помню как, разговор коснулся стихов Николая Степановича.

— Самая лучшая его книга — «Огненный Столп». Славы он не дождался. Она была у порога, вот-вот. Но он не успел узнать ее. Блок знал ее. Целых десять лет знал.

— Кстати, из дневников Блока сделалось ясно, что он очень холодно, недоброжелательно относился к людям. Там еще многое вычеркнуто — о Менделеевых, о Любе.

На прощание она сказала:

— Я прочитала книжку вашего мужа. Какая благородная книга. Я таких вещей не читаю, а тут прочла, не отрываясь. Прекрасная книга... [17] Можно, я дам ее Владимиру Георгиевичу?

10 августа 39.

В 11 часов утра я пришла к ней, как обещала. Она была готова и ждала меня. Я взяла чемодан с бельем, она сумку с башмаками. Я спросила, почему она не сошьет мешок.

— Я не умею шить.

Мы пошли к цирку. На залитой солнцем площади ждали трамвая. Лошадь везла дрова.

— Дрова, которых у меня нет,— сказала Анна Андреевна.— Их некуда положить. Весь сарай доверху занят дровами Николая Николаевича.

Я спросила, как она думает, нарочно ли Николай Николаевич делает ей неприятности.

— Нет, не нарочно. Он даже был сконфужен, когда сообщил мне, что для моих дров места нет. «Понимаете, Аня, оказывается, наши дрова занимают сарай до самого верха!»

Подошел наш трамвай. Повезло: мы обе сидели, пристроив вещи на коленях.

— Я уверена, что плавать нельзя разучиться,— сказала Анна Андреевна. (Я не сразу поняла, почему она заговорила о плаванье, но скоро догадалась.) — Я однажды приехала в Разлив и заплыла далеко-далеко. Николай Николаевич испугался, звал меня, а потом сказал мне: «Вы плаваете, как птица».

Мы в эту минуту ехали по Жуковской.

— Вот там, напротив, была лепная конская головка,— указала мне подбородком в окно Анна Андреевна.— Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. Тут он расхаживал, ожидал и страдал. В день его смерти я пришла сюда. На моих глазах скалывали лепную головку [18].

Чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения, тем она становилась мрачнее и молчаливее. Выйдя из трамвая, сразу вцепилась мне в рукав.

Все было, как всегда.

* «Вернули» — по-видимому, из какой-то редакции.

** Все пометки носят явно цензурный характер. «Закрыв лицо, я умоляла *Бога*» — строка из стихотворения «Памяти 19 июля 1914» — БВ, «Белая стая»; «Так что сделался каждый день *поминальным днем*» — строка из стихотворения «Думали: нищие мы» — № 22. «Чем хуже этот век предшествующих? Разве...» — № 5. Последние два стихотворения, а также «Ты — отступник: за остров зеленый» не перепечатывались в Советском Союзе около пятидесяти лет и появились снова лишь в 1976 году в книге, подготовленной к печати академиком В. М. Жирмунским: Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья А. А. Суркова. Составление, подготовка текста и примечания В. М. Жирмунского. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», стр. 84, 143 и 133. (В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: ББП.)

«Все расхищено, предано, продано» — БВ, «Anno Domini»; № 40.

*** «Здесь Пушкина изгнанье началось» — БВ, «Тростник».

28 августа 39.

В последние десять дней многое надо было записать, но в спешке я не записывала. Постараюсь припомнить теперь.

Кажется, это было 14-го, днем — раздался телефонный звонок. Пока Анна Андреевна не назвала себя, я не понимала, кто говорит — так у нее изменился голос. «Приходите». Я пошла сразу. Анна Андреевна объявила мне свою новость еще в передней *. «Хорошо, что я так и думала»,— добавила она.

Мы побыли минутку у нее в комнате. Я соображала, куда и кому звонить. Анна Андреевна была такая, как всегда, только все разыскивала в сумочке чей-то адрес, и видно было, что она все равно не найдет его. По телефону мне удалось довольно быстро условиться о шапке, шарфе, свитере. Все, кому я звонила, сразу, без расспросов, понимали все. «Шапка? Шапки нет, но не нужны ли рукавицы?» Сапоги, сказала Анна Андреевна, в сущности есть; они гостят у кого-то из друзей. Мы отправились за сапогами вместе (Анна Андреевна не могла объяснить мне, куда ехать). Долго ехали в троллейбусе. Разговоров по дороге я не помню. Дверь открыл нам высокий носатый молодой человек **; она сообщила ему свою новость; он кинулся куда-то вглубь по коридору и оттуда раздался женский вскрик: «Что ты говоришь!» Маленькая женщина провела нас в комнату, мещански убранную, потом в столовую. Анна Андреевна пыталась выпить чаю, но не могла. Оказалось — сапоги в починке. Молодой человек — Коля — обещал «выбить их из сапожника мигом», потом объявил мне, что завтра зайдет за мной в 8 часов утра.

Я увела Анну Андреевну. По дороге я читала ей стихи Мирона Павловича. Они ей понравились [19].

Судьба послала нам троллейбус мгновенно. Мы сошли у цирка. На мосту Анна Андреевна сказала мне:

— Август у меня всегда страшный месяц... Всю жизнь...

Я проводила ее до дому. Обычно, прощаясь, она говорит, наклоняя голову: «Спасибо вам», а тут сказала:

— Я вас не благодарю. За это не благодарят.

Вечером того же дня, забежав в разные места, я снова приехала к ней — и не одна, а с Шурой ***. Мы привезли всё-всё! так счастливо! И сапоги уже тоже стояли на месте. У окна шила какая-то мне не знакомая дама. Шура тоже принялась шить. Анна Андреевна была тихая, отсутствующая, уже погруженная в свое завтра. Делать она ничего не делала и плохо слышала то, что мы ей толковали. Вопросы задавала по нескольку раз одни и те же. Я скоро ушла — торопилась к Люше — а Шура осталась. (Я же все равно шить не умею.) Провожая меня, Анна Андреевна сказала у двери:

— А завтра мне еще надо хорошо выглядеть.

— Вы это можете?

— Я всю жизнь могла выглядеть по желанию: от красавицы до урода.

На следующее утро, ровно в 8, ко мне вбежал запыхавшийся Коля. Мы решили по дороге зайти к Анне Андреевне, чтобы сговориться точнее. Коля шагал так быстро, что я задыхалась. У Анны Андреевны был Владимир Георгиевич. Мы условились с ней о встрече там, во дворе, и отправились. Началась жара. Коля тащил мешок. С трамваем повезло, мы добрались быстро. Во дворе, где в прошлый раз были только я да Анна Андреевна, сейчас толпою клубилась очередь. Впрочем, здесь главный вопрос: что можно? Вещи принимала заляпанная веснушками алая девка с недокрашенными рыжими волосами. Когда пришел наш черед, я спросила: «Нужно ли писать имя и адрес того, кто передает? Или только того, кому передают?». «Нам нужен адрес, кто передает; адрес кому — мы и без вас знаем»,— злорадно ответила рыжая.

Получив квитанцию, мы решили пойти на Невский, выпить воды и на всякий случай купить для Анны Андреевны в аптеке какие-нибудь сердечные капли. У выхода со двора мы ее встретили. Она была в аккуратно выглаженном белом платье, с чуть подкрашенными губами.

— Уходите? — спросила она с испугом.

* Известие о предстоящей отправке Левы на Север. А. А. просила меня срочно достать теплые вещи: ей разрешили вещевую передачу и свидание.

** Коли Давидеикова.

*** То есть с Александрой Иосифовной Любарской.

Мы объяснили, что сейчас вернемся и вложили ей в сумочку квитанцию.

Без конца длился этот окаянно-жаркий день в пыльном дворе. Пытка стоянием. Одному из нас удавалось иногда увести Анну Андреевну из очереди куда-нибудь прочь, посидеть хоть на тумбе; другой в это время стоял на ее месте. Но она из очереди уходила неохотно, боялась: вдруг что-нибудь... Молча стояла. Мы с Колей иногда оставляли ее одну и уходили посидеть на бревнах, сваленных возле самых железнодорожных путей. Коля на моих глазах с ног до головы покрылся сажей. По лицу у него текли черные ручьи; их он оттирал, как прачка, локтем. Наверное и я сделалась такая же. Он, видно, славный человек, думающий, смелый и немного смешной [20]. Рассказал мне все о себе, о Леве, а начался наш разговор с таких его слов: «Главное, что я понял: никому нельзя верить и никому ничего нельзя рассказывать». Плохо, значит, понял? Или сразу почувствовал ко мне доверие, как и я к нему? Что поделаешь, мы люди, а тягу людей друг другу верить нельзя, по-видимому, разрушить ничем... Я нашла возле бревен чурбан, и Коля, отдуваясь, притащил его Анне Андреевне. Она согласилась ненадолго присесть. Я смотрела на ее четкий профиль среди неопределенных лиц без фаса и профиля. Рядом с ее лицом все лица кажутся неопределенными.

К 4-м часам я непременно должна была спешить домой, к Люше, чтобы отпустить Иду, и я ушла со смятенным сердцем, оставив Анну Андреевну на Колином попечении, утешая себя мыслью, что он, видно, надежный друг *.

В последующие дни она дважды заходила ко мне без звонка и не заставала дома. (Я была впопыхах, в бегах: тысяча дел перед отъездом в Москву.)

Наконец, накануне отъезда я вырвалась к ней — это было 17.VIII, а может быть, 18-го.

Она лежала. У нее болит спина и омертвели три пальца на левой ноге. (Со мной это случалось — полтора года назад — и не один раз.)

— Сейчас уже ничего,— сказала мне Анна Андреевна,— а когда я вернулась оттуда в тот день, ноги отекли так сильно, что я сняла туфли и по Занимательному двору шла в чулках.

Я осмелилась сказать:

— Надо будет вам собой заняться.

Она поморщилась.

— Только, пожалуйста, сейчас об этом не говорите.

Она поднялась, села за стол между двумя подсвечниками (свечи не горели, был ясный день) и принялась переписывать стихи **.

— Теперь прочтите,— сказала она, окончив,— и расставьте, пожалуйста, запятые.

Запятые оказались в полном порядке, но в двух местах пропущены слоги.

Желая отрезать от листка лишнюю бумагу, Анна Андреевна принялась искать разрезательный нож. Подняла крышку большой шкатулки, стоящей на столике у окна. Я подошла поближе. В шкатулке лежал гребень — тот, знаменитый, с анненковского портрета, который был на ней, когда она читала стихи памяти Блока и я видела ее в первый раз. И множество фотографий — детских. На одной рядами стоят дети; в первом ряду — девочка в коротких штанишках.

— Это я на гимнастике. В Гунгербурге. Я так хорошо помню этот день.

Потом прелестная десятилетняя наголо остриженная девочка. Удивительные очертания головы и овал лица уже совершенно ахматовский.

Зато вот ей 16—17 лет — и ничего ахматовского. Совсем не она. Что-то неопределенно-девическое.

Она развязала розовую марлю. Там лежали яйца, расписанные черной тушью. Три. И четвертое — розовое с какими-то восточными буквами.

— Это мне Володя подарил. Тут нарисованы земля, небо, море. А это Левушка подарил на Пасху.

Она нашла разрезательный нож, снова увязала яйца в марлю и захлопнула шкатулку.

Потом надписала конверт.

18 августа вечером я уехала в Москву.

26-го я вернулась. Времени не было ей позвонить. Но вчера, возвращаясь из библиотеки, я, нос к носу, столкнулась с Колей.

— Анна Андреевна в больнице!

— Что случилось?

---

* Люше было в то время уже 7 лет. Причина, почему я не могла оставлять ее дома одну ни на минуту, была в том, что в Митиной комнате сначала жил Катышев, работник НКВД, в дни отдыха от своих работ всегда пьяный, а потом поселилась его сестра — профессиональная проституткa.

** Кажется, я везла в Москву «Музу» — «Когда я ночью жду ее прихода»; БВ, «Тростник»; № 6.

— У нее воспаление челюсти.

В какой больнице — он не знал. К счастью, вечером мне позвонил Владимир Георгиевич. Мы условились, что завтра я пойду ее навещать. Но не пришлось: сегодня, пока я была в библиотеке, позвонил кто-то от ее имени и просил передать, что она уже дома.

Днем мы пошли к ней с Люшенькой. Накупили сластей, а еще взяли с собой детские книжки и игры, которыми она уже давно просила меня снабдить Валю и Шакалика *. Я покричала под окном — она жаловалась, что звонка иногда не слышит. Из-за Люшеньки мы довольно долго поднимались по лестнице. Она ждала нас на верхней площадке у своих дверей.

— Какие милые гости к нам идут! — сказала она, увидев Люшу.

В черном халате и почему-то с помолодевшим лицом. Я вспомнила блоковское:

Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.

У нее в комнате — Ольга Николаевна. Какая-то веселая, пополневшая — видно, появилась надежда **. Анна Андреевна привела мальчиков и они, под Люшиным руководством, занялись кубиками, расположившись на стуле у окошка. Анна Андреевна была очень приветлива и ровна, но и видела, что она еле держится. Сидя очень прямо на диване, она рассказывала:

— Когда меня привезли в больницу, и была как из-под грузовика вынутая: подбородок опух, спина не гнется, ноги опухли...

— Мне говорил потом Владимир Георгиевич, что доктор удивлялся моему терпению. А когда же мне было кричать? До — не больно; во время операции — щипцы во рту, не крикнешь; после — уже не сто́ит.

Встала, наклонилась к ребятам. Терпеливо помогла им сложить из кубиков картинку «Князь Гвидон и лебедь» (игра «Сказки Пушкина»). Я опять увидела, с каким напряжением она держится на ногах.

Мы простились, условившись, что на днях она приведет мальчиков к Люше смотреть волшебный фонарь.

У двери она сказала мне своим ровным, душераздирающим голосом:

— Спасибо вам.

5 сентября 39.

Я опять пошла к Анне Андреевне с Люшей, но решила Люшу оставить в саду на скамеечке — пусть подышит! — и подняться одной. У Люши с собою был «Том Сойер». Она обещала спокойно ждать меня ровно полчаса. «А дольше не надо. Ладно, мам? Дольше не надо».

На лестнице я нагнала Ольгу Николаевну с корзиночкой: она несла Анне Андреевне обед.

Мы пошли вместе.

— Вот, несу ей еду. Сама она ничего себе не готовит, а домработница является только в выходной день.

Анна Андреевна лежала на своем дырявом диване, укрытая ватным одеялом.

— Вот так, когда лежу на спине,— сказала она,— чувствую себя хорошо. А чуть повернусь или встану — голова кружится.

Ольга Николаевна налила уже бульон в чашку. Но для рыбок и помидоров нужны были вилки.

«Знаете, Анна Андреевна, я нигде не могу найти вилок».

Анна Андреевна встала, поискала где-то в горке среди ваз и красивых чашек.

— Нет, тут их не может быть, я сама видела их на кухне.

Пошла в кухню, вернулась — нет.

— Пропали! Вот так у нас все, все предметы. Их надо пасти, а чуть перестанешь пасти — сейчас же исчезнут. Недавно у нас мыльница пропала. Ее все видели, Анна Евгеньевна видела ее утром до ухода на службу. Я хотела передать ее Левушке, но она исчезла. Вот так у нас все [21].

Мои полчаса истекли и я ушла.

---

* Мальчики соседей Смирновых: лет шести-семи Валя и полуторагодовалый Вова, которого почему-то называли Шакаликом. А. А. их очень любила. Когда во время войны, в эвакуации, в Ташкенте, до Анны Андреевны дошли слухи, будто один из них — Вова — умер, она посвятила его памяти стихотворение «Постучи кулачком, я открою» — БВ, «Седьмая книга». (На самом деле умер от голода не Вова, а Валя.)

** Действительно, сына ее скоро выпустили.

9 сентября 39.

У меня грипп. Вчера меня навестила Анна Андреевна. Нарядная! На руках перстни, на груди брошь, на шее — ожерелье.

Прочитала о смерти *.

— У меня, кроме каверн во всех легких, еще, наверное и Миньерова болезнь,— сказала Анна Андреевна.— Когда-то специалисты мечтали наблюдать хоть одного больного. Теперь таких больных много. Стоит мне двинуться, повернуть голову — головокружение и тошнота. Когда я иду по лестнице, передо мною бездна.

Я спросила, что она сейчас читает:

— Болотова.

Потом рассказала очень смешно, как чьи-то малыши, которым «Осип» ** подарил свою детскую книжку, попросили его:

— Дядя Ося, а нельзя ли эту книжечку перерисовать на «Муху-Цокотуху»?

Почему-то, не помню почему, мы заговорили о человеческой бестактности. Анна Андреевна рассказала: на днях пришла телеграмма Анне Евгеньевне от Николая Николаевича. Анны Евгеньевны нет, она в отъезде.

— Я,— говорит Анна Андреевна,— позвонила брату Николая Николаевича. Тот пришел, прочитал телеграмму: Николай Николаевич, через Анну Евгеньевну, просит у брата 200 рублей. А денег у брата нет. Я ему предложила свои. Он взял и послал их от собственного имени. На другой день пришла телеграмма, адресованная мне: «Поблагодарите Сашу».

Она рассказала это, смеясь.

— И со мной переписывается человек, который на прощание сказал мне: «Выдайте мне расписку, что я отдал вам все ваши вещи».

Она поднялась. Я хотела одеться и проводить ее, но она не позволила: «У вас жар».

Остановилась у двери:

— Вы заметили? Я сегодня при всех регалиях. Вот это розовый коралл. А это перстень двадцатых годов прошлого века, его мне Оленька подарила. А это — древний перстень из Индии, тут мужское имя и надпись: «Сохрани его Господь». А это (указала на брошь) — подписной Рикэ, головка Клеопатры.

16 сентября 39.

Вечером я была у Анны Андреевны.

Она лежала на диване, одетая, но под одеялом.

Оказывается, Владимир Георгиевич водил ее к доктору — по поводу пальцев ноги,— и доктор велел ей лежать.

— Это не гангрена, как опасался Владимир Георгиевич, это — травмо-неврит.

Возле нее на стуле — томик Бенедиктова, подаренный Лидией Яковлевной Гинзбург [22].

— Знаете, у него, оказывается, были и хорошие стихи, под конец, под старость... Безо всяких Матильд.

И она прочла мне вслух «Бессонницу» и еще кусочек из какого-то стихотворения о елке: начало банальнейшее, а потом хорошо.

На электрической плитке кипел суп.

— Ольга Николаевна ушла и поручила мне за ним смотреть,— сказала Анна Андреевна. Встала, долила в суп воды, и попробовала включить чайник.

— Он у нас не всегда действует, а только иногда... Ну, включись, включись, ну, пожалуйста,— сказала она шепотом чайнику, наклонившись над ним.

Я тоже очень хотела, чтобы чайник включился, потому что на этот раз как умная принесла с собой печенье, сахар, пирожные.

— Теперь вы ведите здесь культурный образ жизни,— сказала мне Анна Андреевна,— а я пойду на кухню хозяйничать.

Пока ее не было, я перелистывала Бенедиктова. За одной стеной женщина рычала на ребенка, ребенок плакал. За другой слышался оживленный голос новой жены Николая Николаевича.

— Ольга Николаевна ушла в гости, и и боюсь, что мы не услышим звонка. Он у нас тоже так: то действует, то не действует.

Мы сели пить чай.

Анну Андреевну позвали к телефону: Ольга Николаевна извещала, что вернулась

* «К смерти» — «Реквием», 8. № 7.

** Осип Мандельштам.

почевать к знакомым, потому что, поднявшись к Анне Андреевне, не дозвонилась: звонок не производил никакого звука.

Провожая меня, Анна Андреевна вышла на площадку, чтобы проверить звонок: он звонил вовсю.

— Вот что значит жить в Доме Занимательной Науки,— сказала она.

27 сентября 39.

Я лежу. Чем-то больна — не разбери-поймы.

Анна Андреевна звонила несколько раз, хотела прийти. Я ее все не пускала: еще заразится. Да и сама она не совсем здорова. Но сегодни она все-таки пришла. Плохая, темная, глаза ввалились, морщины вокруг рта обозначились резче.

Николай Николаевич вернулся.

— Ходит раздраженный, злой. Все от безденежья. Он всегда плохо переносил безденежье. Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре: «Слишком много людей у нас обедает». А это всё родные — его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу: «Масло только для Иры». Это было при моем Левушке. Мальчик не знал, куда глаза девать.

— Как же вы все это выдерживали? — спросила я.

— Я все могу выдержать.

(«А хорошо ли это?» — подумала я.)

Пришла Рахиль Ароновна [23]. Анна Андреевна оживилась и заговорила о другом.

— Меня приглашают на Брюсовский юбилей. Выступить с воспоминаниями.

— Но ведь вы — как и я — его не любите, кажется? — спросила я.

— Лично с ним я не была знакома, а стихов его не люблю и прозы тоже [24]. В стихах и Гелиоглобал, и Дионис — и притом никакого образа, ничего. Ни образа поэта, ни образа героя. Стихи о разном, а все похожи одно на другое. И какое высокое мнение о себе: культуртрегер, европейская образованность... В действительности никакой образованности, перевел эпиграф к пушкинскому «Пажу»: «Это возраст херупима» — вместо Керубино! Писал статьи о теории поэзии и вдруг в письме проговорился: «Собираюсь прочесть „Art poétique“ Буало»... Да как же смел писать, не прочитав? Образованность! А письма какие сиучные. Я читала его письма к Коле в Париж. В них, между прочим, он настойчиво рекомендует Коле не встречаться с Вячеславом Ивановым: хотел, видно, сохранить за собой подающих надежды из молодых. А Вячеслав Иванов умница, великолепно образованный человек, тончайший, мудрейший. Через некоторое время Коля написал Брюсову: «Познакомился с Вячеславом Ивановым и только теперь понимаю, что такое стихи»...[25] По дневнику видно, какой дурной был человек. Одна запись: «Под видом массажа крутил руки брату». А брат был болен. Гадость какая! И зачем это записывать? Он полагал, что он гений, и потому личное поведение несущественно. А гениальности не оказалось и судиться пришлось на общих основаниях [26].

Административные способности действительно были большие. Но и только. Для русской культуры он человек несомненно вредный, потому что все эти рецепты стихосложения — вредны.

Она произнесла эту речь оживленно, энергично, из вежливости обращаясь главным образом к застенчивой и упорно молчавшей Рахили Ароновне.

Потом рассказала, что отбирает стихи для издательства, но нехотя, медленно...

— Я не в силах. Ставим с Люсей крестики. Пока что я перечеркнула все ранние. Я их терпеть не могу *.

Я машинально побарабанила рукой по стене. Она сказала:

— Моя мама, когда ей случалось сильно огорчаться, начинала стучать по столу. Стучала упорно, часами. У меня был брат студент. Мы жили на даче. Один раз соседи спрашивают: «Это ваш брат печатает?» — имея в виду прокламации [27].

Я рассказала, что читаю Люшеньке «Русских женщин» и она плачет.

— Я в детстве их сама нашла,— отозвалась Анна Андреевна.— Мне никто никогда ничего не читал, не до меня было. Некрасов — единственная в доме книга, больше ни одной.

Заговорили о том, что на улицах сейчас мокро, темно, мрачно.

— Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастрофы,— сказала Анна Андреевна.— Эта холодная река, над которой всегда тяжелые тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная страшная луна... Черная вода с желтыми отблесками света... Все страшно. Я не представляю себе, как выглядят катастрофы и беды в Москве: там ведь нет всего этого.

Я сказала, что Киев вот веселый, ясный город и старина его нестрашная.

— Да, это так. Но я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных

* «с Люсей» — с Лидией Яковлевной Гинзбург. О ней см. *прим. 34.*

женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жены... Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая-угодника: «Сделай, чтоб хорошо сидело»...

Рахиль Ароновна пошла ее провожать.

15 октября 39.

За это время я была у Анны Андреевны раза три, но не записывала. А сейчас уже поздно вспоминать ее речи, того и гляди переврешь что-нибудь.

Впрочем, один эпизод запишу. Вечером на днях она и Ольга Николаевна сговаривались при мне с утра отправиться в очередь *. Анна Андреевна просила всех соседей, чтобы ее разбудили ровно в 7 — ни минутой позже. «Ольга Николаевна жалеет меня будить». Затем — дружеские препирательства о пальто, кто в чем пойдет: Анна Андреевна настаивала, чтобы Ольга Николаевна надела ее осеннее (у Ольги Николаевны с собою только летнее), а сама она наденет шубу.

— В шубе вам будет тяжело стоять,— говорила Ольга Николаевна,— лучше я надену шубу, а вы осеннее.

Но Анна Андреевна не соглашалась.

— Нет, шубу надену я. Вам с ней не справиться. Она особенная. На ней давно нет пуговиц ни одной. Новые найти и пришить мы уже не успеем. Я ее умею и без пуговиц носить, а вы не умеете. Шубу надену я.

Сегодня днем я зашла к Анне Андреевне, чтобы проводить ее в амбулаторию, к доктору, по назначению Литфонда. Зашла прямо из библиотеки, где достала для нее «Литературный Современник» 1937 года с новыми материалами о дуэли Пушкина [28]. Кроме того, я принесла ей масло.

— Теперь я обеспечена на много дней,— сказала мне Анна Андреевна.— У меня есть 4 селедки, 6 кило картошки, а вы еще и масло принесли. Пир!

Отправились. Минуты две стояли перед совершенно пустым Литейным: она боялась ступить на асфальт.

По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у нее увеличена еще сильнее, чем у меня.

— Мне одна докторша сказала: «Все ваши стихи вот тут»,— Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди.— Мне предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее восьми пудов. Это я-то!

Опять почему-то вернулись к Киеву и я спросила, любит ли она Шевченко.

— Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык... «Мамо», «ходимо»,— она поморщилась,— не люблю.

Меня взорвало это пренебрежение.

— Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкевича! — сказала я.

Она не ответила.

Мы дошли. Разделись. Белоснежный коридор — и очередь. Анна Андреевна назначена на 5 ч. 45 м., но, как разъяснили в очереди, это «ничего не значит». Мы сели. Перед нами пять человек. Очередь движется медленно, по полчаса на человека.

Анна Андреевна начала меня расспрашивать о Николае Ивановиче: что рассказывает о его житье-бытье Цезарь, вернувшийся из Москвы [29].

— Странно ко мне относится Николай Иванович,— сказала она вдруг.

— Чем же странно? Вы же знаете, что он к вам замечательно относится.

— Ко мне,— да, но не к моим стихам. Ведь Николай Иванович человек фанатический, и мои стихи нравиться ему не могут.

— А вы не спрашивали?

— Ну, нет, не мой черед об этом спрашивать!

Наконец Анна Андреевна вошла в кабинет. Я осталась ждать ее. Появилась она скорее других — минут через 15. Мы оделись и вышли на улицу. Тут только я заметила, что она сильно возбуждена.

— Он нашел меня совершенно здоровой. Так я и знала. Я говорила Владимиру Георгиевичу, что так и будет. Теперь на вопрос Литфонда он ответит, что я симулянтка. Уверяю вас, так и будет. Наверное его разозлило, что и показала ему записки от двух профессоров с очень серьезными диагнозами. Он три раза спросил меня: вы служите? Верно думал, что я хочу бюллетень получить. Он так понимает свою задачу: осаживать и разоблачать. Назначил мне солено-хвойные ванны, а электризации и ножных ванн, которые рекомендовали Давиденков и Баранов, не назначил: «совершенно лишнее» [30].

Мы шли пешком: в гневе Анна Андреевна не пожелала ждать трамвая. Мне было ее до слез жаль: я близко вижу ее жизнь и понимаю, как она больна... И зачем судьбе понадобилось подвергать ее еще и этому унижению?

* В прокуратуру.

Мы шли молча. Я не могла изобрести, чем бы ее утешить.

Довела ее до самых дверей ее квартиры — так уж у нас заведено. На прощание она вдруг меня поцеловала.

18 октября 39.

Собираюсь в Долосы *.

В последние дни сижу над стихами Анны Андреевны. Она просила меня прочесть то, что отобрала вместе с Лидией Яковлевной **.

Я просидела несколько дней, обложенная разными изданиями книг Анны Андреевны. Вдумывалась в пунктуацию, хронологию, варианты.

Мы условились, что я приду к ней сегодня утром. «Пораньше»,— настаивала Анна Андреевна.

Я пришла в 12. Стучу, стучу в ее дверь — нет ответа.

— Анна Андреевна дома? — спросила я на кухне у какой-то растрепанной девочки.— Она не отзывается.

— А вы не так стучите,— ответила мне девочка. И лихо застучала в дверь к Анне Андреевне, сначала кулаками, а потом, обернувшись спиною, и каблуками.

— Аня, к вам пришли!

— Войдите.

Анна Андреевна лежала на диване серая, с больным, будто отекшим, лицом, с седыми растрепанными волосами! Я была в отчаянии. Оказывается, она не спала всю ночь и только недавно уснула! А растрепанная девочка, объяснила мне Анна Андреевна, это вовсе не девочка, а сама уже мама, Ира Пунина.

Я разложила на столе стихи, книги, свои записи и начала задавать приготовленные вопросы.

Анна Андреевна отвечала, слушала, соглашалась на мои советы, но как-то без интереса. Может быть попросту сон еще не вполне покинул ее.

Я пожаловалась, что не понимаю одного стихотворения: «Я пришла тебя сменять, сестра».

— И я его не понимаю,— ответила Анна Андреевна.— Вы попали в точку. Это единственное мое стихотворение, которого я и сама никогда не могла понять ***.

Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы и мучительно чувствовала, что все это ей в тягость.

— Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке,— попросила наконец Анна Андреевна,— а то я все равно всё забуду.

Я умолкла, нашла листок, принялась переписывать свои заметки: даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы.

— Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам? — спросила Анна Андреевна.— Да и все равно из этой затеи ничего не выйдет... Никто ничего не напечатает... Да и не до того мне.

Я простилась.

— Возвращайтесь скорее,— сказала она мне на прощанье.— Я буду вас очень ждать.

15 ноября 39.

Вчера, впервые после приезда, я была у Анны Андреевны.

Лежит. Опять лежит. По ее словам, не спала уже ночей пятнадцать.

Мечется головой по подушке. Рука горячая.

— У вас жар?

— Я не мерила.

Собирается в Москву. Ей уже достали билет.

Прочитала книгу, которую я принесла ей в прошлый раз — «Смерть после полудня» Хемингуэя. Я рассказывала ей, что Митя случайно раскрыл эту книгу на прилавке у букиниста, зачитался, пришел в восторг и купил — никогда прежде не слыша даже имени автора.

— Да, большой писатель,— сказала Анна Андреевна.— Я только рыбную ловлю у него ненавижу. Эти крючки, эти рыбы, черви... Нет, спасибо!

Скоро пришла Вера Николаевна, принесла еду [31]. Анна Андреевна ни до чего не дотронулась.

* Санаторий в горах, над Ялтой, где от туберкулеза горла лечился — и вскоре умер — Мирон Левин.

** О Лидии Яковлевне Гинзбург см. *прим. 34.*

*** «Я пришла тебя сменить, сестра» — БВП, стр. 76; № 8.

— Я ничего не ем и раздаю. Бессонница и не могу есть. Всё раздаю, а то портится. Она начала тяжело дышать. Попросила Веру Николаевну пойти к Пунину за камфорой.

Пунин вошел в комнату, напевая. Начал расспрашивать Анну Андреевну, но петь не перестал. Вопросы вставлял в пение.

— Ти-рам-бум-бум! Что с вами, Аничка? Ти-рам-бум-бум!..

— Дайте, пожалуйста, камфору.

Он принес пузырек — ти-рам-бум-бум! — накапал в воду — ти-рам-бум-бум! — и она приняла.

Оказывается, Вера Николаевна пришла за какой-то картиной Бориса Григорьева, которую Анна Андреевна решила продать. Я вышла с ней вместе, чтобы помочь нести. Картина была тяжелая, даже вдвоем мы еле ее тащили. Какая-то мало приличная баба. Тащить было далеко, по Фурштадтской, по Потемкинской.

Вера Николаевна уже продала для Анны Андреевны несколько рисунков Бориса Григорьева по 75 р. штука.

4 декабря 39.

Вчера утром забежал ко мне на минуту Владимир Георгиевич, попросил вместо него встретить Анну Андреевну, возвращающуюся из Москвы. Телеграмма: «Выезжаю 10.50». Сам он не может уйти утром с работы.

— Я был у нее на квартире, протопил печку, прибрал немного...

Сегодня с утра, в указанное им время, я отправилась на вокзал. Но — не встретила Анну Андреевну. Нет такого поезда — 10.50 из Москвы... Вернувшись домой, я на всякий случай позвонила ей. Оказалось, она уже дома. Приехала «Стрелой». И попросила прийти сейчас же.

Села на диван, рассказала свою эпопею *.

— Константин Александрович позвонил Александру Николаевичу **. Тот пил. Константин Александрович говорит: «Приходи, тут тебя одна дама ждет». Тот обрадовался, думал, дама, действительно! А это оказалась я... Но он все-таки был очень любезен.

И дальше — все по порядку. Потом:

— Борису Леонидовичу очень понравились мои стихи. Он так все преувеличивает! Он сказал: «Теперь и умереть не страшно»... Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: «И упало каменное слово» ***.

Про Николая Ивановича сказала:

— Мы с ним всегда друг другу что-нибудь дарим... Этот раз и уж совсем не знала, что ему повезти. Но в альбоме Бориса Григорьева вижу вдруг набросок и подпись: В. Хлебников. Николай Иванович был счастлив. Подарок удался, я рада.

Мы начали вместе топить печку. Она долго не разгоралась, но все же в конце концов огонь затрещал.

— А знаете,— грустно сказала Анна Андреевна,— Шакалик не узнал меня, когда я вернулась. За две недели позабыл.

6 декабря 39.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра: приходите сейчас. Я пошла. На мой стук в ее дверь она не ответила, как обычно, «войдите!», а сама вышла в коридорчик, ко мне, и тут, энергичным шепотом, сделала то сообщение, ради которого меня вызвала: насчет Корнея Ивановича и Жабы.

— Предупредите отца,— сказала она ****.

Потом перестала шептать и уже вслух попросила меня зайти. В комнате ожидала ее Лидия Яковлевна. Я села у окошка, а Лидия Яковлевна и Анна Андреевна, ходя друг

---

* Московские хлопоты о Леве.

** Константин Александрович Федин — Александру Николаевичу Тихонову. Об А. Н. Тихонове см. *прим. 32.*

*** По-видимому, А. А. прочла Борису Леонидовичу некоторые стихи из «Реквиема», а также и другие на ту же тему.

**** Жабой в разговорах со мной А. А. называла Анну Дмитриевну Радлову. 25 ноября 1939 года К. Чуковский выступил в «Правде» с критической статьей «Искалеченный Шекспир» — по поводу радловского перевода «Отелло». Эта статья и встревожила Анну Андреевну: у нее были сильные подозрения насчет связей Анны Радловой с Большим домом. Однако дело ограничилось лишь полемикой: 19 января 1940 года «Правда» опубликовала статью А. Остужева в защиту перевода Радловой («О правилах грамматики и законах театра»). Полемика продолжалась. К. Чуковский напечатал новую статью «Астма у Дездемоны» (см. журнал «Театр», 1940, № 1). Позднее он включил обе статьи в переработанном виде в свою книгу «Высокое искусство».

против друга по комнате, продолжали, давно, по-видимому, начавшийся между ними спор о новых гипотезах какой-то Эммы насчет убийства Лермонтова: будто это убийство было подстроено и организовано властью. Анна Андреевна настаивала на исторической и психологической невозможности такого предположения.

— Что за венецианские подосланные убийцы или отравители в России в тридцатых годах прошлого века! — говорила она *.

Говоря, она ходила по комнате, протягивала руки к огню в печке, а один раз даже опустилась перед печкой на колени и так и осталась. «Оказывается, так очень удобно стоять, а я не думала»,— сказала она.

Потом вскочила и расставила на столе обильную, против обыкновения, еду: сыр, консервы и водку в графине. Но, как всегда, без конца искала повсюду вилки, ложки, блюдца и обнаруживала их в самых неподходящих местах... Водку мы пили из каких-то крошечных фарфоровых штучек, похожих на солонки.

Анна Андреевна сказала, что может пить много и никогда не пьянеет.

Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку переписанных от руки стихов, очень аккуратную на вид, но первый лист отодран так грубо, что клочья торчат.

— Это я отодрала...— сказала она.— Ко мне явился недавно один молодой человек, белокурый, стройный, красивый, сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в Союз. Я очень быстро его выгнала... И вот — приезжаю из Москвы, а на столе — тетрадка. И на первой странице надпись: «Великому поэту России». Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу.

Я осведомилась, хорошие ли стихи, но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это — меценат! **

Напрасно мы с Лидией Яковлевной пытались ее разуверить. «Он молод,— говорила я,— он может просто быть не осведомлен об особенностях вашего положения»... Анна Андреевна отвергала такую возможность, а Лидия Яковлевна меня поддерживала.

— Да и в надписи я не вижу ничего предосудительного,— рискнула я.

— Но я не желаю рядиться в чужое платье! — сердито ответила Анна Андреевна.

Скоро Лидия Яковлевна ушла, а меня Анна Андреевна удержала: «ну еще полчасика». Она снова начала рассказывать о Жабе, о ее интригах против нее самой, Анны Андреевны. Говорила она возбужденнее и громче обычного; исчезли глубокие, долгие паузы, столь свойственные ее речи; по-видимому водка все-таки и на нее действует. О Лидии Яковлевне отозвалась она так:

— Человек она внеэмоциональный, холодноватый, но и очень ценю ее голову [34].

Я спросила, нет ли новых стихов.

— Нет. С тех пор я ничего не могу.

Я рассказала ей о «Записной книжке» Марка Твена, появившейся в «Интернациональной Литературе». Она ее не читала. Но о «Томе Сойере» отозвалась так:

— Бессмертная книга. Вроде «Дон Кихота».

Заплакал Шакалик. Анна Андреевна поспешила к нему: оказывается, родители ушли в кино и он один. Я простилась.

14 декабря 39.

Вчера днем, не находя, куда девать себя до вечера, когда должен был прийти К. и назвать словами всё, что я знаю и так, я отправилась на набережную и, с помощью туч и мостов приведя себя несколько в порядок, зашла к Анне Андреевне ***.

На кухне мне сказали, что она дома.

Я постучала в ее дверь,— ответа нет.

На кухне объяснили — «спит наверное!» и вызвались разбудить, но я не позволила. И ушла.

Было 5 часов дня. И какого! «Светало, но не рассвело».

Вечером — звонок; Анна Андреевна что-то объясняет мне насчет себя и моего

---

* «Эмма» — Эмма Григорьевна Герштейн. Разговор между Лидией Яковлевной и Анной Андреевной шел о статье Э. Г. Герштейн «К вопросу о дуэли М. Ю. Лермонтова», опубликованной в 1940 году, в № 16 «Альманаха год XXII». В последующих работах о Лермонтове Э. Г. Герштейн не высказывала более свое предположение с прежней категоричностью.

Об Э. Г. Герштейн см. *прим. 33.*

** Меценаты — зашифрованное наименование стукачей.

*** Должен был ко мне прийти юрист Яков Семенович Киселев [35]. И Корней Иванович и Яков Семенович примерно с апреля 1939 г. уже знали, что Митя погиб, я же об этом только догадывалась.

Киселев привез записку от Корнея Ивановича: «...Мне больно писать тебе об этом, но и теперь узнал наверняка, что Матвея Петровича нет в живых. Значит, хлопотать уже не о чем. У меня дрожат руки, и больше ничего я писать не могу».

неудачного посещения. Но разговора толком я не помню, потому что это было уже после сообщения К., когда я, Тамара и Шура (они пришли ко мне, они уже знали) молча сидели у меня на постели и даже Тусины попытки — не утешения, конечно, а ласкового прикосновения к боли — не удавались, и даже ее щедрая материнская улыбка не могла отогреть *. Из телефонного разговора с Анной Андреевной и запомнила только, что она просила меня зайти, и вот сегодня, вымывшись холодной водой, я, машинально, в полном оледенении, пошла к ней.

Болело все: лицо, ноги, сердце, даже кожа на голове.

Комната ее сейчас имеет еще более странный вид, чем обычно: стекло залеплено газетой, а с потолка, с верхней лампы, опускается какой-то скрученный обрывок шали. Рассказала мне свои хорошие новости: многозначительные слова. Потом про управдома: нужно заверить ее подпись на новой пенсионной книжке, и она ходила к управдому 16 раз и все не заставала его... 16 раз!

Я, наверное, очень плохо поддерживала разговор, потому что минут через десять она спросила:

— Вы, кажется, чем-то расстроены?

Я выговорила — не заплакав.

— Боже мой, Боже мой,— повторяла Анна Андреевна,— а я не знала... Боже мой!

Мне было пора за Люшей к учительнице. Я ушла.

15 декабря 39.

Сегодня днем, когда я собиралась в библиотеку, вдруг звонок — и пришла Анна Андреевна.

— Ходила сюда поблизости получать пенсию и вот забрела,— объяснила она.— Сегодня утром я застала наконец управдома. Я ему протягиваю пенсионную книжку и прошу заверить мою подпись, а он мне говорит: «Распишитесь, пожалуйста, сначала на отдельном листке». Почему? Зачем? Что же, он думает, в книжке моя подпись поддельная? Я пришла в бешенство. Я вообще хорошо отношусь к людям, но тут я очень обиделась. Я ему написала свое имя на бумажке и сказала: «Вы, по-видимому, хотите продать мой автограф в Литературный Музей? Вы правы: вам дадут за него 15 рублей». Он смутился, разорвал бумагу. Потом спрашивает: «Вы, кажется, были когда-то писательницей?»

Я послала Иду за папиросами, потом Ида подала нам чай. Анна Андреевна много курила, рассказывала про мальчиков Смирновых. Шакалик уже говорит «спасибо». Валя (она называет его «мой Валя») любит слушать, когда ему читают. Она читала ему вслух Вальтера Скотта и, окончив, сказала: «Это был замечательный писатель». Он сразу начал крутить перед собою руками и дудеть: «Значит у него была машина?»

— А я хочу не Вальтера Скотта,— сказала я.— И не буду крутить руками и дудеть.

Она прочитала мне еще раз о смерти, а потом никогда мною не слыханное «Водою пахнет резеда» **.

И опять у меня от этого настоя горя ощущения такого счастья, что нету сил перенести. Я понимаю Бориса Леонидовича: если это существует, можно и умереть.

1940

13 января 40.

Сегодня, только что, была у Анны Андреевны впервые после своего возвращения из Детского ***. Слухи о почестях, ей оказываемых, достигали моих ушей и там ****.

— Ну, что вы слышали обо мне? — был ее первый вопрос.

Говорит, что чувствует себя плохо, еще хуже чем раньше, бессонница, и по ночам немеют то ноги, то голова. Но выглядит, по-моему, чуть получше. Сидела на диване, в пальто, причесанная, и в волосах — ее знаменитый гребень.

Все слухи оказались справедливыми. Действительно, ей уже прислали из Москвы 3 тысячи единовременно, и ежемесячная пенсия повышена до 750 р. Зощенко с каким-то листом, присланным из Москвы и уже подписанным кое-кем (Лебедев-Кумач, Асеев), ходит в Ленсовет просить для нее квартиру. В Союз принимали ее очень торже-

* Тамара (Туся) — Тамара Григорьевна Габбе. О ней см. *прим. 52.*

** «Водою пахнет резеда» — строка из стихотворения «Привольем пахнет дикий мед». См. ББП, стр. 191; № 25.

*** Я уезжала в Детское, в Дом Творчества, чтобы написать «Софью Петровну».

**** После какого-то звонка «сверху».

ственно *. За ней заехали секретарша и член правления Союза — Лозинский. Председательствовал Слонимский.

— Я его по привычке все еще называю Мишей. Он как-то очень долго был маленьким... Миша сказал, что я — среди собравшихся и предложил приветствовать меня. Все захлопали. Я встала и поклонилась. Потом говорил Михаил Леонидович. Он ужасные вещи говорил. Представьте себе: дружишь с человеком 30 лет и вдруг он встает и говорит, что мои стихи будут жить, пока существует русский язык, а потом их будут собирать по крупицам, как строки Катулла. Ну что это, правда! Ну можно ли так! Народу было много и все незнакомые. Потом Брыкин доложил про малую серию поэтов. И еще про другое мое издание.

Я заговорила о квартире. Я так хочу ей человеческого жилья! Без этих шагов и пластинок за стеной, без ежеминутных унижений! Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует: она хочет остаться здесь, с тем, чтобы Смирновы переехали в новую комнату, а ей отдали бы свою. Хочет жить тут же, но в двух комнатах.

— Право же, известная коммунальная квартира лучше неизвестной. Я тут привыкла. И потом: когда Лева вернется — ему будет комната. Ведь вернется же он когда-нибудь...

Меня обрадовала эта надежда.

Она налила мне и себе чай — не чай, а просто горячую воду, и придвинула клюквенное варенье.

— У меня уже недели три нету чая,— объяснила она.

Рассказала о Шакалике. Он вдруг заговорил и говорит все. Вчера, когда погас свет, закричал: «Боюсь, где моя мама».

— А меня уже называет «Андреевна». А раньше звал: «Кани». Понимаете? Направление, куда: «К Ане». Это для него было мое имя. Сейчас он простужен, сидит в кровати и теребит «Басни» Крылова. Это его любимая книга. Я ему читаю. Он понимает — а ведь ему всего полтора годика.

— А сейчас ко мне придут из «Ленинграда». Я приготовила для них «Художнику» и «Тот город, мной любимый с детства» **. Целые дни теперь приходят и приходят изо всех редакций. Вчера пришел Друзин с секретаршей и каким-то военным. У меня в эту минуту на руках был Шакалик. Я отдала его Тане и в шутку сказала ей шепотом: «......» ***. Она поверила. Правда, было очень похоже... Впрочем, я клевещу. Друзин был само великодушие и поощрение. Оказывается, он пострадал когда-то за акмеизм. Вы не знали? Я тоже. Он прибавил, что у акмеистов есть заслуги: они хорошо изображали русскую природу. Какая любезность, не правда ли? [36]

Рассказ ее был прерван приходом барышни из журнала «Ленинград». Барышня всеми порами источала мед и патоку. Анна Андреевна вручила ей приготовленные стихотворения. А когда та ушла — вдруг смолкла и надела очки:

«Звезды неба»

Не могу видеть. Словно соучаствуешь в убийстве ****.

Когда я несколько очухалась, мы с огорчением поговорили о предстоящем изъятии электрических приборов.

— А у меня как раз появился новый,— сказала Анна Андреевна,— электрическая зажигалка-пепельница. Это мне Владимир Георгиевич подарил. И вот еще, смотрите, какую коробочку. Из ляпис-лазури. Это пудреница. Мне приятно, что это новые, теперешние вещи. А то мы все живем среди вещей каких-то давних эпох.

Я сказала ей, что ей следовало бы поехать отдохнуть в Дом Творчества, в Детское.

— Нет, я там не отдохну. Царское для меня такой источник слез...

* Это было 5 января 1940 года.

** А. А. дала журналу «Ленинград» не два стихотворения, а шесть. В № 2 за 1940 год появились: «Одни глядятся в ласковые взоры»; «От тебя я сердце скрыла»; «Художнику»; «Воронеж» и «Здесь Пушкина изгнанье началось» (БВ, «Тростник»). Стихотворение «Тот город, мной любимый с детства» (БВ, «Тростник») в этом номере журнала не появилось.

*** «За мной пришли». В оригинале пропуск: я не решилась написать эти слова.

**** А. А. записала на листке стихотворение «С Новым Годом! С новым горем!» — дала мне прочесть и потом, по своему обыкновению, сожгла над пепельницей; № 9.

Напоминаю читателю, что 30 ноября 39 г. началась война с Финляндией. Стихотворение опубликовано через 35 лет за границей в сборнике «Памяти Анны Ахматовой», Paris, YMCA-Press, 1974 (в дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: «Памяти А. А.»).

Прим. 1975 г.

В Советском Союзе напечатано впервые: журнал «Даугава», 1987, № 9. Публикация Р. Д. Тименчика.

Прим. 1987 г.

17 января 40.

Луна.
От этого город и его беда еще страшнее.
Но спасибо луне.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне и попросила прийти к ней. По правде сказать, просьба довольно безжалостная, ибо мороз — 35°. Но я надела валенки, обмоталась платком и пошла. И луна благополучно привела меня к ней сквозь тьму *.

Я принесла ей полпачки чая. Она обрадовалась и сразу включила чайник.

Она сильно обеспокоена тем, что Гослитиздат прислал ей договор на 4 тысячи строк, в то время как и «Издательство Писателей» взяло у нее сборник стихов.

Начала искать повсюду договор: на кресле и под креслом с бумагами.

— Приезжала ко мне директорша Гослитиздата, Кр. По-моему, стерва.

Я громко рассмеялась. Я очень люблю слышать такие слова из ее уст.

— Да, да, не смейтесь, стерва. Я ей говорю: «Стихи мои уже отданы в «Издательство Писателей». А она: «Это не беда, лишь бы материал был другой». Какой же материал, Господи!

— Судя по этой реплике, она скорее дура,— сказала я.

— Целые дни теперь звонит телефон,— продолжала Анна Андреевна.— Звонят изо всех журналов. Звонил один человек, назвал свою фамилию, но я не расслышала кто и откуда. Просит стихи. Отвечаю: я уже все раздала. Молчание. И потом: «Знаете что? Поищите *там*!»

Я посоветовала ей поговорить по поводу «Издательства Писателей» и Гослита с Юрием Николаевичем Тыняновым.

Договор вдруг нашелся. Я глянула: самый обыкновенный.

Анна Андреевна заговорила о Льве Пушкине:

— Знаете, сын Модзалевского выяснил, что многие непристойные эпиграммы Пушкина в действительности принадлежат Льву. А если они и пушкинские — я бы все равно их в однотомниках не печатала. И «Гавриилиаду». Раньше эта поэма имела антирелигиозный смысл, а теперь — один только непристойный. Ее надо печатать в Академическом издании и нигде более.

Затем — о мемуарах Смирновой.

— Очень бабья книга... Эта дама, оказывается, была совсем не такая, какой они все ее себе представляли... Последняя глава — нечто ужасное; она писала ее уже душевнобольная. Это эротический бред [37].

Мы заговорили о воспоминаниях Крандиевской, напечатанных ныне в «Звезде» [38]. Я сказала, что они мне очень нравятся.

— Нет, нет, я не согласна. Барские воспоминания. Она всегда была изнеженной, избалованной барыней — такой и осталась: пяти тысяч в месяц ей мало... Помните то место у нее в воспоминаниях, где она пишет о голодном мальчике, которого они приютили? Он садился за стол за 20 минут до обеда! Какая гадость так писать о голодном ребенке! Они все смеялись над ним, потому она этот эпизод и запомнила. Сразу видно, что ее дети никогда не голодали...**

«Дневник» С.— вот это замечательная книга. Умный человек и правдивый. Все, что он пишет,— правда. И пишет старый уже человек, ото всего отрешившийся ***.

Я спросила, знала ли она Розанова.

— Нет, к сожалению, нет. Это был человек гениальный. Мне недавно Надя, дочь его, говорила, что они все любили мои стихи и спрашивали у отца, знал ли он меня. Он не знал меня и, кажется, стихов моих не любил, зато очень любил Мариэтту Шагинян: «Девы нет меня благоуханней». А я у него все люблю, кроме антисемитизма и половой теории.

Я опять подивилась совпадению наших нелюбвей. И пересказала один розановский рассказ в «Опавших листьях», который всегда возмущал меня: как пожилая дама, мать, посоветовала студенту, влюбленному в ее младшую дочь, жениться лучше на старшей, ибо была озабочена «зрелостью» старшей дочери. Студент послушался (экая скотина!), женился на старшей, и теперь дама нянчит внука, здоровяка...[39]

Анна Андреевна махнула рукой.

— Ничего этого не было. Ни дамы, ни дочерей, ни внука. Все это он сам, конечно, выдумал, от слова и до слова... Гениальный был человек и слабый. Мне жаль было его, когда он, потом, голодал в Сергиеве. Мне рассказывали: ходил по платформе и собирал окурки. Я ничем не могла ему помочь, потому что сама голодала клинически.

---

* Город, по случаю войны с Финляндией, был затемнен.

** «Сергунька поправился, порозовел. Обычно минут за двадцать до обеда, когда уже накрывали на стол, он уже усаживался на свое место с ложкой в руке в терпеливо ждал еды». («Звезда», 1939, № 9, стр. 171).

*** Думаю — «Дневник» Суворина, но уверенной быть не могу.

Ее сильно беспокоит, кому дадут написать предисловие к книжке «Издательства Писателей». Боится, не Волкову ли, какому-то специалисту по акмеистам.

— Он всегда громил нас. Я ему сама в лицо скажу: писать надо только о том, что любишь [40].

«Кубок гори» *.

23 января 40.

Вчера мне позвонил Владимир Георгиевич, сказал, что Анна Андреевна совсем расклеилась, не ест, не пьет, что на днях к ней должны прислать из издательства за рукописью, а рукопись не готова. Я взялась устроить срочную допечатку на машинке. Вечером пошла к ней. Луна на этот раз не исполняла своих обязанностей, и я сильно разбила себе голову в Занимательном входе: там ни одной лампочки.

Анна Андреевна дурно выглядит, желтая, серая. На секунду улыбнулась, когда я протянула ей пакетик с сахарным песком: «теперь сахар есть — а чай зато кончился».

— Я совсем не сплю. И все ночи напролет пишу. Все уже отмерло — не могу ни ходить, ни спать, ни есть, а это почему-то осталось.

И прочитала: об иве, о стихах, о портрете, об изумрудах **. Читала она спокойно, своим ровным глубоким голосом, не задыхаясь.

Я совсем потеряла дар речи. Наверно у Анны Андреевны никогда не было такого бестолкового слушателя. О стихах — чудо.

— Я давно к этому подбиралась,— сказала Анна Андреевна,— да все было не подойти.

Я стала уговаривать Анну Андреевну дать мне для перепечатки и эти стихи, новые, чтобы они успели войти в ее книгу.

Она согласилась на три ***.

Кто-то постучал в дверь.

— Это Александр Николаевич,— сказала Анна Андреевна,— накинем на лампу абажур. Я сегодня не в авантаже.

Вошел высокий молодой человек. Анна Андреевна усадила его рядом с собой на диван. Они разговаривали о каких-то эрмитажных делах [41]. Я вломилась в разговор и попросила Анну Андреевну устроить меня пока переписывать. Она долго искала свою тетрадь на кресле и под креслом, потом искала бумагу. Указала мне в тетради страницы с новыми стихами и попросила переписать заодно несколько старых, давних, «которых когда-то нельзя было»: «Песенку», «Я и плакала и каялась», «Я не любви твоей прошу», «Небо бело страшной белизною» ****.

— Только поставьте, пожалуйста, знаки сами, я не умею... Даты? О датах, пожалуйста, не спрашивайте. О датах со мной всегда говорят как с опасно больной, которой нельзя прямо сказать о ее болезни.

Переписав, я простилась. Она сказала, что хочет выйти из своей берлоги, и завтра, когда машинистка мне все перепишет, сама придет ко мне за стихами.

Сегодня, получив все у машинистки и вычитав, я звонила Анне Андреевне и в 2 и в 3 — спит. В 5 часов мы с Люшей сами отнесли ей стихи и передали их на кухне Владимиру Георгиевичу: он сказал, что Анна Андреевна нездорова и только что уснула.

— Что с ней?

— Она совершенно не умеет бороться со своей неврастенией. Обратила ночь в день, и ей, конечно, от этого плохо. К тому же ничего не ест. Да и ничего не налажено. Может быть удастся уговорить Смирновых давать ей обед.

(Все так; но спрашивается: почему, если каждую ночь человек совершает самую нужную и самую трудную работу в мире — и после этого, естественно, разбит и истерзан,— это состояние надо называть: «не умеет бороться со своей неврастенией»?)

---

* Название, придуманное Анной Андреевной для какого-то из ее стихотворных циклов. Для какого — не помню.

** Думаю, этот перечень расшифровывается следующим образом: «Мне ни к чему одические рати»; «Когда человек умирает»; «Подвал памяти» — то есть: БВ, «Тростник»; БВ, Седьмая книга; БВ, «Тростник» и ББП, стр. 196 (№ 10, № 11, № 12, № 24). О том, как впоследствии А. А. восстанавливала «Подвал памяти» вместе со мною, см. том второй моих «Записок».

Когда я слышала впервые стихотворение «Мне ни к чему одические рати», последнюю строку А. А. прочла так:

На радость вам и *на мученье* мне.

*** Не согласилась предложить редакции «Подвал памяти».

**** «Песенка» («Бывало я с утра молчу») — БВ, «Anno Domini»; «Я и плакала и каялась» — ББП, стр. 53; «Я не любви твоей прошу» — БВ, «Четки»; «Небо бело страшной белизною» («Белая ночь») — ББП, стр. 281.

31 января 40.

Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра: приходите! Она была причесана, одета, на шее ожерелье (темно-синее, почти черное).

Топится печка.

Я спросила — встала ли она рано или совсем не спала?

— Совсем не спала.

Длинный разговор о Пушкине: о Реквиеме в «Моцарте и Сальери» *.

Потом о Пушкинских темах: Европа, во-первых, и Петербург, во-вторых **.

Объяснила мне как пушкинистка, кого он имел в виду, когда писал о Европе ***.

Потом наступило молчание. Мирно и уютно потрескивала печка ****.

Идти прямо домой у меня не было сил. Через некоторое время я обнаружила себя на Марсовом Поле.

4 февраля 40.

Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове *****.

Ранним вечером ее проводил ко мне Владимир Георгиевич. Проводил и ушел.

Я читала долго и, читая, все время чувствовала стыд за плохость своей прозы. Читать — ей! Зачем я это затеяла? Но податься было уже некуда, я читала.

Первую половину, мне кажется, она слушала со скукой.

Я сделала перерыв, мы попили чайку.

Вторую половину она слушала внимательно, не отрываясь, и, как мне казалось, с большим волнением. В одном месте, мне кажется, она даже отерла слезы. Но я не была в этом уверена, я читала, не поднимая глаз.

---

* Пушкин ни при чем, это шифр. В действительности А. А. показала мне в этот день свой, на минуту записанный, «Реквием», чтобы проверить, все ли я запомнила наизусть. Тогда в цикл входили следующие стихи: «Уводили тебя на рассвете», «Тихо льется тихий Дон», «Показать бы тебе, насмешнице», «Семнадцать месяцев кричу», «Легкие летят недели», «Приговор», «К смерти», «Хор ангелов великий час восславил», «Узнала я, как опадают лица»... Входило ли уже «Нет, это не я, это кто-то другой страдает» — я припомнить не могу; и в «Тихом Доне» не вполне уверена.

** Прочитала мне, кроме «Реквиема», два стихотворения: «Не столицею европейской» и, по-видимому, «Это было, когда улыбался»; № 13. (Тогда второе в «Реквием» не входило; А. А. включила его в цикл только в 1962 г. Строки: «Это было, когда улыбался/Только мертвый, спокойствию рад» я запомнила иначе: «*бесчувствию* рад».)

*** Объяснила, что ее стихотворение «Не столицею европейской» посвящено О. Мандельштаму. В 1974 году оно было опубликовано в Париже в сб. «Памяти А. А.» не совсем в том виде, в каком я его в свое время запомнила. Привожу тогдашний вариант:

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной полночью енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Акбасар,
Пересадкою в лагерь Свободный,
С трупным запахом грязных нар,—
Показался мне город этот
Тою полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными — и тобой.

В парижском сборнике стихотворение озаглавлено «Немного географии». Когда это заглавие возникло, не знаю; во всяком случае гораздо позднее, чем были написаны стихи; неожиданно я столкнулась с этим же названием в книге П. Лукницкого «Путешествие по Памиру» (М., 1955). Так названа одна из подглавок.

(А. А. и писатель Павел Николаевич Лукницкий (1900—1973) были знакомы с 1924 года; об их дружбе, о дневниковых записях Павла Николаевича см. публикацию В. Лукницкой и В. Непомнящего в журнале «Вопросы литературы», 1978, № 1, стр. 185.)

В настоящее время (1987) под тем же заглавием «Немного географии» и в том же варианте, что в «Памяти А. А.», стихотворение опубликовано М. Кралиным в журнале «Знамя», № 12, стр. 134.

**** Когда я запомнила все стихи, А. А. сожгла их в печке.

***** Шифр. Читала «Софью Петровну».

Повесть о М. Михайлове была мною задумана в 37-м году. Толчком для этого замысла послужила заметка Герцена под названием «Убили»,— о гибели поэта на каторге. Я начала собирать материал. Но о Михайлове я так и не написала, а написала «Софью Петровну» — повесть о 1937 годе «впрямую». О ней и идет речь...[42]

Все это длилось вечность. Длинная, оказывается, историн!

Когда я кончила, она сказала: «Это очень хорошо. Каждое слово — правда».

В половине третьего ночи я отправилась ее провожать.

Путешествие на этот раз было трудным, словно по кругам ада.

Сначала Анна Андреевна не могла спуститься с нашей лестницы. Ей почему-то представилось, что ступеньки начинаются от самых дверей квартиры, и я никак не могла убедить ее пересечь лестничную площадку. Наконец, я свела ее с лестницы.

Когда мы пересекали Невский, совершенно в эту пору пустой, и только что ступили на мостовую, Анна Андреевна спросила у меня, как всегда: «Теперь можно идти?» — «Можно»,— сказала я, и мы сделали еще два шага к середине. «А теперь?!» — вдруг закричала она таким высоким, страшным, нечеловеческим голосом, что я чуть не упала и не сразу могла ей ответить.

Наконец, по Фонтанке, мы дошли до ее ворот. Они оказались запертыми. Я тщетно толкалась в них плечом. Вглядывались сквозь ограду в темноту двора, отыскивая дворника. Никого. И вдруг оказалось, что калитка ворот отперта.

Мы благополучно миновали Занимательный вход, а у нее на лестнице — снова мученье. На площадках она не верит, что это площадки, хочет идти не как по ровному месту, а как по ступенькам, и пугается.

Наконец, дверь ее квартиры. Она вставила ключик в скважину и тогда оказалось, что дверь незаперта. Это ее тоже испугало. Мы вошли вместе. Она шла по коридору, на ходу зажигая свет — в ванной, в кухне. Я доставила ее до дверей комнаты.

— Спасибо, что вы терпеливо все выслушали,— сказала я ей на прощание.

— Как вам не стыдно! Я плакала, а вы говорите — терпеливо.

Я ушла.

8 февраля 40.

Снова я получила подарок из тетради с замочком.

Вчера, открыв свою тетрадь, Анна Андреевна прочитала мне «Клеопатру» *. Прочитала, с трудом разбирая карандаш.

«Это хорошо?» — «Да! Очень!» — «А я еще не знаю. Я не сразу, только через некоторое время пойму... Хотите вина?»

Мы пили вино из хрустальных рюмок со смешными ручками и ели пирожные на тарелках времен Директории, и я про себя сквозь все повторяла только что услышанные строки. Мне даже разговор с самой Анной Андреевной был помехой, хотелось остаться со стихами наедине. «Вот, говорят, что на этих тарелках не надо есть, надо их беречь, но я не люблю беречь вещи... Правда, прелестные? Рисунки в стиле Давида».

Она предложила почитать мне стихи — не свои, чужие. Обыкновенно я люблю слушать из ее уст чужие строки; произнесенные с ее интонацией, они звучат по-новому. На этот раз, правда, чужих стихов мне не хотелось — хотелось «Клеопатру» — но я, конечно, не спорила. Она прочитала наизусть Федора Кузьмича (великолепен) **, Цветаеву (нет, мне не понравилось, слишком уж все до конца выговорено — а, может быть, я просто не привыкла); Кузмин хорош, но для меня слишком затейлив.

Я сказала, что поэты очень похожи на свои стихи. Например, Борис Леонидович. Когда слышишь, как он говорит, понимаешь совершенную естественность, непридуманность его стихов. Они — естественное продолжение его мысли и речи.

— Борис Леонидович в самом деле очень похож,— согласилась Анна Андреевна.— А я? Неужели и я похожа?

— Вы? Очень.

— Это нехорошо, если так. Препротивно, если так. Но вот Блок был совсем не похож на свои стихи, и Федор Кузьмич тоже. Я хорошо знала Федора Кузьмича и очень дружила с ним. Он был человек замечательный, но трудный.

Я сказала, что помню его только стариком.

— Он всегда выглядел стариком, начиная с 40 лет,— объяснила Анна Андреевна.

Я начала расспрашивать о Вячеславе Иванове, о башне.

— Это был единственный настоящий салон, который мне довелось видеть,— сказала Анна Андреевна.— Влияние Вячеслава было огромно, хотя его стихи издатели вовсе не стремились приобретать. Вячеслав умел оказывать влияние на людей, и верным его учеником в этом смысле был Макс... В Москве ко мне как-то зашла одна девица. Из породы «архивных девушек» — слышали этот термин? Это я его ввела... Она с восторгом, захлебываясь, рассказывала мне о Максе. «Он был в Москве... мы все собрались... и он говорил...» — «Он говорил одной,— перебила ее я,— „Вы — Муза этого места“, другой — „Вы — Сафо...“» — «Откуда вы знаете?» — закричала девица,

---

* БВ, «Тростник». № 14.

** Федор Кузьмич — поэт Федор Сологуб.

ошеломленная моей догадливостью... «Я это сейчас придумала»,— ответила я. Дело в том, что Макс, как и Вячеслав, обожал обольщать людей. Это была его вторая профессии. Приезжала в Коктебель какая-нибудь девица, он ходил с нею по вечерам гулять по берегу. «Вы слышите шум волн? Это они *вам* поют». И девица потом всем рассказывала, что Макс объяснил ей ее самое. Она поклонялась ему всю жизнь, потому что ни до, ни после с ней никто так не говорил, по той весьма уважительной причине, что она глупа, бездарна, некрасива и пр.

Вячеслав, конечно, был тоньше. Но ему тоже нужны были свои обольщенные. Он тоже умел завлекать. Он и на мне пробовал свои чары. Придешь к нему, он уведет в кабинет: читайте! Ну что я тогда могла читать? 21 год, косы до пят и выдуманная несчастная любовь... Читаю что-нибудь вроде: «Стройный мальчик пастушок» *. Вячеслав восхищен: со времен Катулла и пр. Потом выведет в гостиную — читайте! Прочтешь то же самое. А Вячеслав обругает.

Я быстро перестала бывать там, потому что поняла его. Я тогда уже была очень избалована и обольщения на меня мало действовали.

Видя, что Анна Андреевна в повествовательном духе, я спросила ее о Зинаиде Николаевне. Была ли та красива?

— Не знаю. Я видела ее уже поздно, когда она была уже вся сделана. На вечер «Утра России» была приглашена я и они трое. Я там оскандалилась: прочитала первую строфу «Отступника» **, а вторую забыла. В артистической, конечно, сразу все припомнила. Ушла и не стала читать ***. У меня в те дни были неприятности, мне было плохо... Зинаида Николаевна в рыжем парике, лицо будто эмалированное, в парижском платье... Они меня очень зазывали к себе, но я уклонилась, потому что они были злые,— в самом простом, элементарном смысле слова.

Я спросила про Ларису ****.

— Я была как-то в «Привале» — единственный раз — и уже уходила. Иду к дверям через пустую комнату — там сидит Лариса. Я сказала ей «до свиданья!» и пожала руку. Не помню, кто меня одевал — кажется, Николай Эрнестыч ***** — одеваюсь, вдруг входит Лариса, две дежурные слезы на щеках: «Благодарю вас! Вы так великодушны! Я никогда не забуду, что вы первая протянули мне руку!» — что такое? Молодая, красивая девушка, что за унижение? Откуда я могла знать тогда, что у нее был роман с Николаем Степановичем? Да и знала бы — отчего же мне не подать ей руки?

В другое время, уже гораздо позже, она приходила ко мне исповедоваться. Я была тогда нища, голодна, спала на досках — совсем Иов... Потом я была у нее однажды по делу. Она жила тогда в Адмиралтействе: три окна на Медного Всадника, три на Неву. Домой она отвезла меня на своей лошади. По дороге сказала: «Я отдала бы все, все, чтобы быть Анной Ахматовой». Глупые слова, правда? Что — все? Три окна на Неву?

— И подумать только, что когда мы все умрем,— закончила Анна Андреевна,— и я, и Лили Юрьевна, и Анна Дмитриевна — историки во всех нас найдут что-то общее, и мы все — и Лариса, и Зинаида Николаевна — будем называться: «женщины времени...». В нас непременно найдут общий стиль.

Я простилась.

— А знаете,— сказала мне Анна Андреевна уже у дверей,— в тот вечер, когда вы провожали меня и вошли вместе со мной в квартиру, Николай Николаевич вообразил, что у меня было сильно романтическое приключение.

— Вы его разуверили?

— Я сказала, что это были вы.

— Он поверил?

— Ну, это уж мне все равно.

15 февраля 40.

Вчера вечером, когда я уже была одета, чтобы ехать к Шуре, позвонила Анна Андреевна и попросила прийти. «Я могу только на часок»,— сказала я, растерявшись.— Ну, приходите хоть на часок.

Я пришла. Она сидела в шубе у топящейся печки. Перешла, хромая — все тот же сломанный каблук! — на диван и усадила меня рядом.

---

* «Над водой» — ББП, стр. 49.

** «Ты — отступник: за остров зеленый» — ББП, стр. 133.

*** Очень может быть, что А. А. имеет в виду свое выступление в Зале Тенишевского Училища в конце 1917 г. Там она выступала совместно с Зинаидой Николаевной Гиппиус, Дмитрием Сергеевичем Мережковским и Дмитрием Владимировичем Философовым.

**** Лариса — Лариса Михайловна Рейснер.

***** Радлов.

По моей просьбе прочитала вторично «Клеопатру». Я не расслышала в прошлый раз — «шалость» или «жалость»: жалость. Ну, конечно, жалость! * (Она не совсем ясно произносит *ш* и *ж*: не все зубы целы.)

Потом — жалобы на Ксению Григорьевну **.

— Она разговаривает со мной, как с душевнобольной или самоубийцей. Вечный припев: «возьмите себя в руки». Когда я тут хворала: «Что это вы лежите одна?» — С кем же мне лежать? С командующим флотом? Велит мне непременно обзавестись домработницей. Но где же я ее поселю? — «Она может ночевать у вас в комнате». Так она понимает мою бессонницу! Она не учитывает, что мой быт такой, а не другой, такой потому, что тесно связан с моей психикой. Владимир Георгиевич правильно сказал: она не понимает, что воли у вас в сто раз больше, чем у нее.

— Видите, комната моя сегодня вымыта, вычищена. Я ушла к Рыбаковым, а тут Таня, по просьбе Владимира Георгиевича, вымыла, вычистила и даже постлала половик. А на столе скатерть: Коля Гумилев когда-то привез из К.***

Владимир Георгиевич зашел за мной к Рыбаковым и по дороге проговорился про комнату. Я очень испугалась и сказала: тогда я туда не пойду.

Провожая меня по коридору, Анна Андреевна бормотала стихи. Услышав, я боялась слово сказать, даже «до свиданья». Но она сама перебила себя:

— Так ничего, если я плохо буду обращаться с Ксеньей Григорьевной?

— Валяйте! — сказала я.— Долой! К собачьим чертям!

3 марта 40.

За это время я виделась с Анной Андреевной четыре раза. То, что не записано сразу, можно считать утраченным. Восстанавливаю лишь кое-что.

Недели две у Анны Андреевны было очень холодно, дрова кончились, она жила в пальто. Но спать стала по-видимому лучше.

Сильно беспокоилась о Шакалике — он болел воспалением легких. «Он такой трогательный»,— говорила Анна Андреевна.

Перечитывала «Старую записную книжку» Вяземского.

Вчера вечером долго сидела у меня. Мне позвонил Владимир Георгиевич, зашедший за ней к Рыбаковым, где она обедала, и привел ее ко мне.

Она уселась глубоко на диван, и мы пили чай.

— Вы знаете,— начала она озабоченно,— уже двое людей мне сказали, что «пошутить» — нехорошо. Как думаете вы?

— Чепуха,— сказала я.— Ведь это «Клеопатра» не ложноклассическая, а настоящая. Читали бы тогда Майкова, что ли...

— Да, да, именно Майкова. Так я им и скажу! Все забыли Шекспира. А моя «Клеопатра» очень близка к шекспировскому тексту. Я прочитаю Лозинскому, он мне скажет правду. Он отлично знает Шекспира.

— Я читала «Клеопатру» Борису Михайловичу ****— он не возражал против «пошутить». Но он сказал такое, что я шла домой, как убитая: «последний классик». Я очень боюсь, когда так говорят...

— Бухштаб прислал мне Добролюбова. Я прочла весь том, от доски до доски. Какие стихи плохие! Слова точно слипаются в строчке. А каков Дневник! Ничего и никого не видно. Еще в начале чувствуется быт, брезжит кое-что. А уж дальше — скука и женщины. И более ничего... Я никогда не читала Белинского, ни одной строчки — что, он тоже так плохо писал?

Я ответила по правде, как думаю, хотя и понимала, отвечая, что спорить с ней о литературе — неумно и ненужно:

— Дневник Добролюбова и по-моему мерзок и пуст,— сказала я,— и стихи какие-то не стихи. Из статей же видно, что если бы Добролюбов не умер рано, он стал бы настоящим критиком. Белинский же писатель замечательный, иногда по силе равный Герцену. Интенсивность его духовной жизни поражает. Я люблю многие его статьи и очень люблю письма.

Анна Андреевна выслушала эту речь без гнева, но без большого доверия. Не думаю, чтобы она принялась читать Белинского после моих слов

---

* «И черную змейку, как будто прощальную жалость,/На смуглую грудь равнодушной рукой положить».

** Давиденкову, мать Левиного товарища, Коли... Ксения Григорьевна очень любила Анну Андреевну, но, ничего не понимая в ее труде и в ее характере, постоянно вызывала гнев Анны Андреевны попытками бесцеремонной опеки.

*** Каира? Не помню.

**** Эйхенбауму.

— А примечания Бухштаба хороши, добросовестны? — спросила я.

— Да, очень. Слишком даже добросовестны... Подумайте только — ну зачем приводить разночтения таких плохих стихов?..[43]

Рассказала о своей библиотеке, которую продала в 1933 г.

— В большой комнате на полу стопками лежали книги. Все редкие и все с надписями. Теперь Николай Николаевич, конечно, говорит: — «Этого никогда не было». Он умеет не помнить того, чего не хочет помнить... Теперь книг у меня нет.

— Я никогда не любила видеть свои стихи в печати. Если на столе лежала книжка «Русской Мысли» или «Аполлона» с моими стихами, я ее хватала и прятала. Мне это казалось неприличным, как если бы я забыла на столе чулок или бюстгалтер... А уже чтобы при мне читали мои стихи — просто терпеть не могла. Если Николай Николаевич или Левушка произносили при мне какую-нибудь мою строчку — я бросала в них тяжелым предметом.

Потом она прочитала мне новонайденные пушкинские строки — из его Реквиема. «Лунный круг» *.

В первом часу ночи я пошла ее провожать. Невский мы долго не могли перейти. Она еле решилась ступить на мостовую. «Теперь можно?» — «Можно».— «А теперь?» — вдруг закричала она на середине высоким голосом, будто тонула и звала на помощь. Опять!

Когда мы шли по набережной, я спросила ее о реке **.

— А вот Николай Иванович догадался,— вместо объяснения ответила она.— Он удивительно понимает стихи. Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины.

6 марта 40.

Вчера днем — вдруг звонок в передней — и на пороге Анна Андреевна. Была здесь поблизости в сберкассе, зашла спросить о Люшином здоровье и прочитать новые стихи.

Мы сидели в Люшенькиной комнате, потому что Люша лежит у меня — там теплее. Анна Андреевна осталась в пальто, только шляпу сняла. Горло обмотано каким-то некрасивым шарфом — я не поручусь, впрочем, что это шарф.

Прочла стихи Маяковскому, слегка сбиваясь, неуверенно. Чудо энергии строка: «то, что разрушал ты — разрушалось». Я попросила прочитать еще раз и, когда она задумалась, подсказала первые две строчки.

— Как? уже? — воскликнула Анна Андреевна.— У меня такое впечатление, что вы знаете мои стихи наизусть за 5 минут до того, как я их напишу. За 10, может быть, и нет, но за 5 — безусловно.

— Правда, это непохоже на мои стихи Пастернаку? Нисколько? Я рада, если так ***.

Потом я рассказала ей о нашей с Шурой статье [44]; отсюда мы перешли почему-то к фольклору, а от фольклора к Гомеру. Я призналась, что всегда всякий эпос воспринимаю со скукой. Понимаю, что стихи замечательны, могу объяснить, *чем* замечательны, но не тянет меня их читать. Ложась в постель, не вынимаю из-под подушки «Илиаду». «Я список кораблей прочел до середины» — это не про меня.

— Я думаю,— сказала Анна Андреевна,— что так, в постели, «Илиаду» никто теперь и не читает... А вы знаете «Гильгамеша»? Нет? Это великолепно. Это еще сильнее «Илиады». Николай Степанович переводил по подстрочнику, но В **** переводил мне прямо с подлинника, и потому я могу судить.

Потом она рассказала о конфликте «Резец» — «Звезда» и о разрешении, которое ей дала Кр.*****

Мне надо было непременно сбегать в аптеку — Люша спала, а чуть проснется,

---

* Строка из ахматовского «Реквиема» («Посвящение»):

Что мерещится им в лунном круге?

Пользуюсь случаем указать, что в отличие от текста, опубликованного сначала за границей, а в 1987 году на родине (см. журнал «Нева», № 6), эпитеты в первых пяти строках «Посвящения» запомнились мне по-другому: «Не течет *могучая* река» вместо «великая» и «*великая* тоска» вместо «смертельная». Замены ли это, сделанные Ахматовой позднее, или ошибка моей памяти — утверждать не берусь. № 15.

** Я спросила, что означает строка: «Тихо льется тихий Дон». Почему Дон? («Реквием», 2), № 16.

*** «Маяковский в 1913 году» — БВ, «Тростник»; № 17.

**** Думаю, В.— В. К. Шилейко.

***** Конфликт — вероятно, спор из-за ее стихов. О разрешении, которое ей дала Кр.— см. дальше на стр. 44.

надо было устроить ей полоскание. Ида — на рынке. Я спросила у Анны Андреевны, может ли она посторожить Люшу и что ей дать почитать пока. Стеречь она легко согласилась, а насчет книги ответила:

— Дайте Маяковского, но только непременно комментированное издание. Мне нужно проверить, действительно ли «Владимир Маяковский» шел в Луна-Парке.

Когда я вернулась, Ида была уже дома. Люшенька проснулась веселая, хотя t° оказалась 38,5. Я дала ей полоскание, а потом Ида соорудила компресс на горло. И я пошла провожать Анну Андреевну.

Я сказала ей, что сегодня она хорошо выглядит — розовая, большие глаза — и что я приписываю это Таниным заботам.

— Нет, просто полнею... Это от возраста — пора... А вы заметили, как я сегодня хорошо перехожу?

В самом деле, она без запинки пересекла Невский и даже почти не держалась за меня.

По дороге:

— Я познакомилась с Маяковским в двенадцатом году... Мне нужно было видеть кого-то по делу в Луна-Парке, и я отправилась туда. Там мне и представили Владимира Владимировича. Молодой, беззубый. Он очень настойчиво упрашивал меня прийти на премьеру, но я не могла — не помню теперь, почему.

Я спросила у нее, с какого возраста она пишет.

— С 11 лет... Боже, какие позорно-плохие стихи я писала! Я недавно перечитывала, хотела что-нибудь оставить на память. Нет, ничего нельзя. Все позор. Все — не мое, а чужое, общее — то, что писали тогда третьестепенные, четверостепенные авторы. Я уверена, что и у Маяковского было много такого же — раннего, плохого — но когда Бурлюк открыл ему, кто он — он все уничтожил. И правильно сделал.

Когда мы уже свернули к ней во двор — на этот раз с Литейного,— я сказала, что читаю Люше «Руслана и Людмилу» и на этот раз не нравится мне поэма.

— Да, конечно, это очень блестяще и очень холодно. Он был молод тогда и использовал все, что успел узнать у своих учителей — Ариосто, Вольтера. Учителя же были весьма холодные люди...* Но какие блестящие стихи, какая смелость! Я недавно читала Вале и дивилась каждому эпитету.

— Вы ясно представляете себе Пушкина по-человечески? — спросила я.

— Да, вполне... «Арап, бросавшийся на русских женщин»,— как говорил С.** Вы не знали этого? Да, он Пушкина не выносил. Ненавидел. Быть может, завидовал ему: соперник! С. был человеком таким причудливым, что мог и завидовать Пушкину. Оленька, которая знала С. гораздо ближе, чем я, говорит, что оно так и было... А если вы хотите представить себе Пушкина по-человечески — прочтите его пометки на полях стихотворений Батюшкова. В своих статьях Пушкин себя одергивал — как всегда все себя одергивают в искусстве, нельзя же подавать себя au naturel — а тут, на полях книги, он писал безоглядно для себя самого. Батюшков к тому времени уже умер или был уже сумасшедшим, во всяком случае, как живой поэт, сброшен со счетов. Против «Умирающего Тасса» Пушкин писал: «Разве это умирающий Тасс? Это умирающий Василий Львович». Правда, прелесть?

Мы вошли в ее маленький дворик через Занимательный вход.

— Как жаль, что садик ваш огородили,— сказала я.

— Да, очень. Николаю Николаевичу дали билет туда, а мне нет.

— Это почему же?

— Все потому же. Он — человек, профессор, а я кто? Падаль.

«Все равно это ваши деревья, ваш дом и сад»,— подумала я, но сказать не успела. Навстречу нам шла Таня. Она сообщила Анне Андреевне, что наверху ее ждет Владимир Георгиевич. Анна Андреевна быстро со мной простилась и пошла вверх по лестнице. А я зашагала рядом с Таней. Я ей сказала, что, на мой взгляд, Анна Андреевна очень поправилась, и все — благодаря ее, Таниным, трудам. «Да уж я стараюсь для ей всё»,— ответила польщенная Таня. Я спросила, чем она будет сейчас кормить Анну Андреевну. «А вот щец дам, потом буду себе блинчики печь и ей напеку из своего. Мы с этим не считаемся, когда ейное нам перейдет, когда наше ей».

9 марта 40.

Сегодня вечером Анна Андреевна пришла меня навестить. Я усадила ее в Люшиной комнате — Люша в это время лежала у меня в постели и ее смотрел врач. Когда

---

* О связях пушкинского творчества с традициями классической западно-европейской поэзии, о наблюдениях, сделанных Анной Ахматовой, см. прим. на стр. 10.

** По-видимому, Федор Сологуб. Это явствует из дальнейшего текста: О. А. Глебова-Судейкина, о которой дальше говорит А. А., дружила с Сологубом.

доктор ушел, Ида перенесла Люшеньку в ее кровать. Анна Андреевна ласково возле нее посидела, а я пока застлала у себя постель и привела комнату в порядок.

У меня Анна Андреевна закурила и заговорила, сидя глубоко на диване.

— Я так устала... Каждую ночь пишу... Клин *.

— Николай Николаевич отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижаться: почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много. Шесть лет я не могла писать. Меня так тяготила вся обстановка — больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, в чем дело: идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна: служит, получает 400 рублей жалованья в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал на это прокрустово ложе, а я и не хозяйка, и без жалованья... Если бы я дольше прожила с Владимиром Казимировичем, я тоже разучилась бы писать стихи.

— А там вы кем должны были быть? — спросила я.

— Там — никем, но просто человек был невозможный для совместного обитания.

Я спросила, любит ли Николай Николаевич ее стихи.

— Этого разобрать нельзя — любит или не любит. Он ведь человек бессознательный.

Я сказала ей, что «клин» хоть и непонятен мне, по понятно, что автор говорит о чем-то ему известном, в самом деле бывшем: так очень часто случается в стихах у Пастернака. Прямой смысл неясен, но ясно, что речь идет о подлинно состоявшемся.

— Да, у него так бывает, вы правы. И часто. Но случается и по-другому. Вот, например,— она вскочила с дивана и взяла с полки стихотворения Пастернака,— вот, например, «Баллада». Как ни старайся, а ничего понять нельзя. Тут еще какой-то сюжет мельтешит...[45]

— Мне он подарил эту книгу с надписью: «Анне Андреевне, в звуке долгой. После ссоры». А ссора была такая: приехав в Ленинград, Борис Леонидович передал для меня одному общему знакомому 500 рублей. Я была в это время больна и с ним не видалась. Выздоровев, я поехала в Москву, продала свой архив Бончу. Приношу Борису Леонидовичу деньги. Он — ни за что, шумит, не принимает. «Я от вас никак не ожидал. Я вам их с таким чистым чувством принес».— «Я тоже с таким чистым чувством продавала свой архив». Он так сердился, что даже хватал меня за коленки, сам того не замечая.

Я спросила:

— А вы не находите — странно устроена душа человеческая: стихи, даже самые великие, не делают автора счастливым? Ведь вот Пушкин: он ведь знал, что это он написал «Медного всадника»,— и все-таки не был счастлив.

— Не был. Но можно сказать с уверенностью, что больше всего на свете он хотел писать еще и еще...

За нею зашел Владимир Георгиевич. Она сразу переменилась. Не то он мешал ей и мне, не то я ей и ему. Они скоро ушли.

11 марта 40.

Сегодня Анна Андреевна позвонила днем — не могу ли я прийти. Я пошла.

В том же черном халате, но из-под халата большой белый воротник новой ночной рубашки. Она стала похожа не то на Байрона, не то на Марию Стюарт.

— Вот, взгляните,— и протянула мне рецензию.— Это вчера Ж. принес мне собственноручно **.

Я прочла. Сначала — дубовые похвалы, потом — отверженье стихов, одного за другим, совершенно произвольное. Например, такая мотивировка: «бледно».

Она отложила рецензию в сторону. И прочла новые стихи. Какие-то дивные и не вполне уловимые ***. Я попросила прочесть еще раз: не совсем поняла. Она — отказалась: «Не кончено».

— Этого вы понимать и не обязаны... Так вот и сижу целыми ночами в кресле. Спать ложусь, когда уже все встают и уходят за сахаром.

Разговор о квартире.

— На новостройку я не поеду. Ни в Стрельну, ни в Лесной. Здесь ко мне все мои друзья близко, я до всех могу сама дойти пешком, а там я буду отрезана. И Владимир Георгиевич сможет навещать меня не чаще раза в неделю.

---

* Прочитала мне стихотворение «Все это разгадаешь ты один» (посвященное Борису Пильняку), где есть строчка «Тот солнечный, тот ландышевый клин». Она не сказала тогда, кому посвящены эти стихи, и я почему-то плохо поняла их, особенно слово «клин». № 18.

** Не могу вспомнить, кто это. По-видимому, Анне Андреевне показана была чья-то «внутренняя» рецензия на сборник «Из шести книг».

*** Она прочитала мне «Так отлетают темные души». № 19. Первую половину.

Не помню, каким путем, но разговор привел нас к ее уходу от Николая Степановича.

— Три года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко — нечего было и не в чем. За каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли.

Я рассказала ей, что в голодные годы меня больше всего унижала обувь, или, точнее, отсутствие ее. Когда мне было лет 12, я зимою, чтобы выйти на улицу, должна была надевать огромные калоши Корнея Ивановича поверх тапочек. Так и шла по улице — в шлепающих, падающих калошах.

— А для меня самым унизительным были спички. Их не было, и я с утра выбегала на улицу у кого-нибудь прикурить.

Оказалось, она любит Гончарова — «Обломова», а «Обрыв» — не любит.

— В «Обломове» есть поток жизни, сплошной, глубокий, плотный, которого у Тургенева никогда не бывало. У Тургенева всегда поверхность, фельетон. А «Обрыв» — неудача: этот роман написан слишком уж прямо в лоб времени. Очевидно, так в искусстве нельзя.

Вошла в комнату — не постучав — Таня, принесла завернутого в одеяло, похудевшего, хмурого Шакалика.

— Хочешь к Ане?

— Не хочу! — и отвернулся.

— Анна Андреевна, подержите его,— сказала Таня.— Я с утра не жрамши.

20 марта 40.

Я не была у Анны Андреевны довольно давно. Она звонила несколько раз, но я все не могла вырваться. Наконец сегодня и пошла, и не очень-то удачно: там были люди.

Анна Андреевна сама мне открыла. Губы слегка подкрашены, поверх халата — шаль.

— У меня Осмеркин [46] и Верочка *.

Анна Андреевна была молчалива и рассеянна, все больше сидела в кресле, раскинув руки. Скоро пришел И., Анна Андреевна без конца ходила в кухню, искала ложки, чашки — на кухне и у себя в шкапу. Наконец, все кое-как уселись чай пить. Разговор вертелся вокруг Эрмитажа и Русского Музея, развески картин, прочности красок и т. д. Анна Андреевна вытащила из-за шкапа какой-то холст, и все (кроме меня) угадывали: Судейкин это или Григорьев? Осмеркин прочел целую лекцию о манере письма того и другого.

Анна Андреевна снова уселась в кресло, раскинув руки, и совсем смолкла. Общий разговор шел без нее. И., сидевший на диване, два раза упал (диван, оказывается, тоже сломан); я каждый раз подскакивала чуть не до потолка; И. ушибался — но на Анну Андреевну эти происшествия не производили никакого впечатления. Наконец, И. и Осмеркин попросили ее почитать. Она заупрямилась было: «Я уже три ночи читаю их вслух, у меня от них горло болит». Но все-таки прочитала «Клеопатру» (с переменой в строфе о детях), «Мне ни к чему одические рати» (с переменой в последней строке). Она читала усталым голосом, иногда задыхаясь. И прочитала до конца то, которое я в прошлый раз не поняла. «Сотый». Какая там усталость — уже даже не предсмертная, а посмертная. И освобождение:

> Мне ничего на земле не надо...
> Скоро я выйду на берег счастливый...

И та мечта, которая гложет и меня, и не одну меня, конечно: если бы не случилось то, что случилось — проснуться утром:

> ...И Троя не пала, и жив Эабани...**

В половине второго все поднялись. Во дворе И. и Осмеркин решили идти пить к Вере Николаевне и усиленно приглашали меня. Я отказалась, сославшись на раннее вставание. Осмеркин предложил проводить меня до дому. Я и от этого отказалась, чтобы не расстраивать их компании, а главное потому, что мне было не страшно и хорошо идти одной.

> ...И Троя не пала, и жив Эабани.
> И все потонуло в душистом тумане...

---

* «Верочка» — Вера Николаевна Анненкова.

** Речь идет о стихотворении «Так отлетают темные души» — см. БВП, стр. 196. № 19.

Мне ничего на земле не надо...

Ни громов Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый...

21 марта 40.

Захватив свои тетрадки, я отправилась в библиотеку, но вместо этого свернула к Анне Андреевне.

Она пила чай в прибранной, чисто выметенной комнате.

Я предложила ей погулять по солнышку. «Я знала, что вы придете»,— сказала она и согласилась. «Подождем только, пока прогорит печка». Она села перед печкой в кресло, я возле нее на сундучке. Лицо ее, мгновениями озарявшееся беглым блеском печного огня, сегодня показалось мне сухим и темным, как на монете или на иконе.

Я спросила, кто придумал ей псевдоним.

— Никто, конечно. Никто мной тогда не занимался. Я была овца без пастуха. И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы. Это фамилия последних татарских князей из Орды. Мне потому пришло на ум взять себе псевдоним, что папа, узнав о моих стихах, сказал: «Не срами мое имя».— И не надо мне твоего имени! — сказала я.

Она протянула мне корректуру из «Ленинграда». Я прочла и предложила перемены в знаках, которые должны были отчетливее выделить ритмическую фигуру. Она все приняла.

— «И дает же Бог такой талант!» — сказала Анна Андреевна, глядя через мое плечо, когда я правила.— Мне бы ввек не научиться.

Это было очень смешно.

Вошла Таня:

— Анна Андреевна, идите мерить платье!

Анна Андреевна заколебалась было, но я ей объяснила, что мне все равно необходимо уйти по делу минут на 15.

Когда я вернулась, Анна Андреевна была уже у себя и ждала меня в пальто. Однако на улице солнце уже померкло. Мы отправились в сад возле Инженерного замка.

— Вы, я вижу, этот сад любите? — сказала я.

— Да, это моя постоянная резиденция... А платье макабристое. Знаете, кто его шьет? Водопроводчица. Жена водопроводчика.

Мы сели на скамеечку, залитую солнцем. Перед нами — две березы, и белые стволы освещены так ярко, что больно смотреть.

— Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине,— сказала мне Анна Андреевна.— А Осмеркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время — пьяная последняя правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему. Тема одна-единственная — вот и у Браунинга была одна тема, но он ею виртуозно владел, а тут — какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет.

Мы пошли по Фонтанке к Летнему. Во дворе Инженерного замка учили солдат. От Марсова Поля неслась музыка. С Пантелеймоновской нам стало видно — там развеваются знамена. Анна Андреевна пыталась разглядеть, что там делается, но на Пантелеймоновской густо толпились люди и машины. Ничего не видать. На лакированных боках и в стеклах машин вспыхивало, ослепляя, солнце. Мы повернули домой.

Долго не могли пересечь Фонтанку: она боялась.

— Как я завидую тем, кто не боится!

Она рассказала мне о своем брате, отравившемся, когда у него от малярии умер ребенок.

— Оставил нам письмо — замечательное. О смерти ни слова. Кончалось оно так: «Целую мамины руки, которые я помню такими прекрасными и нежными и которые теперь такие сморщенные». Жена его тоже приняла яд вместе с ним, но когда взломали дверь и вошли в комнату, она еще дышала. Ее спасли. Она оказалась беременной и родила вполне здорового ребенка.

9 апреля 40.

Анна Андреевна была у меня вечером 29-го, то есть в вечер моего отъезда в Москву. Нарядная, причесанная, в ожерелье — видно, шла куда-то или откуда-

то. У меня была Шура. Анна Андреевна прочитала нам «Кто может плакать в этот страшный час» *.

Вчера я вернулась из Москвы и не успела чемодана разобрать — телефон. «Вы приехали? Приходите же! Приходите как можно скорее!»

Я пошла днем.

С наслаждением, со счастьем шла по городу.

Анна Андреевна сама мне открыла.

— Ну, как ваши успехи? — спросила я, когда мы уселись.

— Пока что одни неуспехи. Читала в Выборгском Доме Культуры. Туда билеты дают наверное чуть не насильно. Я вышла и сразу почувствовала: Боже! как им хочется в кино или танцевать!

Она протянула мне «Ленинград» № 2.

— Вы уже видели это?

— Нет.

Я стала перелистывать. Океанский пароход, плавающий в пруде. Она вынула из моих рук журнал:

— Лучше я вам новое почитаю.

Прочла про плакальщиц **.

Рассказала о распределении стихов в обеих книгах.

Потом о своем визите к Тынянову.

— И я еще жаловалась вам — помните? — что он со мной как-то вяло говорил по телефону. Я перед ним виновата. Он просто болен. Очень болен. Шапка молодых каштановых волос, а под ними крошечное сморщенное старческое личико. Он вышел в переднюю меня проводить и вдруг упал на пол и, представьте себе, я его сама подняла. Одна! О! какой он легонький — как тряпочка.

Потом рассказала, что была в Издательстве,— оформляла сборкнижку — и там ее упросили подняться в редакцию.

— Были ли вам оказаны соответствующие почести?

— Да! Божеские! И надарено было книг. Я прочитала. Ужасно. После этого никаких стихов читать не хочется и писать невозможно. Все похожи друг на друга.

— Был у меня Цезарь Самойлович ***. Послушайте, он же совсем болен. Посмотрите, как он надписал мне свою книгу — видите: «Анне Андреевой». Меня часто переименовывают. Один мой поклонник, заика, недавно в одном доме сказал: «еееёё н-напечатали».— «Кого ее?» — «Астафьеву».

Много расспрашивала о Николае Ивановиче.

— Он обрадовался, узнав, что я приеду?

— Очень!

Помолчали. Потом:

— А знаете,— сказала Анна Андреевна,— Николай Николаевич сильно разгневался по поводу «От тебя я сердце скрыла». Ходит как туча.

— Разве он раньше не знал?

— Знал, конечно, а теперь вот вдруг обиделся. Но мне это все равно ****.

Пришел Владимир Георгиевич, поговорили о билете в Москву и о выступлении 11-го *****. Я простилась.

— Я ведь еще увижусь с вами до своего отъезда, не правда ли? — сказала Анна Андреевна, провожая меня.— Я приду к вам.

3 мая 40.

1-го, по поручению Анны Андреевны, позвонил Владимир Георгиевич: Анна Андреевна приехала и просит зайти. Но мне не с кем было оставить Люшу: Ида празднует. Я попыталась мобилизовать кого-нибудь из друзей — не удалось.

2-го, вчера, перед вечером, она пришла сама. Нарядная и почти румяная.

---

* Прочитала стихотворение, посвященное Борису Пильняку, «Все это разгадаешь ты один». Когда я слушала его впервые, оно показалось мне не вполне понятным: «клин».— БВ, «Тростник»; № 18.

** По-видимому, кусок из поэмы «Путем всея земли»: «Я плакальщиц стаю веду за собой» — БВ, «Тростник»; № 20. Пользуюсь случаем, чтобы исправить замены и цензурные искажения в БВ: на стр. 288 следует — «Там ласточкой реет/Старая боль», а на стр. 284 вместо «Из аквамарина/Пылает закат» — «O Salve Regina! — /Пылает закат»; на стр. 287 вместо «За новой утратой/Иду я домой» — «Столицей распятой/Иду я домой».

*** Вольпе.

**** Напоминаю читателю, что это стихотворение в марте 1940 года появилось в печати (в журнале «Ленинград», № 2); № 21.

***** Каном, где — не помню.

— Как вы хорошо выглядите! — сказала я.

— Ну что вы! Просто вымылась горячей водой и напудрилась. А чувствую себя очень плохо. Устала в Москве. Там, где я жила, паровое отопление, а моя базедова этого не переносит.

— Вы много бывали в гостях в Москве?

— Нет. Я только брала такси и ездила к Николаю Ивановичу. Что за голова у него! Как вы думаете — мне это важно знать,— способен он с восхищением говорить о стихах, если они ему не нравятся?

— Нет. Конечно, нет. Он вообще не дает себе труда лгать. А уж о стихах!

— Знаете, что он сказал мне? «Я всегда любил вас, но раньше был равнодушен к вашим стихам. А теперь я понимаю, что ваши стихи даже лучше вас. Вы заставляете меня любить ненавидимое». Он так сказал, но все это на самом деле не так. Я сейчас прочитала верстку и ясно увидела: какая бездарная, какая мелкая, какая ничтожная книга.

Я не перечила, мне хотелось понять. И она объяснила мне *. Я ее не утешала. Чем же тут утешить. Я только напомнила ей: будет иначе.

Она устало махнула рукой.

Потом рассказала мне свой новый замысел: «Думали: нищие мы» *а)*, «Страх, во тьме перебирая вещи» *б)*, «Но сущий вздор, что я живу грустя» *в)*, «Привольем пахнет дикий мёд», *г)* и пр.** И добавила:

— Покойный Алигьери создал бы десятый круг ада.

Прочитала два новых: о башне. И впечатления от стихов ***.

— А как понравилось в Москве «Путем всея земли»? — спросила я.

— Тишенька **** в восторге от «времени назад», а Борису Леонидовичу не понравилось. Он не сказал этого, но я догадалась.

Потом:

— Если б вы знали, как меня встретил Вовочка! «Наша Аня приехала!» А когда я уходила, была уже в пальто и Таня вышла с ним в переднюю, он потянулся к дверям: «Надо Ане открыть дверь». Такой трогательный. Я решила взять для него дачу. Попрошу в Литфонде для себя и поеду с ним и с Таней. Валю отправят на лото в лагерь. А Шакалику воздух необходим.

Я спросила, как прошло ее выступление в Капелле.

— Все очень странно. По-моему, было самое обыкновенное выступление. Я ничего особенного не заметила. А Верочка и все другие знакомые уверяют, будто были овации.

6 мая 40.

Вчера я сильно устала днем и, вернувшись из библиотеки, легла. Звонок. Говорит Владимир Георгиевич: «Анна Андреевна нездорова и *умоляет* вас прийти».

Я отдохнула немного и пошла. Пошла, хотя и понимала, что ничего не случилось, что просто она не спала, ей тоскливо и она хочет, чтобы кто-нибудь сидел возле.

Действительно, она «просто не спала» — а я все-таки хорошо сделала, что явилась.

Опять халат, диван, скомканное одеяло, спутанные, нечесаные волосы. Трудно поверить, что какие-нибудь два дня назад она была так моложава, нарядна, победительна. Желтое, осунувшееся старое лицо. Жалуется на боль в ноге.

7-го будет верстка. Гослитиздата? «Издательства Писателей»? Не помню, перепутала. В общем — будет верстка. И Анна Андреевна хочет поручить мне читать и, главное, следить за тем, чтобы все — и знаки — совпадало с версткой, только что прочитанной Лозинским.

Я присягнула.

— Имейте в виду, там одиннадцать листов,— сказала Анна Андреевна.

— Не боюсь! — ответила я.

— В Гослите на 150 строк меньше, чем в «Издательстве Писателей». Из книги «Издательства Писателей» пока что вынули, сверх программы, только «Последний

* Ее мучило и угнетало, что в книгу не могли войти стихи, тогда самые для нее дорогие — из поэмы «Реквием», «Венок мертвым» и еще многие.

** В качестве особого цикла перечисленные стихи так и не появились. Но в разные годы в разных изданиях были опубликованы: а) «Белая стая»; № 22, б) ББП, стр. 168; № 23, в) «Москва», 1966, № 6; № 24, г) ББП, стр. 191; № 25.

*** «Впечатления от стихов» — по-видимому, «Про стихи» — БВ, Седьмая книга; № 26. «О башне» — это, вероятно, «Мои молодые руки» со строками: «Кто знает, как пусто небо/На месте упавшей башни,/Кто знает, как тихо в доме,/Куда не вернулся сын» — ББП, стр. 195. № 27.

**** Александр Николаевич Тихонов.

тост» *. Я уже заказала себе, по пониженной цене, 40 экземпляров; друзьям буду дарить книгу «Издательства Писателей», а Гослитиздата — никому.

Умолкла. Совершила обряд.

И лип взволнованные тени **.

И я сразу поняла все: желтизну, растрепанность, бессонность.

— Это вы сегодня ночью?

— Нет, вчера днем. Под непрерывные звонки из издательства.

Она надела очки и стала перелистывать свою тетрадь. Я увидела, что тетрадь исписана вся, до последней страницы. Она захлопнула ее, ничего не прочитав мне.

— Вам надо новую завести,— сказала я.

— Две новые заведены! Смотрите, какие.

Достала из комода два альбома, один старинный, чудесный, толстая бумага.

— Это мне Николай Иванович подарил. Пушкинского времени, видите?

Села на диван, поджав ноги, и взяла папиросу. Она сильно возбуждена — чем? — вероятно, скорым выходом книги, хотя и скрывает это. Показала мне свой портрет работы Тырсы, который будет приложен к книжке «Издательства Писателей». Мне не понравился портрет — очень уж внешний. А ей нравится. (Конец двадцатых годов.)

Закурив, она сказала:

— И все это понапрасну: портрет, корректуры... Не хватит бумаги или еще чего-нибудь не хватит. Посмотрим. Знаете, я поняла, почему я терпеть не могу своих ранних стихов. Я теперь все про них знаю с совершенной точностью. Я их давно не видала, а теперь ясно увидела в верстке, когда смотрела с Лозинским, и могу точно сказать, какие они: недобрые по отношению к герою, неумные, простодушные и бесстыдные. Уверяю вас, это совершенно точно. И нельзя понять — чем они так нравились людям?

Я сказала, что могу согласиться, пожалуй, только с одним: недоброта к герою.

— Нет, нет, все так, как я говорю... Опасная вещь искусство. В молодости этого не сознаешь. Какая страшная судьба с капканами, с волчьими ямами. Я теперь понимаю родителей, которые пытаются уберечь своих детей от поэзии, от театра... Подумайте только, какие страшные судьбы... В молодости этого не видишь, а если и видишь, то ведь «наплевать»...

Она была возбуждена и сосредоточена. Ей хотелось разговаривать.

— Вы ведь знаете Лотту? Самая острая женщина. Сплошное острие. Она очаровательна. Я ей на днях говорю: «Хочу вам прочесть, Лотта, я написала одно стихотворение...» А она мне: «Кто? Вы?» Правда, прелесть? Это очень смешно: — «Кто? Вы?» [47]

Мы заговорили о Достоевском.

— Я недавно перечла Достоевского: «Идиот», «Подросток» и «Униженные и оскорбленные». Да, вы правы, «Идиот» лучше всех. Поразительный роман. И знаете, что я заметила? Вы никогда не думали о старичках у Достоевского? Об этих надушенных, учтивых, порхающих, шаркающих, французящих, влюбчивых, наивных старичках? Я поняла, что это все — люди пушкинской поры, зажившиеся на свете, и он показывает их такими, какими они представлялись его поколению. Такими он и его сверстники видели людей пушкинской поры — таким был для них, например, князь Вяземский.

Я стала расспрашивать ее о Москве, о Борисе Леонидовиче.

— Он погибает дома... Своих стихов он уже не пишет, потому что переводит чужие — ведь ничто так не уничтожает собственные стихи, как переводы чужих. Вот Лозинский начал переводить и перестал писать... Но у Бориса Леонидовича главная беда другая: дом. Смертельно его жаль... Зина целыми днями дуется в карты, Леничка заброшен. Он сам говорит: Леничка в каких-то лохмотьях, а когда пытаешься ей объяснить — начинается визг. Все кругом с самого начала видели, что она груба и вульгарна, но он не видел, он был слепо влюблен. Так как восхищаться решительно нечем было, то он восхищался тем, что она сама моет полы... А теперь он все видит, все понимает ясно и говорит о ней страшные вещи... Если бы он произносил их наедине со мною, я бы никому не повторила, конечно, но он говорил о Зине при Нине Антоновне, которую едва знает. Мы с Ниной друг на друга глаз поднять не смели — так было неловко [48]. «Это — паркетная буря, побывавшая у парикмахера и набравшаяся пошлости». Точно, не правда ли? Потом: «Была бы, по крайней мере, чем-нибудь чрезвычайным, знаете,

* № 28.

** А. А. записала — дала мне прочесть — сожгла над пепельницей «Уже безумие крылом» — стихотворение о тюремном свидании с сыном; № 29.

Впервые напечатано с тяжелыми цензурными искажениями и под заглавием «Другу» в сб.: Анна Ахматова. Избранное. Ташкент, «Советский писатель», 1943. Затем, в 1974 г. с цензурными искажениями и с опечатками — в сб.: Анна Ахматова. Избранное. М., «Художественная литература». Текст, наиболее достоверный, см.: «Нева», 1987, № 6 («Requiem»).

как тот сарай, который можно иностранцам показывать: вот какой у нас страшный сарай! — как было, например, у меня (она указала пальцем в стенку, за которой живет Николай Николаевич) — а то самая обыкновенная пошлячка». Он понимает все, но не уйдет, конечно. Из-за Ленички. И, кроме того, он принадлежит к породе тех совестливых мужчин, которые не могут разводиться два раза. А в такой обстановке разве можно работать? Рядом с пошлостью? Нищета еще никогда никому не мешала. Горе тоже. Рембрандт все свои лучшие вещи написал в последние два года жизни, после того, как у него все умерли: жена, сын, мать... Нет, горе не мешает труду. А вот такая Зина может все уничтожить...

— Но, если она такая,— сказала я,— то непонятно, зачем ей Борис Леонидович? Не только ему нужна другая жена, но и ей — другой муж. Ведь он для нее тоже должен быть неудобен.

— Видите ли, их роман начался в разгар его благополучия. Он был объявлен лучшим поэтом, денег было много, можно было кататься в Тифлис в спальном вагоне. Ах, если бы теперь можно было бы найти для нее какого-нибудь преуспевающего бухгалтера. Но, боюсь, это не удастся.

Я сказала, что мне очень понравился пастернаковский перевод «Гамлета».

— Да, да, и я его полюбила. Я так счастлива за Бориса Леонидовича: все хвалят, всем нравится, и Борис Леонидович доволен. Перевод действительно превосходен: могучая волна стиха. И, как это ни странно, ничего пастернаковского. Маршак сказал мне, что, по его мнению, Гамлет в пастернаковском переводе слишком школьник, упрощен, но я не согласна с этим. Жаль мне только, что пастернаковский перевод сейчас принято хвалить в ущерб переводу Лозинского. А он очень хорош, хотя и совсем другой. Перевод Лозинского лучше читать как книгу, а перевод Пастернака лучше слушать со сцены. С сущности незачем пренебрегать одним для другого, а надо просто радоваться такому празднику русской культуры.

Я заговорила о непонятных для меня вкусах Бориса Леонидовича в поэзии; я видела письмо его к нашему Коле *, в котором он с бурной похвалой отзывался о стихах Всеволода Рождественского.

— О, это он всегда так. И в этот мой последний приезд в Москву тоже так было. Он привел к Федину Спасского, который хотел послушать мои стихи. И тут же, при нем, повторял бесконечно: «Сергей Дмитриевич создал нечто грандиозное, я уже целых три дня живу его последними стихами». И все вздор. Стихи Рождественского — ведь это такое убожество, ни слова своего, и, конечно, Борису Леонидовичу они ни к чему. Он часто хвалит из самой наивной, грошовой политики. Уверяю вас. Ему мерещится, что так для чего-то кому-то надо. А иногда он и сам не понимает, что говорит. Вот ему не понравилось «Путем всея земли». А он гомерически хвалил, необузданно.

— Откуда же вы знаете, что ему не понравилось?

— Я догадалась. Во-первых, он сказал: похоже на Мандельштама. А Мандельштама он терпеть не может, он позабыл, что говорил мне об этом раньше. Потом он сказал: «это так прекрасно, что не может существовать одно. Я уверен, где-то еще существует подобное». Я догадалась потом: подобное — это настоящие стихи, его собственные, которые он еще не написал, а я написала; но мое — это не настоящее, это случайное, а настоящее — подобное — это его, это то́, что должно быть и будет... Такова его подсознательная мысль, он сам ее еще не понял, а я догадалась.

Вскипел чайник. Анна Андреевна как всегда пустилась бродить по комнате, разыскивая необходимые для чаепития предметы: «Куда запропастился сахар? Таня достала мне сахар и очень гордилась этим, а теперь он исчез».

Сахар нашелся. Она села, разлила по чашкам чай и снова принялась говорить.

— А главная причина всех этих неистовых похвал Бориса Леонидовича — профессиональная болезнь, которой страдают все литераторы. Это, как мозоль у пахаря. Писатель, поэт не способен спокойно относиться к своим вещам и к их судьбе. Вот сейчас Борис Леонидович страшно огорчен, что Корнею Ивановичу и Самуилу Яковлевичу не понравился его перевод. А что тут огорчительного? Одним нравится одно, другим другое. И — хуже: он перестает любить людей, которым что-то из его вещей не понравилось. Меня он любит главным образом за то, что я посвятила ему стихи, и за то, что я люблю его поэзию.

— А вашу поэзию он любит?

— Вряд ли. Он когда-то читал мои стихи — очень давно — и позабыл их. Помнит, может быть, случайные строчки. А вообще-то стихи ему ни к чему. Вы разве не замечали, что поэты не любят стихи своих современников? Поэт носит в себе собственный огромный мир — зачем ему чужие стихи? В молодости, лет двадцати трех — двадцати четырех, любят стихи поэтов своей группы. А потому уже ничьи не любят —

* «Наш Коля» — мой старший брат, Николай Корнеевич Чуковский. О нем см. «Заметки», т. 2.

только свои. Остальные не нужны, они ощущаются как лишние, или даже враждебные.

Помолчав, она сказала:

— Во мне множество недостатков, пороков даже, но человеческих, а болезней профессиональных во мне нет. Мне нисколько не мешает, если человек не любит моих стихов. Что писал обо мне Мандельштам! «Столпник паркета»! Уж, кажется, куда обидней [49]

— Но ведь вас он любил?

— Да, вероятно. А я его очень любила. Как я их обоих люблю, и Осипа, и Бориса Леонидовича.

— Кто же в силах не любить Бориса Леонидовича! — сказала я.

— Находятся такие, однако. Асеев, например... Но Осипа, уверяю вас, тоже нельзя было не любить, хотя он совсем другой, чем Борис Леонидович... Трудно о нем рассказать, объяснить его. Вот, умрет Борис Леонидович, и тоже нельзя будет объяснить, в чем было могущество его очарования. С Осипом я дружна была смолоду, особенно подружилась в 37-м году. Да, в 37-м. Стихов моих он не любил [50], но если бы я была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее. Он мне, потихоньку от Нади, рассказывал обо всех своих любвях: * он всю жизнь легко влюблялся и легко разлюблял... А один раз он сказал мне: «Я уже готов для смерти».

Я поднялась, прощаясь. Она встала.

— А профессиональных болезней во мне нет, уверяю вас. И знаете почему? Я не литератор.

Она проводила меня до самых дверей. Было два часа ночи. В дверях она сказала:

— Только не думайте, пожалуйста, что я говорила вам что-нибудь плохое о Борисе Леонидовиче.

10 мая 40.

Третьего дня с утра мне позвонила Анна Андреевна: просит прийти. Гослит сейчас пришлет ей корректуру. Я отправилась. Мы долго сидели, пили чай, смотрели на часы, ждали. Анна Андреевна жаловалась, что сборник Гослита гораздо хуже «Издательства Писателей»: на 150 строк меньше, без эпиграфов, и вообще «Ахматова pour les pauvres» **.

Цветная книга. Ее оглавление ***.

Наконец принесли корректуру. Действительно, вид убогий, неряшливый. Анна Андреевна хотела, чтобы новые вещи были непременно сверены с корректурой «Издательства Писателей» — с той, которую держал Михаил Леонидович. Я позвонила в Издательство нашей милой Тане [51], но она сказала, что корректура уже ушла в типографию и ничего поделать нельзя. Анна Андреевна сердилась и заставляла меня звонить несколько раз: «Скажите ей, что дефективная старуха ничего не понимает и требует». Но я-то понимаю, и мне было неловко перед Танечкой, которая и без моих звонков все готова была сделать для Анны Андреевны. Таня позвонила через час сама и предложила вот что: пусть Анна Андреевна, пользуясь своим правом автора, задержит у себя корректуру Гослита — на 4 дня, как положено законом — а к тому времени в редакцию подоспеют листы. Но Анна Андреевна сказала: «я не в силах с ними препираться, Гослит торопит».

Я схватила корректуру и отправилась к Тусе ****: она все сделает идеально, не хуже Лозинского. Мы работали запоем, почти не отрываясь с четырех часов дня до часу ночи. Когда мы кончили, я позвонила Анне Андреевне — она просила, чтоб я принесла верстку не утром, а сейчас же.

Я принесла.

Вчера вечером она пришла ко мне с портфелем. Впервые я видела у нее в руках портфель! Вялая, раздражительная — по-видимому, суета вокруг книги утомляет ее, а тут еще из Москвы вести о безрезультатном походе Б.*****

Она развернула свой список поправок — кое-где новые варианты, новая пунктуа-

* «Надя» — жена Осипа Мандельштама, Надежда Яковлевна. О ней см. Э. Г. Герштейн «Новое о Мандельштаме» (Paris, Atheneum, 1986); мои «Записки», т. 2 и т. 3; Анна Ахматова. «Мандельштам (Листки из дневника)», а также: Никита Струве. «Восемь часов с Анной Ахматовой» — в книге: Анна Ахматова. Сочинения. Международное литературное содружество. т. 2, 1968, с. 176 и 327. (В дальнейшем это издание мы будем для краткости именовать так: «Сочинения».)

** pour les pauvres (*фр.*) — для бедных.

*** Эту строчку расшифровать не могу. По-видимому, речь идет о какой-то задуманной, но не состоявшейся книге.

**** К Тамаре Григорьевне Габбе.[52]

***** Какая-то неудача в хлопотах о Леве.

ция и опечатки. Опечатка, которая привела ее в бешенство — «иглой» вместо «стрелой» в строках:

> И башенных часов большая стрелка
> Смертельной мне не кажется иглой.

— Что за бессмыслица! Смертельны стрелы, а не иглы. Как невнимательно люди читают стихи. Все читают, всем нравится, все пишут письма — и не замечают, что это полная чушь *.

Затем она указала мне новую пунктуацию в конце стихотворения «Как белый камень в глубине колодца»: строка «Чтоб вечно жили дивные печали» должна быть знаком оторвана от последующей («Ты превращен в мое воспоминанье»); к ней она не относится **.

Потом я принялась ее допрашивать по нашему с Тусей списку. И предлагать некоторые перемены в пунктуации. Она отвечала и соглашалась охотно. Только один раз, когда я предложила многоточие, ответила: «Не надо... Не люблю». Иногда она не могла ответить на вопрос — такой или другой поставить знак? Тогда я просила ее прочесть вслух 2—3 строчки и ставила знаки в соответствии с ее интонациями.

Она продиктовала мне строфу из стихотворения «Борис Пастернак», наличествующую в книге «Издательства Писателей» и почему-то убранную в Гослите. И восстановила несколько эпитетов ***.

Танечка прислала ей экземпляр, который вернул Юрий Николаевич из Детского — тот самый, с поправками Анны Андреевны и Михаила Леонидовича. Я взглянула: в самом деле, совсем другой вид. Ю. Н. и Таня добились со скандалом старинного шрифта.

Все новые стихи в верстке Гослита я, строка за строкой, считала с экземпляром «Издательства Писателей». Анна Андреевна не помогала мне, даже мешала, заговаривая, но смотрела с благоговением на корректурные значки и смешно радовалась моему умению их ставить.

Я кончила.

— Неужели все стихи кажутся вам плохими? — спросила я, вспомнив давешний разговор.

— Все, или почти все... Уверяю вас: плохие стихи, плохая книга. А вот: «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день» — это я люблю ****.

Я сказала, что стихи «Где, высокая, твой цыганенок» меня всегда трогали чуть не до слез *****.

— Это давние дела,— непонятно ответила Анна Андреевна. И, ничего не объяснив, продиктовала мне мелкие поправки к стихотворению «Не будем пить из одного стакана» ******.

— Михаил Леонидович обиделся, увидав, что я переменила, сделала не так, как было в молодости. И вот, восстанавливаю по-старому,— объяснила она.

«Как? Значит это ему!» — подумала я, но не произнесла.

Ида подала нам обед. Анна Андреевна старалась быть приветливой и любезной, но была суха и рассеянна. Впрочем, очень мило рассказала о нашем Данииле Ивановиче; она познакомилась с ним на днях, и он ей понравился.

— Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему «Путем всея земли». Он сказал: да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости мало [53].

Она заторопилась домой: Владимир Георгиевич к 6 часам должен привезти какого-то врача.

Ушла. А из Гослита ко мне прислали за версткой. Я написала руководство для техредов и корректоров; приложила также фотографию, принесенную Анной Андреевной (1936, «хорошая фотография, тут я уже не моложусь»).

А вечером, вернувшись из редакции домой, позвонила мне Таня. Оказывается, вокруг книг Анны Андреевны целая интрига — и она была права, не желая подписы-

---

* Опечатка «иглой» вместо «стрелой» в стихотворении «Слаб голос мой, но воля не слабеет» возникла в сборнике «Белая Стая» (1917); и, к моему удивлению, несмотря на поправку Анны Андреевны, та же опечатка повторена в сб. «Из шести книг» на стр. 122. Во всех последующих изданиях и вплоть до «Бега времени» — «стрелой» (стр. 93).

** Однако в обоих сборниках — и в «Из шести книг» и в «Беге времени» — пунктуация не соответствует моей записи.

*** Которая строфа — не помню; одна из трех: IV, V или VI, а эпитеты, кажется: «смертельный» и «кладбищенский».

**** БВ, «Четки». № 30.

***** ББП, стр. 109; № 31.

****** БВ, «Четки». № 32.

вать договор с двумя издательствами сразу. Гослит ее обманул, уверив, будто располагает каким-то особым разрешением. Никакого у них нет и быть не может: напротив, выпускать одинаковые книги одновременно в двух местах запрещено категорически. И теперь каждое издательство торопится выпустить книгу первым, чтобы поставить под удар чужую.

И все это плетут вокруг человека, который так не хочет, изо всех сил не хочет оказаться в ложном недостойном положении...

Я ей не расскажу. Она заболеет. Сделать же все равно уже ничего нельзя.

А что, если первой выйдет «Ахматова pour les pauvres»? А «писательская» не выйдет совсем? *

11 мая 40.

Вчера вечером, когда у меня сидели Шура и Туся, позвонил Владимир Георгиевич и сказал, что Анна Андреевна просит разрешения зайти и показать корректуру из «Звезды». Мне это было не особенно удобно (мы работали), но я, разумеется, сказала «жду».

Она появилась очень поздно, в двенадцатом часу, нарядная, вся в черном шелке, любезная, светская и даже веселая. Познакомившись с Тусей (Шуру-то она уже видела раньше), она сразу сообщила нам весьма оживленно, что потеряла брошку — египетскую — целых два часа искала и так и не нашла. «Брошка лежала на комоде... Беда в том, что у Пуниных домработница новая».

— У меня сегодня две неприятности,— весело пояснила она,— во-первых, брошку потеряла, во-вторых, вот эту книгу приобрела.

И протянула Тамаре книгу, полученную ею сегодня в подарок от Шкловского. Туся огласила надпись... Кончается так: «мне очень трудно» [54].

Анна Андреевна отозвалась о книге крайне неодобрительно. Затем она вручила мне верстку своих стихов в «Звезде». Я прочитала. Опечаток уйма. Анна Андреевна проявила полную непоследовательность, разрешив мне вставить в «Бориса Пастернака» новое четверостишие, но не разрешив заменить эпитеты **. Затем, для верности, прочитали корректуру по очереди и Шура, и Тамара.

«Последний тост» решено выбросить, чтоб не дразнить гусей.

Шура ушла. Мы сели чай пить. Заговорили о деятельности Петра Иваныча.

— Это как бубонная чума,— сказала Анна Андреевна.— Ты еще жалеешь соседа по квартире, а уже сама катишь в М.***

Я попросила Анну Андреевну почитать стихи — попросила и сейчас же раскаялась: ей, видно, не хотелось, но она считала неловким отказать мне и Тусе после того, как мы возились с ее корректурами.

— Скажите, Лидия Корнеевна, что читать? — спросила она подчеркнуто покорным голосом.

Она прочла про память (с новыми первыми строчками), потом начала какую-то поэму 1924 года, но сбилась и бросила, потом «Путем всея земли» ****.

Туся заговорила о «Путем». Сказала, что вещь очень современная, что вещь отозвалась на гул времени.

— Я все стараюсь обобщить,— ответила Анна Андреевна,— каким людям она нравится, каким — нет. Но обобщение не удается. Я думала: искушенным в литературе будет нравиться, людям попроще — нет. А все оказалось не так. Борису Леонидовичу она, например, совсем не понравилась. Хармс упрекнул ее в недостаточной толковости. А вот Александру Николаевичу ***** она так понравилась, что он обошел вокруг стола, чтобы поцеловать мне руку, и говорил всякие высокие слова... Ну, что вам еще прочесть? Никак не вспомню.

— Не читайте ничего,— сказала я.

— А можно? Тогда я не буду.

Но чуть только Тамара начала рассказывать о работе над исторической хрестоматией и перечислила несколько заглавий, Анна Андреевна, наверно по ассоциации, сама предложила: — Я вам прочту «Клеопатру».

---

* Случилось наоборот: «Из шести книг», сборник «Издательства Писателей», вышел; гослитовский же не вышел совсем. Когда именно была прикончена гослитовская книжка и при каких обстоятельствах — не знаю.

** В пятом четверостишии: «февральская» (вместо «московская»), «прозрачный» (вместо «смертельный»). См. «Звезда», 1940, № 3—4; № 1.

*** В Магадан.

**** «Про память» — «Подвал памяти»; поэма 1924 года — «Русский Трианон». Сохранившиеся отрывки из этой поэмы (и черновые наброски к ней) см. в сб. «Памяти А. А.», стр. 12, а также ББП, стр. 326.

***** Тиховону (Сереброву).

Прочла. Потом смешно рассказала о своей беседе в Москве с одной молодой поэтессой.

— Я в Москве чувствовала себя плохо, уставала, мучилась от парового отопления и ждала звонка. А тут меня стали просить, очень настойчиво, чтобы я приняла одну молодую даму, пишущую стихи, мечтающую меня увидеть и т. п. Просили люди, у которых я гостила, и я не могла отказать им. Назначили время. Она явилась, страшно извинялась, что по каким-то причинам не принесла мне в подарок свою книгу, прочитала стихи. Я вообразила, будто она интересуется моим мнением, подробно разобрала одну ее вещь и сказала ей, между прочим, что вот у Пушкина в «Полководце» и Эрмитаж, и Барклай, и время, и он сам — и все это умещается на сравнительно небольшой площади — а у нее вещь длинная, но незаполненная. Она ответила: «И у Пушкина не всегда так». Потом я читала ей свои стихи. Прочла несколько стихотворений, после одного она сказала: «Вот *это* хорошо». Когда она ушла, мне объяснили, что она очень важная шишка. Значит, я совершенно напрасно вела себя с ней как мэтр.

— По-видимому,— сказала Туся,— она представляла себе это свидание иначе: встреча двух представительниц поэзии разных поколений. В ее мечтах вы на прощание подарили ей свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя»...

Когда Анна Андреевна и Туся собрались уходить, было два часа ночи. Мы вышли все втроем. На улице было тепло, полусветло и тихо. Изредка нам попадались пьяные. Один из них крикнул нам: «Д-девочки, пойдемте».

— Однажды я шла от вас,— припомнила Анна Андреевна,— был какой-то праздник — и ко мне не приставал только тот мужчина, который в эту минуту приставал к какой-нибудь другой женщине. Им ведь все равно: от 15 до 65 лет все годятся.

Мы подошли к Невскому. Он был пуст. Анна Андреевна пересекла его вместе с нами свободно и легко.

— Когда уже нам удастся разлюбить этот город! — сказала я.

— Мне это уже вполне удалось,— отозвалась Туся.

— Я тоже увидала другой его лик,— сказала Анна Андреевна, сразу догадавшись, что имеет в виду Тамара *.— А вы заметили: в конце Литейного всегда, когда ни взглянешь, лежит туча. Она бывает разных цветов, но лежит там всегда.

Продолжая разговор о пьяных, Анна Андреевна рассказала, как, когда у нее однажды на улице подвернулся каблук и она топнула ногой, чтобы он стал на место, один прохожий сказал: «Ты мне еще топни, топни, посмей только!»

— А жаль, что из города почти исчезли лошади,— сказала Туся.— Я любила из-за окон цокающий стройный звук, или мягкий на торцах.

Анна Андреевна стала рассказывать о верховой езде, то есть о том, как ездил верхом Н. С. **

— Когда К. Г. *** был вольноопределяющимся, я навещала его под Новгородом, и он говорил мне, что учится верховой езде заново. Я удивлялась — он отлично ездил на лошади, красиво и подолгу, по много верст. Оказалось, это не та езда, какая требуется в походе. Надо, чтобы рука непременно лежала так, а нога этак, иначе устанешь ты или устанет лошадь и т. д. И без битья не обходится ученье. Он рассказывал, что великого князя берейторы стегали по ногам.

Мы дошли до ее ворот со стороны Литейного. Тут Туся простилась с нами. Анна Андреевна любезно пообещала прислать ей книгу в подарок. Я, как всегда, проводила Анну Андреевну через двор и вверх по лестнице до самых дверей. И, как всегда, идти от нее назад мне было почему-то совсем не страшно. Впрочем, ночи уже не черные, а серые.

14 мая 40.

У Анны Андреевны беда — все то же. Из доброго ее колдовства ничего не прядется.

Сегодня она вызвала меня к себе днем, усадила на диван, сама села рядом и рассказала подробно о новой своей неудаче ****. Она какая-то торжественная, тихая, аккуратно причесанная, с челкой и даже со знаменитым своим гребнем в волосах. Но торчит он как-то криво.

— Это мне Вовка так заколол,— сказала она, проследив мой взгляд и вынимая из волос гребень.

---

* То есть, что речь идет о застенке.

** Николай Степанович Гумилев.

*** Коля Гумилев.

**** Очередная неудача в хлопотах о Леве.

Вошли мальчики, Вовка и Валя, она поцеловала каждого в обе щеки и велела им идти к себе.

— Шакалик такой ласковый. Сегодня говорит: «Ня, голубка, доченька...»

Я сидела возле, не находя никаких слов, никаких утешений. Я не Шакалик и не могу сказать ей: «Ня, голубка, доченька». Но, может быть, ей все-таки делалось легче от того, что кто-то сидел рядом и слушал — короткие слова, длинные молчания...

15 мая 40.

Вечером я была у Анны Андреевны. У нее — Лотта. Анна Андреевна грустная, желтая сидела в своем кресле, раскинув руки — а Лотта болтала без умолку, стараясь, видимо, ее развлечь. Болтала очень развязно, но иногда в самом деле остроумно. Анна Андреевна отвечала коротко, иногда не отвечала совсем, но остротам смеялась.

В комнате появился — на что обратила мое внимание Лотта — сундук. Большой, кованый — «XVI века,— пояснила нам Анна Андреевна.— Я держу в нем книги. У меня очень неинтеллигентная комната: книг не видно. Они в комоде — и вот в сундуке».

— И под креслом,— сказала Лотта.

Она нашла, что в этом сундуке очень бы хорошо держать шелковые платья и длинные свечи.

— Ах, как бы мне хотелось венчаться! — закончила Лотта.— В церкви, и чтобы все, как положено.

— Я венчалась,— сказала Анна Андреевна.— По всем правилам. И, уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.

Лотта стала рассказывать всякие анекдоты о неграмотных учителях. В самом деле, смешно и страшно. Анна Андреевна рассказала, как несколько лет тому назад, Анна Евгеньевна уехала с Ириной на Кавказ и не вернулась к началу занятий.

— Из школы пришла грозная повестка. Николай Николаевич попросил меня пойти туда, поговорить. Я пошла. Вижу «Учительская». Вхожу — там какая-то женщина. Протягиваю повестку ей. Она налилась красной кровью, даже похорошела. «Вы понимаете, что ей грозит исключение?» Она ждала просьбы. А я вдруг как заору: «Ну и валите! Исключайте! Мне-то что! Мне наплевать! Я просто соседка по квартире». (Анна Андреевна произнесла эти слова, столь необычные в ее устах, несколько раз — «валите! мне наплевать!» — видимо радуясь их грубости.) Она как-то вся обмякла и сразу смолкла.

Оказывается, Анна Андреевна и Лотта поджидали Роз. *, который звонил из «Издательства Писателей» и обещал в 7 часов принести сигнальный экземпляр. Было однако уже 9. Лотта принялась уговаривать Анну Андреевну не ждать его, а выйти с нами пройтись.

— Нет, я уж подожду его,— сказала Анна Андреевна.

— Не можете перенести лишней минуты разлуки с экземпляром? Признайтесь! — закричала Лотта.

— Нет, не то. Я ведь обещала ему быть дома.

— Свинство так опаздывать. Он говорил: в 7 часов, а сейчас 9.

— Он воображает,— сказала Анна Андреевна,— что если у него в руках такой предмет, он может прийти, когда ему угодно. Попозже и с ночевкой!

— Ну, если он с ночевкой,— заявила Лотта,— то мы уходим. Идемте, Лидия Корнеевна!

И мы ушли.

20 мая 1940.

Сегодня, раздобыв для Анны Андреевны «Русскую Мысль» со статьей Недоброво,— о чем она давно просила,— я начала ей звонить. Звоню: раз, другой, третий,— занято. И чуть только я, досадуя, повесила трубку — звонок: звонит Анна Андреевна и просит прийти.

Желтая, больная, лежит на диване под толстым одеялом, в халате, с неубранными волосами.

— Сердце шалит. Я сегодня устала — была во ВТЭКе. Мне дали вторую категорию, а раньше была третья. Я постепенно приближаюсь к идеалу инвалидности. У меня нашли перерождение клапана сердца.

Но сегодня она не такая грустная, как в последние разы. По-видимому, виною тому синенькая фототелеграмма, которую она дала мне прочесть **.

---

* ?

** ?

На кресле я увидела книгу — сигнальный экземпляр — и, конечно, с жадностью схватила его и принялась разглядывать.

— Пожалуйста, спрячьте книгу в ящик комода,— почти невежливо приказала Анна Андреевна.— Поглубже, поглубже. И задвиньте ящик. Я не люблю ее видеть.

— Это у вас профессиональная болезнь наоборот,— сказала я.

— Я прочитала «Путем всея земли» еще одному очень понимающему человеку,— начала рассказывать Анна Андреевна.— Он был ошеломлен.

— Как и я.

— Может быть это потому, что там есть новая интонация. Совсем новая, какой еще никогда не было. Ведь ошеломляет только новое... А двое слушателей признались, что не поняли: Сандрик * и Ксения Григорьевна.

И, наверное, вспомнив, как интересно говорила об этой вещи Туся, прибавила вдруг:

— Приходите ко мне когда-нибудь вместе с Тамарой Григорьевной, хорошо?..

— Вот, посмотрите, Владимир Георгиевич принес мне целую кипу стихов из Лавки писателей.— Она изогнулась по-акробатски, достала со стула кипу маленьких книжечек и положила их ко мне на колени.— В Лавке всегда говорят ему: вышли стихи, это наверное, Анне Андреевне будет интересно.— Найдите А. Е. Читайте.

Я прочитала маленькое стихотворение о любви, вялое, эклектическое.

— Подумайте, как холодно, как равнодушно,— говорила Анна Андреевна.— И о чем он пишет так! Самое главное в стихе — своя, новая интонация... А тут все интонации чужие. Как будто сам он никогда не любил.

Я спросила, как она относится к Остроумовой — я собираюсь повести на выставку Люшу.

— Да... люблю... но, пожалуй, средне. Меня тоже маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Чего я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Все лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше.

Анна Андреевна попросила меня дать ей с комода топаз и положила его себе на грудь, на сердце.

— Холодный,— заметила она.— Хорошо.

Разговор набрел на Маяковского и Бриков — я рассказала о нашем детиздатском однотомнике и о поездке моей и Мирона Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно: весь стиль дома — не по душе. Мне показалось к тому же, что Лиля Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского. Не понравились мне и рябчики на столе и анекдоты за столом... За столом сидели, кроме меня и Мирона, приехавший по делу Примаков, Осип Максимович и «наша Женичка». Более всех невзлюбила я Осипа Максимовича: оттопыренная нижняя губа, торчащие уши и главное — тон, не то литературного мэтра, не то пижона. Понравился мне за этим семейным столом один Примаков — молчаливый и какой-то чужой им [55].

— Очень плохо представляю себе там, среди них, Маяковского,— сказала я.

— И напрасно,— ответила Анна Андреевна.— Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами. И вы, и не вы одни неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от Бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там все нравилось. Это был уровень его образования, чувства товарищества и интересов во всем. Он ведь никогда от них не уходил, не порывал с ними, он до конца любил их.

Я сказала, что рассуждать об отношениях Маяковского с Бриками я не вправе, потому что про это не знаю, но была удивлена небрежностью их работы, полным равнодушием к тому, хорош ли, плох получится однотомник, за который они в ответе.

— Это дело другое. Но и сам он в своих отношениях к литераторам и литературе был на их, то есть на очень невысоком уровне. Однажды Николай Леонидович ** спросил у него о Хлебникове. Он ответил: «а к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе... В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он — к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. В остальном — никакой. Он, так же как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен... Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России.

Постучал и вошел Владимир Георгиевич. Она очень нежно усадила его у своих ног на диван. Он жаловался — устал безмерно — вскрытия, экзамены. Зашел узнать о результатах медицинского осмотра. Анна Андреевна, снова изогнувшись по-акробатски, достала с кресла заключение врачей. Он прочел, произнес: «все вздор, полуграмотная чепуха», и поднялся. Перед уходом наклонился к ней, близко заглянул ей в глаза и спросил инфантильным тоном, каким часто говорил с ней при мне:

— Вы хорошая сегодня?

— Хорошая,— ответила Анна Андреевна и передала ему синенькую телеграмму.

(В самом деле, она сегодня хоть и больна, но гораздо веселее, чем в недавние дни.)

Я хотела уйти вместе с В. Г., потому что нам по дороге, но Анна Андреевна положила мне руку на колено: «Посидите со мной еще немного» — и я осталась.

Анна Андреевна поднялась на минуту, нашла варенье и сахар, включила чайник и снова легла. Заговорили о собирателе материалов *.

— Он приходил ко мне и рассказывал все, что насобирал. Так я узнала, как дурно обо мне думают люди. Одна дама обещала ему к следующему разу припомнить: чей сын в действительности Лева — Блока или Лозинского? А я ни с Блоком, ни с Лозинским никогда не была близка. И Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет... Но чего только обо мне не говорили!

— А собрал ли он что-нибудь дельное? — спросила я.— Или одни только сплетни?

— Пустяки! Да ведь он и сам скоро сделался великим писателем земли русской.

Потом она рассказала мне о безобразном поступке «Ленинских Искр». Без спроса газета напечатала стихотворение о Маяковском, которое Анна Андреевна дала не «Искрам», а «Литературной», да к тому же напечатала с ошибками: в 12 году вместо: в 13, «до сих пор», вместо «до тех пор»...

— А заглавие! Пошлейшее: «Поэтесса — поэту». Какая гадость! Стыдно теперь и на улицу выйти.

Я ей рассказала о стихах Благининой, где, как и в знаменитых ахматовских, флаги развешены на деревьях осенью **. Впрочем, добавила я, стихотворение Благининой мне нравится ***.

— Что ж,— сказала Анна Андреевна,— я ничего тут не вижу. И Пушкин так всегда делал. Всегда. Брал у всех все, что ему нравилось. И делал навеки своим.

Она стала расспрашивать меня о Люше, я рассказала о Люшиных любимых книгах — Диккенсе, Пушкине — отсюда мы перешли к Чарской, и я пересказала ей Тамарин рассказ о том, как Тамара и Зоя, по поручению Литфонда, относили Чарской деньги и как Лидия Алексеевна со скромной гордостью, весьма картинно, повествовала о девочках-школьницах, навещающих ее и задающих роковые вопросы. «Они приходят ко мне с самым своим задушевным»,— говорила Лидия Алексеевна, прижимая обе руки к сердцу и слегка задыхаясь.

— Ко мне тоже приходят и тоже все с роковым и самым задушевным,— сказала Анна Андреевна.— Но кто пришел один раз, тот во второй не сунется, так я их встречаю.

Помолчали. Когда она долго молчит — я уже научилась понимать — она готовится. И в самом деле: черный обряд. Замо́к и дверь ****.

---

* А. Н. Болдырев.

** Степанов. О нем см. *прим. 56.*

* ?

**

Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах...

строки из стихотворения Ахматовой «Мне с тобою пьяным весело» — БВ, Вечер.

*** Ошибка моей записи: в стихах Елены Благининой подобных строк нет.

Прим. 1975 г.

**** Записала, дала мне запомнить и сожгла стихотворение:

И вот, наперекор тому,
Что смерть глядит в глаза,—
Опять по слову твоему
Я голосую *за*:

То́, чтоб дверью стала дверь,
Замок опять замком,
Чтоб сердцем стал угрюмый зверь
В груди... А дело в том
Что суждено нам всем узнать,
Что значит третий год не спать,
Что значит утром узнавать,
О тех, кто в ночь погиб.

(сб. «Памяти А. А.»)

Читая мне это стихотворение, А. А. произнесла эпиграф, сказав: «В лесу голосуют деревья. Н. Заболоцкий». Сколько я ни искала впоследствии у Заболоцкого эту строку — я ее не на-

— Какая жесткость, сила,— сказала я.

— Вы находите? Я так и хотела.

Опять помолчали. Я вспомнила об утреннем телефонном совпадении: я звонила ей — она мне. Одновременно. Я рассказала ей об этом.

— У меня всегда так,— объяснила она.— Со всеми так.

21 мая 40.

Сегодня я вспомнила один не записанный мною сразу рассказ Анны Андреевны — в ответ на мой вопрос. Вспомнила точно.

Я спросила у нее однажды, как это так бывает, что не понимаешь стихов, а любишь их? Почему нам с Женей Лунц [57] было — мне 11, а ей 10 лет, когда мы влюбились в блоковскую «Незнакомку» и, после уроков, спрятавшись между двумя плотными дверьми — то есть, собственно, в шкафу,— упоенно читали в два голоса или по очереди:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие, бездонные
Цветут на дальнем берегу.

Мы еще никогда не пили вина, не видывали пьяниц с глазами кроликов, не знали ресторана — не понимали и того, что стоит за этими стихами, но любили их до упоения.

— Они были для вас новой гармонией, вот чем,— сказала Анна Андреевна.— Таким был для меня Иннокентий Анненский. Я пришла один раз к К. Г.*. Он кончал срочную корректуру. «Посмотрите пока эту книгу»,— сказал он мне и подал только что вышедшую книгу Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и ночью... Они открыли мне новую гармонию **.

24 мая 40.

Вчера вечером, поздно, когда я около одиннадцати пришла к Шуре, она встретила меня словами: «Не застав тебя дома, Анна Андреевна звонила сюда».

У меня сердце остановилось от испуга. И, наверное, это было заметно.

— Да нет, ничего не случилось! — сказала Шура.— Напротив, хорошее! Анна Андреевна просила тебе передать, что ею получены авторские и ты можешь хоть сейчас идти к ней и получить экземпляр.

Надо было позвонить немедленно в ответ на такой добрый и поспешный зов, но Шурина мама спала там, где телефон, и мне неудобно было ее беспокоить.

Я позвонила сегодня утром, и когда Зоечка повела Люшу и Таню — по случаю их школьных успехов — в кафе «Норд», отправилась к Анне Андреевне [58].

В комнате у нее на маленьком столике розы, а я не догадалась в такой день принести цветы!

Анна Андреевна лежит, а на стуле, рядом с диваном, столбики белых книг. Дожили мы, значит, все-таки до светлого дня. Мне хотелось сразу схватить книжечку и рассмотреть ее, но я не решилась.

Анна Андреевна выглядит дурно, лицо грустное, желтое, волосы заколоты кое-как.

Оказывается, завтра ее будут оперировать — опухоль на груди, нестрашная, незлокачественная; вечером она уже придет домой. Я спросила, под каким наркозом.

шла... Оказывается (на что обратил мое внимание Вяч. Вс. Иванов), А. А. вольно или невольно проредактировала для эпиграфа строки из стихотворения Заболоцкого «Ночной сад», из первоначального варианта:

И души лип вздымали кисти рук,
Все голосуя против преступлений.
(«Литературный Современник», 1937, № 3)

В Советском Союзе это стихотворение Ахматовой опубликовал впервые Р. Д. Тименчик в журнале «Даугава» (1987, № 9, стр. 125).

* Коле Гумилеву.

** Я только недавно заметила, что, говоря со мной о «новой гармонии», А. А. воспользовалась выражением Пушкина. Так, в письме к П. А. Вяземскому от 5 июля 1824 года Пушкин писал: «Ламартин хорош в Наполеоне, в Умирающем поэте — вообще хорош какой-то новой гармонией». (А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в десяти томах. т. 10. М.-Л., изд-во АН СССР, 1949.)

Прим. 1980 г.

— Не знаю. И не интересуюсь знать. Мне это все равно. Хотя бы и совсем без наркоза. Я никогда не боялась физической боли. Однажды один мой знакомый мельком проговорился при мне, что боится удалить зуб без наркоза — и сразу перестал быть мне интересен. Я таких людей не умею уважать.

— Оперировать меня будут завтра, в три часа, но я так прочно позабыла об этом, что даже назначила одной даме прийти завтра в три часа за книгой.

— Книга была, оказывается, запрещена Обллитом,— продолжала Анна Андреевна.— Вот почему несколько дней мне из издательства весьма туманно отвечали на вопрос, когда прибудут авторские. Оказывается, 16-го книгу запретили, а 22-го разрешили. Вчера она поступила в Лавку писателей, по записи роздали писателям 300 экземпляров, а на прилавок не положили ни одного...

Я сказала, что, стало быть, книгу получили одни только хорошие знакомые, которым, так или иначе, стихи эти все равно известны.

— То есть, вы хотите сказать, *нехорошие* знакомые,— поправила меня Анна Андреевна.— Члены Союза моих стихов никогда не знали и знать не хотели, они моих стихов не любили и сейчас берут книгу в Лавке потому, что вот, мол, достать ее простым смертным невозможно, а они — пожалуйста! — могут получить. Это укрепляет их чувство превосходства, привилегированности. Поэзию же мою они терпеть не могут. Они ведь всегда считали, все эти 20 лет, что ни к чему вытаскивать из нафталина это старье... А я бы хотела, чтобы моя книга дошла до широких кругов, до настоящих читателей, до молодежи...

Потом она спросила меня, прочитала ли я статью Недоброво в «Русской мысли» и что я о ней думаю.

Я сказала: «Статья глубокая, умная, особенно интересно говорит он о героях стихов. Но...»

— Потрясающая статья,— перебила меня Анна Андреевна,— пророческая... Я читала ночью и жалела, что мне не с кем поделиться своим восхищением. Как он мог угадать жесткость и твердость впереди? Откуда он знал? Это чудо. Ведь в то время принято было считать, что все эти стишки — так себе, сантименты, слезливость, каприз. Паркетное ломанье. Статья Иванова-Разумника кажется так и называлась «Капризники»... [59] Но Недоброво понял мой путь, мое будущее, угадал и предсказал его потому, что хорошо знал меня *.

Мы снова заговорили о книге: она непременно разойдется за один день.

— В нашей стране очень любят стихи,— сказала я.

— Да, удивительно. Нигде в Европе этого нет. В Париже я рассказала одному поэту, сколько раз переиздаются у нас книги стихов — он едва верил. Публичные чтения у них не приняты. Если знаменитый художник сделает рисунки или виньетки к новой книжке стихотворений — тогда она приобретает шанс быть распроданной. Из-за рисунков — вы подумайте! В России всегда любили стихи, а французы преимущественно заняты живописью.

Я поднялась уходить. Анна Андреевна взяла два экземпляра своей книги и надписала один мне, другой Тамаре. Я обратила ее внимание на то, как странно сделан перенос на корешке книги: «Стихот-ворения».

Вошел Владимир Георгиевич с букетом ландышей. Анна Андреевна взяла их у него из рук, нашла стакан и, ставя ландыши в воду, сказала нам:

— Утром я здесь лежала на диване, а кругом цветы, цветы... Совсем как мертвая.

29 мая 40.

Не записала вовремя. Теперь вспоминаю крохи.

Я пришла к Анне Андреевне 25-го вечером в день ее операции. Она лежала, укрытая и забинтованная, со спокойным и, я сказала бы, просветленным лицом. Опера-

---

* По-видимому, А. А. имела в виду такое место из статьи Недоброво: «Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение — не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно, нет: самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук,— все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую и уж явно господствующую, а не угнетенную» (Н. В. Недоброво. «Анна Ахматова» — «Русская мысль», 1915, кн. 7, стр. 639).

Как мне известно, в настоящее время многие исследователи заняты разработкой темы: «Ахматова и Недоброво». Пока же отсылаю читателя к БПП, стр. 461 и решаюсь высказать уверенность, что В. М. Жирмунский напрасно не упомянул среди стихов, обращенных к Недоброво, стихотворение 1928 года «Если плещется лунная жуть» (ВВ, «Тростник»).

Прим. 1980 г.

ция прошла благополучно и длилась 20 минут. Назад она шла пешком, так как машины Владимиру Георгиевичу достать не удалось; повязка от ходьбы сползла, дома ей сделала новую перевязку медицинская сестра, ее знакомая, которая и завтра придет перевязывать.

Кажется, ни о чем интересном мы на этот раз не говорили, только одно мне запомнилось: она мельком сообщила, что к одной ее приятельнице, после двухлетнего разрыва, вернулся муж.

— Странно мне всегда это слышать,— сказала я.— Вернулся, вернулась... Я думаю, любовь так же невоскрешаема, как мертвец.

— Да, конечно...— помедлив, сказала Анна Андреевна.— Возвращаются не к человеку, не к прежней любви, а к стенам, к комнате.

Вчера мы были у нее с Тамарой. Мы встретились с Тусей в скверике, купив цветы и пирожные, и посидели немного на скамеечке, пока Туся рассмотрела врученную ей мною книгу.

Анна Андреевна не лежит, бродит по комнате. Говорит, что был сердечный приступ: «Мой отец умер от первого»,— сказала она. Лицо измученное. Все время была любезна, особенно с Тусей, только изредка впадала в рассеянность и молчание.

Туся осведомилась, нет ли в сборнике опечаток? Анна Андреевна, не ответив, вдруг произнесла:

— Всю жизнь меня мучает одна строка: «Где милому мужу детей родила». Вы слышите: Му-му?! Неужели вы обе, уж такие любительницы стихов, этого мычания не заметили? *

Туся рассмеялась, а потом ответила очень серьезно:

— Во-первых, никакого му-му не слыхать. Долгие слоги, протяжные: *милому мужу*: тут нет столкновения двух *му*, тут *ми* в начале одного слова и *му* другого. Столкновение му-му чисто зрительное, а не слуховое, то есть для стиха безразличное. А во-вторых, ведь эти два *му* совершенно естественны, заложены в самом языке, существуют там — зачем же избегать их? Какая же тут возможность замены? Толстому мужу? Доброму? Глупому? Все будет *му* — таков уж закон склонения в нашем языке.

Анна Андреевна уселась в свою любимое кресло, драное, хромое и, раскинув по-своему руки, прочитала нам пушкинский «Памятник» **.

Туся сказала:

— Есть такое выражение: нужно, как хлеб, как воздух. Я теперь буду говорить: нужно, как слово... Простите меня, Анна Андреевна, но даже вы, создавшая это, даже вы не знаете, как оно нужно. Потому что вы не были *там* — к великому всеобщему счастью... А я помню себя *там*, и помню лица и ночи... Если бы они, *там*, могли себе представить, что *это* есть... Но они уже никогда не узнают. Сколько уст смолкло, сколько глаз закрылось навсегда...

Помолчали. «Спасибо вам»,— сказала Анна Андреевна. Потом заговорила о другом, спокойным голосом:

— 23-го у меня был особенный день. Курьер из издательства привез мне экземпляры, друзья приходили, приносили цветы. Я лежала, мне было нехорошо: сердце. Вошла ко мне в комнату Таня, поглядела на меня, поглядела на цветы, фыркнула:

— Беспокойная старость! — и вышла.

В тот же день высказался и Николай Николаевич. Он забежал на минутку, поглядел на цветы, поглядел на книжки: «Я вижу, Аничка, вы переживаете вторую молодость!» И выбежал очень сердито. Так поздравили меня мои соседи — и с той и с этой стороны.

Мы с Тусей поднялись. Было более часа ночи. Провожая нас до дверей, Анна Андреевна сказала Тусе:

— Так значит, я могу не стыдиться му-му? И не переделывать строчку?

1 июня 40.

Вчера Анна Андреевна позвонила мне утром и попросила непременно зайти. А у нас — гвозди, веревки, тюки, ящики, полный разгром; друзья раздобыли для меня

* «Лотова жена» — БВ, «Anno Domini».

** Шепотом; усадив вас возле; и не пушкинский, а свой — эпилог «Реквиема», где есть такие строки:

> А если когда-нибудь в этой стране
> Воздвигнуть задумают памятник мне...

№ 33

внезапно бесплатный грузовичок, необходимо было такой удачей воспользоваться. Ида едет с большими вещами, а я должна накормить девочек, собрать их мелкие вещички и часа через три ехать поездом. Мы с Идой мечемся. Девочки в ажиотаже, укладывают кукольные чемоданчики и рвутся на вокзал, хотя поезд наш нескоро.

Я сказала Анне Андреевне, что непременно зайду к ней, но не сразу и ненадолго.

Отправив грузовик, я взяла чемодан с мелкими вещами, Люша и Таня — свои кукольные, заперла наши комнаты, и мы отправились на вокзал — но по дороге зашли к Анне Андреевне. Девочки обещали подождать меня внизу на досках, сторожа наше барахлишко, а я поднялась к Анне Андреевне.

Оказалось, она хотела познакомить меня со статьей, написанной каким-то молодым человеком для «Литературного критика», статьей, которую Катя * принесла показать ей. Я прочитала. Статья развязная и неверная. Автор, некто О., говорит, что Ахматова воскрешает в своей поэзии ложноклассическую традицию Расина, что героиня ахматовской поэзии — героиня расиновского театра.

— А я Расина совсем и не читала, когда начала писать стихи, и театр его был мне не известен,— сказала Анна Андреевна.

— Да ведь не в том дело, читали вы Расина или нет! — закричала я. (Крикливость моя вызывалась, по-видимому, глупостью статьи и еще тем, что меня ждали девочки и я торопилась.) — В ваших стихах ничего ложноклассического нет и ничего расиновского. Они растут из русской классики, преображая ее, в них нет ничего риторического, они начисто лишены пышности, они — сама естественность и тишина, они — живая, русская, и притом современная речь. Откуда же тут взяться Расину? И знаете что? — вдруг осенило меня — ведь это все он придумал из-за четырех мандельштамовских строчек:

> Спадая с плеч, окаменела
> Ложноклассическая шаль...
> и
> Так — негодующая Федра —
> Стояла некогда Рашель...

Вот вам и вся причина его многоумных догадок о вашей поэзии!

— Осип имел здесь в виду вовсе не мою поэзию,— сказала Анна Андреевна.— Тогда мы чуть ли не каждый день встречались в Цехе, и он просто написал о женщине, которая ему нравилась.

Я спросила, как она себя чувствует.

— Очень плохо. Кажется, никогда еще не было хуже. Пять сердечных припадков за пять дней. Владимир Георгиевич перепугался и даже посоветовал мне лечь в больницу. Может быть, от этого я сразу выздоровела: вчера и сегодня приступов нет.

Мы снова заговорили о статье.

— Огорчила она меня,— сказала Анна Андреевна.— Вспомнился мне один вечер, на котором присутствовал величавый Бальмонт. О, он всегда был величав, ни на минуту не забывал, что он не простой смертный, а поэт. (Между прочим, как это ни странно, он и в самом деле поэт. Когда-то издан был сборник «Сирена». Там были поэты и маленькие, и большие, и средние, а лучшим оказался Бальмонт. Стихотворение о луне — прелестное [60].) Да, так на этом пышном вечере сначала был ужин, потом одни уехали, другие остались, и начались танцы. Я не танцевала. Бальмонт сидел рядом со мной. Заглянув в гостиную, где танцевали вальс, он сказал мне нараспев: «Я такой нежный... Зачем мне это показывают»... Мне тоже хочется сказать про эту статью: «Я такая нежная, зачем мне это показывают». Статья Перцова, написавшего про меня когда-то: «эта женщина забыла умереть вовремя»,— задела меня гораздо менее **.

— Не понимаю, как может задевать вас такая чушь? — сказала я, но спорить уже было некогда. Выглянув в окно, я увидела Люшу и Таню. Они уныло сидели на досках, не спуская глаз с двери, из которой и должна была появиться. У Тани выражение лица скорбное, совершенный мальчик Пикассо с картины «Старик и мальчик». Кукольные чемоданчики лежали у них на коленях, а мой чемодан, полураскрытый, валялся на земле.

Пора было идти. Я поспешила к ним.

* «Кати» — Екатерина Романовна Малкина. О ней см. *прим. 61.*

** В. Перцов. По литературным водоразделам. Журнал «Жизнь искусства», 1925, 27 октября. Глумясь над Ахматовой и ее стихами, Перцов, между прочим, писал: «...у языка современности нет общих корней с тем, на котором говорит Ахматова, новые живые люди остаются и останутся холодными и бессердечными к стенаниям женщины, запоздавшей родиться или *не сумевшей вовремя умереть...*» (курсив мой.— *Л. Ч.*).

СТИХОТВОРЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

(те, без которых понимание моих записей затруднено)

Борис Пастернак

№ 1
к стр. 6

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.

В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет,— это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.

И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.

И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец...
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?

За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных
строф,—

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

19 января 1936

Творчество

№ 2
к стр. 12

Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо...
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки,—
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.

[5 ноября 1936]

Приговор

№ 3
к стр. 15

И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.
А не то... Горячий шелест лета
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот
Светлый день и опустелый дом.

[22 июня] 1939

№ 4
к стр. 15

Годовщину последнюю празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы — той, алмазной —
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притушен,
И куда мы идем — не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад,
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях...
Чья с моею сравнится доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

1938

№ 5
к стр. 16

Чем хуже этот век предшествующих? Разве
Тем, что в чаду печалей и тревог
Он к самой черной прикоснулся язве,
Но исцелить ее не мог.

Еще на западе земное солнце светит,
И кровли городов в его лучах блестят,
А здесь уж белая дома крестами метит
И кличет воронов, и вороны летят.

1919

Муза

№ 6
к стр. 18

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Чтó почести, чтó юность, чтó свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке!

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924

К смерти

№ 7
к стр. 20

Ты все равно придешь — зачем же не теперь?
Я жду тебя — мне очень трудно.
Я потушила свет и отворила дверь
Тебе, такой простой и чудной.
Прими для этого какой угодно вид,
Ворвись отравленным снарядом
Иль с гирькой подкрадись, как опытный
бандит,
Иль отрави тифозным чадом.
Иль сказочкой, придуманной тобой
И всем до тошноты знакомой,—
Чтоб я увидела верх шапки голубой
И бледного от страха управдома.
Мне все равно теперь. Клубится Енисей,
Звезда Полярная сияет.
И синий блеск возлюбленных очей
Последний ужас застилает.

19 августа 1939
Фонтанный Дом

№ 8
к стр. 23

— «Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра».

Поседели твои волосы. Глаза
Замутила, затуманила слеза.

Ты уже не понимаешь пенья птиц,
Ты ни звезд не замечаешь, ни зарниц.

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

Я пришла тебя сменить, сестра,
У лесного, у высокого костра».

— «Ты пришла меня похоронить.
Где заступ твой, где лопата?
Только флейта в руках твоих.
Я не буду тебя винить,

Разве жаль, что давно, когда-то,
Навсегда мой голос затих.

Мои одежды надень,
Позабудь о моей тревоге,
Дай ветру кудрями играть.
Ты пахнешь, как пахнет сирень,
А пришла по трудной дороге,
Чтобы здесь озаренной стать».

И одна ушла, уступая,
Уступая место другой,
И неверно брела, как слепая,
Незнакомой узкой тропой.

И все чудилось ей, что пламя
Близко... бубен держит рука.
И она, как белое знамя,
И она, как свет маяка.

1912

№ 9
к стр. 27

С Новым Годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?

Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых — не видать.

[*январь 1940*]

Ива

№ 10
к стр. 29

И дряхлый пук дерев.
Пушкин

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.
И не был мил мне голос человека,
А голос ветра был понятен мне.
Я лопухи любила и крапиву,
Но больше всех серебряную иву.
И, благодарная, она жила
Со мной всю жизнь, плакучими ветвями

Бессонницу овевала снами.
И — странно! — я ее пережила.
Там пень торчит, чужими голосами
Другие ивы что-то говорят
Под нашими, под теми небесами.
И я молчу... Как будто умер брат.

[*18 января*] *1940*

№ 11
к стр. 29

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

[*21 января 1940*]

№ 12
к стр. 29

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись

С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

[*21 января*] *1940*

№ 13
к стр. 30

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

Клеопатра

№ 14
к стр. 31

Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Пушкин

Уже целовала Антония мертвые губы,
Уже на коленях пред Августом слезы лила...
И предали слуги. Грохочут победные трубы
Под римским орлом, и вечерняя стелется мгла.

И входит последний плененный ее красотою,
Высокий и статный, и шепчет в смятении он:
«Тебя — как рабыню... в триумфе пошлет пред собою...»
Но шеи лебяжьей все так же спокоен наклон.

А завтра детей закуют. О, как мало осталось
Ей дела на свете — еще с мужиком пошутить
И черную змейку, как будто прощальную жалость,
На смуглую грудь равнодушной рукой положить.

[*7 февраля*] *1940*

Посвящение

№ 15
к стр. 34

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,
Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже и Нева туманней,

А надежда все поет вдали.
Приговор... И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет... Шатается... Одна...
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный свой привет.

Март 1940

№ 16
к стр. 34

Тихо льется тихий Дон,
Желтый месяц входит в дом,

Входит в шапке набекрень,
Видит желтый месяц тень.

Эта женщина больна,
Эта женщина одна,

Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне.

№ 17
к стр. 34

Маяковский в 1913 году

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса...
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты,— разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,
С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

1940

№ 16
к стр. 36

[Борису Пильняку]

Все это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом.
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом...
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938

№ 19
к стр. 36

Так отлетают темные души...
«Я буду бредить, а ты не слушай.

Зашел ты нечаянно, ненароком —
Ты никаким ведь не связан сроком.

Побудь же со мною теперь подольше.
Помнишь, мы были с тобою в Польше?

Первое утро в Варшаве... Кто ты?
Ты уж другой или третий?» — «Сотый!»

«А голос совсем такой, как прежде.
Знаешь, я годы жила в надежде,

Что ты вернешься, и вот — не рада.
Мне ничего на земле не надо,—

Ни громок Гомера, ни Дантова дива.
Скоро я выйду на берег счастливый:

И Троя не пала, и жив Эабани,
И все потонуло в душистом тумане.

Я б задремала под ивой зеленой,
Да нет мне покоя от этого звона.

Что он? То с гор возвращается стадо?
Только в лицо не дохнула прохлада.

Или идет священник с дарами?
А звезды на небе, и ночь над горами...

Или сзывают народ на вече?»
— «Нет, это твой последний вечер!»

1940

Путем всея земли

№ 20
к стр. 39

В санях сидя, отправляясь путем всея земли...

Поучение Владимира Мономаха детям

1

Прямо под ноги пулям,
Расталкивая года,
По январям и июлям
Я проберусь туда...
Никто не увидит ранку,
Крик не услышит мой,
Меня, китежанку,
Позвали домой.
И гнались за мною
Сто тысяч берез,
Стеклянной стеною
Струился мороз.
У давних пожарищ
Обугленный склад.
«Вот пропуск, товарищ,
Пустите назад...»
И воин спокойно
Отводит штык.
Как пышно и знойно
Тот остров возник!
И красная глина,
И яблочный сад...
О Salve Regina! —
Пылает закат.
Тропиночка круто
Взбиралась, дрожа.
Мне надо кому-то
Здесь руку пожать...
Но хриплой шарманки
Не слушаю стон.
Не тот китежанке
Послышался звон.

2

Окопы, окопы —
Заблудишься тут!
От старой Европы
Остался лоскут,
Где в облаке дыма
Горят города...
И вот уже Крыма
Темнеет гряда.
Я плакальщиц стаю
Веду за собой.
О, тихого края
Плащ голубой!..
Над мертвой медузой
Смущенно стою;
Здесь встретилась с Музой,
Ей клятву даю.
Но громко смеется,
Не верит: «Тебе ль?»
По капельнам льется
Душистый апрель.
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
«Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.
Ты лучше бы мимо,
Ты лучше б назад,
Хулима, хвалима,
В отеческий сад».

3

Вечерней порою
Сгущается мгла.
Пусть Гофман со мною
Дойдет до угла.
Он знает, как гулок
Задушенный крик
И чей в переулок
Забрался двойник.
Ведь это не шутки,
Что двадцать пять лет
Мне видится жуткий
Один силуэт.
«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» — Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во всё посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.

4

Чистейшего звука
Высокая власть,
Как будто разлука
Натешилась всласть.
Знакомые зданья
Из смерти глядят —
И будет свиданье
Печальней стократ
Всего, что когда-то
Случилось со мной...
Столицей распятой
Иду я домой.

5

Черемуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто-то «Цусима!»
Сказал в телефон.
Скорее, скорее —
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток...
Там ласточкой реет
Старая боль...

А дальше темнеет
Форт Шаброль,
Как прошлого века
Разрушенный слеп,
Где старый калека
Оглох и ослеп.
Суровы и хмуры,
Его сторожат
С винтовками буры.
«Назад, назад!»

6

Великую зиму
Я долго ждала,
Как белую схиму
Ее приняла.
И в легкие сани
Спокойно сажусь...
Я к вам, китежане,
До ночи вернусь.
За древней стоянкой
Один переход...
Теперь с китежанкой
Никто не пойдет,
Ни брат, ни соседка,
Ни первый жених,—
Лишь хвойная ветка
Да солнечный стих,
Оброненный нищим
И поднятый мной...
В последнем жилище
Меня упокой.

Март 1940
Фонтанный Дом

№ 21
к стр. 39

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только... ночью слышу скрипы.
Что там — в сумраках чужих?
Шереметевские липы...
Перекличка домовых...

Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?»

[30 октября] 1936

№ 22
к стр. 40

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем,—
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

1915

№ 23
к стр. 40

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет —

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны
Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

1921

Подвал памяти

№ 24
к стр. 29, 40

Но сущий вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
За мной по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда — к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два живые изумруда.
И кот мяукнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

1940

№ 25
к стр. 26, 40

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот,
А золото — ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

[*середина тридцатых годов*]

Про стихи

№ 26
к стр. 40

Владимиру Нарбуту

Это — выжимки бессонниц,
Это — свеч кривых нагар,
Это — сотен белых звонниц
Первый утренний удар...
Это — теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это — пчелы, это — донник,
Это — пыль, и мрак, и зной.

№ 27
к стр. 40

Мои молодые руки
Тот договор подписали
Среди цветочных киосков
И граммофонного треска,
Под взглядом косым и пьяным,
Газовых фонарей.
И старше была я века
Ровно на десять лет.

А на закат наложен
Был белый траур черемух,
Что осыпался мелким,
Душистым, сухим дождем...
И облака сквозили
Кровавой цусимской пеной,
И плавно ландо катили
Теперешних мертвецов...

А нам бы тогдашний вечер
Показался бы маскарадом,
Показался бы карнавалом,
Феерией grand-gala...

От дома того — ни щепки,
Та вырублена аллея,
Давно опочили в музее
Те шляпы и башмачки.

Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни,
Кто знает, как тихо в доме,
Куда не вернулся сын.

Ты неотступен, как совесть,
Как воздух, всегда со мною,
Зачем же зовешь к ответу?
Свидетелей знаю твоих:
То Павловского вокзала
Раскаленный музыкой купол
И водопад белогривый
У Баболовского дворца.

1940

№ 28
к стр. 41

Последний тост

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью,—
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

1934

№ 29
к стр. 41

Уже безумие крылом
Души накрыло половину,
И поит огненным вином
И манит в черную долину.

И поняла я, что ему
Должна я уступить победу,
Прислушиваясь к своему
Уже как бы чужому бреду.

И не позволит ничего
Оно мне унести с собою
(Как ни упрашивай его
И как ни докучай мольбою):

Ни сына страшные глаза —
Окаменелое страданье,
Ни день, когда пришла гроза,
Ни час тюремного свиданья,

Ни милую прохладу рук,
Ни лип взволнованные тени,
Ни отдаленный легкий звук —
Слова последних утешений.

4 мая 1940
Фонтанный Дом

№ 30
к стр. 44

М. Лозинскому

Он длится без конца — янтарный,
тяжкий день!
Как невозможна грусть, как тщетно ожиданье!
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.

И я поверила, что есть прохладный снег,
И синяя купель для тех, кто нищ и болен,
И санок маленьких такой неверный бег
Под звоны древние далеких колоколен.

[1913]

№ 31
к стр. 44

«Где, высокая, твой цыганенок,
Тот, что плакал под черным платком,
Где твой маленький первый ребенок,
Что ты знаешь, что помнишь о нем?»

«Доля матери — светлая пытка,
Я достойна ее не была.
В белый рай растворилась калитка,
Магдалина сыночка взяла.

Каждый день мой — веселый, хороший,
Заблудилась я в длинной весне,
Только руки тоскуют по ноше,
Только плач его слышу во сне.

Станет сердце тревожным и томным,
И не помню тогда ничего,
Все брожу я по комнатам темным,
Все ищу колыбельку его».

1914

№ 32
к стр. 44

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.

Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвенье, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!
1913

№ 33
к стр. 52

Эпилог

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,

И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыханье черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

1940
Март

«НО КРЕПКИ ТЮРЕМНЫЕ ЗАТВОРЫ»

Лев Николаевич Гумилев (р. 1912) — сын Гумилева и Ахматовой; востоковед, специалист по истории народов Центральной Азии. Был арестован в 1935 году, но после письма Ахматовой к Сталину освобожден; снова арестован в 1938 году; в 1944-м из ссылки в Туруханском крае (куда был отправлен после лагеря) ушел добровольно на фронт. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Политическая история первого тюркского каганата (546—659 гг.)». В 1949 году арестован опять; освобожден и реабилитирован лишь в 1956-м. Через четыре года, в 1960 году опубликовал книгу: Хунну. Срединная Азия в древние времена, М., Изд-во восточной литературы; в 1961-м защитил докторскую диссертацию на тему: «Древние тюрки VI—VII вв.». Затем последовало множество работ на разнообразные темы, напечатанных в специальных журналах. Лев Николаевич занимался историей древних тюрков и других степных народов Евразии, изучал и устанавливал историко-культурные типы народов и их связи с характером географической среды, занимался историей средневекового тибетского искусства, проблемой «Слова о полку Игореве» и др. Им опубликованы книги: Открытие Хазарии (с послесловием проф. М. И. Артамонова). М.: Наука, 1966; Древние тюрки, М.: Наука, 1967; Поиски вымышленного царства. Легенда о «государстве пресвитера Иоанна» (с предисловием проф. С. Руденко). М.: Наука, 1970; Хунны в Китае. Три века войны Китая со степными народами III—VI вв.— М.: Наука, 1974; Старобурятская живопись, М.: Искусство, 1977.

В 1988 г. в № 4 журнала «Знамя» опубликована статья Л. Гумилева «Биография научной теории, или Автонекролог». В статье освещается творческий путь ученого. В 1989 году в изд-ве ЛГУ должна выйти книга Л. Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли».

Анна Андреевна, рассказывая мне о своих попытках спасти сына, с особой благодарностью упоминала имя писательницы Л. Сейфуллиной; в разные времена называла ученых: М. И. Артамонова, А. П. Окладникова, В. В. Струве; после смерти Сталина, на моей памяти, хлопоты велись ею через посредство писателей А. Суркова, А. Фадеева, И. Эренбурга, востоковеда Н. И. Конрада и архитектора Л. В. Руднева.

Постоянной помощницей Анны Андреевны в этих хлопотах была Э. Г. Герштейн. В 1976 году ею была опубликована специальная работа об освобождении Льва Гумилева. (См.: «Мемуары и факты» — Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor: Ardis).

* * *

Матвей Петрович Бронштейн (1906—1938) — физик-теоретик, сотрудник Ленинградского физико-технического института (ныне Институт имени А. Ф. Иоффе), доцент Ленинградского университета, автор научных работ в области теории гравитации, космологии, астрофизики, релятивистской квантовой теории. Этим, однако, вклад М. П. Бронштейна в науку не ограничивается: ему принадлежат,

в частности, статьи по ядерной физике и теории полупроводников.

Работы М. П. Бронштейна начали появляться в печати с 1925 года. Публиковались они в «Журнале физико-химического Общества», в «Physikalische Zeitschrift», в «Журнале геофизики и метеорологии», а «Научном слове» и мн. др.

В ноябре 1935 года М. П. Бронштейн защитил докторскую диссертацию на тему: «Квантование гравитационных волн». Результаты этой диссертации опубликованы в 1936 году в VI томе «Журнала Экспериментальной и теоретической физики», а в 1979-м часть статьи 1936 года напечатана снова, на этот раз в сборнике «Альберт Эйнштейн и теория гравитации» (М., изд-во «Мир»).

Под редакцией и с предисловием М. П. Бронштейна вышли переводы нескольких иностранных книг, посвященных разным отделам физики (напр., в 1937 г.— книга П. А. М. Дирака «Основы квантовой механики», в ОНТИ).

Кроме чисто научных работ (всего их более тридцати), М. П. Бронштейн был автором и популярных журнальных статей, и научно-популярных и научно-художественных книг: так в 1935 году в ОНТИ вышли две его популярные книги: «Строение вещества» и «Атомы, электроны, ядра»; в 1936-м, в Детгизе, первая из научно-художественных — «Солнечное вещество»; в 1937-м, там же — «Лучи Икс» и «Изобретатели радиотелеграфа». Последняя книга вышла в момент ареста Матвея Петровича и весь тираж ее был уничтожен. Напечатанным оказался лишь первый вариант в журнале «Костер» (1936, № 4 и № 5).

О роли, которую сыграл М. П. Бронштейн в развитии теоретической физики, популярной и научно-художественной литературы, см., в частности: БСЭ, 3-е изд. Т. 4 (М., 1971); М. С. Соминский. Абрам Федорович Иоффе. М., Л.: Наука, 1964; В. Я. Френкель. Яков Ильич Френкель. (М., Л., 1966); С. Маршак. Повесть об одном открытии // альманах «Год XVIII», под ред. А. М. Горького, № 8 (М., 1935); Лидия Чуковская. О книгах забытых или незамеченных // «Вопр. лит.», 1958, № 2; Л. Ландау. «Несколько слов об этой книге» (предисловие к «Солнечному веществу», 2-е изд. М., 1959); Д. Данин. Жажда ясности // Новый мир, 1960, № 3; Г. Е. Горелик. «Первые шаги квантовой гравитации и планковские величины» в «Эйнштейновском сборнике 1978—1979» (М.: Наука, 1983); Г. Е. Горелик, В. Я. Френкель. «М. П. Бронштейн и его роль в становлении квантовой теории гравитации» в «Эйнштейновском сборнике 1980—1981» (М.: Наука, 1985).

В 1989 г. в изд-ве «Наука» (М.) готовится к печати книга Г. Е. Горелика и В. Я. Френкеля «Матвей Петрович Бронштейн (1906—1938)»; в том же изд-ве в 1990 году — сборник научно-художественных произведений М. Бронштейна «Солнечное вещество».

М. П. Бронштейн был арестован в августе 1937 года. Официальные справки о гибели моего мужа и реабилитации «за отсутствием состава преступления» я получила лишь через 20 лет, в 1957 году. Из сопоставления даты «смерти», обозначенной в одной справке, с датой приговора — в другой, явствует, что «судим» он был 18 февраля 1938 г. и «умер» — т. е. расстрелян — в тот же день. В феврале 1938 г. приходили и за мною, но случайно не застали дома.

В хлопотах об освобождении М. П. Бронштейна принимали участие физики: С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе, Л. И. Мандельштам, И. Е. Тамм, В. А. Фок; писатели: С. Маршак, К. Чуковский.

ЗА СЦЕНОЙ

(факты, люди, книги, документы)

В конце книги собраны те стихотворения Анны Ахматовой, без которых наши разговоры непонятны.

В отделе «...Но крепки тюремные затворы» даны сведения о сыне Анны Андреевны (Л. Н. Гумилеве) и моем муже (М. П. Бронштейне), чьими тюремными судьбами мы были тогда заняты.

Под строкой приводятся только самые необходимые сведения: либо кратчайшие справки о фактах и людях, либо библиографические ссылки на произведения Ахматовой и отрывки из ахматовских текстов.

Весь дополнительный разъясняющий материал расположен в соответствии с датами моего дневника и помещен в отделе «За сценой».

Наиболее часто встречающиеся заглавия сокращены так:

БВ — Анна Ахматова. Бег времени, М.— Л., «Советский писатель», 1965.

ББП — Анна Ахматова. Стихотворения и поэмы. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1976.

«Сочинения» — Анна Ахматова. Сочинения. Международное литературное содружество, т. 1, 1967 (2-е изд.), т. 2, 1968.

«Из шести книг» — Анна Ахматова. Из шести книг. Л., «Советский писатель», 1940.

«Записки», т. 2 — Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой Том 2. 1952—1962. Paris. YMCA-Press, 1980 *.

«Памяти А. А.» — сб. «Памяти Анны Ахматовой», Paris, YMCA-Press, 1974.

«Ахматова. Ардис» — Анна Ахматова. Стихи, переписка, воспоминания, иконография. Составитель Э. Проффер. Анн Арбор, Ардис, 1977.

ББП-М — О. Мандельштам. Стихотворения. Библиотека Поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1973.

ББП-П — Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1965.

1938

10 ноября

[1] Николай Николаевич Пунин (1888—1953) — искусствовед, художественный критик, автор книг «Японская гравюра» (1915), «Андрей Рублев» (1916), «Татлин» (1921). В 1920 году вышла книга Н. Пунина «Современное искусство» (цикл лекций), в 1927—1928 — «Новейшие течения в русском искусстве», в 1940-м — учебник по «Истории западно-европейского искусства». Через много лет после гибели и реабилитации Пунина, изд-во «Советский художник» в 1976 г. опубликовало сборник его избранных статей: Н. Н. Пунин. Русское и советское искусство.

До революции (с 1913-го по 1916-й) Н. Н. Пунин — сотрудник журнала «Аполлон»; после революции — комиссар при Русском Музее и Ленинградском Государственном Эрмитаже; заместитель наркома просвещения А. В. Луначарского по делам музеев и охраны памятников, преподаватель высших учебных заведений.

Пунин был арестован дважды; в первый раз — выпущен, а во второй — погиб в заключении.

Ахматовой обращены к Пунину такие стихи: «От тебя я сердце скрыла» № 21; «Не недели, не месяцы — годы», «И как всегда бывает в дни разрыва», «Я пью за разоренный дом» (БВ, «Тростник»). После кончины Н. Н. Пунина Ахматова посвятила ему стихотворение: «И сердце то уже не отзовется» (БВ, «Седьмая книга»).

К Пунину обращена также одна из «Северных элегий» («Так вот он — тот осенний пейзаж»); если судить по строкам:

> Пятнадцать лет — пятнадцатью веками
> Гранитными как будто притворились —

брак Анны Андреевны с Пуниным длился 15 лет (с 1923-го по 1938 год). Над всем циклом «Северных элегий» Ахматова поставила эпиграф из Пушкина «Все в жертву памяти твоей...» Очень может быть, что слова эти отнесены ею к Пунину.

[2] Василий Васильевич Князев (1887—1937 или 1938) — поэт; до революции — сатирик, после революции — автор «Красного Евангелия», «Песен Красного звонаря», «Красных звонов и песен»; постоянный сотрудник «Красной газеты». В 1937 году Князев был арестован и погиб на Колыме.

Князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский (1890—1939) — знаток русской и английской литературы; в Англии, куда он эмигрировал в 1922 году, составлял антологии русской поэзии, писал о русской литературе и преподавал русскую литературу в Лондонском университете; в 1932 году, уже членом Коммунистической партии Великобритании вернулся в Советский Союз; здесь он публиковал статьи об Элиоте, Джойсе, Смоллете, Хаксли (одни в журналах, другие как предисловия к сочинениям) и составил антологию английской поэзии. В 1937 году Д. П. Святополк-Мирский был арестован и в 1939-м умер в лагере.

1939

26 февраля

[3] А. А. прочитала: «Еще не умер ты, еще ты не один» и «Как по улицам Киева-Вия» — см.: ББП-М, стр. 187 и 200.

3 марта

[4] Николай Иванович Харджиев (р. 1903) — прозаик, искусствовед, стиховед. Ему принадлежат повести о Федотове, Баранщикове, Пол-

вунове; многочисленные статьи о новаторстве в изобразительном искусстве, а также о поэзии. См., например, статью «Маяковский и живопись» (М., 1940). Н. Харджиев — вместе с В. Трениным — редактировал первый том первого посмертного Полного Собрания сочинений В. Маяковского (М., 1935); совместно с Т. Грицем — книгу «Неизданные произведения» Велимира Хлебникова (М., 1940); им подготовлены к печати и прокомментированы избранные стихи О. Мандельштама для Большой серии «Библиотеки Поэта» (ББП-М).

Н. И. Харджиев — близкий друг Ахматовой и Мандельштама. А. А. и Николай Иванович познакомились в Ленинграде в 1930 году; с тех пор Ахматова имела обыкновение советоваться с Николаем Ивановичем о своих стихах, переводах, прозе. Написав воспоминания об Амедео Модильяни, А. А. приложила к ним небольшое исследование Н. Харджиева, в котором он утверждает, в частности, что рисунок Модильяни, изображающий Ахматову, «перекликается с фигурой одного из известнейших архитектурно-скульптурных сооружений XVI столетия»: с аллегорической фигурой «Ночь» на крыше саркофага Джулиано Медичи, созданной Микеланджело. (См. московский альманах «День поэзии», 1967.)

2 мая

[5] *Я всю Фонтанку обжила.* — На набережной Фонтанки, сколько мне известно, А. А. жила в разные годы в таких домах: в 1921—1922-м в доме № 18, в четвертом дворе; в 1924 году — на углу бывшей Французской (ныне Кутузовской) набережной, на Фонтанке, 2; прожила около тридцати лет в знаменитом «Фонтанном дворце» (Фонтанка, 34), т. е. во флигеле бывшего дворца князей Шереметевых.

Оля — Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885—1945) — драматическая актриса, певица, танцовщица, близкий друг Анны Андреевны. О ней и о ее месте в жизни и в поэзии Ахматовой см. комментарий В. М. Жирмунского в ББП, стр. 457 и 513; а также, кроме первого тома моих «Записок» — см. т. 2.

В альманахе «Воздушные пути» опубликованы воспоминания Артура Лурье: «Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина» (Нью-Йорк, 1967, т. V, стр. 139). В 1972 году, во Франции, появилась целая книга о ней — о ее жизни, о близких ей людях, о ее работе в театре, о созданных ею куклах, вышивках, о рисунках на фарфоре. См. Eliane Moch-Bickert, Olga Glebova-Soudeikina — amie et inspiratrice des poètes. Thèse prés. devant l'Univ. de Paris IV, Lille.

18 мая

[6] Михаил Леонидович Лозинский (1886—1955) — поэт, член «Цеха Поэтов», переводчик, редактор переводов, на протяжении четырех с лишним десятилетий — преданный друг Анны Ахматовой. Недаром именно в стихотворении, обращенном к Лозинскому, Ахматова дает свое знаменитое определение дружбы:

…пад временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена…

и в своем «Слове о Лозинском» тоже подчеркивает преданность друзьям, как главную черту покойного.

В 1912 году Михаил Лозинский посвятил Анне Андреевне стихотворение «Не забывшая» (в 1916 оно вошло в сборник «Горный ключ»); Ахматова обращала к Лозинскому стихи, начиная с 1913 года по 1940: «Не будем пить из одного стакана» (1913; БВ, «Четки»); «Он длится без конца — янтарный, тяжкий день» (1913; БВ, «Четки»); «Они летят, они еще в дороге» (1916; БВ, «Белая стая»); «Надпись на книге» (1940; БВ, «Тростник»). В. М. Жирмунский полагает также (см. ББП, стр. 457), что к Лозинскому, кроме перечисленных, обращены еще два стихотворения Ахматовой 1913 года: «Солнце комнату наполнило» и «Ты пришел меня утешить, милый!» (ББП, стр. 72).

До революции М. Л. Лозинский был секретарем журнала «Аполлон» и владельцем издательства «Гиперборей». После революции ведал переводами с итальянского в издательстве «Всемирная Литература», как один из членов редакционной коллегии. Начиная с двадцатых годов переводы стали для Михаила Леонидовича главным делом жизни. Он переводил Данта, Бенвенуто Челлини; Лопе де Вега, Тирсо де Молина; Гете, Шиллера; Шекспира, Джона Флетчера, Киплинга; Корнеля, Леконта де Лиля, Мольера, Ромена Роллана. Переводил Лозинский и армянского поэта Саят Нова и грузинского — Н. Бараташвили; принимал участие в переводе «Шахнаме» Фирдоуси и армянского эпоса «Давид Сасунский».

…«В трудном и благородном искусстве перевода, — пишет Ахматова, — Лозинский был для двадцатого века тем же, чем был Жуковский для века девятнадцатого… С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний „Цеха Поэтов". Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи».

Об М. Л. Лозинском см. также «Записки», т. 2.

[7] Дмитрий Николаевич Журавлев (р. 1900) — поначалу ученик, а затем и актер Вахтанговского театра. В 1931 году Д. Н. Журавлев увлекся «художественным чтением» и начал выступать с эстрады; в его репертуаре самые разнообразные произведения русской и западно-европейской поэзии и прозы: Пушкин, Гоголь, Блок, Маяковский, Ахматова, Мериме, Мопассан.

А. А. познакомилась с Дмитрием Николаевичем в 1938 или 1939 г.: знакомство состоялось именно после того, как Ахматова услыхала прочитанную им «Пиковую Даму». Упоминание о чтении «Шинели» — см. «Записки», т. 2.

Д. Н. Журавлев — автор воспоминаний об Ахматовой, опубликованных в его книге «Жизнь, искусство, встречи» (М., ВТО, 1985).

[8] Слова из рассказа Чехова. А. А. «низшей расой» в данном случае называет мужчин. У Чехова же их произносит, относя это определение не к мужчинам, а к женщинам, Дмитрий Дмитриевич Гуров — герой рассказа «Дама с собачкой».

29 мая

[9] В 1937 году, в пору разгрома Ленинградского отделения Детиздата, возглавляемого С. Я. Маршаком, Александра Иосифовна Любарская, член этой редакции, была арестована. Ни следствии ее обвиняли в шпионаже в пользу Японии, во вредительстве. 14 января 1939 г. она была освобождена и, когда мы увиделись, рассказала мне о перенесенных ею избиениях во время допроса. Мы были друзьями издавна: еще до совместной работы в редакции вместе учились на Словесном отделении Государственных Курсов при Институте Истории Искусств (О разгроме «ленинградской редакции» см.: Лидия Чуковская. В лаборатории редактора. Изд. 2-е. М., «Искусство», 1963, стр. 322, а также «Записки», т. 2).

А. И. Любарская (р. 1908) — редактор и фольклорист. Многие народные и литературные сказки выходили и выходят в свет в ее обработке. В ее обработке вышли сказки народов Советского Союза — сначала под заглавием «Волшебный колодец» (1945), а затем — «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве» (1966 и 1971). Ею выполнен прозаический пересказ карело-финского эпоса «Калевала», выдержавший с 53 по 75 год пять изданий. Совместно с Т. Габбе, А. Любарская подготовила к печати сборник «По дорогам сказки»; совместно с З. Задунайской — знаменитую книгу Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»; ею пересказаны и обработаны также «Сказки Топелиуса», сказки Асбьернсена и мн. др.

31 мая

[10] *Геша* — Герш Исаакович Егудин (1908—1984), математик, Митин и мой друг. Это он спас меня в феврале 38 г.: позвонил из Ленинграда в Москву и дал понять приютившим меня знакомым, что за мной на ленинградскую квартиру приходили. (См. «Вместо предисловия».)

4 июля

[11] Борис Пастернак. Охранная грамота. Л., «Издательство писателей в Ленинграде», 1931, стр. 15.

20 июля

[12] [*У Мопассана*] *я только один рассказ люблю — тот, где человек сходит с ума.* — Напоминаю: человек сходит с ума в рассказе «Орля» (1886). Недавно я перечла его. Рассказ написан в форме дневника душевнобольного, страдающего чем-то вроде мании преследования. Герою представляется, будто рядом с ним, под одним с ним кровом, у него в доме, поселилось невидимое, но грозное и могущественное чудовище (которое он называет «Орля»). Чудовище воздействует на него силою внушения, а по ночам высасывает жизнь из сомкнутых губ. Для проверки — существует ли Орля в действительности — герой проделывает многие опыты: например, оставляет с вечера на столе хлеб, графины с водой, молоком, вином, а утром обнаруживает, что вода и молоко выпиты. Поначалу герой считает Орля плодом своего расстроенного воображения, но постепенно убеждает себя в реальности его присутствия и пробует уничтожить — сжечь.

Я не знаю, в каком году Ахматова впервые прочитала этот рассказ. Но когда теперь я перечитала его на фоне своих ахматовских записей, я не могла не вспомнить многое: например, слова Владимира Георгиевича (сказанные мне 9 июля 1940-го): Анна Андреевна «видела больную Срезневскую и… выискивает в себе те же симптомы»; не могу не вспомнить постоянных споров Анны Андреевны с окружающими — был ли у нее в ее отсутствие обыск — или нет? и, наконец, многих и многих стихов — хотя бы «Северную элегию» 1921 года, обращенную к Гумилеву:

В том доме было очень страшно жить…
. . . .
. . . .
. . . .
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко
. . . .
. . . .
Теперь ты там, где знают всё, скажи —
Что́ в этом доме жило кроме нас?

Разве это не то же ощущение, каким преисполнен герой мопассановского рассказа: кто-то невидимый вечно следит за мной, а может быть, и живет вместе со мной под одной кровлей?

Мне кажется, Ахматова постоянно, как заклинание, твердила про себя пушкинское: «Не дай мне Бог сойти с ума…» Ум ее был трезв, ясен, проницателен. И именно поэтому сознание ее было преисполнено ужасом перед совершающимся (которого не видели другие) и ужасом перед возможностью утраты рассудка. Ахматова яснее других чуяла и осознавала происходящее; действительность была чудовищна; заглядывая в подвал памяти, она восклицала:

Но где мой дом и где *рассудок* мой?

— или, создавая свой «Реквием»:

Уже *безумие* крылом
Души накрыло половину…

…Вот на какие, вовсе необязательные, мысли, навело меня перечитывание своих «Записок» и упомянутого Ахматовой мопассановского рассказа о «человеке, который сходит с ума».

Прим. 1980 г.

[13] *Володя* — Владимир Казимирович Шилейко (1891—1930) — ассиролог, специалист по древнейшим культурам Передней Азии, знаток мертвых клинописных языков. Основной труд — «Вотивные надписи шумерийских правителей» с очерком по истории Шумерии (1915). О В. К. Шилейко см.: Тамара Шилейко. Легенды, мифы и стихи… («Новый мир», 1987, № 4).

21 июля

[14] *Ольга Николаевна* — Высотская (1885—1966) — актриса «Старинного театра» и Студии Мейерхольда. В 1912 году, работая и Але-

сандринском театре, В. Мейерхольд посвятил О. Н. Высотской свою режиссерскую работу над спектаклем «Заложники жизни» Ф. Сологуба. (См. В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, т. 1, М., «Искусство», 1968, стр. 235).

29 июля

[15] Зоя Моисеевна Задунайская — так же, как и я, А. И. Любарская и Т. Г. Габбе, сначала училась на Словесном отделении Государственных Курсов при Институте Истории Искусств, а позднее стала одним из редакторов Ленинградского Отделения Детиздата. Из членов основного ядра «ленинградской редакции» в пору разгрома неарестованными остались только мы двое: я и Зоя Моисеевна. Меня выгнали первую; затем была уволена З. Задунайская «за связь с врагами народа», то есть за дружбу с Любарской и Габбе. С нею вместе мы написали письмо Ежову, которое исхитрились передать ему в руки (через врача его бывшей жены). В этом письме мы утверждали невинность наших товарищей и просили привлечь к делу нас и выслушать наши показания. Письмо не возымело никакого действия. Составляя его, хлопоча о доставке «прямо в руки», мы еще не знали тогда, что в ту пору никакие письма вообще к счет не принимались, так же как и устные и письменные заявления. Разница между устным и письменным была лишь в том, что письменные хотя и не помогали арестованному, но редко вредили писавшим. Когда же человек вставал на собрании и публично заявлял, что арестованный невиновен — тогда его наверняка арестовывали (если он был членом партии) или на годы лишали работы (если он был беспартийный). Однако система действий Большого Дома не была нам ясна, тем более, что в подробностях она постоянно менялась.

Зоя Моисеевна Задунайская (1903—1983) — совместно с Т. Габбе переработала и пересказала книгу Т. Б. Олдрича «Воспоминания американского школьника» (1932); а совместно с А. Любарской — «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф (1940). В последующие годы З. Задунайская начала заниматься фольклором. Она переработала и пересказала «Сказки народов Прибалтики», китайские сказки и, вместе с Н. Гессе — итальянские сказки, молдавские и мн. др.

[16] *...Я начала ей рассказывать... о провокациях Мишкевича».*— Еще до разгрома редакции, я, по поручению С. Я. Маршака, вместе с поэтом и критиком Мироном Левиным подготовила к печати однотомник стихов Маяковского. Г. Мишкевич (р. 1905?), который с 1937 года стал «главным редактором» Лендетиздата, уличая меня во вредительстве и доказывая мою причастность к козням «врагов народа», привел на собрании, в качестве доказательства, перевранные цитаты из моих и Левина примечаний к то́му Маяковского.

В результате его клевет эта книга, как и многие другие, была загублена. И только ли книги! По заданию ли свыше или по собственной инициативе Г. Мишкевич, доказывая «вредительство группы Маршака», писал доносы на М. П. Бронштейна, А. И. Любарскую, Т. Г. Габбе, фальсифицировал корректуры и т. д. Он же, после арестов, выпустил номер стенной газеты, где называл арестованных редакторов и писателей шпионами, диверсантами, вредителями. (Об этом номере стенной газеты см. «Записки», т. 2.)

В 1949 году Г. Мишкевич и сам был арестован по насквозь вымышленному «ленинградскому делу».

9 августа

[17] М. Бронштейн. Солнечное вещество. Л., «Детская литература», 1936.

10 августа

[18] *Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским.*— А. А. имеет ввиду следующие строки из поэмы Маяковского «Человек»:

Фонари вот так же врезаны были
в середину улицы.
Домá похожи.
Вот так же,
из ниши,
головы кобыльей
вылеп.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».

28 августа

[19] *Мирон Павлович Левин* (1917—1940) — критик и поэт; когда он появился в редакции, ему не было и девятнадцати — в шутку все величали его по имени и отчеству: «Мирон Павлович». М. Левин — автор статей: «С. Маршак» и «Маяковский и дети» (см. журнал «Детская литература», 1939, № 4), а также многочисленных стихотворений, не увидевших света.

В эту пору Мирон Левин умирал от туберкулеза горла в Крымском санатории Долосы. Стихи он посылал мне в письмах. Привожу те, которые я читала тогда Анне Андреевне:

Голос тихо исчезает,
Оставляет одного.
Так товарищи бросают
Тело друга своего.

———

Мы говорим веселые слова,
Но наша жизнь мертва, мертва, мертва.
И только в звонкой доблести острот
Пред нами жизнь как подвиг предстает.

———

Задумаем, милый, на счастье
Простое, простое число.
Чтоб нам хоть чуть-чуть, хоть отчасти,
Хотя бы на миг повезло.

———

Опять наступает
Привычный финал:
Четыре часа,
Не помог веронал.

Не спит человек
И не может уснуть.
И вот он в далекий
Пускается путь.

Идет на веранду,
Садится впотьмах.
Казенный халат,
Папироса в зубах.

Он видит, закрывши
Глаза, вдалеке
Свой город любимый
На дальней реке.

———

Михайловский замок у Летнего сада,
Каштаны и цирк и Михайловский сад.
Вот все, что мне надо. Мне больше не надо.
Верните мне город и замок назад!

[20] *Он (Коля), видно, славный человек, думающий, смелый...*— Николай Сергеевич Давиденков (1915—1950?) — биолог и литератор, сын заслуженного деятеля науки, знаменитого невропатолога С. Н. Давиденкова. Он был приятелем Льва Гумилева, арестован и сидел в тюрьме одновременно с ним; но в 39-м прохотливом году, к отличие от Левы, Коля, вместе с целой группой студентов, был отдан под обыкновенный суд, оправдан и выпущен.

Вскоре я подружилась с Колей и стала редактором популярной книжки о Дарвине, которую Давиденков начал писать для Дома Занимательной Науки.

Дальнейшая судьба Н. Давиденкова оказалась сложна и страшна: оправданный по суду, он, однако, не был восстановлен в Университете. Из-за этого он подлежал призыву в армию, куда и был взят в начале 1941 года. Вместе с нашими войсками Давиденков побывал в Польше, откуда изредка писал мне. Затем письма прекратились — Гитлер напал на Советский Союз; под Минском Давиденков, тяжелораненый, взят был в плен, потом бежал из немецкого лагеря и опубликовал на Западе книгу (или несколько книг?) о тридцать седьмом годе, потом воевал с немцами в одном из союзнических соединений на Западном фронте, потом оказался в советском плену, попал в лагерь и в лагере был расстрелян.

Это всего лишь одна из случайно дошедших до меня версий военно-лагерной биографии Н. С. Давиденкова. Правда, в мае 1950 года я получила от него собственноручное письмо из лагеря — прощальное — но в нем, разумеется, Коля почти ничего не имел возможности рассказать о себе. К письму были приложены стихи. В письме же, в частности, говорилось: «Главное у меня оказались не стихи, а проза. Этим я жил (во всех смыслах) четыре года, прерывался только для войны — но тут яударяюсь в биографию, от которой сохрани Бог».

В 50-е и 60-е годы до меня доходили лишь непроверенные слухи о Колином конце и притом разные. Подробно судьба Н. Давиденкова изложена в книге А. Солженицына «Архипелаг ГУЛаг».

Как мне говорила А. А., Коля и до ареста и после часто бывал у нее, читал ей свои стихи и знал наизусть «Реквием».

5 сентября

[21] Анна Евгеньевна Аренс (1892—1943) — первая жена Н. Н. Пунина; по профессии — врач-терапевт. Замуж за Николая Николаевича Анна Евгеньевна вышла к 1917 году, а когда они разошлись — продолжала жить к той же квартире.

16 сентября

[22] В. Г. Бенедиктов. Стихотворения. Библиотека поэта. Вступительная статья, редакция и примечания Л. Я. Гинзбург. Л., 1939.

27 сентября

[23] Рахиль Ароновна Брауде (1901—1971) — мой друг в соседка; до 37 г. она была секретарем нашей редакции, а после арестов редакторов и писателей — уволена «за связь с врагами народа». Живя на улице Рубинштейна, óкна в óкна со мной, она всячески заботилась обо мне после ареста Матвея Петровича; даже сменяла меня по ночам в тюремных очередях.

[24] *...стихов его [В. Брюсова] не люблю и прозы тоже.*— В ранней юности Ахматова по-другому относилась к Валерию Брюсову: знала наизусть и любила его стихи. Об этом свидетельствуют хотя бы ее письма к С. В. Штейну, опубликованные и прокомментированные Э. Г. Герштейн — см. «Новый мир», 1986, № 9, с. 196.

[25] Привожу отрывок из упомянутого Анной Андреевной письма Гумилева к Брюсову:

[11 мая 1909, Царское Село]

«Вы наверно уже слышали о лекциях, которые Вячеслав Иванович читает нескольким молодым поэтам, в том числе и мне. И мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих». (РО ГБЛ, ф. 386, к. 84, № 20, л. 5).

[26] *По дневнику видно, какой дурной был человек. <...> «Под видом массажа крутил руки брату».*— Говоря о «дневнике» Брюсова, Ахматова имеет в виду книгу: Валерий Брюсов. «Из моей жизни. Моя юность» (1927). Привожу подлинный текст: «...мой брат был при смерти, болен; медленно умирал в постели, ослепший и потерявший рассудок. Сердце мое сжималось от жалости к нему. Но я рассудочно был убежден, что жалость, как и всякая сантиментальность,— глупость. Я решительно преодолел в себе это чувство. <...> Временами у него бывали судороги и тогда ему растирали руки и ноги. Раз вечером я принял участие в этом растирании вместе с его сиделкой, его прежней кормилицей. Она растирала ноги, я —

руки. Но вместо того, чтобы растирать, я стал всячески жать, коверкать ему руки, стараясь причинить ему большую боль. Он вырывался, он стонал все сильнее, но я упорствовал».

Брат Валерия Брюсова, Николай (1877—1887) скончался от опухоли мозга.

[27] У Анны Андреевны были два брата: старший — Андрей (1886—1920) и младший — Виктор (1896—1976). Здесь (и далее, на стр. 96) А. А. говорит об Андрее. Об их матери, Инне Эразмовне, в девичестве Стоговой (1856—1930), об отце — флотском инженере-механике Андрее Антоновиче Горенко (1848—1915) и обо всей семье, сестрах — Ирине (ок. 1888— ок. 1892), Инне (1883—1905), Ии (1894—1922), — см. к кн. Amanda Haight. Anna Akhmatova. Oxford University Press, 1976, а также в интервью с Виктором Андреевичем Горенко, опубликованном в сб. «Ахматова. Ардис».

Прим. 1978 г.

15 октября

[28] «Литературный Современник», 1937, № 1 был целиком посвящен Пушкину; по-видимому, А. А. интересовалась статьей Б. Казанского: «Иностранцы о дуэли и смерти Пушкина».

[29] Цезарь Самойлович Вольпе (1904—1941) — исследователь русской литературы, критик. В юности — посетитель семинара, который в начале 20-х годов вел в Бакинском университете Вяч. Иванов. Перу Цезаря Вольпе принадлежат статьи о В. Брюсове и Андрее Белом; работы о Жуковском и И. Козлове; он — участник создания антологии «Русские поэты XVIII—XIX вв.» (1940, 1941), а также составитель (совместно с О. Немировской) документальной книги «Судьба Блока» (Л., 1930). Писал Вольпе и статьи о наших современниках — М. Зощенко, Борисе Житкове.

Цезарь Самойлович Вольпе — мой первый муж, Люшин отец. А. А. расспрашивает меня, «что рассказывает» о Николае Ивановиче «Цезарь, вернувшийся из Москвы» потому, что Вольпе и Харджиев были очень дружны.

[30] Сергей Николаевич Давиденков (1880—1961) — Колин отец — с 1934 года заслуженный деятель науки РСФСР, один из крупнейших невропатологов Ленинграда. С 1932 года и до конца жизни С. Н. Давиденков заведовал кафедрой нервных болезней Ленинградского Института усовершенствования врачей. В годы войны стал главным невропатологом Ленинградского фронта, а с 1945 — действительным членом Академии Медицинских Наук СССР. Основные труды С. Н. Давиденкова посвящены травмам нервной системы, наследственным заболеваниям и неврозам.

Василий Гаврилович Баранов (р. 1899) — эндокринолог; председатель Ленинградского отделения Всесоюзного Общества эндокринологии; с 1960 г. — действительный член Академии Медицинских Наук СССР. В тридцатые годы В. Г. Баранов преподавал в Первом медицинском институте и заведовал в больнице им. Эрисмана (т. е. там же, где работал В. Г. Гаршин) кафедрой эндокринологии.

15 ноября

[31] Вера Николаевна Аникиева (1894—1942) — искусствовед и экскурсовод; специалистка по современному искусству. С 1920-го по 1934-й Вера Николаевна работала в Русском Музее; позднее — во Всероссийской Академии Художеств.

Из ее исследовательских работ назову две: о В. Лебедеве и об А. Пахомове. Работа о Лебедеве напечатана лишь частично и лишь в переводе на немецкий язык (см. журнал «Die bildenden Künste in UdSSR», 1934), а о Пахомове — отдельной книжкой: «А. Ф. Пахомов», Л., 1935.

Скончалась Вера Николаевна от голода во время блокады.

4 декабря

[32] Александр Николаевич Тихонов (А. Серебров, 1880—1956) — автор воспоминаний о семилетии 1898—1905, о Чехове, Савве Морозове, Комиссаржевской. До выхода этой книги в свет («Время и люди». М., «Советский писатель», 1949) А. Н. Тихонов был в литературных кругах известен, главным образом, как друг и помощник Горького, организатор, издатель, редактор; А. Н. Тихонов играл большую роль в созданном Горьким после революции издательстве «Всемирная Литература», а также в журнале «Русский Современник», где печатались М. Горький, Евг. Замятин, Л. Добычин, Б. Пильняк, Абр. Эфрос, Ю. Тынянов, К. Чуковский — и среди поэтов — Борис Пастернак, Марина Цветаева и Анна Ахматова. Позднее А. Н. Тихонов работал в издательстве «Федерация» и «Academia», а во время войны — в издательстве «Советский Писатель», выпустившем книжку: Анна Ахматова. Избранное. Стихи. Ташкент, 1943.

6 декабря

[33] Эмма Григорьевна Герштейн (р. 1903) — близкий друг Анны Андреевны, литературовед, специалист по Лермонтову, автор многочисленных исследований о Лермонтове и книги «Судьба Лермонтова» (М., 1964). На книгу эту Ахматова написала рецензию («Заметки на полях»), опубликованную в «Литературной газете» 16 марта 1965 года.

Об Э. Г. Герштейн, о ее историко-литературных работах, об ее хлопотах за Л. Н. Гумилева, о ее участии в пушкиноведческих изысканиях Анны Ахматовой см. т. 2 и т. 3 моих «Записок».

Познакомились А. А. и Эмма Григорьевна в 1934 году, в Москве у Мандельштамов.

Э. Г. Герштейн — автор воспоминаний об Анне Ахматовой («В Замоскворечье», «Литературное обозрение», 1985, № 7) и нескольких публикаций, посвященных пушкиноведческим работам (см. примеч. на стр. 10, а также «Записки», т. 2).

В 1986 г., за границей, изд-во «Atheneum» выпустило книгу Э. Г. Герштейн «Новое о Мандельштаме».

[34] Лидия Яковлевна Гинзбург (р. 1902) — прозаик, мемуарист, историк и теоретик литературы, специалистка по Вяземскому, Лермонтову, Герцену. В 1929 году ею была подготовлена к печати и прокомментирована «Старая записная книжка» П. А. Вяземского; под ее редакцией несколько раз выходили в свет его стихи.

В 1940-м опубликована книга Л. Гинзбург «Творческий путь Лермонтова». В первой половине пятидесятых годов Л. Я. Гинзбург принимала участие в работе над Герцено-Огаревскими томами «Литературного Наследства», а в 1957-м вышла в свет ее книга о «Былом и думах».

Более поздние труды Л. Гинзбург: книги — «О лирике» (1964 и 1974); «О психологической прозе» (1971), «О литературном герое» (1979), «О старом и новом» (1982); «Литература в поисках реальности» (1987). В последнюю книгу включены «Записки блокадного человека» — образец прозы Лидии Гинзбург.

Среди воспоминаний о поэтах, Лидия Гинзбург создала и воспоминания об Анне Ахматовой. Знакомство их состоялось в доме у Г. А. Гуковского, с женой которого, Натальей Викторовной Рыковой, А. А. была очень дружна. (Ей посвящено стихотворение «Все расхищено, предано, продано» — БВ, «Anno Domini»). Через Наталью Викторовну Лидия Яковлевна передала Анне Андреевне оттиск своей статьи о Вяземском. Статья понравилась.

— «Очень хорошая статья, — сказала Анна Андреевна. Это была первая фраза — я очень ею гордилась, — услышанная мною от Анны Андреевны», — сообщает Л. Я. Гинзбург в своих мемуарах.

«С тех пор мы встречались в течение сорока лет, до самого конца. Часто — в тридцатых годах и после войны, во второй половине сороковых; реже — в пятидесятых и шестидесятых, когда Анна Андреевна подолгу гостила в Москве». (См. Лидия Гинзбург. Ахматова — «День Поэзии», М., 1977, стр. 216).

14 декабря

[35] Яков Семенович Киселев (р. 1896) — ленинградский юрист, знаменитый адвокат (см. Я. С. Киселев, Судебные речи. Л., 1967; Воронеж, 1971).

Как известно, в тридцатые годы к делам арестованных по 58-й статье в подавляющем большинстве случаев никакие юристы, никакие адвокаты не допускались. Так и к рассмотрению дела М. П. Бронштейна, осужденного Военной Коллегией Верховного суда (почему именно этой инстанцией, а не какой-нибудь другой, неизвестно) адвокат допущен не был. Тем не менее я и Корней Иванович, составляя официальные письма и прошения о пересмотре дела, не раз пользовались добрыми советами Я. С. Киселева.

1940

13 января

[36] *Оказывается ... у акмеистов есть заслуги... Какая любезность, не правда ли?* — Из уст критика-рапповца Валерия Павловича Друзина (1903—1980) такой отзыв об акмеистах в самом деле звучал снисходительно, даже любезно. В 1929 году в книге «Стиль современной литературы» Друзин писал: «Враждебный революции [акмеизм] лишен был питательных соков». В 1936 году в газете «Литературный Ленинград»: «Крупнейшие мастера советской поэзии ... должны были каждый по-своему в своем творческом росте, в своей борьбе за реализм *«разделываться» с наследием акмеизма* и футуризма... Традиции символистского пренебрежения реальными очертаниями действительности и традиции *акмеистической бутафории* по-разному *мешают видеть* мир ... *Как беден* пейзаж Бальмонта или *Ахматовой* рядом с богатством красок Пушкина и Некрасова» (курсив всюду мой. — *Л. Ч.*).

Мир Ахматовой казался Друзину бедным; зато в будущем случалось ему высоко оценивать богатство зрительного мира в произведениях не только Пушкина и Некрасова, но и Вс. Кочетова (1955, 1961, 1962), Фирсова (1966, 1972) и Грибачева (1971).

Поносил же Друзин всегда тех, кого в данную минуту требовало поносить начальство: недаром после постановления 46 года — им, Друзиным, «укрепили» разгромленную редакцию журнала «Звезда». Во время антисемитской кампании 1948—1953 годов Друзин выступал со статьями под такими выразительными заголовками: «Разоблачать последышей буржуазного космополитизма и эстетства» («Звезда», 1948, № 2), «Прихвостни антипатриотической группы...» («Сов. искусство», 1949, 12 февр.).

Конечно, в 1940 г. Ахматова еще не знала статей Друзина конца сороковых и всех последующих, но его антилитературная и, в частности, антиакмеистическая деятельность была ей уже хорошо известна.

17 января

[37] Александра Осиповна, в девичестве Россетт, в замужестве Смирнова (1809—1882) — одно время, в молодости, фрейлина императорского двора, известная красавица, хозяйка салона; позднее — хозяйка салона в Калуге, где муж ее Н. М. Смирнов в середине 40-х стал губернатором. В историю русской литературы Россетт-Смирнова вошла главным образом не как мемуаристка, а как собеседница и корреспондентка знаменитых писателей. Чуть ли не все поэты ее времени посвящали ей стихи. «Никто из них не прошел мимо, не отдав ей поэтического приношения», — пишет Л. В. Крестова, имея в виду посвященные Россетт-Смирновой стихотворения Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Вяземского, Хомякова, Туманского. А. О. Россетт-Смирнова была дружна с семьей Карамзиных, а позднее с Гоголем и Аксаковым. К Смирновой — калужской губернаторше — обращены многие письма из книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

Мемуары Смирновой, о которых говорит А. А., см.: «Записки, дневник, воспоминания, письма». Со статьями и примечаниями Л. В. Крестовой. Под ред. М. А. Цявловского. М., 1929.

[36] *Мы заговорили о воспоминаниях Крандиевской...* — Наталья Васильевна Крандиевская (1890—1963), вторая жена А. Н. Толстого, поэтесса, автор мемуаров о Куприне, Есенине, Алексее Толстом.

[39] Отрывок из «Опавших листьев» пересказан мною не вполне точно: см. В. Розанов. Опавшие листья, короб первый. Спб, 1913, стр. 499.

[40] Анатолий Андреевич Волков (1909—1981) — критик, историк литературы, о котором в КЛЭ сообщается, что работы его «носят по преимуществу компилятивный характер». Однако работы Волкова об акмеистах точнее было бы охарактеризовать как погромные. Вот название статьи 1933 года — «Акмеизм и империалистическая война» («Знамя», № 7), название книги 1935 года: «Поэзия русского империализма».

Вот несколько цитат из этих сочинений: «...акмеизм не только хронологически связан с империалистической войной, но в полном смысле слова является ее кровным идейным детищем. <...> Столыпинский блок черносотенных помещиков с буржуазией усилил полицейско-бюрократический режим, обусловил агрессивность русского империализма. Именно в творчестве Гумилева нашли наиболее полное свое выражение агрессивные устремления этого блока. <...> Ахматова прочувствовала и выразила в своей поэзии идеологический «скрип», которым сопровождалась столыпинско-буржуазная ломка дворянских феодальных усадьб».

Окрыленный постановлением 46 года, А. Волков опубликовал статью о «теории и поэзии акмеизма» под заглавием «Знаменосцы безыдейности» («Звезда», 1947, № 1), а в пятидесятых годах в «Истории русской литературы» назвал Ахматову мещанской поэтессой. Об этом см. «Записки», т. 2.

23 января

[41] Александр Николаевич Болдырев (р. 1909) — специалист по иранской филологии. С 1936-го по 1942 год А. Н. Болдырев работал в Эрмитаже, в Отделе Востока. Когда во время войны значительная часть экспонатов Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск — Болдырева назначили хранителем восточных рукописей, оставшихся в Ленинграде.

Начиная с пятидесятых годов, А. Н. Болдырев — профессор Ленинградского университета, заведующий кафедрой иранской филологии.

4 февраля

[42] Моя повесть «Софья Петровна» попала а Самиздат через 17 лет, за границу через 25. Напечатана она под правильным названием в Нью-Йорке в 1966 году в «Новом Журнале» (в номерах 83 и 84) и под неправильным — отдельной книжкой — в 1965-м в Париже. («Опустелый дом», изд-во «Пять Континентов»). Из предисловия парижского издателя явствует, что повесть понята им совершенно ошибочно: он принимает внутренний монолог героини за голос автора, отождествляя сознание героини с авторским сознанием. Между тем, автор, хоть и соболезнует Софье Петровне, но, в отличие от нее — понимает происходящее и пытается окружающую действительность изобличать; Софья же Петровна слепа.

О слепоте общества и написана повесть.

Повесть переведена (к сожалению, не по тексту «Нового Журнала», а по искаженному тексту «Пяти континентов») на французский, английский, немецкий, голландский и шведский языки. На родине она не опубликована до сих пор. История борьбы за напечатание «Софьи Петровны» в России изложена мною во втором томе «Записок», а также в книге «Процесс исключения» (Paris, YMCA-Press, 1979).

*Прим. 1980 г.**

3 марта

[43] А. А. говорит о шестом томе Полного Собрания Сочинений Н. А. Добролюбова, появившемся в 1939 году: именно в шестом томе опубликованы стихи, рассказы и дневник. Вступительная статья и комментарии к этому тому принадлежат Б. Я. Бухштабу.

6 марта

[44] А. Любарская и Л. Чуковская «О классиках и их комментаторах» — «Литературный критик», 1940, № 2.

9 марта

[45] Речь несомненно идет о балладе Пастернака, начинающейся словами: «Бывает курьером на борзом» — см. ББП-П, с. 96.

20 марта

[46] Александр Александрович Осмеркин (1892—1953) — художник-живописец, автор пейзажей, натюрмортов, портретов, театральных декораций. Осмеркин до революции — участник художественных выставок «Бубнового Валета» (1913, 1915) и «Мира Искусства» (1916, 1917); после революции работал бок о бок с Кончаловским, Лентуловым, Машковым; участник многих выставок, в том числе международных. Илья Эренбург, характеризуя живопись художника уже после его кончины, писал: «...Осмеркин видел связь человеческого лица с окружающими предметами, натюрморта с пейзажем». (См. вступительную статью к каталогу «Выставки произведений...», М., 1959).

Занимался Осмеркин и преподаванием. В тридцатые годы его преподавательская деятельность «снискала ему славу одного из наиболее талантливых и любимых молодежью педагогов советской художественной школы» (см. сб. «Сто памятных дат», М., «Советский художник», 1967, стр. 246). Осмеркин преподавал в Государственном Художественном Институте имени Сурикова в Москве и во Всероссийской Академии Художеств имени Репина в Ленинграде.

Как упоминается у меня в «Записках» несколькими строками ниже, «скоро пришел И.» Это — Иогансон; в те годы Осмеркин и Иогансон были приятелями и часто появлялись вместе.

Борис Владимирович Иогансон (1893—1973) — художник-живописец (автор многочисленных картин «о советской действительности»), в те годы преподавал там же, где и Осмеркин. Со временем пути их, художнические и человеческие, круто разошлись: Осмеркин остался мастером, творцом, педагогом, подлинным человеком искусства, а Иогансон преуспел как администратор: с 1953 по 58-й — он вице-президент Академии Художеств СССР, с 1958 по 62-й — Президент, а с 1965 года по 67-й — первый секретарь Правления союза художников СССР. Когда в 1948 году разгром литературы, а затем музыки, перекинулся на изобразительное искусство и Осмеркина начали преследовать за «формализм» и за «низкопоклонство перед буржуазным Западом», а потом уволили из Академии — Иогансон, по преданию, оказался в числе его гонителей, и Осмеркин называл его «мой друг *Яго*нсон».

На сессии Академии Художеств, состоявшейся в мае 1948-го года, было объявлено, что «воспитанием молодежи занимались малоопытные, недостаточно квалифицированные педагоги, люди ярко выраженного формалистического направления... модернисты, апологеты безыдейного, упадочнического западного искусства» («Правда», 29 мая 1948 года). Эти обвинения были предъявлены двум наиболее сильным и любимым педагогам художественных вузов — живописцу А. Осмеркину и скульптору А. Матвееву. Осмеркин был затравлен, лишен возможности преподавать, что и послужило началом его смертельной болезни.

Ахматова и Осмеркин познакомились, по-видимому, в конце двадцатых или в начале тридцатых годов. 28 марта 1937 г. А. А. побывала в Большом Драматическом театре им. Горького на юбилейном пушкинском спектакле («Маленькие трагедии», режиссер А. Д. Дикий, художник А. А. Осмеркин). Декорации пришлись ей по душе и она поздравила художника с большой удачей. (Александр Александрович был любителем поэзии; внимательно изучал Пушкина, ценил Ахматову.)

Портрет Анны Андреевны, который Осмеркин писал белыми ночами в Ленинграде, был окончен в основном в 1939 году и находится ныне в Государственном Литературном Музее в Москве. Озаглавлен он — «Белая ночь». Это заглавие могло быть, конечно, дано и просто потому, что Осмеркина привлекало особое освещение, свойственное северной ночи, а быть может, в этом названии звучит перекличка с пастернаковскими строками:

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.

(«Анне Ахматовой» — ББП-П, стр. 200).

* Повесть Л. К. Чуковской «Софья Петровна» опубликована в нашем журнале; см.: «Нева», 1988, № 2. (*Прим. редакции.*)

6 мая

[47] *Лотта* — Рахиль Моисеевна Хай (1906—1949) — специалистка по голландской живописи XVII века, сотрудница Отдела Западно-Европейского Искусства в Эрмитаже. Во время войны Р. М. Хай — ответственный хранитель фондов Эрмитажа, эвакуированных в Свердловск. Ее научные работы публиковались, главным образом, в «Трудах Отдела Западно-Европейского Искусства Государственного Эрмитажа» за 1940, 1941 и 1949 годы.

[48] *Нина* — Нина Антоновна Ольшевская (р. 1908) — актриса, режиссер, близкий друг Анны Андреевны, жена писателя В. Е. Ардова. Познакомились Ольшевская и Ахматова в 1934 году, в Москве, у Мандельштамов. Об Н. А. Ольшевской см. также «Записки», т. 2.

Приезжая в Москву, А. А. чаще всего останавливалась, иногда на недели, а иногда и на месяцы — «у Ардовых на Ордынке» (Ордынка, 17, кв. 13), то есть в семье Нины Антоновны.

[49] А. А. имеет в виду следующие слова Мандельштама из статьи «Заметки о поэзии»:

«Воистину русские символисты были столпниками стиля: на всех вместе не больше пятисот слов... Но это по крайней мере были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине — это уже паркетное столпничество». («Русское искусство», кн. 2, 1923, стр. 69).

[50] *Стихов моих он не любил.* — А. А. совершенно заблуждалась. Впоследствии, в разговоре со мною 11 мая 1957 г. (см. второй том моих «Записок») она с гордостью прочитала мне строки Мандельштама, обнаруженные Надеждой Яковлевной Мандельштам у него в архиве. Анализируя поэзию Ахматовой, Мандельштам оканчивал свою рецензию так: «В настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России». Рецензия эта (1916, на «Альманах Муз») в свое время не была напечатана и увидела свет лишь в 1968 году в «Вопросах литературы», № 4.

10 мая

[51] *...нашей милой Тане* — то есть Татьяне Евсеевне Гуревич (ок. 1905—1941), которая несколько лет работала в редакции журналов «Чиж» и «Еж». Во время разгрома Ленинградской редакции она заявила на собрании, что не верит во вредительство арестованных редакторов, и за это была уволена. Татьяна Евсеевна долго мыкалась без работы; затем ее приняли в редакцию «Издательства Писателей». Она погибла осенью 1941 года: прямое попадание фугасной бомбы в Гостиный двор, где помещалось тогда это издательство.

[52] Тамара Григорьевна Габбе (1903—1960) — член «маршаковской редакции», разгромленной в 1937 году. Впоследствии —

фольклористка и драматург. Наибольшую известность приобрели ее детские пьесы, выходившие отдельными книжками; их не раз и с большим успехом ставили в московских и других театрах: «Город мастеров или Сказка о двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «Авдотья Рязаночка».

Из фольклористских трудов самый значительный — «Быль и небыль. Сборник русских сказок, легенд и притч», который появился уже посмертно (1967); до этого, но тоже посмертно — сборник «По дорогам сказки» (в соавторстве с А. Любарской, 1962); при жизни Тамары Григорьевны не раз надавались в ее переводах и пересказах французские народные сказки, сказки Перро, Андерсена, братьев Гримм и др.

Всю жизнь, уже и после ухода из Государственного издательства, она оставалась редактором — наставником писателей. Моя книга «В лаборатории редактора» недаром открывается посвящением ей.

В литературе остался непроявленным ее главный талант: она была одним из самых тонких знатоков русской поэзии, какого мне случилось встретить за всю мою жизнь.

О Т. Г. Габбе см. также «Записки», т. 2.

[63] Речь идет о Данииле Хармсе (1905—1942) — поэте и прозаике, принадлежавшем к группе «ОБЭРИУ». «Нашим» я его называю потому, что в конце двадцатых годов С. Я. Маршак привлек «обэриутов», в частности Хармса, к работе над созданием книг для детей. За несколько лет Хармс стал одним из крупнейших детских поэтов; несмотря на постоянные нападки со стороны казенной педагогической критики, Ленинградскому отделению Госиздата удалось выпустить немало поэм и рассказов Хармса: «О том, как папа застрелил мне хорька», «Иван Иваныч Самовар», «Игра», «О том, как Колька Панкин летал в Бразилию...» и др. Был он и постоянным сотрудником журналов «Еж» и «Чиж».

В 1937—1938 годах, в пору разгрома ленинградской редакции, Хармс уцелел, но во время войны, в осажденном Ленинграде, его все-таки «добрали», и он погиб в заключении. После реабилитации Хармса московское издательство «Детский мир» поручило мне составить сборник его стихов; сборник вышел в свет в 1962 году под названием «Игра». На титульном листе в качестве составителя должно было быть указано мое имя, но, по рассеянности, издательство пропустило его.

11 мая

[64] Виктор Шкловский. О Маяковском. М., «Советский писатель», 1940.

20 мая

[65] Виталий Маркович Примаков (1897—1937), крупный военный деятель — в годы гражданской войны он командовал конным корпусом Червонного казачества. С 1935 года — заместитель начальника Ленинградского военного округа. В 1937 году расстрелян.

[66] Николай Леонидович Степанов (1902—1972), литературовед; занимался по преимуществу Хлебниковым и Маяковским. См. также его работы, как: «Творчество В. Хлебникова» (в т. 1 «Собрания произведений Хлебникова», 1928); Вступительная статья к изданию стихотворений Хлебникова в малой серии Библиотеки поэта (1940); Вступительная статья и примечания к трехтомнику В. Маяковского в Малой серии Библиотеки поэта (1941) и другие.

21 мая

[67] Женя Лунц (Евгения Натановна, в замужестве Горнштейн, 1908—1971) — моя школьная подруга. Сначала мы сидели с ней на одной парте в гимназии Таганцевой, потом в Тенишевском училище. Женя — сестра писателя Льва Лунца, члена содружества «Серапионовы братья», критика и драматурга (1901—1924). В 1921 году родители увезли Женю за границу, и более мы с ней никогда не встречались.

24 мая

[68] Таня — дочка З. М. Задунайской и В. И. Валова, Люшина сверстница; мы часто устраивали девочкам совместные развлечения; кроме того, а летние месяцы мы с Зоей Моисеевной обычно снимали дачу вместе и чередовались возле девочек.

Танин отец, писатель Василий Игнатьевич Валов (р. 1902) умер в 41 г. от голода во время ленинградской блокады.

[69] В действительности — «Жеманницы» (см. «Заветы», Спб, 1914, № 5, стр. 47—51).

1 июня

[60] К сожалению, я не знаю, о каком стихотворении идет речь. Я имела возможность ознакомиться только с несколькими номерами альманаха «Сирена» (Пролетарский еженедельник. Воронеж. 1918, № 1—3; 1919, № 4—5) — там стихотворений К. Бальмонта нет.

Прим. 1975 г.

Окончание следует

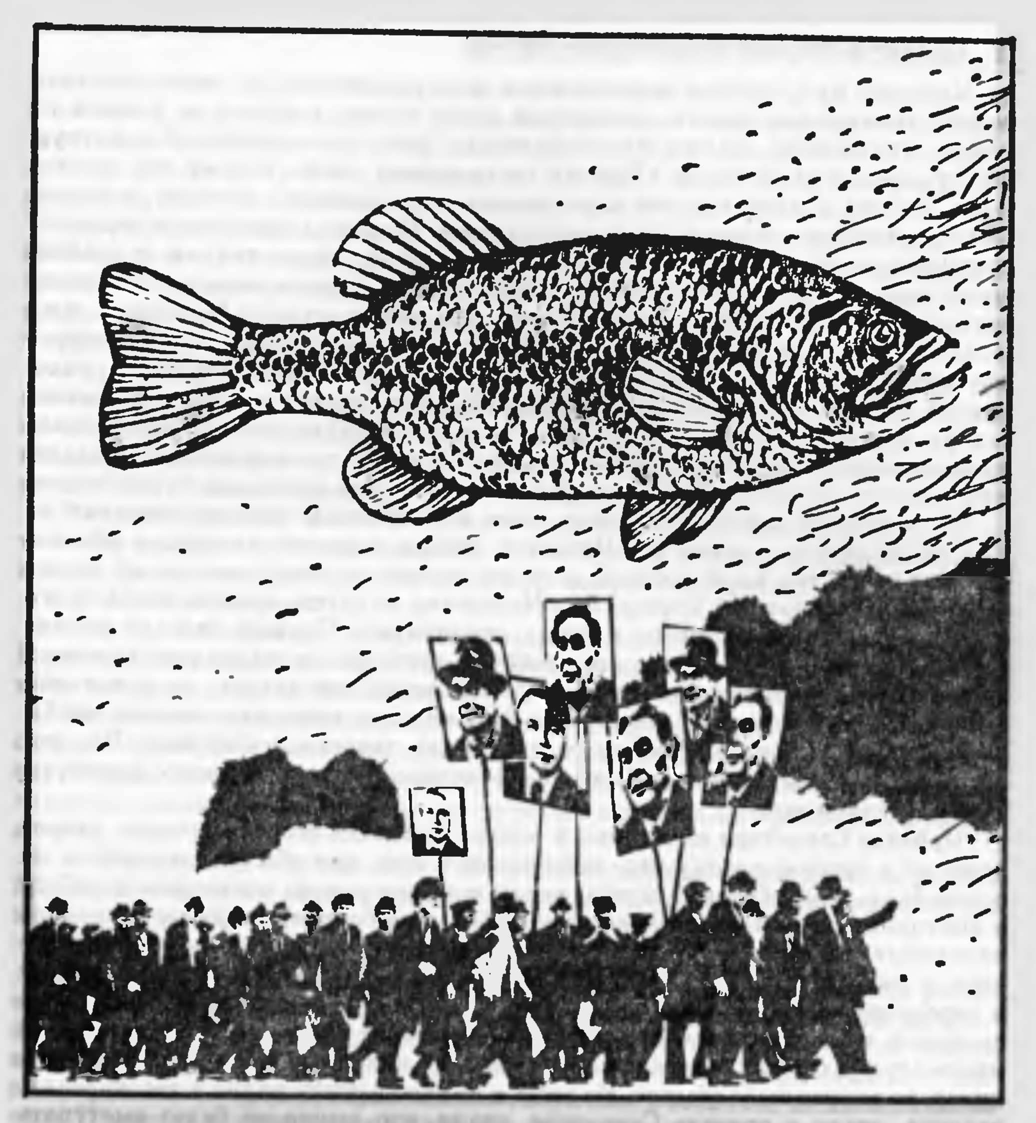


Рис. Г. Никеева

Иосиф
ГЕРАСИМОВ

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Рассказ

1

Николай Мелешин стоял у массивных дверей с дощечкой «Депутатская комната». Сюда не задувало, и спокойно можно было наблюдать, как несколько человек в штатском ловко оттесняли от платформы болтающихся пассажиров: кого впихнули в зал ожидания, кого спровадили к станции метро, затворили двери, и приспевшие на помощь милиционеры окружили опустевшую площадку.

Николай напряженно вслушивался в окружающее, до него долетали редкие трамвайные звонки, невнятный рокот толпы, текущей за домами по улице, привычный шелест автомобильных шин, гул моторов, но мягкую работу двигателя тяжелой «Чайки» он различил сразу, потому что ее-то и ждал. Тут же увидел, как она поднималась по наклонному помосту, который соорудили под его командой и по его чертежу. Машина поднялась и медленно двинулась по платформе. Из-за массивной двери, дыша теплом и слабым коньячным духом, вышел высокий, широкоплечий Хромов, начальник и двоюродный брат Николая Мелешина, и с ним еще двое, в сторону Мелешина, и не взглянули, а сразу шагнули к «Чайке», которая остановилась так, что ковровая дорожка оказалась у ее задней дверцы. Пока Хромов тянулся к ручке, другой черный автомобиль с красно-синими сигнальными огнями поднялся задним ходом по мелешинскому помосту и остановился — ему не надо было разворачиваться, водитель там был опытный и знал, что с вокзала ехать надлежит впереди, предупреждая посты ГАИ и возможных прохожих об опасности.

На ковровую дорожку ступили ноги в добротных черных ботинках на толстой подошве, а затем уж Мелешин увидел и самого секретаря обкома, удивился, что тот низкорослый, хотя на голове его была папаха из серого каракуля, но даже в ней Первый был Мелешину по грудь; прежде, когда он его видел выходящим на сцену к столу президиума, Первый казался вполне нормальной высоты, а сейчас его словно подрубили, он шагнул на коротких ногах, кивнул Хромову и исчез за открытой перед ним дверью, из-за которой выплыло благоуханное облачко пара. Его машина двинулась вперед, чтобы развернуться у вокзальных часов, мигающих зелеными цифрами. Все это означало, что ждать специального поезда осталось совсем немного, может, не более десяти минут.

Приезду Секретаря из Москвы в городе уделялось особое значение, скорее даже не в городе, потому что люди жили в нем, как обычно: толкались на остановках, в автобусах, в метро, несли покупки домой, заканчивали работу в конторах, спешили к детским садам; больные болели, здоровые старались наслаждаться своим здоровьем и проявлять все чувства, которые накапливались у них за день: веселье, смех, злость или раздражение, ругали погоду и городские порядки, а так как погода давно уж по-осеннему времени была скверной, нынче даже бабьего лета не случилось, а городские порядки вот уж много лет все худшели да худшели, потому что чиновный люд разросся и обленился, то все это было обычно. Из газет и по сообщениям радио и телевидения, конечно, знали о приезде Секретаря, знали, что нынче он будет выступать в самом большом зале города, вручать награду, но касалось это такой незначительной части населения и, в первую очередь, конечно, приглашенных на торжество, что многие и забыли о Секретаре, для них он словно бы и не существовал, даже для тех рабочих людей, которые в последние два дня наводили марафет на главных магистралях города: ну, дадено задание — надо выполнять.

Однако для Мелешина, может, и еще для кого-то из людей, прибывших на вокзал, этот час был особым, потому как на новой должности, на которую заступил Николай с полгода назад, он хоть и выполнял различные серьезные поручения, это принял от Первого и ему важно было узнать: хорошо ли с ним справился? Самому-то казалось — даже очень хорошо.

Николай был вызван вместе с Хромовым вчера вечером и был удивлен, так как хозяином своим считал двоюродного брата, человека молчаливого, с хмурым лицом, на котором все было крупно: широкий нос, под ним почти квадратные черные усы, и подбородок квадратный, без среза и морщин прямой лоб, только глаза прятались в густых бурых бровях, да торчали усохшими хвойными иглами ресницы — такие же были и у Николая Мелешина, а более никакого иного сходства в их облике не наблюдалось, только, пожалуй, зеленожелтые глаза, но у Хромова их не разглядишь, ну разве когда выпьет и напряженность с лица спадет, внезапно обнаружится светлость взгляда, но случалось это редко.

Хромов перетащил в обком брата со стройки, где он совсем зашивался, приехал внезапно к нему на окраину, сказал, что хватит Николаю мыкаться, нужен инженер в отдел обкома, знакомый со строительством, а Николай хоть и мостовик, все же на разных стройках побыл, опыт есть, и только когда Хромов уехал, Мелешин узнал от пухлой Нади, с которой уж состоял в браке пять лет, что это она до Хромова дозвонилась. Полгода назад узнала, где брат Мелешина работает, но все не решалась с ним связаться, а тут словно осенило: «А что, в конце концов! Родичи всегда помогают. Не так, что ли?» Надя была баба красивая, румянощекая. Мелешин обратил на нее внимание, когда работала она в бухгалтерии, и женился на ней через месяц после знакомства, о чем вовсе не жалел; жили они согласно, но тут он рассердился, чуть не врезал ей, но она увернулась со смехом: «Благодарить меня должен, а ты...»

На должность в обком Николай пошел, работать здесь было легко и не так маятно, как на стройке, брат его Хромов оказался человеком влиятельным, многое держал в кулаке, двух месяцев не прошло и Мелешин получил новую квартиру, почти в центре, дом здесь возвели из кирпича и, как говорили строители,— «улучшенной планировки».

Вызова к Первому Мелешин испугался, стал думать: может, сработал что-то не так или кляузу на него накропали, что Хромов хоть и двоюродный, но все же его брательник, потому всячески ему помогает. Спросил:

— А зачем меня-то?

— К нам Секретарь едет. Не слышал? Всех ведь уж неделю трясет. Я докладывал, кому какое задание. Но Первый привык сам проверять. Да и на тебя, наверное, взглянуть порешил.

Они прошли мимо милицейского поста в обширную приемную, две девицы сидели справа за столиками, одна стучала на машинке, другая озабоченно перебирала бумаги, а к братьям пошел навстречу улыбчивый, седенький человек, совсем сутулый, пожал им руки, но садиться не пригласил, пробормотал:

— Минуточку,— тотчас исчез за дубовой, лакированной дверью, за нею Мелешин острым взглядом различил еще одну такую же; седенький сразу же вернулся, сказал:

— Прошу.

Мелешин думал: надо идти к этой самой двойной двери, но Хромов решительно шагнул к другой, обитой красным и поначалу Мелешиным незамеченной. Они оказались в небольшом зальчике, здесь стояло несколько кресел и сверкал полувыгнутый экран. Хромов кивнул Николаю, мол, садись, и едва они опустились в кресла, экран зажегся, хотя свет в зальчике не погас, а более того, Николаю почудилось: по лицу его скользнул и замер луч, и он едва не зажмурился, но тут услышал глухое и уверенное:

— Здравствуйте, товарищи.

С экрана смотрело пухлое лицо Первого, его светлые глаза слегка закатились вверх, в них не было ни строгости, ни улыбки, одна непроницаемость, плотные щеки розовели, аккуратно причесанные на две стороны волосы, так что образовалось вроде бы и два пробора, чуть поседели на висках, но лицо выглядело моложавым и спокойным; голос ровный, четкий, как у радиодиктора.

— Докладывайте, товарищ Хромов. Три минуты.

Брат не полез в карман за бумагами, а сразу сообщил, что в особнячке рядом с обкомом хорошо протопили, подготовили камин; транспорт готов; известно, что Секретарь любит обедать в общей столовой, там ему приготовлено место в гостевой комнате, и на всякий случай в общем зале накроют на одного — так распорядился помощник Секретаря; гвоздики привезли разных сортов, они есть и в особняке, и в столовой, цветы стоят и вдоль сцены — в общем готовность полная.

Все это Первый выслушал и сказал:

— Не совсем. Надо подать автомобиль к вагону. А, как мне докладывали, въезда на перрон нет.

— Так точно,— ответил Хромов.— Привыкли встречать в аэропорту. Но вот, товарищ Мелешин, инженер...

— Я думаю, товарищ Мелешин, вы за ночь все успеете сделать... До свидания, товарищи.

И экран сразу же погас. Хромов вскочил первым, Мелешин за ним, они вышли в приемную, попрощались за руку с седеньким, миновали милицейский пост, и только после этого Мелешин осмелился спросить двоюродного брата:

— Это что он с нами... по телевизору?

— Поменьше спрашивай,— сухо ответил Хромов.— Получил задание — выполняй.

Сделать въезд на перрон оказалось не так просто, пришлось расчистить бульдозерами пространство у старого дома, примыкающего к вокзалу, снести там какие-то сараюшки, залить площадку асфальтом, а обнажившуюся стену дома срочно покрасить; Мелешин приказал навесить на нее большой плакат, из тех, что готовились к ноябрьским праздникам; у ограды старинного перрона сняли два звена чугунных решеток, и в этом месте поставили бетонные опоры, положили на них покато плиты, их тоже залили асфальтом, прочертили на них белые дорожные полосы. Хромов приехал часов в десять утра, осмотрел все, сказал:

— Молодец.

А от него похвалы не дождешься. Брат подумал, добавил:

— Отдыхай, но на встрече быть здесь. Можешь понадобиться.

Однако звонок домой раздался часа в три, работник Хромова сказал:

— Николай Никитич машину к тебе послал, приезжай на вокзал. Поезд идет вне расписания. Отбыл из Москвы в десять тридцать. Полагаем, в пятом часу будет. Но вы еще все проверьте...

И вот теперь он ждал в затишке, хотя другие, кроме охраны и еще нескольких человек, топтались под ветром на перроне; людей на других платформах не было, вокзал словно вымер. Внезапно вдали вспыхнул сильный луч прожектора, облил рельсы, они сразу обнажили яростный блеск, и тут же открылась дубовая дверь, вышел Хромов, еще несколько человек, а в середине Первый. Поезд неторопливо подходил, Первый со свитой сделал несколько шагов и остановился, тогда и поезд остановился, звякнул железом, ковровая дорожка оказалась на асфальте прямо у выхода из вагона и сразу заурчала машина.

Кто-то выглянул из вагона и исчез. Тут же, ухватясь за ручку, освещенный огнями, показался Секретарь. Мелешин узнал его сразу, да и не мог не узнать. Он был высок, в черном пальто, с черным каракулевым воротником и черной каракулевой шапке пирожком, в очках; он улыбался тонкими губами и, ступив на перрон, обнял Первого, но тот был так невысок, что не сумел прижаться лицом к Секретарю, а припал щекой к его груди, а Секретарь в перчатках похлопал его весело по плечу. Первый сделал шаг в сторону, и Секретарь шагнул к машине, чуть согнулся и исчез в ее теплой утробе, за ним вкатился в машину Первый. «Чайка» тронулась к съезду, но раньше нее, дав сигнал сирены и замигав вращающимися красно-синими огнями, съехала с перрона служебная машина. Мелешин видел, как, миновав площадку, они вывернули за станцию метро, а там уж за ними потянулся хвост черных «Волг», и облегченно вздохнул: «Ну, вот... Ну, и хорошо...»

Каким-то образом Хромов оказался рядом, сказал:

— Свободен, Коля. Если имеешь желание — приходи на торжественное. Билет дали?.. Приходи с Надей. Два с половиной часа у тебя есть...

Но на торжественное Мелешин не попал в силу совершенно необычайных обстоятельств, которых предвидеть не мог, да и не предполагал, что обернутся они для него целым событием, повернувшим круто его жизнь.

2

В Москве было солнечно и безветренно, пахло легким морозцем. Чувствовал себя Секретарь хорошо, он всю жизнь просыпался в шесть утра, а в семь был готов к работе; давняя присказка его матери — «кто рано встает, тому бог дает» — сделалась его жизненным правилом.

Самолетом он летать не любил, не потому, что сам полет действовал на него плохо, а он заставлял его пребывать в безделии, даже читать Секретарь не мог, хотя чтение занимало солидное место в его распорядке дня, правда, он обладал уникальной способностью читать молниеносно, причем отмечать самое главное в книге или статье.

К десяти часам, когда подали машину, чтобы ехать на вокзал, он уже успел просмотреть множество бумаг, переговорить с помощниками и референтами. Секретарь заканчивал восьмой десяток, но не ощущал старческой немощи, шагал твердо, уверенно, хотя в детстве переболел туберкулезом, но сельский лекарь, забулдыга и пьяница, вылечил барсучьим салом и пообещал: жить долго будешь. Лекарь знал свое дело.

На перроне готов уж был специальный поезд, состоящий из трех вагонов, Секретарь прошел в свой, ему помогли раздеться, и он сразу направился в салон, где стоял письменный стол. На нем лежали выписки из докладных о положении в области, их собрали в разных ведомствах, и они, конечно же, не сходились, отличались и от тех, какие были получены от Первого, к которому ехал Секретарь, но этот разнобой не смущал: Секретарь мог выбрать из него те данные и цифры, которые годились сейчас.

Положение в стране было не из легких, таких низких приростов производства еще не знала отечественная экономика, как, впрочем, и такого безудержного размаха строительства, однако Секретарь пришел к твердой убежденности: ничего круто сейчас менять нельзя, нынешнее положение и есть результат вольнодумного поворота в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов. Стоило разворошить фундамент, дать свободу обиженным, как все начало полэти в разные стороны, ему пришлось подстраиваться к обстоятельствам, но в глубине души он был убежден в необходимости твердой централизованной власти, был в этом убежден еще с той поры, как постигал науку. Немало сил пришлось приложить, чтобы вернуть течение времени в прежнее русло, укрепить на местах разделяющих его позицию людей, а для этого прежде всего и необходима была стабильность; он верил: ход истории таков, что мерное течение жизни само возродит угасающую экономику при твердости и дисциплине. Он скажет сегодня об этом с трибуны, как и о том, что всегда было ведущим в его речах: о необходимости вести непримиримую, бескомпромиссную войну против всяких чуждых теорий, вести боевито и наступательно... Все это ясно. Но ехал он не только для того, чтобы произнести речь.

Все же он старел, и те, кто были рядом с ним, вся эта гвардия, в основном начавшая активный путь в тридцатых, сменяя устаревших работников, тоже мучалась под бременем лет, изнывала от множества болезней, не успевала за временем, потому невольно расширяла аппарат, а он всегда помнил, хоть и не высказывал не им найденную мысль: аппарат — сильнее Совнаркома, так оно и было. Конечно, он не вечен, и нужны не одряхлевшие союзники, а крепкие, твердые люди более младшего поколения. Секретарь давно приглядывался к Первому. Тот обладал непреклонностью и силой, умел молчать, умел выполнять все точно, не опускаясь до низкопробной болтовни. Но надо было посмотреть его вблизи, «у себя дома», чтобы решить — стоит ли его перетаскивать в Москву и каким путем. Все данные об этом человеке у Секретаря были; он знал, что Первый служил адъютантом в войну у грозного генерала, был награжден боевыми орденами. С таким генералом не очень легко ужиться, а вот Первый ужился, видимо, там он и обучился безупречной исполнительности. Генерал умер вскоре после войны, и Первый вернулся на завод, продвижение его было стремительным: от конструктора до главного инженера, потом — в директора завода, затем сразу в обком по руководству промышленностью, а уж дальше в силу обстоятельств — Первый.

Секретарь точно знал, что Первый прошел свой путь самостоятельно, его никто не «толкал», он пробивался сам, в этом была для многих тайна, но Секретарь понимал: никакой тайны нет, он всегда уважал людей, добивавшихся своих постов без протекций и чужой помощи, потому что прошел такой же путь, а это требовало смелости и риска, порой никому незаметного, и союзников надо было отбирать ненавязчиво и скрытно... тяжелый путь, но вызывающий уважение.

Нужно было укреплять руководство стойкими и верными людьми, тогда

не страшна старческая немощь, эти люди поведут страну проверенным путем и не допустят того, что произошло в середине пятидесятых, они полностью сотрут всю наносную химеру, родившуюся в пору государственной лихорадки и продержавшуюся почти десять лет.

Секретарь просмотрел все бумаги, встал из-за стола, поезд шел мерно, постукивая на стыках рельс, и звук этот был приятен; он подошел к окну, отдернул занавеску. Да, здесь была совсем иная погода, чем в Москве, прошли дожди, дороги раскисли, но весело зеленела озимь, и еще местами на деревьях краснели листья, серое небо лежало над полями, над крышами дальних деревень: внезапно поезд замедлил ход, потянулись пакгаузы, подле которых навалены были разбитые ящики, мокрые бревна, гора отверделого удобрения, а потом — платформа, на краю ее сидели трое мужиков во влажных ватниках, один из них, с мятым, небритым лицом, отпил из бутылки, сморщился и потянулся пальцем к консервной банке, подцепил там рыбешку в ржавом соусе, кинул ее в рот, а в это время уж второй тянул из бутылки. Секретарь резко задернул штору. «Черт знает что!» У него сразу испортилось настроение, он стал думать: совсем распустили народ... Разве можно ослаблять напряжение?.. Только ослабь и вот: водка, лень, преступность... Наверное, он бы совсем вышел из себя, но тут его взял под локоть дрожащей рукой помощник, сказал:

— Время массажа.

Вот уж несколько лет в этот час Секретарь делал массаж, после чего непременно спал полчаса, а уж потом обедал. Он любил эту процедуру, давно привык не смущаться своего тела перед молодой массажисткой, а признавал он только молодых, считая, что они проворнее и аккуратнее. Он прошел в спальное купе, здесь было хорошо натоплено. Секретарь разделся до трусов и лег на застеленный простыней диван.

— Добрый день. Как себя чувствуете?

Это была Клава — женщина, которой чуть более тридцати; из-под голубой медицинской шапочки выбивались золотистые волосы,— Секретарь любил блондинок, особенно таких, как эта Клава, с синими глазами, мягким округлым лицом, да и все у нее было округло, голубой халат приталён и хорошо очерчивал ее формы; голос был негромкий, в нем была некая сокровенность и ласка. Секретарь улыбнулся Клаве, и она сразу же ответила улыбкой. Теплые пальцы ее, смазанные душистым кремом, прошли по его груди, и стало покойно. Какие все-таки у нее чудесные руки...

Подъезжали к городу в темноте, видно было, как за окнами косо летит редкий снег, и, когда обозначились огни вокзала, Секретарь надел пиджак; он носил только двубортные костюмы, которые шил ему давно знакомый портной, главным образом из темной ткани с тонкой полоской, плечи слегка подбивали ватой; он не любил перемен мод и считал: одеваться надо строго, и пальто он любил прямое, из хорошего сукна с черным каракулевым воротником. Всю жизнь, с тех пор еще, как утвердился в городе, Секретарь носил галоши; он знал: в продаже их нынче не бывает, знал, что за спиной его шутят по этому поводу, но без галош не мог. Однажды с ним произошел забавный случай. К подъезду подали машину, а он в то утро был крайне озабочен, и когда входил в автомобиль, то машинально снял галоши, оставил их на тротуаре, так и уехал, обнаружил это лишь, прибыв в нужное место. Рассердился, что никто ему не указал на оплошность, рассердился так, что заставил поменять водителя и охранника — те ведь наверняка видели, как все происходило, да ему было и жаль галош, они были разношены, мягкие. Однако же, когда он вернулся, эти самые галоши стояли на том же месте на сухом тротуаре, их никто не тронул.

Он немного испугался: неужели память и наблюдательность изменяют ему, он ведь никогда нигде ничего не забывал, даже бумажек, на которых рисовал каракули, сидя в президиуме. Совал их в карман, а потом уж выбрасывал или отдавал помощнику, чтобы тот их уничтожил... Когда это было? Кажется, года три назад.

Ему помогли надеть пальто, подали шапку, он наглухо застегнулся, и в это время поезд остановился. Секретарь прибыл на место.

3

Да, Мелешин на торжественное не попал; едва он остановился подле дома, как сверху, из окна, раздался голос Нади:

— Коля, машину не отпускай... Хромов звонил, тебе сейчас обратно надо.

«Опять что-то стряслось»,— беспокойно подумал Мелешин, сказал шоферу, чтобы тот ждал, а сам поднялся лифтом к себе. Надя была в голубом халате, непричесанная, стало быть не собиралась на торжество.

— Что случилось? — спросил он ее.

— Толком не знаю,— сказала она.— Но ты поешь... Хромов сказал: тебе куда-то лететь надо будет. Я собрала кое-что... Он сказал ненадолго, так я в маленький чемоданчик.

— А конкретно не говорил?

— Да разве он скажет!.. Только пробурчал: мол, завтра же дома будешь.

Он сел к столу, выпил стопку водки, тепло пошло по телу; Надя приготовила вкусное мясо, он ел с удовольствием, и ему не хотелось никуда идти... «Лететь? В ночь?..» За окном ветер со снегом. Сразу сделалось тоскливо... Разве он чего-то недодал за сегодняшний день? Позвонить сейчас Хромову... Глупость! Брательник тверд, как стальной блок, а приказ его — больше закона, тут и выяснять нечего. Он с неохотой поднялся, взял чемодан, уныло поцеловал жену и быстро спустился к машине.

А через полчаса входил в кабинет Хромова, тот успел переодеться, на нем была свежая белая рубаха с полосатым галстуком. Увидев Мелешина, Хромов шевельнул кустистыми бровями, квадратный подбородок его выдвинулся вперед.

— Вот что, Коля,— сказал он негромко.

Мелешин знал, что когда брат называет его по имени, то предстоит дело особой важности и причем почетное, которое доверишь не каждому.

Хромов вздохнул, отодвинул от себя бумаги, сказал:

— Тут вот у нас какая накладочка... В столовой у Секретаря спросили: что ему завтра на обед?.. Конечно, спрашивать, может, и не надо было, но спросили... наверное, к лучшему. А он, знаешь, мужик крайней серьезности, и требует, чтобы все было четко. Поглядел, сказал: вы что же, не знаете — завтра среда, в стране рыбный день... Мы-то не соблюдаем, а он... Сам понимаешь. Наши в Москву позвонили, да еще у его помощника уточнили, какую рыбу он уважает. Оказывается — форель. У нас такой рыбы нет. У краснодарцев есть. У них свое хозяйство. Договорились с ними. Ну, мы здесь у рыбников самолет взяли. Он оборудован, чтобы живую рыбу перевозить, мальков... Бак там какой-то... Сейчас его в порту в порядок приводят. Конечно, краснодарцы для Секретаря все сами сделают. Но контроль нужен. Так что, Коля, давай с летчиками. Прямо сейчас. Там, в Адлере, вас ждать будут... Проследи за рыбешкой, чтобы не опозориться. Вот тут документы. Командировка, письмо... ну, и прочее. Так что выручай, брательник, не сочти за высокий труд. Завтра, не позднее двенадцати, надо быть. Обед у Секретаря в четырнадцать...

Вышел из обкома Мелешин ошарашенным, вот этого он уж никак не ожидал. Машина сразу же сорвалась с места, едва он в нее сел. Мелькнула черная река за окном, над ней вихрились белые космы; по улицам спешили люди, освещенные огнями витрин и желтых фонарей, толкались возле входов в магазины, кинотеатры, на остановках городского транспорта, а ветер, несущий снег, гудел над их головами.

4

Пузатый «Ан» освещался прожектором, на ступеньке трапа сидел человек в куртке, подняв меховой воротник, лица его нельзя было разглядеть.

— Вот ваша телега,— сказал работник аэропорта, которому поручили проводить Мелешина к самолету.

Мелешин вышел из машины, огни вокзала светились в стороне, и там сквозь туманную сетку, создаваемую косо падающим мелким снегом, виделись силуэты лайнеров, застывших на посадочных площадках.

— Эй, командир! — крикнул сотрудник.

Мелешину показалось: ветер унес слова в темноту, и они там исчезли, не достигнув самолета, но дверь люка открылась, на трап вышел усатый, хмурый пилот в фуражке, сделал жест рукой: мол, поднимайтесь.

— Ну, счастливо вам,— сказал сопровождавший, уныло посмотрел в небо, вздохнул сочувственно: — Часа три проболтаетесь,— козырнул по-военному и пошел к машине.

Человек поднялся с трапа, уступая дорогу, что-то пробурчал или выматерился,— видимо, надоело ему ждать на холоде, но Мелешин не обратил на него внимания. Пилот кивнул ему, представился:

— Комков... Проходите вперед.

Мелешин шагнул в тепло самолета, Комков сразу же захлопнул люк, тут же задраил его, а когда повернулся, Мелешин увидел его злые глаза, но сказал командир спокойно:

— Вон там кресла есть, располагайтесь.

В небольшом отсеке при тусклом освещении можно было различить несколько кресел и столик; Комков исчез в пилотской кабине.

Мелешин скинул пальто, шляпу, положил их на кресло, сам сел к иллюминатору, вытянув ноги; до него доносились голоса, как обычно они звучат по радио, но слов разобрать было нельзя, потом все это заглушилось тяжким гулом двигателей, звук вскоре пригас, и самолет неторопливо двинулся по бетонке.

Обида закипала в Мелешине, и он усилием воли не давал ей разрастись; он почувствовал недоброжелательность с первой минуты появления в аэропорту, хотя начальники старались это скрыть, как и пилот, в глазах которого стояла злоба, с ней он и ушел на свое место. Видимо, все эти люди видели в Мелешине того, кто нарушил их планы, вмешался в их направленную жизнь, где не так-то легко найти просвет для выполнения внезапно свалившегося задания, которое любому здравомыслящему человеку покажется нелепым, но не выполнить его нельзя, иначе лишишься работы, а то пострадаешь и еще хуже. Но Мелешин казался себе униженным: он — инженер, прошлую ночь ему пришлось заниматься строительством, тоже нелепым, но все же оно требовало его знаний и умения, а теперь он вовсе не некий чрезвычайный уполномоченный, получивший доверие на проведение тайной операции, а всего лишь административная шестерка; таких холуев при Хромове достаточно, и брательник вполне мог поручить любому из них это дело. Но выбрал его... Почему? А черт его знает!

Иван Семенович Хромов человек непростой, и проникнуть в ход его мыслей нелегко, ведь недаром говорят: он думает одно, высказывает другое, а делает третье; подобные люди опасны, даже если они близкие родственники.

То, что в обкоме Хромова побаиваются даже те, кто занимает высокое положение, Мелешин увидел сразу, да и не увидеть было нельзя. Когда Хромов шел длинным коридором, сверля пространство колючим взглядом из-под кустистых бурых бровей, люди исчезали за поворотами или дверями, не хотели попадаться на глаза, хотя Мелешин никогда не слышал, чтобы Иван Семенович повышал голос или кому-нибудь грозил. Водители в обкоме были молчаливы, но все-таки иногда пробалтывались, и от них Мелешин узнал, что брательник бывает на квартире у Первого и на даче не по делам, а в гостях, вообще они люди близкие, хотя это и не афишируется. Хромов работал на заводе, когда Первый был там директором, занимался Иван Семенович снабжением, сделался директорской правой рукой и, естественно, конечно, когда Первый поднялся, то в обком перекочевал и Хромов. Но это дела давно минувших дней, о них вспоминают, да и то какие-нибудь ветераны, когда что-либо рушится или Первому начинают угрожать серьезные неприятности, но молчат и даже не думают об этом, когда все тихо и покойно, только вот водители... Болтливых убирают, и очень быстро — это знают все, потому за рулем они так молчаливы и неподвижны, сидят, как солдаты, стараясь не повернуть головы, взгляд обращен только на дорогу, но Мелешин, брательник Хромова, человек простой, ему можно и намекнуть, никуда это не пойдет. И не шло. Оставалось в памяти Мелешина.

Конечно, Ивану он обязан, тот круто поменял его судьбу, взял его на работу, где хорошо платят, дали квартиру, открыли доступ в разные буфеты и распределители. Не сравнишь с тем, как он маялся, как уродовался, и под дождем, и в мороз, и как посылали его бригадиры, если он пытался на них нажимать, эти хрипатые дьяволы знали — их премии не лишат, они гегемоны, а если лишат — любую контору разнесут, а вот Мелешина вполне лишить могут: он инженер, управленец, а скорее всего, «чайник», потому что нормальный на такое место не пойдет, нормальный укроется в тепле и будет по телефону отчитывать всяких Мелешиных, нормальный никогда премии не потеряет, даже если мост рухнет или стена у дома отвалится, он бумагу любому сунет, что работа принята с отличным качеством, а все остальное... эксплуатационники, с них спрос...

Да, что вспоминать! Довольно он намаялся, пока не научился многим хитростям, те же бригадиры и научили, но все равно было тяжко, и, конечно, Хромов его правильно вытащил. Он пригрелся, работу делал всегда аккуратно, иначе и нельзя было, постепенно стал ощущать, что здесь, в этом теплом и светлом здании, где люди сдержанные, подчеркнуто вежливые, он набрался определенной силы, и эта сила отличала его от многих тех, кто работал за пределами обкома. Ведь чем бы ни был занят Мелешин, какое бы задание ни выполнял, оно все равно называлось *ответственным*. Он знал, если позвонит на завод и скажет: мол, есть просьба завтра изготовить нужную ему для выставки или какого-нибудь другого дела станину или еще что-то, к этой просьбе отнесутся, как к самому срочному заказу, отложат все, а сделают, хотя денег за работу не получат. Но такая была служба... такая... Вот и сейчас он летит в этом самолете не по своей воле, но летит, и экипаж самолета, как бы ни злился, а будет делать то, что сказано Хромовым, потому Мелешину и показалось несправедливым и обидным, что все свою злость обращают к нему, ведь он сейчас, утратив на какое-то время силу повеления, сам унижен до исполнительства. Но *они* этого не понимают. Ну, и черт с ними! — подумал он, откинул спинку сиденья и попытался уснуть; это ему удалось.

Ему почудилось: кто-то схватил его за виски и начал сжимать; возникла боль в ушах, тогда он проснулся, не сразу понял, где находится, потом вспомнил, что уже просыпался раза два, когда из кабины пилотов выходили люди, сворачивали в закуток, и оттуда доносило холодом и скверным запахом.

Он сел, растирая ладонью лицо, глянул за иллюминатор, но там было черно, однако вдали мелкими искорками светились огни. Шли на посадку; Мелешин зевнул, и сразу стало легче ушам, в них отчетливо ворвался гул двигателей. Он взглянул на часы: половина второго, значит, и на самом деле они вот уж три часа в воздухе.

Дверь кабины открылась, вышел усатый Комков, сказал сухо:

— Земля сообщила: вас ждет «Волга» двадцать один два нуля и еще какая-то грузовая. Скорее всего, рыбовоз... Сейчас будем садиться. Подрулим к вашим машинам. Потом уж мы в профилакторий — бай, бай, пока вы свои дела делаете. Там нас и найдете... Все. Пристегните ремень на всякий случай.

И он сразу скрылся. Мелешину не понравилось, как он нажал на слово «дела», будто намекал на нечто противозаконное, и, чтобы успокоить себя, подумал ворчливо: сам, небось, хорош, порожняком летит; ящик-другой фруктов с собой прихватит, знаем мы таких, сам читал бумагу, как жены пилотов на рынке фрукты толкают, из-за этого у них ссора вышла с какими-то южными людьми, якобы эти жены им цены сбивают; бумага эта пошла к Первому и тот распорядился: убрать вообще с рынка всех продавцов южными фруктами, а то из-за такой ерунды можно попасть в газеты. А кому такое нужно? И на центральном рынке ряды, как вымело, но в городе знали: на районных, в павильонах, все появилось: и дыни, и виноград, и хорошие яблоки, только стали дороже, чем были на центральном.

Есть вещи неистребимые, сколько ни крутись вокруг них, они все равно выживут, коль уж зародились, выживут, пока в них есть людская потребность. Народ перенес разные строгости и обещания и давно, не столько разумом, сколько душой своей, понял: ему ничего не могут дать в обмен за послушание, лишь надежду. Против правил не попрешь, их надо принимать, с ними надо

соглашаться, но выполнять вовсе не обязательно, ведь и начальство, расточая посулы, указывая путь и утверждая, что надобно подняться над всякими неустройствами, даже страданиями во имя того, чтобы дальше жилось сладко, создает только мираж, а прилавок — пустой или полный — это уж реальность, на нее нажми, она не хрустнет, она только крепче станет, как вот цены на фрукты... Люди живут, живут, вкалывают, поначалу стараются, потому что верят в обещанное, а оно все отодвигается; то, что еще вчера казалось близким, вдруг оттесняется к горизонту, шагай к нему — не дошагаешь, изработавшись, а когда обещанное оборачивается обманом, то только у малой, очень малой части людей приходит разочарование или отчаяние, а большинство соображают — надо искать пути, чтобы обуть, одеть, накормить семью и себя, а пути эти разные: можно начальство трясти, дабы план тебе писало не тот, что ему сверху спущен, чтобы значилось в табеле — на три нормы более сделанного, да мало ли, ведь коль понятно, что сулят по намерениям, а выполняют по обстоятельствам, то тот, кому обещано, должен находить пути, чтобы выстоять и выжить.

Эти мысли и прежде занимали Мелешина, сейчас они напомнили о себе, возникнув, как щит от усатого Комкова, и если уж на то пошло, тому нечего зарываться, ведь что Мелешин, что Комков — творят одно; Комкову за рейс будет заплачено, да еще сверхурочные или какие-то вневременные накинут, а у Мелешина — зарплата и навар. Однако же все равно было неприятно, что этот пилот ставит себя выше Мелешина, вроде бы он как беленький, а вот Мелешин — холуй, да и только. И уж ударился о бетон колесами самолет, замелькали за иллюминатором огни, а скребущее, неприятное чувство несправедливой обиды, вновь возродившееся в нем после сна, не исчезало.

Самолет остановился, шум двигателей угас; Комков вышел, с ним еще двое, но Мелешин не стал разглядывать их, двинулся к выходному люку, подождал, пока низенький крепыш откроет его, и увидел трап, плохо освещенное пространство, на котором поодаль стояла машина с поднятым капотом. Мелешин спускался по трапу и чувствовал, как тепло охватывает его, небо было усеяно крупными звездами, пахло яблоками и дурманящими цветами.

Он зашагал к машине, так и не обернувшись на самолет, покачивая своим небольшим чемоданчиком, подумал: зря Надя старалась, можно было вообще лететь с портфелем, кроме бритвы и зубной щетки ведь и не нужно ничего.

Шофер быстро оглянулся, у него было помятое, испуганное лицо.

— Товарищ Мелешин? — спросил он.

— Здравствуйте... Знаете, куда ехать?

— Знать-то знаю,— в досаде сказал шофер,— да вот незадача. Не заводится гадина... Пойду в гараж звонить, вы уж простите. Если дежурный не дрыхнет, то либо другую пришлют, или починиться надо...

«Этого только не хватало»,— зло подумал Мелешин; он знал: в обкоме всегда есть дежурный, но пока он даст команду в Сочи и там ее примут, часа два, а то и более пропадет.

Но вдруг он сообразил:

— А рыбовоз здесь?

Водитель повернулся, крикнул:

— Лукьяныч!

Из полутьмы вышел кривоногий, полный человек в кожаной куртке; когда он подошел, Мелешин разглядел седые, свисающие скобками усы, морщинистое, загорелое лицо с острыми глазами.

— Здравия желаю,— сказал он хрипловатым голосом.— С прибытием вас.

— Вы что, с хозяйства? — спросил Мелешин.

— Да, оттуда,— певуче произнес шофер.— Рыбу, стало быть, привозил, да тут команда: мол, вы прибудете. Начальство порешило: зачем зря бочку гонять. Вот, считай, смену тут и дожидаюсь.

До Мелешина долетел слабый винный дух; он усмехнулся: этот старикан-водитель время здесь не терял.

— Ну, так что ж, поехали,— сказал Мелешин.— Место мне в кабине найдется?

— А чего не найдется? Оно, конечно, найдется. Однако...

Он покосился на водителя «Волги», хмыкнул.

— Что смущает?

— Да, оно ничего... Только вот засранцам всяким машины хорошие дают, а вони... Я на своей бочке пять годов без ремонта.

Он сплюнул под ноги водителю «Волги», неожиданно подхватил чемоданчик Мелешина и пошел в темноту; перешагнул черту, отделявшую слабо освещенное пространство от черноты, исчез в ней.

— А я как же...— с плаксивой интонацией начал водитель «Волги», но Мелешин не повернулся к нему, двинулся в ту сторону, куда нырнул Лукьяныч.

Едва он сам оказался в темноте, как она, словно рассеялась, и он увидел длинную машину с голубой цистерной, на которой можно было прочесть белые буквы: «Рыба». В шоферской кабине вспыхнул свет, Мелешин забрался в нее, сиденье оказалось просторным, тут не только вдвоем, но и втроем вполне можно было бы ехать.

— Сидайте удобнее,— сказал Лукьяныч,— потихоньку двинемо...

Фары высветили сухой асфальт, мотор зафырчал, и машина неторопливо поехала к воротам, обожгла светом кусты с зелеными листьями, а за ними деревья, устремленные вверх. «Да здесь же лето»,— усмехнулся Мелешин, и ему сделалось весело.

— А вы, батя, вроде пивка выпили? — спросил он дружелюбно, когда выехали на просторное шоссе.

— Не-а,— пропел тот.— Не потребляю. Только сухаря, да и то своей приготовки... Если желаете с дорожки, то суньте руку под сиденье, там термос здоровый... Ну, он самый, китайский. А что? В нем способно держать. Стекло же внутри... Открывайте. Вино классное, теперь такого на базаре не сыщешь.

Мелешину хотелось пить, и он открыл термос, налил в крышку; вино было кисловатое, но душистое, он выпил с удовольствием, покачал термос — там оставалось достаточно, тогда он решился налить еще, только после этого заткнул толстую пробку.

— И вправду, отличное вино.

— А то! — гордо ответил Лукьяныч.— Своей готовки, оно проверенное. Пользу настоящую имеет. Мне вот шесть десятков, и дырка в боку с войны, а еще, видишь, кручу покрепче молодого. Опять же, почему? А на живом продукте. Ни магазинному, ни базарному доверия не имею. Своя хата есть, садик, виноградник, да и живность. Нынче только так. Ну, конечно, и при рыбе... Правда, строговато стало, но ничего, терпимо. Много, конечно, черпают из хозяйства. Все больше Москва... Ну, а где рыбу-то взять? Вот море, сейчас свернем — увидишь. А оно пустое, море-то... начисто пустое... Это годов еще двадцать назад в нем и кефалька, и ставридка, и барабулька... да, барабульку и за рыбу не считали. Так. Мусор. А нынче — пойди, найди. В Одессе бычка не сыщешь, а Одесса без бычков да глосиков на чистом сливочном масле не жила. Да и жить не могла. И мы тут... А рыба вся ушла. Нету! Напугали ее, сердечную. Ну, скажи: какое море без рыб? А... Вот, гляди!

В это время машина сделала поворот, и Мелешину открылось море; он никогда не бывал в этих местах и ахнул, увидев черно-синий простор, озаренный искрящейся золотой дорожкой луны, которую прежде почему-то не было видно.

— Только в море, на просторе...— внезапно гаркнул Лукьяныч и захохотал, смех у него был хриплый и булькающий, сразу исчезла доброта в его голосе, и в смехе почудилось нечто бесовское, да, наверное, оно и было, потому что очаровавший Мелешина с первого мгновения водный простор вдруг представился мертвым, застывшим. И словно для того, чтобы укрепить в Мелешине это ощущение, Лукьяныч сказал:

— Соленая вода с дерьмом замешанная, а не море... Одна медуза злая в нем живет. Тьфу!.. Ну, у нас не то, у нас охранная зона, горная водичка, она для форельки своя. Конечно, сами тоже разводим. Но рыбешка чистая. Недаром начальники ее любят.

5

Секретарь не в первый раз останавливался в этом особняке, ему нравилась его строгая планировка, высокие потолки с лепниной, тишина за окнами, зашторенными сборчатыми, кремового цвета занавесями; стены были обиты тусклым, желтоватым шелком, не раздражавшим глаза, висели старинные пейзажи, но главным был камин, облицованный белым мрамором, на котором стояли позолоченные часы работы старого мастера. Пламя неторопко охватывало сухие, твердой породы дрова, устремляло вверх почти одинаковые языки; слабый запах дымка все же чувствовался, и это нравилось Секретарю.

Он сидел в жестком кресле с высокой спинкой — он вообще не любил мягких сидений,— ноги его были укрыты темным пледом, а рядом стоял передвижной столик, на нем — стакан с водой, папки с бумагами и блокнот в кожаном переплете. Секретарь сидел неподвижно, поглядывая на огонь. Только что от него ушел Первый, и надо было обдумать впечатления минувшего дня.

Доклад, как ему показалось, прошел хорошо; во всяком случае, его слушали внимательно, особенно то место, где он говорил, как использует враждебная пропаганда различные безответственные писания литераторов и высказывания театральных деятелей; примеры у него были сильные, и они не раз вызывали в зале ропот возмущения в сторону тех, кто еще не утихомирился и продолжает гнуть линию начала шестидесятых, и когда он напомнил уж не раз выдвигаемый им тезис о том, что в период такого серьезного строительства недопустимо какое-либо ослабление идеологической борьбы, в этой области не может быть никакого мирного сосуществования, раздались бурные аплодисменты.

Он внимательно оглядывал зал; когда произносил доклад, посматривал с трибуны; перед ним хоть и лежал готовый текст, крупно напечатанный, с выделенными в разрядку местами, на которые нужно сделать особенный упор, ему достаточно было беглого взгляда на эти бумажки, чтобы вспомнить весь абзац — так создавалось впечатление, что он не читает, а произносит все напрямую, он знал, как ценится в кругах актива выступление «без бумажки», и умело его имитировал, тут у него был давний опыт профессионального педагога. Те, кого он успел заметить с трибуны, уловить их реакцию, ему нравились, он понимал: за семь лет работы Первый собрал надежных людей, на которых и в самом деле можно было опираться. Да это ему известно было и по различным докладным.

Само собрание было недолгим, и когда после аплодисментов Секретарь направлялся в комнату президиума, то, пропуская его, возник высокий, широколицый, с большими мешками под глазами и доброй улыбкой, знакомый ему актер; на лацкане пиджака его блестела звезда Героя. Секретарь любил этого актера, с удовольствием смотрел фильмы с его участием, знал, что он пользуется популярностью у публики, но определенные круги интеллигенции его недолюбливают, да на это не стоит обращать внимание. Актеры часто не любят своего брата, как, впрочем, и писатели, и дня не проходит, чтобы референт, докладывая о поступившей почте, не сообщал о письмах из кругов творческой интеллигенции. Они делились на два типа: в одних шли жалобы на притеснения, так как сильна зависть к таланту, другие выступали правдолюбцами и разоблачали тех, кто стоял у руководства творческими союзами, часто письма писались с такой ошеломляющей ненавистью, и приводились в них такие факты, что и нарочно выдумать было невозможно; из этих писем составлялись сводки, они хранились для подходящего момента, но мер по ним Секретарь наказал не принимать; эта публика любит говорить о консолидации, но каждый тайно ненавидит друг друга; их междоусобная война в принципе устраивала Секретаря. Люди, занятые ею, были на виду; сами, не подозревая этого, раскрывались в своих письмах, поэтому неожиданностей от них не могло последовать; хуже с молчальниками, те могут выкинуть любой фортель, взбудоражить общественное мнение. Именно молчальники, никогда не писавшие писем, выплеснулись в конце пятидесятых и шестидесятых, и потребовалась сложная, скрытная и терпеливая работа, чтобы заставить многих из них покориться новым обстоятельствам, продиктованных временем. Секретарь вел эту политику тонко, ненавязчиво, стараясь оставаться в тени, и рекомендовал выпускать на передний план именно тех, кто писал письма первого типа.

Актер, которого он сейчас встретил, был его союзником, он умел ораторствовать, стал главным режиссером театра и репертуар его подбирался умело, хорошо работая на обстановку, и театр его никогда не пустовал. Секретарь протянул ему руку и ощутил легкое, приятное пожатие пухлой ладони, и в это время краем глаза заметил, как нахмурился Первый. Тогда Секретарь вспомнил, что между актером и Первым пробежала кошка, он знал: тут замешана женщина — способная молодая актриса, которая приглянулась Первому, но актер не пожелал ее уступать, у него самого были на нее виды, а скорее всего — боялся, что актриса сразу наберет вес, и с ней трудно будет справиться, ведь примой в театре считалась жена режиссера... В общем, тут был свой клубок.

Секретарю захотелось позлить Первого, посмотреть, как тот выразит свое недовольство, он взял актера под руку, что делал крайне редко с другими людьми, ибо это было особым знаком доверия, спросил: как живется, как трудится. И тот весело ответил, что в театре готов спектакль по пьесе международника-публициста, очень нужный, современный, но — незадача, не понравился спектакль Первому, и потому публика лишена такого необходимого зрелища; было бы прекрасно, если бы товарищ Секретарь сам посмотрел спектакль; актер уверен — ему понравится.

Пока тот говорил, Секретарь прикидывал: стоит ли ему идти в театр, надо ли становиться арбитром между актером и обкомом, но тут нашелся Первый, все-таки следует отдать ему должное: воля у него прекрасная,— он улыбнулся, тоже пожал руку актеру, как своему человеку, сказал:

— Да не надо вам, дорогой, суетиться и мелочиться. Уберите вы эту сценку с голой актрисулькой в кафе. Ну, зачем лишний раз показывать стриптиз. Делов-то... Других ведь замечаний нет. А вы уперлись... Замечательный спектакль будет, замечательный. А клубничка... Ну, для чего она в таком серьезном повествовании, когда речь идет о борьбе идей?!

На какое-то время актер оторопел; видимо, о голой актрисе он слышал впервые, а может быть, такой сцены вовсе и не было в спектакле, но он тоже не лыком был шит и, чтобы отрезать пути отступления Первому, твердо сказал:

— Уберем. Сегодня же ночью. Ну, а завтра — прошу на премьеру.

— Спасибо за приглашение. Посмотрим, как со временем...

Актер вежливо поклонился и отстал, а Секретарь усмехнулся: однако, ловок, черт, и вроде не просил ничего, а дело свое сделал.

И пока он шел рядом с Первым в отдельную комнату, то думал: надо отсюда актера забирать, в Москве несколько вакантных мест главных режиссеров, следует подумать, на какой театр его посадить, такие люди нужны в Москве, и, если решится вопрос о переброске Первого, то и это к лучшему. Там им будет не до личных баталий, Первый займется своими делами, а актер — своими. Да и приятно, когда такой проверенный человек, великолепный организатор, умеющий накинуть на демагогов узду, будет под рукой.

Секретарь поглядывал на огонь в камине, дрова осели, справа и слева образовались толстые угли, и над ними пробегали синие волны пламени. Как хорош огонь! Он и вправду приносит не только тепло, но и успокоение. Где-то он слышал, что Максим Горький, когда задумывался, то очень любил смотреть на пламя, даже в пепельнице у себя на столе из спичек разжигал костерок, и это доставляло ему удовольствие. Вполне понятно... Да, разговор с Первым вроде бы был простым, но это только на поверхностный слух, а на самом деле он потребовал напряжения от Секретаря, надо было следить за каждым словом собеседника и понимать, что тот вкладывает в него, уловить подводное течение его речи.

Им подали на овальный, старинной работы столик чаю; Секретарю, как всегда, с лимоном и в стакане с серебряным подстаканником, а Первый от лимона отказался, попросил заварки покруче. Чай он пил с неохотой. Секретарь давно уж приучился прощать своим соратникам различные мелкие грехи, без них не бывает человека, главное — не в них, а в сути, в том, куда устремле-

ны действия человека и как их можно использовать в определенных целях. Он знал, что Первый, ровно в четыре дня выпивает стакан водки, закусывая ломтиком черного хлеба с чесночным салом; привычку он усвоил от генерала, у которого был в услужении, но генерал был могуч, для него стакан водки, что иному полрюмки, а Первый низок, хоть и коренаст, но и на него водка не действовала, только зрачки уходили вверх. А сам он от подчиненных требовал трезвости и карал любого, кого застанет на работе «под мухой», особенно на заводах, потому что, как инженер знал, от зелья слишком высок травматизм. Но не выпить в середине дня он не мог, считал — это придает ему силы. А чтобы другие о таком не знали, он на вторую половину дня назначал менее важные встречи и проводил их не с глазу на глаз, а по специальному, устроенному у него в кабинете телевизору с двухсторонней связью; помощники его распускали слухи, что делает он это, потому что крайне загружен, а электроника в период научно-технического прогресса обязана давать экономию времени.

Секретарь про себя посмеивался, что сегодня Первому не удалось привычно принять дневную порцию, от него не пахло. Сам Секретарь хмельного не употреблял, прежде любил хорошее сухое вино, но врачи рекомендовали воздержаться. И к столу ничего не подали, хотя он мог бы попросить для Первого специально коньяка, но не сделал этого и веселился, глядя, как тот с трудом отхлебывает чай, делая это почти беззвучно. Секретарь не любил, когда хлюпали, ему самому далась наука вести себя за столом нелегко, но далась, когда он обедал, наблюдая за старой профессурой, будучи преподавателем. И был рад, что освоил этот этикет. Он ведь от многого сумел отделаться, сам вылепил себя в строгого, непреклонного, обдумывающего каждый шаг человека, единственное, что не поборол — окание, но оно не очень портило его речи; да, может быть, и лучше с оканием, это придавало выступлениям индивидуальность.

Завтра утром Секретарь должен был посетить два завода, потом встретиться с активом, а в половине четвертого после обеда отправиться к поезду. Собственно, ему не нужны были никакие сведения, однако он внимательно слушал, как Первый рассказывал, что они завершают план комплексного развития, вскоре примут его. Секретарю это нравилось, такого рода план входил в его понятие системы, позволяющей требовать с людей и направлять их. Первый старался говорить коротко и закончил цитатой:

— Ну, в общем, как сказано, надо, чтобы все работали по одному общему плану на общей земле, на общих фабриках и заводах и по общему распорядку... Ну, вот к этому и стремимся.

Секретарь внутренне усмехнулся; он знал, откуда эта цитата, знал, по какому поводу писана, отыскал ее сам и использовал в одной из своих статей; стало быть, Первый ее читал, хотя после написания статьи прошло лет семь, а может быть и больше. «Готовился»,— отметил про себя Секретарь. Конечно, он не был так прост, чтобы его можно было подцепить на такой льстивый крючок, но все же было приятно, что труды его знают. Однако сделал вид, что не придал значения высказыванию Первого, и решил его огорошить:

— А что это у тебя в университете за баталии были?.. Слышал, ты там геройство проявлял?

Первый, видимо, не понял: есть ли в словах Секретаря насмешка или задан вопрос с целью, которую он не уловил. Подумав немного, Первый сказал:

— Так... Чепуха. У нас группа иностранных студентов... Понимаем, что надо, даже будем расширять обмен. Но ведут они себя тоже... Им ведь все, ценить должны. А начали, понимаешь, с нашими девочками всякие скверные истории устраивать. Ребятишки не выдержали, загнали их в аудиторию, ну, кое-кому по-джентльменски смазали. А потом, понимаешь, увлеклись. Нашлись крикуны. Вывесили лозунги: уберите, мол, иностранных... Пришлось туда поехать, собрать всех, разъяснить: мол, мы хозяева, они — гости, и когда уедут — будут нашими союзниками там. Конечно, дело раздувать не хотелось. Время такое... Ну, а через месячишко пришлось двух отпетых крикунов отправить подальше. Для тишины. Сейчас там нормально... Или считаете — перестарались?

— Нет, почему же,— ответил Секретарь.— Надо еще со школы приучать: после решения все действуют в одном направлении, все ведут себя, как один человек. Это основа основ. Кто от нее отступает, должен уйти с дороги.

И неожиданно для самого себя добавил:

— Должен уйти. Так было у нас всегда, так и будет.

Тут же он спохватился: не слишком ли прямо высказался, но подумал: эту мысль нельзя толковать как-нибудь вкривь да вкось, она всегда имела одно направление: мы очищаемся от тех, кто мешает двигаться по главной магистрали. А такие еще есть...

— Это очень верно,— подхватил Первый,— помните, года два назад на меня вешали, что, мол, серьезный разгон кадров устроил? А как было поступать, если началась разноголосица?.. Вы тогда болели, вас не было. Но про поддержку вашу знаю. Благодарен вам за это. А ведь то был переломный момент, чуть ли не фракция у меня под боком организовалась. Да, взяли тогда круто, зато теперь легко можно работать. В отпуск уезжаю спокойным. Каждый из секретарей может меня заменить, поведет ту же линию, что веду и я...

И снова Секретарь внутренне усмехнулся: как ни осторожен был Первый, а все же проговорился — он знал, ради чего приехал Секретарь, а может быть, догадывался, ведь Секретарь своими мыслями ни с кем не делился, потому и информацию получать Первому неоткуда было... значит сообразил сам. Тогда Секретарь решил ударить в лоб, как делал только в подобных случаях, хотя обычно предпочитал обходной маневр:

— А что, хотелось бы в Москву?

Щеки Первого гуще зарозовели, он понял: его поймали на тайных мыслях, как мальчишку, но взгляд остался немигающим; Первый помолчал, потом вздохнул:

— Большое мы здесь дело начали... Вот комплексный план развития. Конечно, можно проследить из Москвы... Но я, товарищ Секретарь, сами знаете, привык быть солдатом,— и он попытался улыбнуться тонкими губами.

— Со снабжением у вас как? — чтобы перевести разговор, спросил Секретарь.

— Рабочих снабжаем. Все идет на заводы в первую очередь. Было бы лучше, но деревня подводит...

И он стал подробно рассказывать, какие сложности возникли ныне в сельских делах.

Секретарь почти не слушал, он деревни не любил, хотя и родился в ней. Их шестеро было у матери, он средний; отец ушел на первую мировую и сгинул. В каком его вихре закрутило?.. Жили скудно, скуднее не придумаешь; затируха — это уж праздник. Мальчишкой он добрался до волжской пристани, сел на пароход зайцем и очутился в городе, брался за всякую работу, прибился на заводишке к комсомолу, учили его быстро и хорошо, он оказался смышленым. Через пять лет никто не мог отличить его от городского, но этого ему было мало; он учился и учился...

С той поры он в свою родную деревню не наведывался, да и ехать туда незачем, потому как в тридцатом вся деревня вымерла от голода, вся подчистую, и мать с сестрами и братьями, только позднее обнаружилось, что погодок его выжил, стал военным, дорос до генерала и сейчас жив, но на пенсии.

Секретарь, как мог, помог ему, но настоящей близости у них не получилось; брат жаловался — жена принесла ему только девок, а их трое; Секретарь племянниц своих любил, у них были глаза его матери, и ему иногда чудилось — в этих глазах есть тайный упрек ему. Он переживал за племянниц, старался, чтобы они хорошо вышли замуж, и следил за ними, пожалуй, больше, чем за двумя своими сыновьями. Потом пошли внуки и внучки, семья разрослась, ему, в свое время намыкавшемуся в одиночестве, нравилось быть главой такой крупной семьи, и бывало, он созывал родичей на дачу по случаю какого-нибудь праздника или дня своего рождения, с интересом выслушивал каждого: кто как живет, и если надо — заботился. Он верил: когда у человека семья и заботы о ней, то такой надежен.

А деревня... Если случалось ему о ней говорить, то здесь он обходился

общими положениями; в душе своей он считал: там живет наиболее отсталая часть населения, хотя от нее зависит благосостояние горожан; только крупноземелье, снабженное хорошей техникой при твердой организации труда может кормить с избытком страну, а беда вся в том, что в начале шестидесятых, да и до этого, ослабили в деревне дисциплину, разрушили могучую систему плановости, а всякие писаки разошлись в своих статейках, требуя чуть ли не раздела земли, кое-кто из них даже заговорил о «фермерстве»; земля может быть лишь собственностью государства, да русскому крестьянину никогда и не нужна была земля, а доступ к ней — это же вековое, и доступ он получил, теперь и технику для ее обработки, было бы лишь хорошо поставлено планирование, тогда бы и изобилие пришло, но... впрочем, он старался уходить от сельских дел, от серьезных разработок, в подсознании его жила волжская деревушка, где все повымирали от голода, он раздражался, когда ему каким-то образом хотя бы косвенно напоминали о ней, и это раздражение выливалось в полное неприятие деревенской темы.

Вот и сейчас, стоило Первому заговорить о Продовольственной программе, о том, что делается в области, как он помрачнел. Наверное, Первый заметил это, сказал:

— Видимо, вы устали... Я пойду.

— Да, да, иди,— кивнул Секретарь.— Завтра... еще поговорим завтра...

Первый ушел, а Секретарь перебрался в комнату с камином. Тут, подле огня, он успокоился и, вернувшись мыслью к Первому, подумал: надо его переводить, он инженер, с промышленностью справится; замену ему найти легко, а в Москве у Секретаря будет еще один союзник.

6

Дорога, хоть и была широка, но стала крученой — поворот за поворотом; фары вырывали столбики по краям, окрашенные светящейся оранжевой краской, рваные с зазубринами откосы по другую сторону шоссе, местами покрытые цепкими кустами; уши заложило, как это бывает при подъеме самолета. Внезапно открылся поселок, он хорошо был виден при луне, разбросанный по склонам горы; беленые высокие заборы, а за ними крыши, покрытые черепицей, потом длинное здание конторы — это можно было определить по разным фанерным щитам с лозунгами и диаграммами, а так же солидной Доской почета, сложенной из серых камней. Лукьяныч сказал:

— Давайте документы, товарищ Мелешин... А вон, видите, мосток, а за ним павильончик. Туда и пробирайтеся... Хозяйка-то спит... Но дежурный имеется, у нас тут порядок.

Мелешин спрыгнул на землю и пока шел кремнистой дорожкой к мосткам — в павильончике вспыхнул свет; скорее всего его врубил Лукьяныч.

Где-то в темноте хрустально звенела вода и тут же, слабо булькая, лопотала, и даже казалось, время от времени вздыхала; с той стороны, откуда раздавались эти звуки, веяло прохладой. Мелешин так и не надел пальто, хотя и взял его из машины. Покойно и хорошо было здесь. Он подумал: живут люди неспешной жизнью, делают свою работу — выращивают рыбу, не знают городской сутолоки, очередей, давки в трамваях и троллейбусах, не ходят на овощебазы перебирать промерзшую вонючую картошку или капусту с обожженными снегом листьями, все у них свое, ничего добывать не надо; конечно же, есть неприятности, но они мелкие по сравнению с теми, что стали городским бытом, вот же при каждом дворе, мимо которого они проехали, стоят «жигулята», а на крышах домов антенны телевизоров, в свободный день можно спуститься к морю, выкупаться, и хоть оно, как говорил Кузьмич «мертвое», но ведь недаром же сюда со всех концов страны везут каждый год миллионы людей свои семьи, чтобы прогреться, насладиться южной лаской.

Он не слышал, как к нему подошли, и потому вздрогнул от звона стекла; рядом с его столиком стояла полноватая, круглолицая женщина в полупрозрачной белой кофточке, держала поднос.

— Здравствуйте вам,— сказала она.— Вы уж извиняйте хозяйку нашу. Тут с вечера делегация была, так ей сейчас неможется. Вот с дорожки перекусить,— она поставила на стол графин с прозрачным, золотистого оттенка вином, длинную, с радужными разводами рыбешку.

— Холодное. Уж не взыскуйте. Повара сейчас не добудишься, он у нас крепкий на сон, да жинка при нем молодая.

Она ловко расставила перед ним еду, поклонилась и так же быстро исчезла, как и появилась.

Мелешин налил в тонкий стакан вина, выпил, почувствовал, как оно взбодрило его, и сразу же захотелось есть; малосольная рыбешка была с какой-то тонкой приправой, ее даже не надо было жевать, она легко отделялась от костей и таяла во рту, оставляя ни с чем не сравнимый вкус, пронизанный соками мягких, чуть терпких трав. Он никогда ничего подобного не ел, да и помидоры здесь были сладкие, сочные и одновременно с остринкой, чудесные помидоры.

Он ел рыбу и пил вино, и все ему тут правилось: и ночь, наполненная необычными звуками, не только водными, но и треньканьем, легким посвистыванием какой-то неизвестной живности; он слышал, как завели движок, как неспешно переговаривались вдали люди, и подумал: человек имеет право на мгновения полной отрешенности от всего, может быть, это и есть истинное блаженство: покой, одиночество, хорошая еда, отличное вино, а все остальное существовало где-то по другую сторону его бытия. И хотелось, чтобы это все остальное там так и осталось, и чтобы не было возвращения к нему... Конечно же, у него сейчас более или менее нормальная жизнь, ну, пусть со своими неожиданностями, суетой, но он все же везучий: его возят на машинах, ему дают продуктовые заказы и не надо тащиться в овощной магазин, где в решетчатых контейнерах привозят пакеты с картошкой, за ними сразу очередь, бабы перебирают пакеты, рвут их, картошка катится на пол, а продавщицы в грязных халатах матерятся на чем свет, а то и врежут кому-нибудь ботвой от свеклы по физиономии, как это он видел с год назад, попробовал вмешаться, так три здоровенные оторвы вытолкали его взашей да еще какую-то брюкву гнилую кинули вслед.

Да, Хромов для него много сделал, предложив новую работу, при которой можно жить хотя бы нормально. Надя оказалась права: они ведь еще молоды и будет несправедливо, если все хорошее минует их, а то ведь и состарятся, не узнав, какие есть настоящие радости в жизни. Ну, вот они зажили по-людски; могут и в театр, могут и поехать на отдых, многое могут, хотя тень холуйства — хочет он того или нет,— а лежит на нем. Но ведь тяжесть не так и велика. Не хотелось ему сюда ехать за рыбой, а вот приехал и сидит довольный, наслаждаясь покоем, пройдет время — будет вспоминать этот ночной час, как радость отрешения от всяческой скверны, именно радость, потому что только вот в таком недолгом одиночестве и можно ее испытать.

Он допил вино, поел, тут же явился Лукьяныч, сказал:

— Вот товарищ Мелешин. Распишитесь. Будьте уверены — триста килограммов — грамм в грамм. У нас все точно...

Мелешин не заглядывал в документы перед отъездом, ему подал пакет Хромов, он и сунул его в карман, и сейчас удивился, зачем же три сотни килограммов одному человеку на обед, но тут же подумал: пожалуй, форель дадут всем, кто столуется в обкоме.

Он поставил нужные подписи, пошел за Лукьянычем. Тот был опытным человеком, и проделывать все эти операции по ночам, видимо, было ему не впервой, потому он и сказал:

— Ну, «Волга» сочинская у нас скисла. Так я сейчас дежурному накажу, чтобы он в профилакторий, в Адлер звякнул...

Когда подъехали к аэродрому, Мелешин издали увидел свой самолет. И водитель «Волги» был на месте.

Едва Мелешин спрыгнул на землю, как тот мятый мужичишка кинулся к Мелешину, а Лукьяныч двинул свою машину к самолету.

— Товарищ Мелешин,— плаксиво позвал водитель.— Вы мне вот здесь бумагу подпишите... Пока ездили вы, я починился.

— А что подписывать?

— Ну, это самое... что я с вами был.

— Так как же я подпишу, если вы не были?

Лицо его сморщилось, он хлюпнул носом и чуть не всплакнул:

— Да меня же из гаража турнут... А с работой туго. Вы же сами ждать не хотели. Не подпишете — мне кранты... Строгости же у нас.

Ему не хотелось зла этому человеку, хотя он отлично понимал: ханурик сейчас с рассветом залевачит, километраж он знает, сколько бензина пойдет — тоже знает, ведь у аэропорта машину найти нелегко, а на его «Волге» да с такими номерами... Мелешин подписал бумагу и, не слушая его благодарностей, направился к самолету.

Потом все повторилось, как и в начале полета: хмурый командир задраил люк, со злым выражением прошел к себе в кабину мимо расположившегося в кресле Мелешина, чуть не споткнулся об его ненужный чемоданчик, презрительно отодвинул его с прохода ногой, и, как только дверь за ним захлопнулась, Мелешин стал устраиваться поуютней в кресле; все же он почувствовал усталость, надо было постараться уснуть.

И он уснул, как только взлетел самолет, а за иллюминатором распростерлось усыпанное звездами небо; уснул он сладко и беззаботно, как засыпает сытый, выпивший хорошего вина человек, сделавший без особых трудов дело, ради которого улетал в ночь. На этот раз он спал так крепко почти все три часа, что никакие хлопки дверей, хождения пилотов, команды не могли его разбудить, и только когда самолет заболтало, словно его погнали колесами по дороге, изрытой глубокими траншеями — так почудилось спросонья,— он открыл глаза, увидел за иллюминатором белую пелену, потом разобрал — это снег.

За дверями пилотской кабины раздавались резкие звуки, видимо, кричали по радио и звук трансформировался в металлическое дребезжание, самолет в очередной раз подбросило, и дверь внезапно раскрылась, хлопнула о стену, но не закрылась вновь, и в этот просвет Мелешин увидел склонившихся в своих креслах пилотов, светящиеся приборы — их было множество — и белый, непроглядный экран за передним стеклом и тут же сообразил — экран этот создается падающим от самолетных фар светом на летящий снег.

Только он об этом подумал, как фары внезапно вырубились, и стала видна стремительно летящая белая сетка и где-то сквозь нее пробились, как искорки, несколько красных огоньков; самолет в это время взревел и пошел вверх круто и на разворот, так что Мелешина откинуло снова на кресло, и он тут же сообразил, что не застегнул ремня, а надо бы, посадка, видать, нелегка. Он торопливо застегивал ремень, чувствуя, как разворачивает самолет; двери в кабину пилотов были снова закрыты, но тут сильно надавило на уши; они явно шли вниз, и Мелешин догадался — это уж, наверное, второй заход, а может быть, даже и третий. «Сесть не можем»,— мелькнуло у него. Да, как же тут сядешь, если ни черта, кроме белого, не видно. И только он это подумал, как почувствовал: самолет ударился колесами о бетонку, подпрыгнул, и Мелешина чуть не сорвало с ремней, он уперся, что есть силы в стоящее впереди кресло, рев моторов был натужный, еще раз подкинуло и еще. Наконец самолет выпрямило и он покатился ровнее, потом словно отфыркнулся, другой, третий раз и встал, хотя двигатели еще гудели, но уже мягко, и через приоткрытую дверцу кабины Мелешин услышал длинный, со скрежетом зубовным мат... и в душу... и в господа... и во всю власть...

Что-то происходило на воле, фырчали машины: то ли буксовали, то ли разворачивались, но сквозь забитый снегом иллюминатор ничего не видно было, прошло еще какое-то время, и Мелешин услышал, как куда-то в пространство, гудящее ветром, из кабины вырвались слова:

— Ну, что, гад, стоишь? Я, мать твою... ждать буду?

И тогда о борт стукнулось, и из кабины вышел тот же Комков, лицо его казалось черным, с синими большими кругами под глазами; отзвякнул металл, открылся люк, Комков повернулся к Мелешину, сказал зло:

— Выматывайся!.. Приехали!

Мелешин чувствовал: командир имеет право на такой тон; быстро надел пальто, шляпу, подхватил свой чемоданчик и шагнул на трап.

Аэродром был белым, где-то вдали, сверкая желтыми огнями, работали очистительные машины, но снег, колючий, злой, гонимый ветром, шел косо, и даже видны были его штрихи, закрывающие пространство.

Внизу подле трапа стоял человек.

— Вы разгружать будете? — спросил его Мелешин.

— Мы... Ты давай вон на вокзал,— сухо ответил тот.

Мелешин с трудом различил здание вокзала, до него идти было не так далеко, и он двинулся туда навстречу вьюжному ветру, мимо каких-то машин, людей, до него донеслось несколько фраз, но одна насторожила: «Комков огни-то на посадочной подавил, как клопов», и тут же ему ответили: «Слава богу, хоть сел. Все же мастер».

И только сейчас до Мелешина дошло: они ведь могли и не сесть, экипаж рисковал, делал какую-то тяжкую работу, а он проспал ее... «А рыба-то как?» — подумал он и тут же рассердился на себя: как есть, так и есть.

Ветер был злой, нехороший, он обжигал щеки, идти ему навстречу тяжко, ноги скользили, но Мелешин все же добрался до здания вокзала, увидел издали, что главные выходы закрыты, зашел с бокового, за ним протянулся длинный коридор, Мелешин долго шел по нему, пока не оказался на просторной площадке. И первое, что бросилось в глаза — огромная черная доска объявлений, висящая над залом, забитым пассажирами, на которой светились зеленые буквы: «Аэродром закрыт. Все прилеты и вылеты самолетов отменены до двенадцати ноль-ноль». Он взглянул на часы — было семь минут девятого. Надо идти к аэродромному начальству, но ему не хотелось вновь видеть жесткие, укоряющие глаза авиаторов... «Вот уж в чужом пиру похмелье». Он решительно подошел к висевшим на стене в ряд под стеклянными колпаками телефонам-автоматам, набрал номер квартиры Хромова. Тот должен быть еще дома.

Хромов ответил сразу:

— У телефона.

— Я прилетел. Как с разгрузкой?

— Все знаю,— ответил тот резко.— Дальше не твоя забота,— и тут его голос отмягчел.— Поезжай, отоспись, где-нибудь в час-два появляйся. Машину тебе высылаю... На правой стороне ищи. Номер запомнишь? Ноль семь, семь восемь... Ну, до встречи.

Мелешин повесил трубку, еще раз взглянул на зеленую надпись «Аэродром закрыт», и ему сделалось нехорошо... Господи, что же это! — мелькнуло у него. Командный голос двоюродного брата. Да, это он, наверняка он, распорядился, чтобы при всех условиях форель эта чертова была доставлена... А ребята... летчики... пилоты... И он сам... Если бы грохнулись?! Все равно бы Хромов велел собрать оставшуюся рыбешку, ну, пять, десять форелин из трехсот килограммов, достать ее из-под обломков, из-под трупов — плевать ему на все, лишь бы был рыбный обед у Секретаря. Как же это так?.. Как можно?.. Он медленно шел мимо спавших в креслах пассажиров, мимо женщин, детей, набивших здание вокзала, и странная мысль укреплялась в нем: ведь вот он, Николай Мелешин, обслуга аэропорта, форельное хозяйство в Краснодарском крае, Лукьяныч и другие люди, вплоть до непоехавшего с ним шофера «Волги» хотели того или не хотели, а выполняли приказ Хромова, может, ценой своей жизни, а все же старались выполнить, чтобы Первый или кто-то другой сумел угодить начальнику, прибывшему из Москвы сделать доклад. Какова же сила этого приказа?.. А ведь многие даже и не знали, ради чего рискуют. Как же так?

Машину Мелешин нашел, она быстро доставила его домой. Еще было темно, когда он поднимался к подъезду, но уж синевой просвечивались улицы с погасшими фонарями — экономили энергию. Ему захотелось сразу же принять ванну, словно он и в самом деле побывал в тяжкой, липкой дороге, и за это время белье его пропиталось потом. Надя ни о чем не спрашивала, принесла ему в ванную все свежее, он долго тер себя мочалкой, а потом нацепил пижаму и плюхнулся в постель.

Однако спал беспокойно, все чудилась белая замять, снежные вихри то крутились по земле, то взвивались вверх столбами, то летели навстречу, и было в то же время душно, жарко; он проснулся с мокрым лбом, подумал, не

захворал ли. Был уже первый час, надо было побриться, привести себя в порядок, поесть, а уж потом ехать на работу. Но делал все неспешно, надел свежую, накрахмаленную рубаху, повязал тонким узлом галстук, вынул из шкафа темный костюм, сшитый в обкомовской мастерской, опустился в кресло, включил телевизор и закурил сигарету. В этот час никакой передачи не было, стояла цветная сетка, и веселый голос пел о хлебном поле и синем небе. Мелешин вырубил телевизор, с наслаждением докурил, встал.

Такси нашел неподалеку около дома, и когда вошел в обком, было уж начало третьего, он не стал подниматься к себе, повесил пальто на вешалку и решил спуститься в столовую. Все-таки он привез триста килограммов живой форели, и надо было посмотреть, как с ней разделались. Спустившись по ступенькам подле лифта, не двинулся в зал, а свернул в закуток, откуда вела дорога на кухню; в небольшом коридорчике висело несколько белых, накрахмаленных халатов, они предназначались для начальников, кто вдруг захотел бы навестить кухню или проверить, что в ней делается.

Мелешин аккуратно застегнул халат, прошел моечную, на него никто не обратил внимания. Запах рыбного супа он учуял издалека; нет, конечно, это была не уха, а именно суп с картофелем и овощами.

На длинном, обитом жестью столе лежало множество длинненьких рыбешек с радужной шелухой, некоторые из них еще раздували жабры — так были живучи. Седоусый шеф-повар заметил Мелешина и направился было к нему, но Мелешин приподнял руку, остановил повара: мол, не надо, а сам двинулся направо от раздаточной, где была узкая дверь в зал; со стороны зала эта дверь была почти незаметна, потому что ее укрывали сверху донизу кремовые занавеси, в такой же цвет были окрашены и стены столовой. Мелешин приоткрыл дверь, чуть отодвинул занавеску и сразу увидел Секретаря, тот сидел от него где-то метрах в пяти за отдельным столиком в углу, в зале стояло еще несколько столиков и там тоже обедали люди, Мелешин узнал этих людей — они были из охраны Первого, но сейчас вели себя, как обыкновенные работники.

Секретарь отставил тарелку из-под супа, и тут же Поля, самая молодая и самая красивая официантка столовой, пододвинула ему широкое блюдо с двумя жареными рыбинами и картофелем, нарезанным соломкой, подала на всякий случай соусник и пододвинула рыбную вилку. Секретарь сидел прямо, улыбаясь, смотрел не в блюдо, а на Полю, ее розовое, открытое лицо прямодушной дурочки, очки его лежали на столе, он отпил из стакана желтоватого напитка, почмокал тонкими губами и, вздохнув, принялся за рыбу, он ел аккуратно, неторопливо, отводя вилкой в сторону кости, вторую рыбу не доел, а картошку вообще не тронул:

— Что, не вкусно? — озабоченно спросила Поля.

— Ну, что вы... замечательно... Просто даже очень замечательно,— и погладил ее сухими пальцами по обнаженному локтю. Так и не убирая этих пальцев, он неторопливо допил напиток, затем вздохнул, взял со стола очки, надел их, блекло-голубые глаза его увеличились.

— Счет, пожалуйста,— проговорил он.

— Ах, да,— воскликнула Поля, что-то стала писать в блокнотике.

А в это время Секретарь сунул руку в карман, достал оттуда черный кошелек, полукруглый, с двумя шариками-застежками, такие кошельки Мелешин видел только в кино, где изображалась дореволюционная жизнь. Секретарь раскрыл его, приблизил узкое лицо к бумажке, лежащей рядом с тарелкой, достал из кошелька блестящий полтинник, положил его на синюю скатерть, потом еще покопался в кошельке и вынул оттуда пятнашку, и Поля тотчас вернула Секретарю три копейки, которые он аккуратно положил в кошелек.

Он встал, чуть одернул двубортный темный пиджак в тонкую полоску, улыбнулся, при этом щеки его не раздвинулись, а ушли куда-то внутрь, и, кивнув Поле, неторопливо, негнущейся походкой пошел к выходу; его высокая фигура, чуть ссутулившаяся, едва миновала проход, как все сидевшие в зале тотчас встали.

А Мелешин смотрел на сверкающий, словно только что отчеканенный полтинник, луч света, отражаясь, бил по глазам. Что-то происходило в это

время в Мелешине, некое безумное состояние охватило его, хотелось откинуть занавеску, выскочить в зал, и пока Поля не протянула руки, схватить полтинник и закричать: «Это мой! Это мой!», как бывало с ним в детстве, если он что-либо находил во дворе — стекляшку или гвоздь; наверное, он так бы и сделал, если бы не почувствовал на своем плече тяжелую руку.

Мелешин обернулся, перед ним был Хромов, квадратный подбородок выставлен вперед, квадратные черные усы под сильным носом; Хромов неожиданно улыбнулся, сказал по-свойски:

— Ну, кажется, порядок.

Он тяжелой рукой обнял Мелешина, повел от дверей, сказал:

— Сегодня вечерком подваливай с Надей. Проводим вот Секретаря, можно и расслабиться. А закуску ты отменную привез...

Они прошли к разделочному столу, там несколько женщин распихивали в целлофановые кульки рыбу; в большинстве своем кульки были прозрачные, но отдельно горкой лежали плотные из белого пластика и со смешным рисунком.

Хромов взял один из таких, сказал:

— Это мы завотделами. Но ты тоже заслужил...

Мелешин взял сумку, сунул в нее руку, вынул скользкую рыбу, она смотрела неподвижными глазами, и тут случилось то, что Мелешин никак и никогда не смог себе объяснить, хотя и пытался, много раз пытался, но все время приходил в тупик... Он внезапно размахнулся и со всей силы влепил этой рыбой по непроницаемому лицу Хромова, влепил так, что рыба выскользнула из ладони и пролетела куда-то над столами. Хромов не упал, хотя удар был неожиданный и сильный, из рассеченной брови потекла кровь, он даже не взглянул на Мелешина, подошел к рукомойнику, вымыл лицо, открыл холодильник, достал оттуда кусочек льда, приложил к брови. На кухне стояло полное молчание, женщины застыли у стола, прекратив работу, слышно было, как капали краны; Хромов подошел к Мелешину и сквозь зубы проговорил:

— Я позвоню в кадры. Там черкнешь «собственное желание». Дадут расчет. И чтобы через час я твоего духу тут не видел. Пропуск!

Мелешин, сам удрученный происшедшим и не осознавший его, словно в бреду, протянул брату пропуск и пошел из кухни выполнять его указание.

7

Прошло семь лет; историю эту я услышал от Николая Мелешина. Мы сидели в вагончике, на котором охрой по синему было написано: «Прорабская». За окном шел дождь, рябил глинистую лужу, по ней время от времени проходили самосвалы. Николай смотрел весело, говорил:

— А вот жизнь как поворачивается. Брательник мой куда-то на Урал смылся, Секретарь в восемьдесят втором помер, а Первый на пенсию загремел по состоянию здоровья. Говорят, на дачке стаканами лечится. Ну, а я, видишь, при деле. Панели нынче вовремя привезли, кран работал, талоны на сахар получили. Жить можно!

Татьяна ГАЛУШКО

Рис. Д. Плаксина

Тонкая черногривая девушка стремительно пересекла эстраду, встала у самого ее края, чуть выставив вперед плечо, глянула в зал:

— «Сердце».

Когда придет пора угомониться,
Последним стуком прянув из груди,
Пройди под солнцем реактивной птицей,
У соколиной пади упади...

А потом читала еще и еще, и досадливо взматывала челкой, переживая шквальные рукоплескания зала.

...Пятьдесят седьмой год, первая «оттепель», выступление поэтов, авторов, так долго ожидавшегося сборника «Первая встреча», великолепная когорта учеников Глеба Семенова и среди них она — Татьяна Галушко, сразу же накрепко, навсегда запомнившаяся слушателям, потому что невозможно было не запомнить это удивительное сочетание яркой смелости таланта и человеческой красоты.

Такой — бесстрашной и прекрасной — в творчестве и в жизни оставалась Татьяна Галушко до последнего своего часа. Ни при каких обстоятельствах, даже в самые затхлые времена безвременья, ни единой строкой не предала она своего таланта, своего предназначения поэта, «Человека с Пером» (так назвала она одну из поэм).

Татьяна Галушко была истинной ленинградкой и по рождению, и по блокадному младенчеству, по кровно наследованной культуре, по нерасторжимым душевным связям. Глубоко символично было даже само место ее работы: Мойка, 12, Музей-квартира Пушкина — самое святое в нашем городе место, по крайней мере, для поэта.

Жизнь сполна отмеряла Татьяне Галушко и радости и горе, но все равно ее судьба была счастливой судьбой, и прежде всего потому, что ее труд — труд большого поэта — исполнен.

При жизни ей удалось опубликовать лишь три тоненькие книжки стихов, и настоящая встреча Татьяны Галушко с читателем, конечно же, еще впереди.

Нынешняя подборка «Невы» — первая посмертная публикация поэта, сказавшего когда-то:

Со временем тайный и точный резец
Представит характер, судьбу и кончину...
И, гордо подняв золотую вершину,
Творенье предстанет само, как творец.

Олег ТАРУТИН

Татьяна

Это книга в стихах сложена,
Что же время, читая, запнулось?
Что совпало, чтоб я ожила,
В страшный сон из бессмертья вернулась?
Двадцать пятое было число.
Все дома, все сады занесло.
Накренялся, над бездной скользя,
Нашей юности зал именинный.
Исчезали из дома друзья
Под шипенье поземки змеиной.
Их стреляли не в сердце, а в спины,
И вмешаться мне было нельзя.
Сколько жизней родных снесено
С этих улиц, избитых, как песни.
Странно, что уцелело письмо,
Что оно никогда не исчезнет.
Как ждала я хранителя! Но
Только хищники рвались из бездны.

Клад любовный растащен давно,
Обесцененный и бесполезный.
Я ли это молю: только раз,
Раз в неделю согрей — хоть прилюдно —
Добрым взглядом жалеющих глаз...
Неужели добро непробудно?
Я ли это кричу: «Пропади,
Доля женская! Всех ненавижу!»
И дитя оттолкнув от груди,
Наживаю копейками грыжу?
А по улицам, в зимнюю ночь,
Смазав черные едкие слезы,
Я ль от собственной смертной угрозы
Убегаю неистово прочь?
Город бесчеловечный растет
В ядовитом дыханье тумана
И меня ли — Татьяна, Татьяна,—
Дивный голос из дали зовет?

◆◆◆

И звуками сопряжены,
Как связью корневых законов,
Ворчанье мужа и жены
И воркование влюбленных.

Два голоса — один в другом —
Не плача ищут или смеха,
Лишь отраженья, тени, эха,
Но смежного, как вспышке — гром.

◆◆◆

Нимб почтового отделения
С годами обретает значение
Священной Даты. Держа письмо,
Пальцы вздрагивают на конверте
От плотской связи жизни и смерти,
Чьей волной меня унесло.

Но отогни этот верхний угол,
Там отпечатались мои губы,
Словно яблони майский цвет,
Видны прожилки, как в листьях сада —
Белые трещинки сквозь помаду.

Нарочно красилась, чтобы след
Остался яркий, как та горячка.
Сбоку ты приписал: «Пошлячка»,
Но тут же фломастером чуть правей:

(Видно, расчет мой и впрямь был точен)
Огромные смоляные очи
В летучих дугах моих бровей.

А в самом конце намек и смешок —
В Ленинграде опять непогода —
Кудрявыш сел на ночной горшок
И подпись: «Тигран через два года».
Еще ни Тиграна, ни дома нет,
Ни даже нашего договора.

Только живой лоскут разговора —
Яблони необлетевший цвет.
Меня сдавили со всех сторон.
И я уплываю в созвездье рака.
Прощай, одинокий мой скорпион,
Сердцу суженый Зодиаком.

Стансы 1980 года

По улицам, не помнящим родства,
Я прохожу вдовою поколенья,
Которому покаялась Москва,
Потом назад забрала откровенья.
Одни заели память, а другим
Отшибли. Из орлов — в золоторотцы...
Над улицей художника не вьется
Однофамильца ссыльный серафим.
Он шестикрылый вентилятор свой
Унес — и в едком воздухе отчизны
Лишь «спутники», но радуйся, живой,
Ведь ты воспитан в духе атеизма.

Мы под наркозом. Время утекло.
Черны снега, зато белы тетради.
Все хорошо. И смертное число,
Как сдачу, касса выбросит не глядя.
Переродилась в опухоль душа.
Начни с нуля — взывает Вознесенский.
И мы — нули? Сама земля, дрожа,
Вот-вот нулем покатится вселенским.
Я прохожу по улицам, смеясь
Над смыслом досок их мнимо-реальных.
Жизнь беаглагольна. Кроме тех,
модальных,
С ней ничего не связывает нас.

Прощание с другом

И. Бродскому

Прощай. Мы не расстанемся уже.
Теперь твой жребий принял вид канона.
Как стих. Как Летний сад, вечнозеленый,
С классической решеткой — на душе.
Теперь могу с тобой не второпях,
Не на углу Литейного (о если б!),
Стоять во всех прошедших временах,
В любом стихе, как на любой из лестниц,
Болтая в куря, и на одну
Минуту, прислонясь плечом друг к другу,

Следить, как по немытому окну
Скребет когтями мартовская вьюга.
Прощай; просторно памяти вдвойне
Во мраке той площадки поднебесной,
Где ты картавый, юный и безвестный
Пил из бутылки черный «Каберне».
Не рвется время, как его ни рви.
Как ни кромсай — всегда одна анкета
У каждого действительно поэта:
Проклятый вирус совести в крови,

Друзья, тюрьма, сживание со света,
Друзья, изгнанье, прах чужой любви.
Прощай же, милый.
Знаешь, что мне жаль?
Что Рюрик, ты и Федя Добровольский,
Все знавшие про город этот скользкий,
В такую даль ушли. В такую даль...
Прощай, прощай. На Кирочной — темно,
А в Комарово крысы жрут веночки,
И давит сердце собственное в строчки
Соснора, чтобы внукам пить вино.
Прощай. Всю жизнь прощай нам
боль и стыд,
Душевный вой и тявканье в гортани,
Как тезка твой библейский. Фаворит,
Пророк иноязычников, годами,
Средь подвигов и почестей святых
Мечтал простить предателей своих.

1972

Мария

На левом боку
Уснуть не могу:
Боль бывшей груди —
Кострищем в снегу.

И на правом — и окну,
Тоже глаз не сомкну:
Не в раме лупу —
Внучку вижу одну.

К изголовью присел,
Льет серебряный свет,
Детский узенький серп,
Как ее силуэт.

Уж какой красотой
Мир меня баловал.
А остался лишь твой
Длиннобровый овал.

Тени веток бегут
По больничной стене,
Скифский лук твоих губ
Представляется мне.

Обезболена грусть,
Стала ночь мне родной,
А с тобою, Марусь,
Даже под простыней

На лице — не страшна
Белизна забытья.
Уж не ты ли прошла?
Или тезка твоя?

Анатолий ЗЛОБИН

Рис. Г. Ковенчука

18. Вечерние мотивы. Помогут ли припарки?

Терентий Дзюба ждал Федоровского наверху на помосте, сделанном против лопаток. Глеб Федоровский поднимался по витой лестнице, слушая с непониманием гулкий и в то же время странно знакомый звук: шлеп, шлеп, шлеп. Стучало над головой. Глеб Романович поднялся еще на несколько ступенек и увидел, как четверо монтажников с упоением шлепают костяшками домино по помосту.

— Странно,— Федоровский остановился и потянул носом.— Откуда такой запах?

— Что? Вонько? — воскликнул юркий пожилой монтажник с пятном сажи на щеке.— Когда царей свергают, всегда вонь идет.

— Разоблачили, теперь нюхайте,— прибавил второй, глаза которого лихорадочно блестели, это был Влас Королев, с которым пускали первый агрегат.

— Ты скажешь, Влас,— заметил третий, самый молодой.— Это же запах свободы.

Журнальный вариант романа. Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 5.

Федоровский пролез под балку, перешагнул через другую и оказался у медной сырой спины Старика, где был нарисован мелом веселый кружок, то ли правая лопатка, то ли дыра в ней. Или маска для карнавала?

— Поглядите-ка,— удивился Федоровский.— Неужели здесь возможна жизнь?

В ярком свете было видно — с неразличимой стремительностью суча коленчатыми ножками к носу Глеба Федоровского поднимался паук со вздутым животиком. Замер на мгновение на уровне его глаз, срочно отрапортовал о положении дел и полетел на паутине к соседней балке.

— Письмо вам будет, Глеб Романович,— заметил Дзюба.— Жизнь везде процветает. А на смерти особенно кормится.

Федоровский вспомнил, что, собственно, письмо-то уже было, неделю назад, от Вики, откуда быть другому?

— Товарищ главный инженер,— спросил юркий.— Я вот что хотел. Народ внизу говорил, что нам надбавка за вонь выйдет. Или снова обманут?

— Ты вонь не тронь,— заявил лихорадочный Влас, похоже, он был тут самый языкастый.— Это наша вонь, за нее в огонь.

— Без современной техники нам никак не справиться,— подтвердил юркий монтажник, оглядываясь вокруг.— Вон какие балки.

— Очень интересная конструкция,— согласился Федоровский.— Уникальная в своем роде. Секрет ее удивительный и в то же время почти примитивный: стократный запас прочности. Поэтому такая конструкция сама на себя работает. Верхние слои давят на нижние, а те только крепче от этого становятся. Истинная железноцентрализованная конструкция. Почти идеальная.

— Сейчас мы проверим,— пискнул паук, садясь на горелку.— Не письмо будет, а послание.

Бледно вспыхнул огонь. Дзюба подкрутил регулятор, зеленоватое пламя сжалось и напряглось, сделавшись почти невидимым, потом со звоном впилось в Старика.

Медь вскипала, огненно падала с лопаток на поясницу, а поверхность по обе стороны шва делалась бледно-розовой, как парное мясо, щель горела и разрез ширился на живом мясе.

Ой, больно Старику!

Помогут ли припарки?

— Порядок! — Дзюба погасил горелку и сделал шаг в сторону.

На изнанке Старика был вырезан идеальный прямоугольник. Верхняя сторона осталась чуть недорезанной. Федоровский поддел нижний край куска и поднял его на себя, словно окно распахнул в мир большой и удивительный, светящийся неяркими огнями вдалеке, гудящий поездами, шуршащий листьями, перелистывают книги, шагают по траве в обнимку, какое счастье, что есть этот мир, значит, все, что было, было не зря.

Из темного отверстия ударила в лицо тугая волна холодного воздуха. Закачались лампы. Неверные тени запрыгали по обшивке.

Зашатался Старик.

— Я думал, день на дворе,— удивился Дзюба.— Настроили много,— продолжал он, разглядывая огни.— В пятьдесят втором ничего тут не было, одна проволока да бараки лагерные.

— Вы разве сидели? — удивился Федоровский.— Я не знал.

— Так меня как вольнонаемного взяли,— словоохотливо отозвался Дзюба.— Сами-то не поспевали, вот и мобилизовали мастеров с Гидростроя. Работали рядом с зеками, нас специально инструктировали, о чем с ними можно говорить и о чем нельзя. Исключительно на газетные темы.

Монтажник Влас сунул голову в горчичник и крикнул вниз:

— Готов, Никулин? Принимай конец.

Выброшенный конец сразу набрал тяжести, и трос заскользил сам, набирая скорость и звеня. На срезе горчичника просыпались искрящиеся струи. Монтажники стояли как завороженные, глядя, как стремительно разматываются кольца троса. Старик вздрогнул и загудел глухо, протяжно. Таки пробрали его до нутра наши припарки.

Мрачное гудение повисло над монтажной площадкой, выталкиваясь за ее пределы. С реки донесся далекий низкий гудок парохода, видно, капитан не желал столкнуться со встречным неведомым звуком и давал знать о себе.

Последнее кольцо троса подскочило и туго натянулось в звонкую струну. Старик замолчал.

— Удивительный резонанс,— заметил Федоровский, глядя в черную дыру.— Это свидетельствует о высоком качестве работ.

Дзюба засмеялся:

— А вы говорите, будто у него в голове трещинка. Да разве при худой голове так запоешь. Я в нем два километра швов наварил, обо мне в газетах писали в тот год, так я Ему угодил. А теперь мне новое доверие: поджилки Ему подрезать.

— Эвакуируйте людей. Спускаемся к опорам.

Глеб Федоровский пошел, светя фонариком. Монтажники сматывали провод. Лампы погасли. Снизу тянуло смрадной гнилью.

— Темень-то какая,— сказал голос наверху.— Того и гляди в кишку провалишься.

Федоровский дошел до бедра и посветил вокруг желтым лучиком, но лучик был слаб и не доставал до тела.

— Терентий Семенович,— спросил голос Власа.— Где ты есть?

— Цел пока,— ответил Дзюба.

— Слышал я, Семеныч,— продолжал монтажник,— будто ты эту медную голову на место сам ставил и будто особым способом. Расскажи нам, чтобы по левой ноге веселее шагать было.

— Мама родная,— с готовностью отозвался Дзюба,— я эту голову на всю жизнь запомнил.

— Расскажи, Семеныч, расскажи,— подбодрили сверху.

Федоровский невольно замедлил спуск, чтобы левой ноги хватило на длину рассказа. В темноте монтажники не видели друг друга, лишь голос рассказчика гудел в ноге, звонко отдаваясь от лодыжек.

— Эх, медная головушка,— начал Терентий Дзюба.— Привезли ее, значит, к нам в разобранном и засекреченном виде. Восемь часовых, зона в зоне. Так и стояли с завязанными глазами, чтобы не видеть того, что тут собирается. Нам тоже приказали: «Закрой глаза и вари». — «Как же так, говорю, такого еще на свете не бывало». Ладно, сварили мы все это, закрыв глаза. Стоит голова на земле, как дом. В Большом театре оперу показывают, там тоже голову на сцене выставляют — куда там! Наша голова всем головам голова, таких на свете не бывало. Тут же пухом ее обернули, чтобы зеки не глазели, и восемь часовых по периметру, у каждого уха по два автоматчика. И надо теперь эту голову на место поднимать, на плечи то есть. В аккурат на этом самом постаменте дело происходило. Старик стоит весь в лесах. Но без головы. Начальство торопит: скорей, скорей, скоро открываться будем. Я, не долго думая, даю команду ребятам: «Стропи!» И на деррик-кран флажком помахиваю: вира помалу. Подняли ее над землей, а она как закачается, ветер в сей момент с реки поднялся, как бы носом за постамент не задело, думаю, хорошо, что у нас запасной нос имеется, но время можем потерять. А на кране Хасан сидел, глаз у него острый, где он сейчас, не знаю, веселый был паренек. Хасан уже отводит нос от постамента. Тут смотрю, начальничек бежит, руками размахивает. Он и спал на монтажной площадке, с утра до ночи сидел в левой ноге и все высматривал, чтобы все протекало на высшей гармонии. За ним генерал поспевает, из Москвы присланный для полноты порядка, как его, не помню, только он и сейчас на площадке крутится, у него под губой бородавка, я его утром у рации видел, этот своего не прозевает, словом, навалились оба на меня, а сами от страха зеленые: «Ты что, на тот свет захотел?» — «А что такого, товарищи генералы?» — «Ты кого тросом за шею обмотал? Задушить его хочешь?» У меня душа в пятки, сам не знаю, как на ногах выстоял, даю Хасану команду: «Майнуй!». Положили ее, медную, на место. Генерал свое орет: «Провокация! Диверсия! Не допущу!» — «Как вы прикажете, товарищ генерал, так мы и сделаем».— «Я генерал, ты прораб. Ты и решай».— «Так вы разрешите, товарищ генерал?» — «Я еще никогда никому ничего не разрешал.

Я могу только запрещать. Я такого кощунства со святой головой не допущу. По мне хоть на руках, хоть по воздуху, но чтобы мягко было, с душой, с любовью. Тогда я не запрещу, быть может».

Как начали они меж собой совещаться: кощунство это или не кощунство — Его святую голову за шею краном поднимать? На участке решить данного вопроса не могут. В управлении не могут. Первый секретарь Петр Петрович подключился и тоже решить не может, с одной стороны, вроде бы неудобно, великий Вождь и Учитель, а мы Его канатами хотим задушить у всех на виду, с другой стороны, он же есть просто деталь целого, которую надо поднять на заданную высоту и там оставить навечно. Время идет, голова стоит носом вперед под охраной восьми штыков. Сроки подпирают. Москва занимается решением данного вопроса. Ох, думаю, попадешь ты, Дзюба, в бараки. Нас с Хасаном уже следователь вызывал, снимал показания. Но тут из Москвы приходит ответ: поскольку данная голова является строительной деталью, то обращаться с ней следует согласно правилам техники безопасности по вертикальной транспортировке грузов, смотри-де параграфы 78 и 79 данной вертикальной инструкции. А после этого невинно так и добавляется: но чтоб никто из смертных не видел, как данная вертикальная транспортировка производится. Что делать? Как быть? С одной стороны, поднимать можно, с другой стороны, видеть этого нельзя. Тогда тот самый генерал с бородавкой на губе порешил: «Мы соблюдем. Будем поднимать за шею, как разрешено инструкцией, параграф 53, а чтоб никто не видел, мы поднимем ее, то есть деталь Вождя и Учителя, темной ночью. Кроме того, прикажем для страховки всему окружающему населению спать в наглазных повязках с предварительным вручением повесток и снотворных таблеток. Тут уж ни одна живая душа не увидит». А голову Вождя и Учителя генерал приказал накрыть шелковым платком, чтоб мы сами не видели, что поднимаем. Но у Хасана глаз острый, подняли в кромешной темноте за шкирку, ориентируясь исключительно на Полярную звезду. Приварили к плечам. Ну, думаю, мне за такую работу срок пришьют, но ничего, обошлось, я ведь шею изнутри варил, сам не видел, что к плечам привариваю. Бородавка надо мной на часах стоял.

Глеб Романович остановился в левой пятке, дослушивая рассказ Дзюбы. Монтажники на лестнице не перебивали рассказчика, а под конец и вовсе примолкли.

— Кто идет? — спросили снизу.

— Свои мы,— отвечал Дзюба.— Из головы идем.

— Проверьте, чтобы ушли отсюда все,— сказал Глеб Федоровский.— До обрушения осталось полтора часа.

И полез в люк, переходя из фигуры в постамент. За Федоровским спускались монтажники. Истошный крик, раздавшийся внизу, настиг их на полпути. В постаменте еще продолжали гореть сильные лампы и с верхних пролетов было видно, как внизу, среди муляжей, размахивая кувалдой и отчаянно вопя, бегал Иван Силин, а по полу огромного зала накатом двигались полчища крыс. Они выползали изо всех щелей, прыгали со ступенек и стремились к выходу. Силин переметнулся к дверям и махал там кувалдой, пытаясь задержать крыс, а крысы шли, не обращая внимания на удары и крики, проскальзывали между ног, карабкаясь друг на друга, пробегали вдоль стены и пропадали в темноте. Новая волна с писком подхватила Силина, словно перышко, и он покатился вслед за крысами вниз по лестнице.

19. По прямому проводу. Второй звонок

Связь была отлажена. Сергей Леонидович Наумов вел селекторную перекличку. В вагончике кроме Наумова было еще три человека: лопоухий телефонист, попавший сюда явно по недосмотру, молчащий Валя Корешков, обдумывающий план спасения, и деятельный заведующий отделом культуры Семен Семенович Дятлов, по чьему ведомству проходила Небывалая нынешняя ночь, и Семен Семенович терял большую часть своих художественных ценностей. Семен Семенович уже подсчитал с печалью, что в результате Небывалой ночи балансовая стоимость художественных фондов области снизится с тридцати миллионов до восьми. А уж о Старике и вообще говорить нечего, Старик состоял на центральном балансе, истинной его стоимости не знал никто.

Но, продолжая внутренне скорбеть о падении балансовых стоимостей, Семен Семенович выказывал самую живую заинтересованность в селекторной перекличке.

Докладывал секретарь партийного комитета завода «Красный металлист».

— Готовы целиком и полностью, Сергей Леонидович. Работы много, но все предусмотрено, графики составлены, подготовлены места захоронений, описи бумажного материала.

— Где Черноус? — спросил Наумов о директоре завода.

— Поехал договариваться относительно газа, чтобы не было перебоя. Печи подготовлены.

Все ищут Черноуса, но он неуловим. Что он задумал?

Слово получил Зареченск. Говорили лаконично, по-фронтовому, применяя тот же наивный словесный камуфляж, что и на фронте, где спички были пехотой, а снаряды огурцами. А тут были кочаны и промокашки, с терминами особо не мудрили, зато все было ясно и понятно: сорок пять кочанов капусты, как докладывал зареченский секретарь, означает сорок пять бюстов Старика, подлежащих изъятию. Промокашки — это были портреты, тут счет шел на тысячи. И все это нынче должно было вспыхнуть по всей России, но так, чтобы никто не догадался, что такое горит.

Один за другим районы докладывали о полной готовности: особые группы, транспорт, обдирочные материалы, должностные лица — все пребывало на предназначенных местах, готово к свершению, а может, к свержению, как решит Главный корректор.

Плавное течение переклички было прервано сообщением лопоухого телефониста.

— Москва на проводе.

— Кто меня спрашивает? — опрометчиво спросил Наумов.

— Не вас,— бухнул телефонист, хлопая ушами.— Аркадия Евгеньевича? А кто это? — спрашивал ушастый у более ближней телефонистки, выполняющей роль соединительной муфты, а муфта ему разъясняла.— Скульптора Бурича. А где он?

Тут уж Наумов, слушавший эту перекличку вопросительных знаков и не желавший попадать в положение еще более неловкое, отключился от районов и живо перехватил телефонную трубку, давая одновременно знак Корешкову: ищи, ищи. Корешков неслышно выскользнул из вагончика, счастливый от полученного поручения, но тут его настигла мысль: кого он ищет? Ведь он отправлен искать разоблачителя и терзателя, который всю его, Корешкова, судьбу переломил. Валентин Петрович мигом нырнул в кусты, всячески делая вид, будто ищет там Бурича, столь необходимого Москве.

Валя Корешков хотел шмыгнуть дальше, но перед ним вдруг вырос столб, оплетенный свежей завязью из колючей проволоки.

И надпись в терновом венце колючек.

«Стой! Пограничная зона. Покидать территорию монтажной площадки воспрещается!»

Корешков склонился перед столбом, изучая материал, из которого тот сделан. Корешков усиленно размышлял: где же Бурич и что надо сделать для того, чтобы его не найти, оставшись при этом честным? Сколько нужно времени для безуспешного поиска? Все это требовало длительных раздумий, и Валентин Петрович продолжал оставаться в том же склоненном положении — и тут его осенило: это же не он, не он, не он! А что не он? Корешков призадумался из последних сил и получил четкий вразумительный ответ: не он виноват в аресте Глеба, и надо написать Документ, чтобы это стало ясно общественности. Корешков был уверен, что Бурич дьявол, и потому именно он, Бурич, подлежит разоблачению.

Сергей Леонидович в вагончике продолжал почтительно ждать, когда зов Москвы дойдет до нашей рабочей площадки. Кто Бурича зовет? Отдел культу-

ры или отдел пропаганды? В обоих случаях существовали свои тонкости, которые следовало бы предвидеть. Но тут Наумов насторожился.

— Аркадий Евгеньевич? — чистым отрегулированным голосом спрашивал Большой помощник, и у Наумова заготовленное впрок ответное слово поперек горла встало, ибо это было грубейшим нарушением правил субординации: Москва обращалась к третьему лицу через голову местного руководителя. Впрочем, субординация имеет одну характерную особенность: сверху ее можно нарушать. В том и состоял главный знак.

Наумов глянул сквозь раскрытую дверь вагончика в темноту парка. Корешкова не было.

— Наумов слушает,— ответил он, проглотив застрявшее поперек ответное слово и в то же время давая понять Москве голосом, что ничего не случилось.— Бурич сейчас отлучился, я послал за ним.

— Добрый вечер, Сергей Леонидович,— столь же естественно продолжал Большой помощник, вливаясь голосом в русло субординации и тем самым давая понять, что все идет по правильному плану.— А мы вас в обкоме искали,— все же из чувства перестраховки Большой помощник решил заручиться перед будущим наиболее лобовым способом.

— Я здесь, на монтажной площадке,— живо ответил Сергей Леонидович, тут же почувствовав, что ответил не совсем точно, но слово было брошено.— Мы тут вместе с Аркадием Евгеньевичем,— продолжал он, все дальше углубляясь в неточности и недомолвки и уже начиная страдать от этого, потому что больше всего на свете не терпел недосказанности.— Что ему передать? — вот они, единственно искренние слова, кажется, они прозвучали естественно.

Но Большой помощник не был бы Большим помощником, если бы не умел разговаривать из своего Большого дома с периферией, он умел слушать текст, улавливать все слои озвученного подтекста, переливы интонации и даже пробелы молчания между знаками препинания, Большой помощник умел различать, просеивать и заключать, он тотчас выудил в мутном шорохе проводов все бесхитростные словесные прорехи наумовских реплик, разложил их по полочкам центральной логики, произвел моментальный анализ и тут же принял решение провести показательный урок административного кнута, до которого Большой помощник был в одно и то же время и спец и охотник.

— Совершенно верно, Сергей Леонидович, что вы там, на площадке,— это был первый предварительный кнутик, ибо эпитет опускался вообще и все сразу обретало достойное звучание. Но Большой помощник только замахивался для удара.— Это же ваша Главная площадка,— объявил он.— У нас тоже есть своя Главная. Сейчас со всех сторон поступают хорошие вести, просто замечательные,— мягко стелет, так ведь это просто стилистическая передышка, потребная для нового замаха, Наумов аж сгорбился в ожидании нового удара.— А касательно Аркадия Евгеньевича,— игриво продолжал Большой помощник,— так где же ему быть? Заперся где-нибудь и творит себе в гордом одиночестве что-нибудь такое-этакое для Трех холмов или еще что, нам с вами, Сергей Леонидович, этого не понять, мы же люди служивые, «от» и «до»,— это уже наотмашь, до хруста в костях. А еще и с оттяжечкой.— Как там, не видать его? Что же такое ему передать? — Большой помощник умело выдерживал паузу.— Я и сам не знаю, что передать. Ведь с ним Никита Сергеевич хотели, так сказать, собственноручно, я лишь промежуточная инстанция, так и передайте Аркадию Евгеньевичу. Давайте так сделаем. Через полчасика я еще раз попробую к вам пробиться,— и свист замахнувшегося кнута снова прошел по проводам.— А вы его пока поищете, да? Значит, договорились.

Сергей Леонидович продолжал держать трубку, зная, что больше ничего не дождется. В том потоке словесного сора, которым он был только что облит, имелись не только намеки, но и подлинные перлы центральной логики, их следовало проанализировать под микроскопом, выискивая второй и третий слой смысла. Наумов почувствовал себя нашкодившим первоклашкой, особенно уязвила его эта заключительная команда: ищи, ищи!

Такая вот директива сверху спущена: ищи! Наумов знал, что он плохой аппаратчик, и втайне даже гордился этим, но теперь он видел, что без утонченной аппаратной деятельности жить на этом свете сложно и, может быть, даже бессмысленно.

— Где Корешков? — крикнул Наумов на Дятлова. Тот вскочил, растерянно поводя глазами.

— Туточки я,— отвечал Валентин Петрович, показывая свое нашкодившее лицо в нижней части двери.— Нигде его не видать, Сергей Леонидович. Все кругом обегал.

— Так передайте по радио,— Наумов раздражался все более, не догадываясь о том, что это утренняя тревога, предвиденная Буричем, ищет хода наружу.

— Я сейчас,— заторопился Дятлов, тоже почувствовавший большие знаки в завершившемся разговоре. И поскорее исчез, чтобы не попасться под руку, когда пойдет вторая волна административного кнута.

Зачем же все-таки звонила Москва, которая, как известно, зря не позвонит? Если это связано с одним Буричем, бог с ним. Но тогда при чем здесь Никита Сергеевич? У него сегодня тоже сумасшедшая ночь, есть на Бурича время терять? А этот намек на Три холма тоже означает кое-что — и даже нечто. Нет, сегодняшняя Небывалая ночь здесь ни при чем.

Что же еще? А вот что. К Аркадию Буричу Москва благоволит, а к Сергею Наумову в лучшем случае равнодушна, вот об этом и был весь разговор.

И Наумов решил про себя: тем строже он будет с Буричем. Никаких заигрываний, протекций. Сугубо официальные отношения. Ведь Большой помощник знал, зачем он Буричу звонил, не мог не знать.

А не сказал. Вот как больно бывает от кнутика, который по проводам щелкает.

— Вас к телефону, Сергей Леонидович,— позвал телефонист, и по его почтительному тону Наумов тотчас определил, что это, увы, не Москва. Говорил Яков Михайлович Козаченко, второй секретарь, человек решительный и скорый, которого сейчас крайне недоставало Наумову, но так уж вышло по графику судьбы: Козаченко должен сидеть в эту ночь в городе и заниматься всеми оперативными делами, а Наумов будет находиться у главного монумента страны, где определяется не только тактика, но стратегия. Вот почему Наумов находился на Главной площадке, вы заметили, он уже впитал в себя центральную директиву. И потому ухмыльнулся про себя, дабы не терять остатки внутреннего достоинства.

— Чего улыбаешься? — проницательно спросил Козаченко.— Или я не вовремя?

— Тебе Москва звонила? — быстро спросил Наумов.

— Мне-то зачем?

— Вроде бы они меня искали,— неохотно оправдывался Наумов.

— Что хорошего сказали? — второй секретарь обязан знать все или почти все, что знает первый, и даже в более подробном изложении.

Кроме того, второй непременно должен знать, о чем думает первый и что он собирается предпринять против второго. Наконец, всем известно, что второй всегда стремится занять кресло первого, а первый этого не хочет и всеми силами старается этому помешать.

Поэтому Наумов пожалел, что слишком разоткровенничался с Козаченко, но тут же прикинул в уме схему связи — Козаченко мог слышать весь разговор, наверное, слышал.

— О погоде поговорили,— пояснил Наумов в виде шутки.— Они Бурича искали, золотого и серебряного.

— Это про Три холма,— решил Козаченко.— Но Курган мы им так просто не отдадим, это наши Холмы, наша кровь на них. Скоро буду знать итоги конкурса, замотался тут с колбасой,— Козаченко продолжал сыпать новости из своего короба, но Наумов почти не слушал.

Вот какое дело: Наумов вдруг понял про себя: в нем образовалась некая дырочка, через которую начало вытекать собственное достоинство. Как теперь дырочку заделать? Ведь дырочка-то без ведома хозяина открылась, даже неизвестно, в каком месте она находится — и что прохудилось. И куда вытекает, тоже неизвестно.

— Нашли наконец-то? — Наумов нахмурился. Черт возьми, почему сегодня все получается невпопад? А это все дырочка, дырочка. Коль неизвестно, откуда вытекает, то не увидишь и куда течет.

А дырочка есть. Она в тебе самом. Это уж точно.

— Слушай, Сергей,— бодро вещал на том конце провода не ведающий сомнений Козаченко.— Оказывается, этот тип уже два дня все знает, а мы как последние дурачки ищем холодильники. Ведь могли бы меры принять, перехватить решение, в конце концов. И вот я получаю из Москвы шифровку... покажись, покажись Сергею Леонидовичу,— Козаченко за шиворот втащил в телефонную трубку тучного перепуганного торгаша Круглякова, пытавшегося молвить слово, пискнуть хотя бы, но Козаченко тут же задвинул его обратно за грань телефонного провода.— Давай свою папку и жди приговора.

Наумов понял: неприятности лишь начинаются. Он должен быть готов к новым и более тяжким. Эта мысль даже несколько взбодрила его, ибо если есть неприятности, значит, все совершается правильно. Оставалось принять протянутый по прямому проводу серый листок бумаги и удостовериться. Это была телеграфная депеша с косой красной полосой, зна́ком высшей директивности, к тому же совершенно секретная и, следовательно, подлежащая особо ласковому обращению до и после прочтения. Такие бумажки начальникам дают читать для общего развития и тут же отбирают обратно для вечного хранения. И впрямь, перечеркнутое крестом тени лицо начальника спецотдела мелькнуло в раскрытых дверях вагончика, он прятался, чтобы оставаться незримым, а сам глаз с бумажки не сводил, но его все равно выдавал скособоченный угол несгораемого шкафа, устанавливаемого под кустом тремя монтажниками с могучими плечами.

Козаченко демонстративно сопел от возмущения в трубку и под эти звуковые пассы Сергей Леонидович читал густо нарубленный текст.

«На ваш телеграфный 344 сообщаем что связи переименованием города вы переводитесь вторую категорию снабжения связи чем указанные холодильники количестве восемь холодильников не могут быть доставлены старому адресату и потому переадресованы новый адрес оставшийся без переименования тчк новые нормы расхода будут спущены вам после окончательного переименования дополнительно тчк Собакин тчк».

У Наумова засосало под ложечкой, не оттуда ли вытекало? Не колбаса его сейчас растревожила, а все разрозненные до того факты, вдруг сцепившиеся воедино жирной размашистой подписью Собакина. Раскрылась стройная система, разговор с Большим помощником приобрел совсем иную интонационную окраску, почти апокрифическую.

Не надо было соглашаться, подумал я с грустью, не надо было тогда, в пятьдесят втором.

Сергей Леонидович Наумов рос и воспитывался на Урале в потомственной русской инженерной семье, где все начиналось с дедов и передавалось внукам. Сережа с детства знал, что его прадед, горный инженер, работал еще у Демидова, дед, горный инженер, работал у Морозова, отец, горный инженер, работал в Центромеди, стояли с темным стеклом у печей, тиглей, вагранок, брали срезы металла, колдовали над новыми сплавами и ходили в синих фуражках. Так же и ему быть, Сергею Наумову. Даже имя свое он получил от предков, как сундук с наследством. Все Наумовы были либо Сергеями, либо Леонидами, все нечетные были Сергеями Леонидовичами, все четные Леонидами Сергеевичами. В тридцать седьмом году юный студент Сергей Леонидович Наумов закончил Горный институт на Урале, таким образом традиция не подлежала слому. В войну Наумов был бронирован на никелевом комбинате, заработал орден и произвел научное открытие, записанное в государственных реестрах, однако не подлежащее обнародованию, так как дело касалось особых сплавов, применяемых для специальных боевых машин на гусеничном ходу (так вот откуда у нас такая прочная броня!). За ту же работу Сергей Леонидович получил звание кандидата наук в ряду горных инженеров Наумовых, вот бы они порадовались, доживя до такого дня, а Сергею Леонидовичу теперь прямая линия в доктора, но состоялась медная командировка, при исполнении которой Сергей Наумов доказал не только свою политическую благонадежность, но и прозорливость. В роду Наумовых началась новая линия — государственная, и еще неизвестно, до каких вершин она продвинется, если Сергей Леонидович-младший буквально за семь лет сумел пройти путь от рядового инструктора до первого секретаря. То была вторая волна омоложения кадров, которые, как известно, решают все, и кадры омоложались по всем линиям.

— Ну, что ты на это скажешь? — мстительно спрашивал Козаченко, все это время не переставая пыхтеть у наумовского уха.— Он уже двое суток знает по своим каналам о переводе нас во вторую категорию — и молчит.

— Оставь его, Яков Михайлович,— устало сказал Наумов, машинально посмотрев на часы: прошло двенадцать минут.— Было бы одно и то же. Это зрело.

— Ой, зрело, Сергей, сильно зрело. Они давно на нас зубы точат. Университета нам не дали, раз.

— Проект нового театра не поставили в семилетку.

— Помнишь, фонды на выставку срезали. Мы входили с обоснованиями.

— Аппаратуру для нового телецентра тянут.

— Просим хотя бы трех заслуженных деятелей, а дают одного.

— Международный симпозиум по проблемам инфаркта обещали, умоляли даже, чтобы мы приняли две тысячи человек,— и вдруг отменили в последний момент.

— Тираж газеты споловинили.

— До чего дошло: в новой гостинице четыре этажа срезали. Бог мой, сколько мелких обид, булавочных уколов накопилось за эти годы, как мы только жили, не догадываясь о них. Нет, это не булавочные уколы, это систематическая политика, направленная против нашего Несаминграда. Это не только город, Сергей, это нас с тобой переименовали.

— Это понижение.

Кратковременное согласие первого и второго секретарей и без того казалось затянувшимся. Козаченко подскочил на том конце провода.

— Тебе легко так говорить, ты у нас новый, а я тут родился, на Трех холмах в окопах сидел, меня тут пять раз шарахало немецкими снарядами и два раза во время культа, а после войны одни развалины, по камешку собирали, да как они смеют, завтра же лечу в Москву.

— Отдай голову! — явственно сказал голос в трубке.

— Что ты сказал?

— Разве это я сказал. Я думал, ты сказал.

— Чертовщина какая-то.

— Отдай голову, все тебе будет,— повторил тот же голос.

— Вот! Опять.

— Не ты и не я. А кто же?

— Третье лицо.

— Слушай, Сергей, у нас с тобой провод перегрелся. Через полчаса позвоню тебе.

В дверях вагончика возникла черно-белая маска Корешкова, шевелившаяся в области губ.

— Два раза объявили по трансляции. Почему не идет? — Корешков чуть не плакал.

— Что делать, Валентин Петрович? — Наумов зябко поежился.— Нам бы с вами по душам поговорить. Да все некогда нам с вами. Придется объявить областной розыск. Соедините меня со Шкунаевым,— принял, не глядя на протянутую трубку.— Алло, Лев Поликарпович, никак мне без вас не прожить, хотя вы явно мною пренебрегаете, видно, очередную пакость готовите. Потеряли мы нашего дорогого гостя. Ума не приложу, где его отыскать?

20. В какую сторону мы демонтируемся?

Телефон зазвонил с такой силой, что я вскочил, как на пружине. Что опять у них стряслось? Хватаю трубку, в четыре часа утра за двести километров зря будить не станут. Говорил Лева, и разговор пошел такой, что мурашки по

спине, слушай, кричал он сквозь предрассветную сырость, срочно ко мне, нужно с самого утра поспеть в ателье для перелицовки, а кого лицевать будем, спрашиваю, помнишь, в прошлом году, когда ты премию получил и лавровый венок тебе вручали, венок из лавра, ты меня понимаешь, так вот, этот лавр теперь засох и его надо срочно заменить хорошим венком, ты меня понял, а что тут понимать, трудные пошли времена, все менялось каждые полторы минуты, я бросил ружье, зорька на кабанов отменяется, потому что пошла охота на крупную дичь, я-то удивился с вечера, почему Лева не прибыл в заказник к утренней зорьке, когда егеря гонят кабанов прямо на вышку, а ты остаешься один на один с мирозданием и ждешь, когда затрещат сучья и покажется остроносый пятак и тугая шерсть дыбом, а ты стоишь наверху, как на древней сторожевой вышке, и ждешь врага, волосатого и дикого, мы остаемся один на один, но мне ничего не грозит, только курок нажать и тогда он падает, пришел его час, но все летит в тартарары, ружье в угол, впору самому спасаться, ибо теперь я сам кабан, а кто-то невидимый караулит меня, сидя на вышке, что там случилось с Лаврушей, ведь взять его не так-то просто, но если возьмут, что будет со сворой, а шоссе залито предутренним туманом, толкутся и плывут столбы за обочиной, сколько перемен на каждом километре, вместе с Ним завершилась эпоха стабильности, и надо было привыкать к этой жизни, полной передряг и тревог, вы когда-нибудь видели, как грызутся бульдоги под ковром, что-то там клокочет, шевелится, рычит, пыль столбом, летят клочья шерсти, кто же победит, а кто первый из-под ковра на свет вылезет, тот и есть победитель, сколько раз Лавруша первым из-под ковра вылезал, а теперь я лечу по шоссе, уже рассвело, еду прямо на выставку, где установлено центральное панно и был утвержденный список на все лица, не я же их выбираю, я художник, творец, исполнитель, испуганный директор выбегает навстречу, надо менять, откуда вы узнали, я только собрался вам звонить, скорее, скорее, скорее, беру молоток и с ходу вырубаю Лаврушу, вопросов при этом задавать не рекомендуется, директор лопочет, скорее, скорее, они уже выехали, они тоже спешат, потирают руки, собираясь урвать свой кусок, вот они, на трех машинах, весь синклит, вся банда, Стригунчик, Домский, Содомский, покажите нам свое замечательное панно, прямо не терпится взглянуть, вы же сегодня собирались сдавать комиссии, вот мы и приехали, но я уже чист, снимаю простынку, стою и на них поплевываю, можете принимать, говорю.

— Где же этот? — спрашивает дурачок Содомский.

— Кто, этот?

— Ну этот, как его, который...

— Не имею ни малейшего представления, о ком вы говорите. Где он? И как его звать?

— Так его же у вас нету.

— А разве он должен быть?

— Помилуй бог, никак не должен.

— Что же вы хотите, маэстро?

— Вот я и хотел спросить, почему его нет, если он не должен быть?

— Хорошо, я вам отвечу. Я человек прямой. Если вы на что-то намекаете, то этого у меня не найдете, не советую, товарищ Содомский, быть правовернее самого папы Римского, для этого вы слишком поверхностно знаете Библию, где сказано, не желай другому того, чего себе не желаешь, он утерся и замолчал, а Стригунчик подскочил, смотрю и завидую, говорит, твоя информация быстрее моей, дай мне свои каналы, хочешь, поедем сегодня ко мне на ближнюю дачу, будет междусобойчик, небольшой, но уютный, между нами не было тогда никакой связи, и он начал меня обхаживать, но я своими каналами не разбрасывался, перемены начались, и они не скоро кончатся, так и вышло, словно в воду глядел, повальная эпидемия перелицовок от Лавруши до Лазаря, директива за директивой, предлагаем на групповых художественных изображениях заменить следующих лиц (список прилагается), я уже не столько творил, сколько претворял и вымарывал, плафоны, витражи, рельефы, панно, а все это врублено в стены, отлито в бетоне, работа адская, и все скорее, скорее, по ночам, особенно не повезло тому самому центральному панно, народ и партия едины, что делать, как соблюсти единство, не спал всю ночь, потом поехал и разом покончил с разъедающими душу сомнениями, всех перелицевал, вырубил из панно четырнадцать голов, не оставил ни одной, которая имела бы сходство с прототипом, и швы так заделал, что в микроскоп не разглядишь, волоку домой мешок голов, выполнил все директивы на сорок лет вперед, зато теперь панно вырублено на века, но все это оказалось разминкой перед настоящим делом, раньше ограничивались одними головами, теперь хотят переплавить тело и душу.

Бурич тяжело задвигался в кресле, пытаясь втиснуться в него поглубже и поджимая ноги. В комнате было темно, однако окно не зашторено, там суетно промелькивали огни машин, отблески сварочных вспышек. Голос на столбе, глухо проникающий в комнату, продолжал взывать к его совести, но моя совесть чиста, хочу иду, хочу поворачиваю обратно, теперь я выбираю, где мне сидеть, дайте мне сосредоточиться.

За окном лениво тренькала гитара, просачиваясь в уши незатейливым слогом.

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаяруши Палыча,
А для Климуш Ефремыча
И дяденьки Михалыча.

Бурич почувствовал, что в комнате кто-то есть. Он протянул руку к настольной лампе, включая ее.

Перед ним, в таком же кресле, переплетя ноги, выставив вперед туфельки, сидела Вера Васильевна Троицкая. Одеяло висело на ее плече, как мексиканское пончо.

— Я еле его спасла,— живо заговорила она, воспрянув от света.— Я дала ему таблетку. А он швырнул в меня подушкой-думкой и убежал с кувалдой. И теперь он ничего не знает.

— Что он должен знать? — лениво спросил Бурич.

— Как? И вы этого не знаете? — Вера Васильевна вскочила, дерзко указывая рукой в окно.— Демонтаж отменен.

— В какую сторону? — полюбопытствовал Бурич, не меняя положения в кресле.— Да вы садитесь, в ногах правды нет.

— Снова начинается монтаж,— живо верещала Вера Васильевна.— Дом Ивана Васильевича остается на месте, ему разрешается проживать на данной территории. Сейчас начнут заделывать дыры под лопатками. Разумеется, я вам все это по секрету, Аркадий Евгеньевич, как старому другу, с которым я...

— Кто дал команду? — неожиданно перебил Бурич.

— Кто у нас дает команду. Конечно, Москва, прямо по телефону. Хотели сказать вам, но вас не оказалось на месте, они передали непосредственно Сергею Леонидовичу, вы правильно сделали, что не пошли к телефону, товарищ Наумов был бы обижен. А теперь его уважили, и он начинает монтаж.

— Имеются более конкретные признаки? — Бурич не торопился. А в кресле было так тепло и мягко, не все ли равно, что будет совершаться за окном.

— Признак тот,— подскочила Вера Васильевна,— что наверху поняли, что так нельзя, это дерзость, лишение идеи. Без Него идея иссякнет и пересохнет. Поэтому срочно начинается монтаж, я назначаюсь старшим экскурсоводом, мне повышают оклад на двадцать рублей.

— Двадцать рублей — это уже кое-что. А еще?

— Разве вы не видите. Работы приостановлены.

— Но огни движутся. Взгляните в окно.

— Огни движутся в сторону монтажа. Нельзя же остановить работы в полной темноте. Огни для того и горят, чтобы работа скорей остановилась.

— Все это зыбко, зыбко,— Бурич произвел неглубокий зевок, прикрыв рот ладонью.— Возможно, это самый обыкновенный перерыв?

— А буфет закрыт! — извивалась Вера Васильевна.— Разве можно закрывать буфет во время антракта?

— Так, может, они зарплату получают?

— Ни в коем случае. У нас по ночам не платят.

Окно с треском распахнулось от ветра, и раздался крик отчаяния и надежды.

— Стой, тебе говорят, стой! Куда лезешь? По местам!

Бурич и Троицкая послушно сели в свои кресла, пристально наблюдая друг за другом. Троицкая сидела, переплетя ноги, Бурич нервно подрагивал коленкой. Вера Васильевна опомнилась первой.

— Нет. Все равно. Этого не может быть. Им приказано работать, но как раз в сторону монтажа. Надо разобрать клеть, восстановить клумбу. Было объявлено, что скоро привезут сосиски.

— Как жаль, что я не запасся ими,— Бурич уже собирался зевнуть с хрустом, но в этот момент посмотрел на Троицкую и едва не поперхнулся. Еще раз посмотрел на ее остроносые туфельки. Так и есть. У Троицкой было две ноги — и обе левые! Он медленно повел взглядом вверх от туфелек, от щиколоток к лодыжкам, еще выше, к колену, и сам не знал, по какой ноге взбирается, пока не долез до бедер, все-таки бедра были на месте, левое бедро, правое бедро, и оба довольно пышные. А ниже коленок снова начиналось не разбери поймешь.

Он начал массировать взглядом ее голову. Вера Васильевна задумчиво прикрыла глаза, заботливо подсунула локоток под ушко и головку туда же преклонила.

— Я так устала,— шептала она в истоме,— я набегалась и устала. Сегодня такой напряженный день, то одно, то другое, от этого ноги гудят, где правая, где левая, где монтаж, где демонтаж, я очень устала, глаза закрываются сами, что вам сказать, о чем вы просите, да, да, я уже вспомнила, мы шли по улице и пели, потому что это был выпускной вечер в институте, а я такая способная, что меня оставили на кафедре писать диссертацию и дали прекрасную тему, положительная роль личности в истории на примере трудов товарища Самина, я работала с таким увлечением, написала пятьсот страниц и тут случился пятьдесят третий год, и вся моя работа в мусорный ящик, три года приходила в себя, и наконец нам сказали правду, я пошла к своему руководителю и взяла новую тему для диссертации, отрицательная роль личности в истории на примере самого товарища Самина, снова написала пятьсот страниц, а меня опять не допускают к защите, говорят, ошибки были, но они уже исправлены, зачем старое ворошить, что мне делать, посоветуйте, я же хотела как лучше, кто-то ведь должен знать, где левая нога, где правая нога, что мне делать, я что-то плохо слышу, повторите, пожалуйста, надо писать о роли масс в истории, да, это верно, только массы творят историю, а вожди — это пустое место, я вас правильно поняла, а ноги гудят, гудят,— Вера Васильевна ловко зацепила носочком за каблучок, туфелька слетела, на пятке блеснула трогательная дырочка в чулке, она чулочком зацепила вторую туфельку, продолжая набарматывать свои печали.

Бурич мысленно спросил у нее, что главное в жизни.

— Только любовь,— с чувством отвечала Вера Троицкая.— Я так мечтаю о великой любви. За нее готова отдать все диссертации мира.

Он встал перед ней на колени, чтобы убедиться не только зрением, но и осязанием. Одна Верочкина нога была правая, другая левая. Все правильно. Там, где большой палец справа, та нога левая. А где большой палец слева, та нога правая. Изумительные ноги. Как идеально они вылеплены природой.

Бурич с нежностью погладил ее ножку, проведя от щиколотки до колена и, не смея двинуться выше, спустился по другой ноге к истоку.

— А какая роль масс в истории, как вы думаете? — нежно шептала в ответ Троицкая.— Знают ли массы о том, что они хотят? Или им это надо указывать? А если массы не знают, где правое и где левое? Кто им укажет? Да, вы правы, надо выставить для масс указатели. На всех поворотах и перекрестках истории. Чтобы они без указателя ни шагу. Спасибо вам, вы так добры, я напишу об этом третью диссертацию, положительная и отрицательная роль указателей для масс, завтра же начну, если у меня хватит сил, согласитесь, три диссертации для одного человека это слишком много, какая у вас нежная рука, я верю...

На террасе послышалось шарканье ног. В коридор походкой лунатика вошел Иван Силин, сопровождаемый Тимофеичем. В руке Тимофеича был деревянный пистолет, и он легонько подталкивал им Силина, направляя по верному пути.

— Обезбожили небо и на крыс свалили,— судорожно покрикивал Силин, в его руке оказался стаканчик, он тут же опрокинул его, хотел было повернуть в комнату Бурича, но пистолет направил его в спальню, Силин послушно повернул туда.— Чихал я на вас,— пригрозил он,— даже закуски организовать не в состоянии, поеду за холодильником в прямом вагоне.

Протопали сапоги и по-хозяйски остановились перед Буричем. Один сапог правый, второй сапог левый. Тут все четко.

— Ты что на коленях делаешь? — удивился Лев Шкунаев.

— Как видишь, ножку глажу.

— Ты считаешь, что у тебя есть для этого время?

— У человека всегда должно быть время для этого. Но я никак не могу забраться выше коленки. Я разленился. Так хорошо быть ленивым,— мечтательно порыкивал Бурич.

— Тебя Сам вызывает. Никита!

21. Это тщета, сын мой

— Бах-трах-жах! Тыр-пыр-мыр! Все слышите четкий трудовой голос монтажной площадки, откуда мы начинаем наш репортаж. На площадке сделалось тесно от людей и машин, но никто не суетится, все организовано предельно четко, во всем чувствуется почерк главного инженера Гидростроя Глеба Романовича Федоровского, ведущего работы по демонтажу. Итак, скоро совершится. Ваш специальный корреспондент не опоздал. Остались считанные минуты, и то, что намечено, будет претворено в жизнь. Я слышу гул тракторов. Это идут наши могучие красавцы С-восемьдесят. Но что я вижу? Ко мне приближается наш прославленный экскаваторщик Павел Чугунов. Итак, наше первое интервью.

— Павел.

— Чего тебе?

— Можно вас на минуту.

— Что ты меня на «вы» зовешь?

— Потому что мы сейчас не для себя говорим.

— Для кого же мы говорим?

— Для всех. По эфиру. Я хочу взять у вас интервью.

— Так бы и говорил. Вопрос — ответ. Это можно.

— Я слышал, товарищ Чугунов, что вам доверено везти ответственный груз. Скажите нашим радиослушателям, какой это груз.

— Конечно. Тут никакой тайны нет. Это верхняя часть объекта, с которым мы в данный момент работаем.

— Прекрасный ответ. Надеюсь, наши радиослушатели поняли, какую верхнюю часть объекта имеет в виду герой Гидростроя Павел Чугунов. Сейчас, в эпоху расцвета демонтажа, особенно повышается роль подтекста. Итак — что это такое: верхняя часть объекта? Фамилии радиослушателей, первыми приславших правильный ответ, будут объявлены по радио. А теперь я хочу спросить Павла Чугунова: как вы относитесь к этому заданию родины?

— А как еще? Отношусь правильно. Даю слово выполнить перевозку досрочно, с опережением графика. Нам не привыкать.

— Спасибо, Павел. Именно такие слова и хотели услышать наши радиослушатели.

К сожалению, этот репортаж не прозвучал в эфире, так как пленка с записью по не зависящим от автора обстоятельствам оказалась в другом месте, весьма далеком от радиостудии. Тем не менее чуткие микрофоны установлены по всему периметру Рабочей площадки, чтобы ни одно словечко не заглохло, не пропало — все для истории.

— Смотри-ка, буфет открыли.

— Почем сосиски?

— Соки, коржики, килька-ряпушка, сами видите, что выставлено. Бери, не задумывайся, скоро и этого не будет.

— Дорогой товарищ Самин...

— Внимание! Говорит местный радиоузел. Кто произносит имя, которое нельзя произносить? Предупреждаем всех! Имя дорогого и любимого товарища С. произносить вслух запрещается.

— Интересное кино. Хотел бы я знать, кого в таком случае мы демонтируем? Как прикажете Его величать?

— Это Он! Он велик и многолик. Он тот, который Сам. Он Самый. Светоч мира. Великий кормчий. Гениальный продолжатель. Солнце среди солнц. Кузнец всеобщего счастья. Корифей среди корифеев.

— Теперь я скажу. Сука. Пахан. Ус. Конопатый. Сухорукий. Изверг рода человеческого. Урка. Киса.

— Наконец-то стало ясно, что к чему. Но что скажет мистер Столб?

— Это можно. Согласовано. Утверждено. Допущено к произношению.

— Теперь слушай внимательно. Расскажу тебе быль-сказочку. Пока дойдем до вагончика, попробую уложиться. Если хочешь за него зацепиться, то знать полезно. Сказочка о том, как наш второй стал нашим первым. Умора, доложу тебе. Как такие сказочки начинаются? В некотором царстве, в некотором государстве, в энской области шла областная партийная конференция, шла день, второй, все, как у больших, доклады, отчеты в газетах, буфет, книжный киоск. Народ, естественно, притомился, но все сидят мужественно, одни мечтают быть избранными, другие проголосовать за избранных, президиум на сцене, рядовые делегаты в зале, заседаем, само собой, в областном театре, по проходам фотографы бегают, все идет чин чином. Уже начали обсуждать кандидатуры, резолюцию, сам Сидор Сидорович, он тогда и был нашим первым, зажал нас в кулак, спасения нет, сам Сидор Сидорович выходит на трибуну, чтобы благоразумно отказаться от заключительного слова и зачитать список избранных, а сам то и дело пылинку с глаз смахивает, потому что солнышко закатилось и в зале потемнело, не выдержал Сидор Сидорович, смотрит на второго и пальцем в небо показывает, тут наш второй, тот самый, кристально чистый дает команду прибавить свет в зале, чтобы Сидору Сидоровичу было удобнее читать по бумажке список избранных. Ну пошла команда сверху вниз, как ей и полагается идти, все равно в сказке, все равно в жизни. И дошла команда до исполнителя. А монтер, как показало последующее следствие, имел некоторый момент подпития, что не было учтено вышестоящими инстанциями. И врубил монтер вместо усиления света поворотный круг. Полная неожиданность. Пассаж! Все областные боги уплывают в собственное светлое будущее. Список избранных у нас всегда слушают внимательно, можно сказать, через лупу: назовут или не назовут? Поэтому публика в зале не сразу раскумекала, что такое произошло. Уже Сидор Сидорович со своей трибуной оказался на другом конце сцены, но все еще героически зачитывает текст, потому что скоро идет его фамилия. Но тут уже народ начинает понимать, что руководство некоторым образом уплывает в неизвестном направлении, и зал остается без руководящего состава, но круг упорно продолжает вращаться, и тогда выплывает на сцену вторая половина поворотного круга, а там уже банкетный стол на сорок кувертов накрыт, такой соблазнительный: белоснежные салфетки кулечком, хрустальные запотевшие графинчики, вазы, бутылки, окорока жареные — все в натуральном виде и даже лучше. А голос Сидора Сидоровича, правда, несколько надтреснутый, продолжает звенеть за сценой. Тут уж народ полностью осознал, о каком светлом будущем идет речь, хохот в зале поднялся гомерический, это надо было видеть, это надо было слышать, никогда, даже на комедиях Шекспира, в нашем областном театре так не смеялись. Это был успех, доложу тебе. Слава богу, тут сообразили выключить поворотный круг. И опять не на том месте. Банкетный стол с поросятами у всех на виду. Президиум разбежался. Первый навсегда исчез из нашей области. Зато второй стал первым. Пресек хохот, объединил народ и сам зачитал список избранных. Вот и до вагончика добрались.

— Бурич слушает.

Он держал трубку небрежно, слегка отставив ее от уха, потому что в черной глубине мембраны все время потрескивало, клацкало, верещало — звуковой оттиск пространства, разделявшего обе трубки.

Что объявит Москва? В штабном вагончике царила выжидательная напряженность, сопровождаемая быстрыми взглядами в сторону трубки, приглушенными репликами, дабы не отвлекать лишним шумом ухо, приложенное к голосу Москвы.

Сергей Леонидович ждал (и желал этого), что скульптора Бурича сейчас срочно вызовут в Москву, ибо какая другая причина могла побудить столь неурочный звонок. Сказать по честности, Бурич был нынче помехой Наумову. В самолет бы его — и с плеч долой. Тут и без него забот хватает.

Валентин Петрович Корешков, уже насидевшийся в кустах и теперь снова ведающий заваркой чая, желал лишь одного: чтобы Бурич провалился сквозь землю, ибо сейчас из Москвы будет объявлена директива — всех информаторов времен культа личности вон без выходного пособия, разве что на бутылку кефира дадут талон, и поэтому Корешков должен как можно скорее составлять Документ, который уже начинал складываться в его голове.

Генерал Шкунаев, сидевший на топчане рядом с Буричем, не лез в межведомственные распри. Он не хотел, чтобы Бурич улетал именно сейчас, так как Льву Поликарповичу был необходим авторитетный свидетель, который мог бы потом подтвердить все события, которые уже совершились, а главное, еще могли совершиться.

Кроме того, Лев Шкунаев обдумывал план спасения медной головы, и план этот состоял в том — спасать или не спасать?

Сам же Аркадий Бурич, продолжавший поигрывать трубкой перед ухом, то отводя ее от себя, то вновь приближая, чувствовал себя заброшенным и покинутым. Он никак не ожидал, что окажется втянутым в эти мелкие провинциальные дрязги, пусть они друг друга поедом едят, Аркадий Бурич в этих играх не участвует, хорошо бы сейчас стоять со стекой в руке, смотреть на Лидию или спускаться вниз, в Белый зал, к накрытому столу, ведь сегодня прием, весьма важный, только собрался на неделю на Корсику в гости к прекрасной Корсикелле, которая умеет заниматься любовью сразу на трех языках, мне звонок, к вам приедет в гости папа римский Выпий XXII, Москва крайне заинтересована в улучшении отношений с Ватиканом, нужно сделать папину голову и притом таким образом, будто идея родилась ненароком во время обеда и чтобы папа не видел процесса лепки, ну что ж, надо так надо, на этот раз я жертвую лишь Корсикеллой, но получаю взамен папу, нажарили поросят, баранов, закоптили в целом виде осетрину, доставленную специальным самолетом голубой эскадрильи из города Саминграда, приезжает папа Выпий XXII, с ним наша прекрасная дама министр культуры Капитолина Александровна, показываю папе римскому мастерскую, а сам леплю его на ощупь сквозь простыню, является Ольга:

— Осетрина подана.

Спускаемся в Белый зал, садимся за круглый стол, я уже нос долепливаю, продолжаю на ходу, а папа оказался такой живчик, все ему надо знать, как мы живем, почем у нас осетрина, почему у нас диктатура и все такое.

Я ему в ответ:

— У вас диктатура церкви, ваше Святейшество, у нас диктатура пролетариата. И бог еще не сказал, что наша диктатура менее справедлива.

— Сын мой,— отвечает мне Выпий XXII, держа в руках рюмку цинандали.— Ваше заблуждение простительно, хотя и пагубно. У нас нет диктатуры церкви.

— А диктат веры, ваше Святейшество? Вам принадлежит один миллиард католиков. Ни один диктатор мира не мечтал о такой полноте власти.

— Не я владею душами, но бог, и это владение взаимно, ибо те, кто верят, имеют бога в душе своей, владеют им. В древности на нашей земле жили жрецы Понтифики, строители мостов. Так и я есть Понтифик, я лишь мост от людей к сыну божьему. От души к душе.

— Какой же путь вы указываете душе, ваше Святейшество?

— Что касается души, сын мой, то ее можно лишь либо вверить богу, либо продать дьяволу, третьего не дано.

— Что же такое душа, ваше Святейшество? Поделитесь с нами своим знанием.

Он пожевал осетрину, сплюнул косточку.

— Сын мой, я отвечу вам так. Душа — это то пространство в человеке, которое занято другими людьми.

Капитолина сидела, сидела, уплетая балык, и тут решила показать партийную эрудицию.

— Прекрасно сказано, ваше Святейшество,— выскочила Капа.— Однако, услышав ваши слова о душе, я подумала несколько о другом. По-моему, это зона.

Папа Выпий XXII надеялся обратить Москву в свою веру, поэтому он отвечал дипломатично:

— Совершенно согласен с вами, прекрасная синьорина, это и есть зона души, вы весьма глубоко уточнили мою несовершенную мысль.

Осетрина обглодана, несут барана на вертеле. У меня осталось только правое ухо.

— В чем смысл жизни? — спрашиваю.

— Смысл жизни в ожидании, сын мой,— а сам вытирает белой салфеткой свои влажные после барана губы.

— В ожидании чего, ваше Святейшество, благ? власти духа?

— В ожидании смерти, сын мой.

Делаю знак Капе, она встает с бокалом в руке.

— Наш разговор приобрел несколько абстрактный характер, а мы, большевики, сторонники конкретного гуманизма. Ваше Святейшество, разрешите по этому поводу вручить вам наш скромный презент на память о вашем посещении нашего вечного города. Але-оп!

И Димка вносит папину голову на золотом блюде. Выпий XXII был сильно удивлен:

— Как вы успели?

— Моей рукой водила высшая сила,— скромно отвечал я.

Через месяц папа прислал мне индульгенцию на три года вперед, а вот прекрасная Корсикелла так и не простила меня, как я тебя ждала, три недели никого не пускала в свою постель, нагуливая аппетит для любви, забудь ко мне дорогу.

Где же Москва? Вечно ее приходится ждать. Что такое наша жизнь? Пауза между двумя ожиданиями. Как вы смотрите, ваше Святейшество, на материальное положение нашего труда, это стимул или награда?

— Это тщета, сын мой.

— И последний вопрос, ваше Святейшество. Вы говорили, что у вас нет диктатуры. Означает ли это, что все люди равны?

— Это очень важный вопрос, сын мой.

— Я весь внимание.

— Все люди равны, это верно. Но только перед богом.

— Алло, кто у аппарата? — вопрошал Большой помощник.

— Рад слышать вас, Б. П., никуда мне от вас не деться. Думал, улечу на край света, не найдете, так и тут достали.

— Приветствую еще раз, Аркадий Евгеньевич. Как видите, нынче у нас повышенный спрос на художников.

— Этому есть чисто экономическое объяснение.

— Поделитесь, если не секрет.

— Общее количество изображений не должно уменьшаться. Мы не имеем права снижать достигнутого уровня.

— Ха-ха, вы не теряете бодрости даже вдали от дома. Так ведь и нам работы не убудет. Кто же будет следить за экономным расходованием средств?

— Мои монументы самые дешевые в мире. В конце концов вообще выясняется, что они ни гроша не стоят.

— Вы меня не запугаете, Аркадий Евгеньевич, с вами мы не продешевили. Надеюсь, вам созданы все условия для творческой работы?

— И даже чуть больше.

— В таком случае главное, чтобы у вас сердечко не болело.

— Увы, если оно и заболит, я все равно в этом не признаюсь. Я ведь непромокаемый.

Вот сколь интеллигентно поговорили. Вы что-нибудь уразумели? Да никто не уразумел. А как все-таки дошло до дела, так еще интеллигентнее стало. Большой помощник сообщил, что Никита Сергеевич срочно должен был выехать на Главную площадь (вам-то хорошо, у вас всего Главная площадка, а у нас площадь Главная) и потому придется передать на словах, чтобы дальше не отрывать вас от дела, что к вам срочно направлен специальный самолет с курьером, который везет пакет на ваше с товарищем Наумовым имя, просьба встретить курьера на аэродроме и, ознакомившись с содержанием, принять соответствующее решение. Никита Сергеевич просил передать привет товарищу Наумову. Как идут дела на Главной площадке?

— Все клокочет и бурлит,— бодро ответствовал Аркадий Евгеньевич.

Дождик усилился и начинал барабанить по крыше вагончика. Над Главной площадкой спускался туман.

Казалось, присутствующие при этом историческом разговоре лица были несколько разочарованы, разве что Валентин Корешков радовался полученной отсрочке. Зато Бурич торжествовал, ибо больше всего на свете любил туман. Иной раз создавалось впечатление, что туман вокруг его личности рождается сам собой.

Сергей Наумов ничем не выдавал, что он уязвлен, хотя формально привет был передан. Наумов отдавал распоряжение, как лучше встретить самолет и доставить пакет на Главную площадку, а сам не мог понять, что же за всем этим скрывается. Один раз ему даже явственно почудилось, что поворотный круг под его стулом дрогнул и пришел во вращательное движение.

В раскрывшейся двери показался Глеб Романович Федоровский. Увидев в вагончике много людей, он решил не подниматься, а доложил с порога:

— Товарищ первый секретарь, подготовительные работы на объекте завершены.

22. Старик и танки

Дождь накрапывал сильнее. Фонари тускло желтели на столбах, вокруг них плавали косо расчерченные шары дождя. Два троса некруто провисали над клумбами, они тянулись от спины Старика к урчащим тракторам.

Люди стояли прореженной толпой недалеко от дома, негромко переговариваясь между собой и оглядываясь на монумент. Сергей Леонидович Наумов решил не идти на террасу, а остался под дождем наравне со всеми. Генерал Шкунаев поставил перед ним на тонком железном столбике микрофон и постучал по сеточке пальчиком, получившийся при этом звук убедительно перекатился по монтажной десятине.

Вера Васильевна Троицкая возбужденно шептала Телятникову:

— Я страшно взволнована. По-моему, должно произойти что-то историческое, я чувствую.

— Будут обломки исторического,— отозвался Телятников.

Глеб Федоровский, пройдя сквозь толпу, остановился перед Наумовым. Как сказать о том, что происходит? И сказалось само.

— Все люди на своих местах,— начал он почему-то полушепотом.— Объект полностью готов к сдаче.

Наумов кивком головы дал понять, что он принимает доклад. Несколько человек в штатском подошли к террасе и остановились в ожидании. Один из них сделал знак генералу Шкунаеву, почесав себя за ухом. Лев Поликарпович незаметно почесал свое ухо.

Сергей Леонидович сделал шаг к микрофону.

— Товарищи,— начал он,— митинга у нас не будет, поскольку он не предусмотрен графиком. Мы с вами претворяем в жизнь исторические решения, одобренные всем советским народом. В этом году мы с вами неплохо потрудились, товарищи монтажники. Трудящиеся нашей области досрочно выполнили план одиннадцати месяцев, труженики сельского хозяйства сдали сверх плана десятки тысяч зерна в закрома родины. Однако в нашей жизни

еще имеются некоторые недостатки. Эти недостатки мы решительно сбрасываем с пьедестала и отправляем в переплавку, чтобы изготовить из них множество полезных вещей. Я рад сообщить вам: обком партии принял специальное решение, что вся медь с этого монумента будет использована для производства детских игрушек, а также на нужды обороны. Так мы избавляемся от последствий допущенных в прошлом ошибок и потому уверенно смотрим в будущее.— Наумов увлекался все больше и начинал говорить с пафосом.— В ближайшее время обком разработает комплексную продовольственную программу, чтобы мы могли гарантировать себя от любых случайностей погоды, снабжения и прочих последствий культа личности. Принятие комплексной программы будет новым творческим шагом в будущее. А потрудиться придется как следует, и не только сегодня ночью, но и в будущем. Поэтому я говорю вам — засучим рукава. Можете приступать к работе, товарищ главный инженер.

Наумов замолчал. В группе за его спиной возник приглушенный говор и тут же захлебывающийся голос пропищал:

— Слава! — Силин лихо, на одном колене подскочил к Наумову, протягивая ему продолговатую штуковину, завернутую наспех в газету.— Прекрасно сказано, товарищ первый секретарь, особенно про то, как мы засучим рукава. Примите в дар от честного труженика службы хранения. Ваза хрустальная! Слава!

Сергей Леонидович поначалу не понял, в чем дело, но Силина уже прикрыли плащом, задвинули телами, он с писком растворился за дверью.

— Надо дать ему валидол! — сказала Вера Васильевна Троицкая, не трогаясь с места.

Аркадий Бурич застоялся от ожидания, и в горле у него пересохло, но на людях было неловко хлебать из фляги, и Бурич мелкими шажками начал перемещать себя в сторону террасы.

Глеб Федоровский уже повернулся к своим, чтобы отдать последнюю команду, но в этот момент послышался отдаленный грохот, быстро наваливающийся со всех сторон на монтажную территорию. Грохот нарастал стремительно. Трещали деревья, стонали кусты. Надвигалась армада.

Тогда над сценой пророс ствол пушки, рядом с ним второй, справа и слева, примяв кусты, также показались гусеницы и стволы. Тяжелые танки вышли на территорию монтажной площадки по всему периметру и застыли, лишь моторы продолжали урчать, излучая тепло и уют домашнего очага. Даже дождь не казался таким назойливым. Мы продолжали стоять недвижимо.

Все же некоторое движение совершилось в толпе. Совершилось движение взглядов. Мы все смотрели на Сергея Леонидовича. Но тот и бровью не повел, ибо учитывал возможность такой ситуации, хотя ему еще не до конца был ясен весь смысл совершающегося. А Лев Поликарпович уже выдвигался из-за наумовской спины, чтобы стать с нею вровень.

— Товарищи монтажники,— сказал голос,— просим всех оставаться на своих местах.

Уверенный тон этого сообщения вселял радость и надежду. И уже от ближнего танка, браво работая руками, шагал высокий офицер в комбинезоне и черном шлеме.

Аркадий Бурич услышал за спиной необузданное дыхание Веры Троицкой:

— Что я говорила! Военные берут власть в свои руки. Радиоузел уже у них в руках. Вы заметили, сейчас ровно двадцать два часа. Сейчас по всей стране так. И правильно! Нам необходима твердая рука. Они спасут вашу фигуру. Военные такие душки.

Бурич искоса глянул на Льва Шкунаева. Тот смотрел прямо и решительно, а левый глаз его сам собой подмигнул Буричу.

— Русские пришли,— молвил Егор Телятников.

Тем временем офицеру в шлеме хватило расстояния дошагать до Наумова. Он красиво остановился на скаку и вскинул ладонь.

— Товарищ первый секретарь областного комитета партии, разрешите обратиться к товарищу генерал-майору Шкунаеву.

Наумов молча кивнул, сделав это скорее мысленно, и при этом невольно отступил от микрофона. Лев Поликарпович, оказавшийся в результате этого маневра впереди, подтянулся и сделался похожим на борзую во время гона.

— Товарищ генерал-майор, разрешите доложить. Особый оперативный отряд в составе механизированного дивизиона прибыл в ваше распоряжение для проведения ускорения работ в зоне вверенного объекта. Докладывает полковник Тихомиров.

— Хорошо, полковник. От графика не отстали. Оставайтесь пока при мне. У вас имеются вопросы, Сергей Леонидович? — вежливо, но вместе с тем с некоторой антисубординационной издевкой спросил Лев Поликарпович, склонившись перед Наумовым.

— Так, так,— Наумов как бы размышлял вслух.— Это хорошо, что вы прибыли. И каковы ваши дальнейшие планы?

— Принять участие в демонтаже,— ответил за полковника Шкунаев.

— Вам требуется помощь, Глеб Романович? — спросил Наумов.

Федоровский не успел ответить. Лев Шкунаев сделал четкий шаг к Наумову.

— А трактора? — спросил он сурово.

— Чем вам мешают мои тракторы? — встрепенулся Федоровский, не понимавший в данной ситуации ничего, кроме того, что она складывается во вред ему.

— Сергей Леонидович,— громко вопрошал Лев Шкунаев в пространство,— вы знаете о том, какие трактора у товарища Федоровского?

— Глеб Романович, какие у вас тракторы? — спросил Наумов.

— С-восемьдесят,— ответил Федоровский.

— А что это значит? — продолжал допытываться Лев Шкунаев.

— Саминец-восемьдесят.

— Вот-вот,— радостно подхватил Шкунаев.— И потому они не могут быть допущены к работе по демонтажу.

— Какая чушь,— не выдержал Глеб Романович.— Машины проверены, они в полной исправности.

— Но ваши трактора́ не переименованы,— грозно продолжал Лев Шкунаев, нарочито делая ударение на последнем «а».— А у меня директива плюс решение обкома партии: переименовать все без остатка, а трактора ваши до сих пор называются по-старому, мне просто неудобно произносить...

— Как же я их переименую? — продолжал негодовать Федоровский.— В бульдозеры, что ли?

— Интересно, как они в паспорте записаны? У них же имеется технический паспорт.

— Подождите, Лев Поликарпович,— Наумов приподнял руку.— Сейчас мы разберемся в этом таинственном вопросе.

— Почему они не берут власть? — трепетала Вера Васильевна.

— Сначала надо выработать условия капитуляции,— отвечал Бурич.

— Это не для печати,— разочарованно сказал Матвей Румер и полез обратно в толпу.

— Мы нарушаем директиву,— тихо, но твердо говорил Лев Шкунаев.— Завтра мы с вами должны будем писать отчеты о демонтаже. И там черным по белому будет записано, что демонтаж был произведен тракторами С-восемьдесят, которые оказались непереименованными. Нас с вами спросят: каким образом мы допустили непереименование? Так хотел главный инженер Гидростроя товарищ Федоровский, в свое время сам пострадавший от культа и ныне реабилитированный? Да?

Теперь и Глеб Романович призадумался. А если я захочу выписать запасные части для этих тракторов, как я буду писать в заявке — бывшие С-80?

— Так давайте их переименуем,— заявил Федоровский, капитулируя.— Разве я против?

— Что же вы раньше не подумали? — спросил с упреком Наумов.— И как вы их назовете по-новому?

— Вместо старого названия необходимо дать новое, иначе тракторы не станут работать.

— Как раньше назывался завод, делающий эти тракторы?
— Самингградский тракторный.
— Как его теперь называют?
— Несамингградский тракторный.
— Так пусть и тракторы называются также — Не-С-восемьдесят.
— Это слишком в лоб. Не пройдет.
— Для переименования должна быть специальная директива. Мы не имеем права допускать отсебятины. Мы назовем их Не-С-восемьдесят, а в другом месте назовут по-другому. Все подобные тракторы в нашей области должны быть переименованы одновременно и одноименно.
— В соответствии с тем, как это будет сделано по всей стране.
— Какие у вас танки, товарищ генерал?
— КВ, товарищ первый секретарь. Это хорошее наименование, это можно, а непереименованные тракторы не могут быть допущены к работе.

Сергей Наумов вскинул голову:
— Товарищ Шкунаев, вам не кажется, что вы пытаетесь поставить себя над партией? Мы не позволим.
— Что вы, Сергей Леонидович,— воскликнул Шкунаев помолодевшим голосом.— Я только высказал свою точку зрения. А решать вам! Как вы скажете, так и будет.

Наумов задумался, понимая всю сложность решения, которое он обязан сейчас принять.
— Сколько у вас танков КВ? — спросил он, выигрывая время.
— Четыре танка, товарищ первый секретарь,— чеканил бравый полковник Тихомиров.
— Сколько тракторов?
— Четыре трактора, Сергей Леонидович,— отвечал Глеб Федоровский, пожимая плечами.
— Тракторы соединены цугом?
— Да, Сергей Леонидович. Для крепости рывка.
— Сделаем так: пусть будет два танка и два трактора.
— Они же не подготовлены, Сергей Леонидович,— с отчаянной решимостью Глеб Федоровский защищал свои позиции, понимая, что он обложен со всех сторон.
— Чего тут готовиться? — огрызнулся Лев Поликарпович.— Дернем — и все тут.
— Конечно, дернем! — подхватил Тихомиров.
— Так надо мягко дергать,— отчаянно воскликнул Федоровский.
— Так мы и мягко дернем, нам ничего не стоит.
— Два и два,— твердо повторил Наумов.—Надеюсь, такое решение вас устроит, товарищ Шкунаев?

Генерал Шкунаев посмотрел на полковника Тихомирова. Полковник Тихомиров посмотрел на свои танки, продолжавшие умиротворенно урчать в кустах.
— Как будем сопрягаться? — выступил Тихомиров с молодецким вопросом.
— Ну это не принципиально,— ответил Лев Шкунаев, давая понять, что вопрос решен, и он признает мудрость решения, принятого Наумовым.
— Пусть договариваются заинтересованные стороны,— еще мудрее распорядился Наумов.— Я понимаю наших отважных танкистов, они истинные патриоты и не хотят оставаться в стороне от всенародного дела. Когда будете готовы?
— Мы готовы всегда,— ответил молодец-полковник.

Сергей Леонидович Наумов почувствовал в себе прилив азарта. Он не был бы политиком, если бы боялся опасностей и подводных рифов. Чем острее делалась ситуация, тем больше энергии в нем пробуждалось. Сейчас Сергей Леонидович был в ударе, он понял, что до сегодняшнего дня явно недооценивал генерала Льва Шкунаева, считая его рохлей, чревоугодником и аморальным типом. Лев Поликарпович показал Сергею Наумову свои вставные зубы, а они кусают еще жестче. Теперь Наумов твердо знал, что любая опасность,

могущая возникнуть этой ночью, будет исходить от Льва Шкунаева, который борется за продолжение собственного существования и потому будет беспощаден ко всем другим, кто может помешать ему. Поэтому Сергей Наумов должен быть готовым к борьбе, не опускаясь при этом до тех методов, какими действует противник. Наумов будет вести борьбу в открытую, на основе восстановленных норм, которые именно Шкунаевым и нарушались. На стороне Шкунаева грубая сила, коварство, хитросплетения заговоров, на стороне Наумова правда и историческая справедливость, а правда всегда сильнее силы.

Два танка грузно вылезли на аллею, заслонив собой непереименованные тракторы. Тросы медленно раскачивались над Главной площадкой. Глеб Федоровский подошел к микрофону, чтобы его слышали все:
— Занять свои места. Бензорезчикам приступить к резке колонн в объекте. Очистить от людей опасную зону. Освободить террасу, эвакуировать дом. Сигнал начала обрушения объекта — красная ракета. А у вас? — он повоpотился к полковнику.
— У моего ракета зеленая. Мои ребята знают,— ответил полковник Тихомиров.

Прораб Дзюба кликнул монтажников, и они затрусили к постаменту. Сергей Леонидович Наумов пошел к эстраде, где стояли наготове прожекторы. Художественная интеллигенция, представленная Верой Троицкой, Егором Телятниковым и Аркадием Буричем, осталась пока на террасе, где Вера Васильевна умоляла позаботиться о Силине и не забыть его в доме во время события.

Тросы тускло блестели. Капли дождя скользили по наклонной части тросов, постепенно набухая, а потом не выдерживали собственного веса и падали на землю.

Глеб Федоровский пустил секундомер. Казалось, уже ничто не в силах остановить начатого дела. Тугое пламя рассечет металл, разрывая последние связи между землей и Стариком.

И тогда будет демонтаж.

А может, тогда будет конец демонтажа? Что такое демонтаж — очистительный взрыв или долгий мучительный процесс? Когда он начался и чем должен быть завершен? А что, если процесс этот бесконечен? Он продолжается в плавильных печах, в наших думах.

Сергей Наумов поднял воротник пальто, продолжая наблюдать за площадкой. Он видел, как Дзюба и его товарищи добежали до постамента и скрылись на лестнице. Глеб Федоровский стоял у ближнего трактора. К нему подошел Матвей Румер и молча встал рядом. Федоровский взял его за руку. Оба стояли молча.

Глеб Романович Федоровский был одинок на этом свете. Матвей Румер приходился ему шурином, являясь, в сущности, единственным родственником, да и то бывшим, так как жена у Федоровского была бывшая. Виктория вышла замуж вторично еще в лагерные годы Глеба Федоровского. Несмотря на трудности тогдашних бракоразводных процессов, из-за которых случалось немало трагедий, развод с врагом народа всячески поощрялся, из этого власти трагедию не делали. Вика уехала в другой город, а Румер остался дома, он встречал на вокзале Глеба Романовича, когда тот возвращался из Заруханска. Кажется, они в тот день обнялись первый и последний раз в жизни, ибо пребывание Глеба Романовича в лагерях усиленного режима не сделало его менее сдержанным. Матвей Румер безоговорочно осуждал свою сестру за ее уход от Глеба, но это была не единственная ниточка, их связывающая, дело в том, что Матвей Румер проходил по делу Глеба Федоровского, сначала как соучастник, затем как свидетель. На каком-то этапе следствия Румеру было предъявлено обвинение в недоносительстве, однако он был молод, горяч, а главное, фронтовик, инвалид войны. Румер был оправдан. Он хлопотал за Федоровского, писал на высочайшее имя, разумеется, безуспешно.

Так что никуда им друг от друга не деться — содельцы, мало того, соседи. Ведь они живут в одной квартире, где и состоялся роковой обед. Прекрасная квартира из трех комнат в самом центре города на берегу реки, полученная Глебом Федоровским всего за полгода до ареста.

Они по очереди ходили за кефиром и хлебом, в коридоре висел график уборки мест общего пользования — словом, жили-были под одной крышей два холостяка. Этим отношениям насчитывалось много лет и с каждым годом они становились все сложнее.

Однако в нынешнюю ночь Глебу Романовичу было не до выяснений семейных, а тем более полусемейных отношений. Секундомер, зажатый в левой руке, показывал, что пошла седьмая минута с того момента, как Дзюба побежал к постаменту. А в правой руке Глеба Романовича зажата ракетница, которая должна будет выстрелить красной ракетой, как только Дзюба появится снова.

Все же Федоровский сказал нарочито размеренно:

— Матвей, я видел сегодня Валю Корешкова.

— Его было трудно не увидеть,— с живостью отозвался Румер.— Он мелькал слишком ярко. Правда, во время митинга куда-то исчез.

— Странно, что я не встречал его раньше,— продолжал Глеб Романович, задумчиво выставив вверх дуло ракетницы. Необычайная тишина воцарилась над местом действия, Федоровский не сразу сообразил, в чем дело: закончились все работы, прекратились стуки, выкрики, даже моторы замолкли — а невидимое пламя уже дорезает последнюю опору Старика. Завершающий мазок огня — и тогда Старик лишится опоры и перестанет стоять, тогда этого уже не остановишь.

С прихлопом распахнулось окно в силинском доме по ту сторону тросов. Из комнаты донеслись неестественно громкие звуки марша Энтузиастов. Внезапно радио смолкло. Силин явился в прямоугольнике света, выкрикивая фальцетом:

— Эй, ребята, кому приемник «Урал-пятьдесят девять»? Все равно теперь он правды не скажет. Приходи забирай.

Было видно, как Бурич подскочил к Силину, обхватил его руками. Отчаянно цепляясь за раму, Силин выкрикивал монтажные лозунги, но Бурич легко отделил его от окна и унес в глубь комнаты. Окно задернулось шторой.

Вдоль кустов метнулась серая тень. Федоровский вгляделся.

— Смотри, Матвей. Это же Корешков.

— Он! — вскричал Румер.— Держи его. Хватай!

Но там уже никого не было.

В тот же миг над Главной площадкой прокатился гулкий взрыв, от которого закладывало уши. После этого сделалось тихо и посыпались осколки стекла.

23. Четыре первых и вечный Валя

Валентин Петрович Корешков быстро писал на листках бумаги основополагающий Документ, задуманный им еще в кустах. Корешкову предстояло принять ответственное решение и самому же осуществить его, к чему он был явно не подготовлен, так как предшествующую жизнь прожил по подсказке извне.

Кончилась эпоха подсказок и начиналась новая эпоха самостоятельного мышления, от этой непривычности выскакивала мозоль на большом пальце левой ноги, начиналось прихрамывание на всех уровнях.

В этом месте Валентин Петрович машинально ослабил шнурки на ботинке, чтобы не так сильно на мозоль давило, и продолжал строчить. Он сам не ждал, что мысли его потекут с такой легкостью. Ему вспомнился 1948 год, а вместе с ним и многие предшествующие годы, вдруг ожившие и зажурчавшие в пузырьке с чернилами.

Валентин Корешков родился в год первой русской революции и от рождения обладал характером уравновешенным и флегматичным. Жизнь Валентина перетекала из колечка в колечко и без помех. Корешков-отец, сам из мещан, легко переквалифицировался в совслужащего с черным портфелем, мечтая о такой же доле для сына. Ко времени начала коллективизации Валя Корешков закончил ветеринарный техникум и попал на работу в заповедникЛаскания Старая, жил на свежем воздухе и учитывал животных.

Началась война. Валентин Корешков в первые же дни пошел на фронт защищать родину и, не прилагая к тому никаких усилий, зацепился в тихом политотделе, так как обладал редкостным каллиграфическим почерком, крайне необходимым для ведения боевых действий, этим редкостным почерком Корешков выписывал партийные билеты, наградные листы, похвальные письма, а также похоронки, поэтому писать приходилось с утра до вечера, тут и войне конец. Валентин Петрович звание имел мизерное, но выше не стремился. После войны вернулся в город Саминград, восстанавливал руины и одновременно работал в обкоме партии на той же должности делопроизводителя.

Тихо журчали недели, месяцы, но уже начиналось восхождение Валентина Петровича в сферы. На послевоенном своем веку Валентин Петрович пережил четверых первых секретарей и для каждого нашел отмычку, в том и состоял необычайный талант Вали Корешкова, дотоле ему самому неведомый.

Первый секретарь был Иван Иванович (1946—1951), второй первый был Петр Петрович (1951—1955), третий первый был Сидор Сидорович (1955—1958) и, наконец, четвертый первый был Сергей Леонидович Наумов (1958 — по настоящее время). Вот на четвертом первом и дал промашку Валентин Корешков, да такую промашку, что под угрозой обрушения оказалась вся многотрудная жизненная карьера.

Иван Иванович был пришлый и первым делом по приезде объявил, что отныне все пойдет по-новому. Начались изнурительные перестановки мебели в кабинетах, перетряски, перекидки. Стали испытывать Ивана Ивановича. Повезли в театр к артисткам — не клюет. Повезли на охоту — не стреляет. Картины, книги, ковры — от всего отворачивается. Пробовали даже организовать субботник. Иван Иванович отработал положенные часы, но струны его остались нетронутыми. Над областью сгущалась гнетущая мгла. Передвижка мебели и перетряска кадров продолжались с удвоенной силой. Как-то Иван Иванович, по всей видимости случайно, заглянул в кабинет Корешкова на первом этаже. Тот сидел за неудобным своим столом, занимаясь конспектированием основополагающего труда, называемого в народе «кратким курсом».

— Чем вы занимаетесь? — грозно спросил Иван Иванович.

Но Валя Корешков был воспитан в правде, к тому же крепко оробел и соврать не сумел:

— Конспектирую,— ответил он.

— Это интересно,— Иван Иванович подошел ближе, присматриваясь к корешковской тетрадке.— У вас имеется какой-либо метод?

— Мой метод заключается в подробности,— отвечал наобум Корешков.— Я вместо галочек буковки ставлю: а, бэ, вэ и так далее.

— Это изумительно,— восхитился Иван Иванович.— Рядовой член партии и такое глубокое понимание проблемы. Я попрошу вас в четверг выступить на семинаре с сообщением.

И вся наша область начала заниматься конспектированием трудов основоположников, столь любимых, как выяснилось, Иваном Ивановичем. Исписывали горы бумаги, устраивали симпозиумы, семинары по вопросам конспектирования, лихорадки и тряски прекратились, все пошло как было, однако же, поднявшись благодаря конспектированию, на новую ступень исторического развития. Был создан специальный конспектный отдел, заведование которым, естественно, было поручено В. П. Корешкову. Неожиданно, купаясь в реке, утонул помощник Ивана Ивановича. Тотчас вспомнили о Валентине Петровиче, спасшем область от напастей. Так совершился взлет Корешкова с первого этажа на четвертый.

Тут и сам Иван Иванович ушел на повышение. Явился Петр Петрович, мрачно оглядел Корешкова с головы до пят и сказал:

— Оставайся. Будем работать вместе.

Испытывать Петра Петровича не пришлось. К первой же субботе Валентин Петрович получил распоряжение:

— Прибудет народ из центра. Организуй банкет в пределах города.

Корешков заметался по городу, с удивлением начиная осознавать, что его слушаются не менее чутко и внимательно, как если бы он сам был Петром

Петровичем. При полном содействии окружающих банкет начался в 14.00 по московскому времени в отдельном зале ресторана «Интурист» и завершился в 19.00, после чего Петр Петрович в горизонтальном состоянии был доставлен в машине по домашнему адресу.

В понедельник В. П. Корешков был вызван на ковер. Петр Петрович сидел мрачнее тучи.

— Изгоню,— объявил он, глядя сычом.

— Какие будут указания по банкетированию? — быстро нашелся Корешков.

— Скрытность. Краткость. Деловитость.

— Когда?

— В среду. Прибудут из Центра.

Корешков нашел скрытное место в самом центре Саминграда. В гостинице «Юность» на втором этаже имелся номер люкс, состоящий из трех просторных комнат, ванной и туалета. К тому же в этот люкс можно было попасть из тихого переулка через боковой ход, который в настоящий момент был заколочен. Началось срочное переустройство. Запасный ход был очищен от мусора и заново покрашен. У подъезда выставили милицейский пост. Дверь же, ведущую из люкса в общий коридор гостиницы, надежно забаррикадировали шкафами. Таким образом люкс был начисто отторгнут от гостиницы и перешел в полную собственность В. П. Корешкова. Петр Петрович остался доволен новой резиденцией и похлопал помощника по плечу.

— Смудрил. Хвалю.

Банкеты совершались в рабочем порядке. Приходили наскоро с набитыми портфелями, извлекали бутылки, консервные банки, вяленых лещей, заранее нарезанную колбасу. Водку разливали по стаканам. Тосты у Петра Петровича были отработаны заранее и никогда не менялись.

— Выпьем за первый пункт повестки дня.

— Выпьем за второй пункт повестки дня.

Повестка дня составлялась с таким расчетом, чтобы в ней было не больше пяти пунктов, после чего Петр Петрович мог снова обратиться к делам, а их всегда с избытком. И главное из них — монумент Старика, который ставился как раз при Петре Петровиче, и тоже скрытно и быстро.

Краткость способствовала частоте. Иной раз за день удавалось провести два-три банкета с товарищами из Центра. Влияние нашей области в центральных органах росло не по дням, а по часам. Центральный люд валил к нам в командировки. Но однажды Петр Петрович помрачнел и молвил:

— Есть указание. Площадь пустует. И чтоб третий не лишний. Замри!

Как видите, банкетная ветвь корешковской жизни непрерывно развивалась и совершенствовалась. Теперь банкет был как бы эшелонированным в глубину. Первым прибывал сам В. П. Корешков, готовя бутылки и банки. Вторым эшелоном следовали артистки местной оперетты, претендующие на роль героинь, но до сих пор таковых ролей не получившие. Наконец, третьим эшелоном прибывали товарищи из Центра во главе с Петром Петровичем, когда все уже расставлено по местам и разлито и можно сразу принять в себя первый пункт повестки дня.

Петр Петрович был человек деловой, не любил терять ни минуты рабочего времени. Вскоре слышалось басовитое распоряжение.

— Переходим к следующему пункту. Художественная часть.

С этими словами Петр Петрович исчезал в спальне с избранной спутницей. Валентина Петровича всегда поражала та стремительность, с какой Петр Петрович выходил из спальни обратно в банкетную залу. И доволен, ибо мурлычет про себя арию из оперетты «Сильва».

У нас все прекрасно и все прилично, мечтательно думал Валентин Петрович. Монумент растет, товарищи из Центра приезжают, система отработана, иной раз и Вале перепадал сладкий кусок пирога, когда он просил кого-нибудь из дам остаться и помочь ему убрать со стола, ибо теперь Корешков кроме своих основных партийных обязанностей утверждал роли на все оперетты.

А вчера вообще была суббота, так закатили повестку дня на семнадцать пунктов и художественная часть из пяти номеров самодеятельности.

Как же он проморгал? На завтра назначен важнейший банкет, а театр оперетты в полном составе срочно отбыл на гастроли. Даже не предупредили, погодите, будет вам на орехи. Время летнее, драма тоже в отъезде. Цирк закрыт на ремонт. Филармония на каникулах. К тому же такое дело требует определенного подготовительного периода. Валентин Корешков чувствовал: над ним нависает незапланированная угроза. Я для Петра Петровича все сделаю, была бы дочь и дочери родной не пожалел бы, наоборот, счел бы за честь. И тут не повезло, у Валентина Петровича рос оболтус сын, не способный поступить в институт даже при таком отце. А что, если жена? Кому нужна эта старая галоша, только Валя Корешков ей и служит, терпит от нее все попреки. Разве Клаву попробовать? Это младшая сестра Валентина Петровича, женщина в соку, и тоже, между прочим, партийная. Валентин Петрович набирает номер, приезжай в обком, срочное совещание по оргвопросам, приезжай для инструктажа.

Клавдия Петровна испортила обедню. На инструктаже все понимала и поддакивала, а едва дошло до дела, из спальни раздался немыслимый визг, от которого у Вали до сих пор мурашки по спине. Правда, сам Петр Петрович вида не подал и вышел из спальни как ни в чем не бывало, однако после Корешков явился на ковер.

— Плохо работаешь с кадрами. Причина?

— Жара. Гастроли. Отсутствие,— бормотал Корешков.

— Она что, беспартийная?

— Требует уточнения. Возможна непринадлежность,— отвечал Корешков, не желая губить родную сестру.

— Наладь вопрос,— хмуро посоветовал Петр Петрович.— Нас ценят. Мы на коне.

— Слушаюсь наладить.

— Опирайся на комсомол,— подсказал Петр Петрович.

Валентин Петрович, нарушая тем самым всякую партийную этику, допытывался впоследствии у сестры Клавдии Петровны:

— Отчего ты завизжала? Что он с тобой хотел сделать?

Но Клавдия Петровна лишь вздрагивала в ответ и тут же залилась слезами.

— За что вы терпите такого секретаря? — вопрошала сквозь слезы Клавдия Петровна.

Валентин Петрович отвечал сакраментальной фразой, ставшей вторым лозунгом эпохи:

— Другой был бы хуже.

Зато комсомол показал себя верным помощником партии. Монумент был сдан в срок. Петр Петрович получил орден, Валя Корешков — медаль. Так и перетекала жизнь из колечка в колечко, но тут начался слом эпохи, заколебались глубинные воды. Петр Петрович был не то чтобы повышен или снят, а просто передвинут вбок на три тысячи километров, в область новую, можно сказать, новейшую, а еще вернее, целинную, чтобы и там создать сферу наибольшего благоприятствия для товарищей из Центра. Имелось предположение: забрать с собой в новейшую область Валентина Корешкова, однако оно не прошло большинством голосов от местной оперетты, которая к тому времени весьма удачно возвратилась с гастролей и не пожелала расставаться со своим кумиром Валей, распределявшим роли со всей принципиальностью и справедливостью.

Валентин Петрович остался встречать Сидора Сидоровича, который прибыл скромно, без всякого намека на свиту. В отличие от Ивана Ивановича, Сидор Сидорович тотчас объявил свою программу на первом же активе. Программа была такая: воспитывать массы на положительных примерах. Сидор Сидорович и сам мог бы послужить ярчайшим примером положительного не только для всех первых секретарей, но для мужской половины человечества вообще: не пьет, не курит, театр посещает умеренно, перед сном обязательно читает три-четыре страницы современного художественного текста, чтобы быть в курсе наипоследнейших литературных веяний, в гости ходит только с женой, с трибуны говорит без бумажки, работает, как вол, и все заработанные деньги сдает жене на руки. Словом, тяга Сидора Сидоровича к положи-

тельным примерам самым естественным образом вытекала из внутренних качеств его натуры.

Примерно к этому же времени относится приезд в нашу область Льва Поликарповича Шкунаева, которому едва ли не чудесным образом удалось спастись бегством из Москвы, а здесь еще с давних лет у него сохранялись некоторые связи, уходящие корнями аж в отдаляющиеся годы Гражданской войны, когда закладывалась боевая дружба для последующих десятилетий. Разумеется, генерал Шкунаев и прежде не забывал Саминград, осчастливливал нас своими наездами, и вот явился насовсем, с назначением, занял кабинет в областном управлении Знаний и времени зря не терял. Лев Поликарпович начал восстанавливать старые связи, разломанные было эпохой. Таким образом сошлись пути Шкунаева и Корешкова, через которого Лев Поликарпович рассчитывал подобрать ключи к положительным качествам Сидора Сидоровича.

Между тем дело с положительными примерами продвигалось вперед не то чтобы туговато, но как-то неопределенно, неразмашисто. Лев Поликарпович решил внести достойную лепту в дело положительных примеров. На одном из ближайших активов Лев Шкунаев заявил с трибуны, что, прежде чем созидать образцы положительного, не мешало бы сначала покончить с примерами отрицательными, которые, увы, еще имеют место в наших рядах. За примерами недалеко ходить, вот на мясокомбинате вскрыты отдельные факты массового хищения, в результате которых мы едва не остались без мяса. На другом передовом предприятии, а именно на заводе «Красный металлист» обнаружены моменты приписок в отчетности. Директор так увлекся приписками, что жить без них не может. Поехал в отпуск на курорт и там приписывал в санаторную карту родоновые ванны. До каких пор, товарищи, мы будем мириться с подобными недостатками?

На другой день Валентин Корешков положил перед Сидором Сидоровичем две папки с готовыми делами.

Началась борьба с отрицательными примерами. Положительные примеры были оставлены на будущее, так как никому не удавалось обнаружить такой положительный пример, которым бы Сидор Сидорович остался доволен со всех сторон. Отрицательных же примеров было с избытком. По области прокатилась волна шумных процессов по уголовным делам, мы снова были замечены в Центре и нас уже начинали там ставить в качестве положительного примера — вот как надо бороться с недостатками на основе восстановленных демократических норм.

Да, Лев Поликарпович не отсиживаться к нам приехал. Высокий, статный, с лицом кавалерийского красавца, а главное, с натурой, жаждущей круглосуточной деятельности, он с первых же дней произвел неотразимое впечатление на наших женщин.

И пошло. Если валютное дело с фарцовщиками, раскрытое генералом Шкунаевым, нашумело на всю страну, то подпольный рукописный журнал «Точка, тире» с помощью вражеских радиоголосов прогремел уже на весь мир. Это был подлинный успех, можно сказать, триумф. Общественная жизнь в Саминграде достигла небывалого оживления, мы все кипели и бурлили, а Лев Поликарпович доказал полную приспособляемость к новым условиям. Отныне он сам следил за нормами, и вот уже портрет Льва Поликарповича красуется в нашей галерее на осенней выставке. Генерал выступал в штатском костюме, но так было еще импозантнее и вполне отвечало возрождающемуся духу времени.

Лев Шкунаев незримо, но цепко прибирал к рукам областные рычаги, становясь буквально незаменимой фигурой во всех сферах.

Но и Сидор Сидорович не расставался с взлелеянной им мечтой об истинно положительном примере и — надо же! — сам открыл его. Дело было глубокой осенью после выполнения хлебных поставок. Сидор Сидорович прихватил с собой Корешкова, они сели в машину и рано утром двинулись (почти тайно) в путь-дорогу по городам и весям. Их маршрута никто не знал, иначе не произошло бы того, что случилось.

На сто двадцатом километре было скрещение двух лесных полос, посаженных в свое время по плану преобразования природы. Лес вырос жидкий, зато там, на перекрестке, стоял хозяйственный магазин, светленький и уютный, хоть и вывеска слишком стандартно сделана. Сидор Сидорович решил заглянуть в придорожный магазин и пришел от него в полный восторг. Чего тут только не было: хомуты, колеса, бочки с дегтем, гвозди всех типоразмеров, столярный инструмент, фурнитура, мыло хозяйственное и даже белила, причем такие белые, каких в областном центре испокон веков не видели. Тут же подскочил продавец в чистом синем фартуке: чего изволите приобрести.

Сидор Сидорович горячо заинтересовался методами образцово-показательной торговли, однако же себя не раскрывал, считая, что таким способом он узнает больше. Пришлось купить трехкилограммовую банку белил. Корешков отволок ее в багажник. А Сидор Сидорович допытывался далее:

— Какой у вас годовой оборот?

— Восемь миллионов.

— Кто же вас товаром снабжает?

— Да область. У нас все по нарядам. Можете проверить.

— Зачем проверять, я не проверяющий. Товар сам за себя говорит. Только вот я смотрю кругом и не вижу у вас ни одной Почетной грамоты.

— Почему-то не дают. Видно, не заслужили.

— Где сейчас директор? Нельзя ли его видеть?

— Он за товаром поехал.

Сидор Сидорович прихватил еще для дома для семьи несколько пачек редкого в те годы хозяйственного мыла. Валентин Корешков и мыло отволок в багажник. Они поехали дальше, а через два дня вернулись в областной центр. Сидор Сидорович, помня об образцовом хозяйственном магазине, не отмеченном ни одной Почетной грамотой со стороны областных или даже центральных органов, немедленно вызывает к себе начальника управления областной торговлей.

— Молодцы вы,— говорит,— хочу вас похвалить и отметить. Отгрохали такой прекрасный магазин, а ни одной Почетной грамоты им не дали.

— Сидор Сидорович, все наши магазины имеют Почетные грамоты. У нас нет ни одного магазина, который был бы без грамоты.

— А я вот видел!

— Где вы видели такой магазин, Сидор Сидорович?

— На сто двадцатом километре по дороге на Зареченск.

— Простите, Сидор Сидорович, что-то не припомню, но там у нас нет никакого хозяйственного магазина. В Зареченске, да и то с трудом открыли, но там помещение маленькое, темное, мы его особо не рекламировали.

— Прекрасный магазин стоит на дороге у всех на виду, а начальник управления ничего о нем не знает. Я лично был в этом магазине и купил там прекрасный товар, вот белила, стоят на подоконнике.

— У нас отродясь таких не бывало,— отвечал начальник, разглядывая банку.— Это какие-то импортные белила.

— Поезжайте туда лично, вручите им грамоту и давайте скорей распространять их опыт на всю область. Дадим статью в газете.

Начальник управления выезжает на место и диву дается: на сто двадцатом километре, где сходятся две лесные полосы, не видать никакого магазина, одни березки свежие посажены, а на углу площадки стоит новый сортир, сколоченный из досок и окрашенный теми самыми белилами, которых у нас отродясь не видывали.

Приезд на место действия генерала Льва Шкунаева нисколько не прояснил вопроса. Был магазин или не было магазина? Наибольшим достижением Льва Поликарповича в этом деле явилось обнаружение пустой тары из-под мыла неизвестного происхождения. Опросы местных жителей показали: магазин стоял на перекрестке лесных полос четыре года, товар был всегда самый лучший. Куда и как скрылся магазин — никто не знал.

Испытывая сильнейший конфуз, Сидор Сидорович рвал и метал. Было отчего прийти в разгневанное состояние, ибо наиболее положительный пример одновременно оказался и самым отрицательным примером, так как на территории области четыре года орудовала шайка, возглавлявшая действующий

подпольный магазин, не входящий ни в розничную государственную сеть, ни в союз потребительских коопераций и потому не имевший ни одной Почетной грамоты за свою работу, что и было своевременно разоблачено самим Сидором Сидоровичем.

Собирались найти виновника в лице Льва Поликарповича, допустившего столь несусветное беззаконие на подведомственной территории, но не таков был генерал Шкунаев, ему пальца в рот не клади. Лев Поликарпович нажал пружины. В один прекрасный день в одной из центральных газет появился воскресный фельетон за подписью Д. Захарчикова, где в виде иносказательного намека была приведена некая история, случившаяся на сто двадцатом километре. Тут уж пострадал секретарь Зареченского райкома партии, как самый близкий к месту данного происшествия.

Генерал же Лев Шкунаев выбросил новый определяющий лозунг:

— Если положительные примеры не рождаются сами, их надо создавать искусственным путем.

Именно так в нашей области началось всенародное движение за создание положительных примеров, перешагнувшее затем наши границы и вошедшее в отечественную историю как движение светящихся маяков.

Первые маяки были зажжены на заводе «Красный металлист», и зажег их не кто иной, как Матвей Румер, раньше всех написавший о них в областной газете.

Дела в области шли блестящим образом, однако же Сидор Сидорович никак не мог ужиться с Львом Поликарповичем, догадываясь о его темном прошлом, связанном с Лаврушей. Однако всякого, кто знает о темном прошлом Льва Поликарповича, ожидает такое же темное будущее. Сидор Сидорович не знал этого.

И вот началась наша знаменитая отчетно-перевыборная областная конференция. Предполагалось, что в списках нового бюро Шкунаева не будет, о чем Лев Поликарпович получил точную и своевременную информацию. И прежде чем списки нового бюро были зачитаны с трибуны для предстоящего голосования, пришел в движение поворотный круг и сама трибуна вместе с Сидором Сидоровичем уплыла в неведомые дали. Валентин же Петрович Корешков, как и положено ему по его должности, исполнял при этом роль сугубо пешечную: стоя за кулисами, подавал знак электромонтеру, врубившему не тот рубильник.

Для завершения четвертой стороны квадрата явился Сергей Леонидович Наумов, до того бывший вторым секретарем, а теперь автоматически оказавшийся на первом месте. Наумов догадывался о роли Шкунаева в имевшем место эпизоде и даже пробовал провести некоторое разбирательство: каким образом вместо света оказался включенным поворотный круг? Случайность это или умысел? Электромонтер божился, что сделал все правильно, а круг завертелся сам по себе. Вот они, рубильники, на противопожарной стене, вот свет, вот занавес, вот поворотный круг. Наумов включил рубильник, где было указано: поворотный круг. Никакого движения. Наумов включил свет — и поворотный круг завертелся. А ведь специально перед конференцией в областном театре спешно заканчивали ремонт, меняли электропроводку, вешали новый занавес. Выходило так, что все концы в воду. Ни умысла, ни случайности. Меняли электропроводку, а поменяли первого секретаря, должен сказать, такое случалось не единственно в нашей области.

Сергей Леонидович начал править спокойно, в некотором роде даже либерально. Валентин Петрович был оставлен при своей должности, и ему уже мерещилось, что он навсегда покончит со своим прошлым, как вдруг это прошлое, наподобие поворотного круга, всплыло на поверхность в лице Глеба Федоровского.

Валентин Петрович Корешков был завербован еще до войны, когда работал в заповеднике Ласкания Старая, где наблюдал за животным миром, и с той поры незримый хвостик тянулся за Корешковым, куда бы ни забрасывала его судьба. Дело в том, что у Валентина Корешкова была вторая фамилия, а именно: Кретышев, и как только он менял службу, его тут же призывали в соответствующий кабинет и говорили:

— Здравствуйте, товарищ Кретышев. Теперь будешь работать со мной. Каждый четверг — дупло на втором этаже.

От этого не было спасения.

Во время войны В. Кретышев писал донесения на сотрудников политотдела, работая в обкоме партии, писал, как правило, на первых секретарей. А так как почерк у Валентина Петровича был редкостный, о чем я уже упоминал, то донесения его легко читались и пользовались успехом в инстанциях. К тому же Валя никогда не занимался в донесениях сведением мелких счетов, не писал зла или неправды, от его донесений как во время войны, так и после нее не пострадал ни один человек. В сущности, Валентин Петрович Корешков сделался крупным, если не крупнейшим мастером положительного доноса, где он, как правило, восхвалял своих подопечных, приписывая им порой такие добродетели, которых у них и в помине не было. Так про Петра Петровича было донесено, что он выдающийся мужчина и в состоянии одновременно удовлетворить трех женщин, про Ивана Ивановича было зафиксировано, что он из своего кошелька расплачивался за бумагу для конспектов. Таким образом Валентин Петрович Корешков (он же Кретышев) мог быть причислен к редчайшему в наше время типу честных доносчиков и был подобен тому подпольному магазину на сто двадцатом километре, являвшему собой самый положительный пример и одновременно оказавшимся наиболее отрицательным, даже отвратительным примером.

А как же Глеб Федоровский? Вот она, единственная ложка дегтя в бочке сладкого доносительного меда. Но это лишь для поверхностного взгляда, не обладающего даром проникновения в суть явления. Уж я-то знаю, как сильно и тяжко переживал Валентин Корешков, когда пострадал, будучи арестованным, Глеб Федоровский. Честное слово, он не хотел этого, нет, не хотел, и он сумеет доказать это в любой инстанции, хотя, разумеется, прежние отношения с Глебом никак не возможны, лучше бы вообще им не встречаться.

Ах, если бы можно было сейчас каким-то чудесным образом оказаться в заповеднике Ласкания Старая в должности старшего ветеринара и с утра до вечера вести наблюдение за животными. Особенно он любил пернатых.

Но Корешков докажет свою правоту. Не было ложки дегтя, не было. Правда, в бочке был не один мед, был там и рафинад, и даже сахарин, иной раз приходилось разбавлять водичкой, ну самую малость — но чтобы деготь! Никогда!

Решение созрело, и Валентину Петровичу уже не терпелось взяться за перо. Судьба благоприятствовала ему. Уходя из вагончика на митинг, Сергей Леонидович наказал Корешкову остаться на месте оперативным дежурным и в случае срочной надобности искать его на площадке. Едва захлопнулась дверь, Корешков без промедления принялся за работу. Телефонист однообразно посапывал в углу.

Валентин Петрович строчил вдохновенно под копирку страницу за страницей. Наконец-то он расскажет правду и все увидят, как он чист, прям, благороден. Слова сами собой слетали с кончика пера, слагаясь в поэму скорби и благородства. Это был Документ эпохи, почерк, как всегда, безупречен, таково же и содержание, всего на 8 (восьми) листах.

Валентин Петрович заканчивал работу над основополагающим Документом. Дата, подпись, три экземпляра под копирку. Переписывать некогда, да и нет нужды, с первого раза все вышло без единой помарки, видно, слишком долго в душе копилось.

В. П. Корешков сложил листки и сунул их в конверты. После этого с независимым видом вышел наружу. И тут же у соседнего вагончика увидел Глеба Федоровского и Румера.

Корешков на корточках пробрался в кусты, обдумывая дальнейший маршрут. Внезапно под его задом вздрогнула земля, раздался мощный взрыв, Корешков вскрикнул, но странным образом остался на месте, его не подбросило. Взрыв прокатился в стороне и заглох. Валя выглянул из-под куста. Глеб Федоровский и его шурин что-то кричали и показывали на него руками. Валентин Петрович залег на траве и затаился. Потом вороватo выглянул. Федо-

ровский быстро шагал по аллее, откуда прогремел взрыв и где продолжали урчать танки.

Дверь в вагончик Федоровского осталась приоткрытой. Корешков тенью нырнул в вагончик.

Спустя минуту он появился снова и быстро пошел прочь.

24. Он стоит сам по себе

Прогремело — накатисто, с оттяжкой. Эхо долго шарахалось по кустам. Бурич поднял голову:

— Твое?

— Идем в графике,— миролюбиво отвечал Лев Шкунаев.

Телятников на одной ноге подскочил к столу:

— Выпьем за график, с помощью которого мы движемся вперед по лабиринту.

Четвертым в комнате был Иван Силин, досматривающий сон о светлом прошлом. На кухне варилась уха из свежей стерляди, добытой посредством танкового невода КВ-60. Там орудовала Вера Троицкая, которая время от времени возникала в дверях, докладывая о ходе работ: закипает, солится, заправляется лавром.

— Вы слышали? — волновалась Троицкая.— Они хотят его подорвать.

— Мадам,— объявил Бурич, склоняясь над ее рукой.— Это рыбу на реке глушат для второй очереди нашей ухи.

Шкунаев быстро пошел в свою комнату, где вовсю трезвонили телефоны. По коридору стрелой спешил Наумов. Тут же скрылся в шкунаевском штабе. Оттуда горохом посыпалась свита: капитан Алехин, малоизвестный майор, телефонисты, последним, рассыпая шрифты, выкатился шифровальщик.

За дверью наступила мертвая тишина.

Шкунаев встретил первого секретаря уверенно, приветливой улыбкой, как бы давая понять, что он знает много больше того, о чем ему могут сказать.

Выделяясь бесстыжим пятном, в комнате стояла широкая деревянная кровать с цветным шелковым покрывалом без единой морщинки, по стенам шли столы с булькающей и крутящейся аппаратурой. Это был, так сказать, походный штаб генерала Шкунаева, нечто среднее между будуаром и блиндажом с шестью накатами. В родном блиндаже Лев Поликарпович чувствовал себя уверенно.

И тогда Наумов сделал то, что вовсе не собирался делать, во всяком случае сейчас. Он положил перед Львом Поликарповичем почтовый конверт.

— Прошу ознакомиться.

Лев Шкунаев молча развернул конверт, ничему не удивляясь.

«В областной комитет партии
тов. Наумову Л. С.— лично.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что мои показания, данные по персональному делу генерала Л. П. Шкунаева, являются злонамеренной фальсификацией, мстительно продиктованной со стороны. Будучи дочерью врага народа, я с детских лет воспитывалась в семье генерала Л. П. Шкунаева и должна быть обязанной ему всем, что есть в моей жизни. Наша с ним личная связь, возникшая в последние годы, является нашим личным делом, и за все ее последствия я обязана отвечать сама. За действия же моего бывшего мужа Виктора Городихина ответственность принимать не намерена. Прошу вас изъять мои показания из вышеназванного персонального дела, либо приложить к нему данное мое заявление.

С уважением Елена Городихина».

— Как прикажете это понимать, Сергей Леонидович? — любезно спросил Лев Шкунаев.— Мое персональное дело, перенесенное вами на послезавтра, закрывается, так?

— Я вашего дела закрыть не могу, равно, как и отменить бюро не имею права,— отвечал Наумов.— Бюро состоится, и вопрос будет решаться в свете новых данных. Но, думаю, от выговора вам не отделаться, свой выговор вы заработали честно.

— Я бы лично предпочел: строго указать,— великодушно улыбнулся Шкунаев.— Теперь вы сами видите, как неумело сработал ваш аппарат, подсунув вам эту примитивную папку с розовыми тесемочками.

— Чего греха таить, вы сами способствовали замутнению вод. Могли бы сразу рассказать о ваших давних связях с Еленой Городихиной.

— Разве вам Инна Витальевна не рассказывала о них? — решительно спросил Лев Поликарпович, только сейчас осененный мгновенной догадкой о роли его жены во всем этом деле.

— С вашей женой отношения будете выяснять сами,— отрезал Сергей Наумов.

— Вот! — Шкунаев подпер бока.— Так как же я мог? Я же мужчина, Сергей Леонидович. Как я мог валить на женщину?

— Почему же она сначала обвиняла вас, а теперь снимает свои обвинения?

Лев Поликарпович протяжно вздохнул, из груди при этом вылетел сиплый стон старого курильщика.

— Хе-хе, Сергей Леонидович, разве вы не знаете женщин?

— Во всяком случае, я не имею вашего опыта,— парировал Наумов.— Но мой ответ будет состоять из вопроса.

— Извольте.

— Это верно, что Лавруша был отцом Марты Городихиной?

— Во всяком случае, он дал ей свое имя, она записана в документах как Марта Лаврушевна.

— А когда Лавруша сидел в подвале на набережной в Коробочке в ожидании суда, вы состояли в генеральском карауле, не так ли?

— Напрасно вы ищете шекспировские страсти там, где их нет. Отвечаю вам как солдат: я всегда служил родине.

— Согласен с вами, генерал, до Шекспира вы не доросли, хотя крови было много больше. Вы и теперь решили подтвердить свою любовь к родине взрывом?

Лев Поликарпович вытянулся в струну, однако же не теряя при этом и собственного достоинства.

— Осмелюсь доложить, товарищ первый секретарь,— четко доложил он.— Эхо войны! Под танком КВ взорвалась старая мина. Прикажете провести расследование?..

— На бюро вы сказали, генерал, что под вашим началом семнадцать тысяч человек. А у меня в области четыреста тысяч преданных коммунистов. Как вы думаете, на чьей стороне они будут?

— Семнадцать тысяч человек — цифра далеко не полная.

— Имеете в виду своих осведомителей? Сколько же их, если не считать Корешкова?

— Этого я не смею сказать даже вам, товарищ первый секретарь. Им нет числа. Между прочим, среди них имеются преданные коммунисты. И их информация, между прочим, ложится на ваш стол. Так давайте достойно завершим нынешнюю ночь великого демонтажа и завтра же опубликуем их списки в областной печати, да вот боюсь, одного номера газеты нам с вами не хватит, придется давать список с продолжением из номера в номер, как в свое время давали поток приветствий товарищу Самину. А мы тем временем насушим сухарей и будем готовиться в путь-дорогу. Зато дадим пример другим столицам.

— А что? — восхитился Наумов, ибо он еще верил в то, что творил.— Когда-нибудь дойдем и до этого. Ужмем штаты.

— Вот тогда я действительно подам в отставку,— согласно подхватил Лев Поликарпович, пытаясь мысленно провести несколько связующих линий, ибо еще не все встало на свои места.

Сердито заговорил репродуктор на стене:

— Товарищи в желтом коттедже, прошу освободить помещение, вы находитесь в опасной зоне.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Глеб Федоровский. Снова три богатыря сошлись под одной крышей. Так отчего они все время уходят в отвлекающие разговоры?

— Товарищ первый секретарь,— тревожно сообщил Федоровский,— колонны перерезаны. Объект стоит сам по себе. Не знаю, как долго он сможет еще простоять.

— На моих часах остается еще две минуты,— удивился Сергей Наумов.

— Мы перерезали с опережением графика,— радостно доложил Дзюба, высовываясь из-за федоровского плеча.

Слегка отодвинув Федоровского и вместе с тем как бы сквозь него вступил полковник Тихомиров. Под левым погоном полковника успел шмыгнуть Корешков, пряча глаза от Федоровского.

— Это был взрыв,— промямлил Корешков, стараясь быть первым в докладе.— Непредвиденная мина.

— Разрешите доложить, товарищ первый секретарь,— чеканно трубил полковник.— Взрыв вовремя локализован. Жертв нет. Перебита левая гусеница. Повреждение ликвидируется.

— Мина неучтенная,— снова вылез Корешков.

Сергей Леонидович с горечью подумал: если он проиграет нынче ночью свою игру, то только потому, что у него такой никчемный помощник, которого сейчас даже некуда убрать, ибо он и оттуда вылезет со своим длинным носом. Наумов понял, что Корешкова к нему прикрепили.

— Хорошо, полковник,— отвечал Сергей Леонидович, собираясь в тугую пружину.— О взрыве мины составите полный отчет на мое имя и сами явитесь с ним ко мне. Сколько вам надо времени, чтобы заменить гусеницу?

— Прошу очистить желтый коттедж,— сказал ящик на стене.— Это опасная зона.

— Отойдемте в сторону,— предложил Наумов, и свита потекла за ним по коридору, через террасу, вытекая на обочину аллеи под тополя. Бурич и Телятников вышли следом.

— Уха, уха! Она уже напрелась,— в отчаянии взывала Вера Васильевна Троицкая.

Старик стоял на постаменте, освещаемый до талии упругим светом прожекторов, от которых на Главной площадке делалось светло, как днем. Дождь продолжался, не слабея и не усиливаясь. Слова шелестели под дождем, стекали за воротник.

— Он стоит сам по себе. Уж пять с половиной минут.

— Но он же не падает. Значит, Он может так стоять.

— Работает запас прочности. Это точно.

— А порыв ветра? Или подземный толчок?

— Я же говорю, Он стоит сам по себе. По-моему, вы не совсем понимаете, что это значит. Все его связи с землей перерезаны.

— Сам по себе Он стоять не может. Он должен опираться. Надо спросить знающего человека.

— Кто тут знающий? Почему Он стоит сам по себе?

— У вас разве так не бывает?

— Попрошу без намеков.

— Тогда я отвечу. Он стоит потому, что Он опирается. Он опирается на наши души.

— Это неправда. Ведь мы в душе Его уже переименовали.

— И сколько Он сможет так простоять?

Мне показалось, что Старик пошатнулся, но я не поверил глазам своим, ибо он стоял в прежнем положении.

— Танк прицеплен.

— Так начинайте же.

— Убрать свет! — сказал голос.

— Ой, не убирайте.

— Без света будет темнота ж, мы не увидим демонтаж.

— Это вовсе не обязательно. Товарищ Федоровский, вам необходим свет прожектора?

— Разрешите доложить, наличие или отсутствие света не учитывалось нами в наших расчетах.

— Товарищ генерал, может, вам необходим свет?

— Кто же такие дела при свете делает?

Главная площадка погрузилась в темноту.

25. Методом лесоповала

Тогда Глеб Федоровский поднял ракетницу и нажал спусковой крючок. С легким хлопком красный огонь вознесся над аллеей. В то же мгновение возле желтого коттеджа, чуть за ним, Федоровский увидел густую тень, метнувшуюся из-под клети. Похолодев, он дернул ракетницу вниз, но это было бессмысленно, потому что красная ракета стремительно рвалась в зенит.

Федоровский оглянулся: кого нет среди тех, кто стоял рядом? Но похоже, все на месте, разве Валентина Корешкова не видать, но уж он-то под клеть не полезет, наконец-то мы обрушим Его, не думайте, что это месть, обрушение это не месть, это очищение, мое очищение, Матвея очищение, Викино очищение — очищение всех нас, ах, опять Вика, но она же не просит прощения, я очищаюсь, а прощать не хочу, не желаю здороваться с Валентином, значит, я не очищаюсь, а продолжаю жить прежней жизнью сухаря, вот оно, решающее слово, с него все началось, им и закончилось, она обозвала меня сухарем, да не простым, а засушенным, я тоже что-то ответил, мы не разговаривали два дня, но всякая ссора требует примирения, так и случилась та вечеринка, на которой выстрелила бутылка, мы собрали гостей, полагая, что на людях примириться легче, а теперь я снова обижен и не могу простить ее, значит, я и есть сухарь, когда-то пересушенный судьбой, а теперь и того более, заплесневелый с обоих боков, мне не очищаться, а чиститься надо железной щеткой, сдирая кожу, оказывается, я все могу простить, кроме памяти своей, как долго летит ракета, это жизнь такая короткая, но даже она не укладывается в одну строку.

Лев Поликарпович Шкунаев стоял рядом с Федоровским и, задрав кверху голову, следил за полетом ракеты. С этой ракетой улетало многое, но отнюдь не все, ничуть не меньше остается на земле и прежде всего я сам, служил им верой и правдой, страху нагнал на десять лет вперед, жаль, что не больше, не успел, потому что между ними сразу началась грызня, пока он валялся на ковре на Зеленой даче после припадка, когда его бросили подыхать, как крысу, а сами давай делить пирог, видно, заранее против Него сговорились, я тут же захворал и залег на даче у Бурича, когда они дерутся, кто первым горит? — свидетель. Скольких свидетелей я сам убирал, надо переждать, но Лавруша и тут меня нашел, вызвал к себе, слушай, генерал, ты хочешь стать маршалом, наш Отец и Учитель завещал мне Россию, на той неделе назначены летние маневры, от твоей дивизии много зависит, ты меня понял, дал мне подержаться за ручку, а сам уже весь такой дряблый, нет в нем прежнего напора, за что его только бабы любили, я тут же к маршалу Волченко, товарищ маршал, когда будут маневры, моя дивизия целиком и полностью в вашем распоряжении — и вот назначено заседание, три маршала, шесть генералов, сидим в приемной, сейчас наш доклад о ходе подготовки к летним маневрам, все при пистолетах, у меня в штанине дополнительно спрятан небольшой ротный миномет, входим и слышим, товарищ маршал, арестуйте этого сукина сына, врага народа Лаврушу, маршал Волченко честь отдает, а я хвать его за воротник, где ампула была зашита, он и глазом моргнуть не успел, ампула с ядом так и хрустнула, как меня увидел, тут же понял, что игре конец, повели его, в приемной обыскали и под маршальским конвоем в машину, поехали через мост на тот берег, в противовоздушный штаб, этот дом зовут Коробочка, вот Лавруша и приехал прямым ходом в свою последнюю Коробочку, в нижний подвал, сначала он плевался, потом начал блевать, сам любил повторять, чем бы ни закусывал, блевать будешь винегретом, а еще любил говорить, ты что, песок хочешь кушать, мы его раздели, усадили на пол прямо в подвале, включили юпитеры, хоть съемки не было, и он в одних трусах, на дворе жара, но все равно ему холодно, весь посинел и канючит, дайте мне пистолет, ну дайте мне

пистолет, как мальчик у папы игрушку просит, а я принес и поставил по бокам два рефлектора, чтобы он не синел так сильно, кто-то принес миску с песком, вот тебе, будешь кушать, мы берегли его хорошо, генеральский патруль, такого и не вспомнишь за всю историю, по два генерала у камеры, один армейский, другой наш и чтобы друг друга не знали, во дворе Коробочки танки стоят, но никто за ним не пришел, кому он теперь такой нужен, дураков не было, сидит на полу в трусах и глаза размазывает, дайте мне пистолет, гады сучьи, мать вашу так, потом перестал канючить, а живот вислый и синий, я стою на посту, одним глазом в глазок, другим глазом на генерала-напарника, состоялся суд, приговор известен, но команды еще не было, а Лавруша опять проснулся и давай крыть вашу мать, застрелите меня, так вас и так, я человек деликатный, но тут не мог я выдержать такого надругательства, рву дверь на себя и к нему с хрипом, ах ты, гад, на, тебе пистолет, застрели лучше ты меня, а я тебя не могу, а сам чувствую, слезы так и льются по моим щекам, тут он меня узнал и говорит, а ну, стреляй скорей, сука лысая, как же я тебя застрелю, Лавруша, эта штучка, которую я тебе дал, она же не стреляет, потому как не заряжена, а вот если ты меня очень попросишь, я достану другую штучку и так влеплю, что спасибо мне скажешь, а он живучий гад попался, сажаю пулю за пулей, в глазах слезы, из него все течет, а еще живой, еще дергается, но тут я понял, что все кончилось, потому что набежали генералы из караулки, выхватили у меня пистолет, а карнач и говорит, ладно, пойду доложу, они давно ждут, ибо он мертвый нужнее живого, а я ослаб и начал скользить вдоль стены на цементный пол рядом с ним, меня подхватили, валерьянку суют, я понюхал и сам встаю, спасибо, я сам, не надо мне помощи, теперь я сам на ногах стою, есть у меня опора, мой пистолет с двумя патронами, потому что шесть остальных я в Лаврушу выпустил, но все равно, думаю, надо от высоких глаз подальше, уже к осени получил четырехкомнатную квартиру в городе Саминграде, да оказалось, не тот город себе подобрал, но все равно Ляля нашла бы меня в любом городе, она ведь не знала, кого она ищет, восемь лет об этом никто не знал, подвал промыли хлоркой, бетонный пол окатили водой из шланга, генеральский патруль распустили, Коробочка закрыта, я сразу поехал к Ляле заметать следы, она обрадовалась, хотя я не был у нее несколько месяцев.

— Я знала, что ты приедешь. Где ты был?

— Срочная загранкомандировка. Неужели ты думаешь, я не позвонил бы...

— Конечно. Я тебя ждала. Скажи мне, Лев, что с ним?

— Ты же знаешь, по организациям читают письмо.

— Я тоже фигурирую в этом письме, меня вызывали, со мной беседовали. А теперь вставили в общий список, я полагала, что заслуживаю большего, ну хотя бы отдельного абзаца.

— Слушай, Ляля, не фиглярничай. Что я могу для тебя сделать?

— Спасибо, я не пропаду. У меня уже есть кое-кто на примете. Но если бы ты позвал меня, я бы пошла за тобой. Хоть на край света.

— Ты же знаешь, для меня семья святое.

— О да, это я знаю. Он тоже так говорил.

И она нашла Фалалея. Через полгода получаю от нее открытку, назначает мне свидание на вершине Ай-Петри у подножия самого большого в Крыму статуя товарища Самина, надеваю гражданское платье, лечу к подножию статуя, снимаю гражданское платье, какая была ночь, пели цикады, гора качалась, а время катится, еще год прошел, на выборах в Академию Ляля получает сплошь черные шары, а это значит, что доктор Фалалей сгорел на очередной махинации. Ляля Катафалк отважно начинает в третий раз жизнь сначала, подцепив на крючок юного лейтенанта, дальнейшее известно, я им помогаю, они летят на Памир, скрываясь от молвы, я еду в Саминград, я думал, это навсегда, но разве можно спрятаться от Ляли, пошла утечка информации, в наше время такого не бывало, а такая утечка не доведет Россию до добра, почему Виктор сказал, вот тебе за Лаврушу, но я сегодня же решу мои загадки, чует мое сердце, она еще явится сюда, великая мастерица исчезать и возникать в самый нужный момент, а в жизни все меньше остается опор, надейся лишь на себя, какая красная ракета, совсем кровавая, как кровь на цементном полу, как быстро она летит, а не остановишь.

Это жизнь моя улетает, мои надежды, страсти, судьба моя полосатая, через месяц, как убрал с дороги Лаврушу, приходит циркуляр: изъять его имя из всех словарей и энциклопедий, а вместо него вставить статью «Берингов пролив», лист на лист, старый лист выдрать, новый вклеить на место старого, чтобы никто не заметил, и мне приказано проследить, знали, кому доверить, уж я-то спуску не дам, и я рассылал новый лист про Берингов пролив два года по всем библиотекам, мне запрос, а как быть на дому, если энциклопедия находится в моей личной библиотеке, отвечаю четко, ты в душе своей обязан заменить его Беринговым проливом.

Ракета косо взлетала над аллеей, красные всполохи призрачно засновали под облаками, а их уже догоняли зеленые, мощно загудели танки и тракторы, натягивая тросы. Кто-то всхлипнул за спиной. Лев Поликарпович обернулся. Вера Васильевна Троицкая, не таясь ни перед кем, неудержимо плакала слезами счастья, тут у Вериного счастья переменился цвет, потому что обе ракеты пошли на сближение, красная падала, зеленая взлетала, ах, зачем я такая счастливая, зачем губы такие соленые, ведь тогда они были сухие и жаркие, такие сухие и такие жаркие — еще более жаркие, чем руки, потому что руки были робкими, ну целуй же меня, целуй, кто ты, Дима или Вовочка, нет, это же Сеня, конечно, Сеня, высоченный, симпатичный, он всегда мне нравился, еще с восьмого класса, он в волейбол играл, он вошел в класс и говорит, почему ты здесь, когда все ушли, у меня сразу кровь к щекам, завтра контрольная по физике, говорю, он косо задвинул ножку стула в ручку двери, теперь никто сюда не войдет, будем заниматься, я с тобой немножку посижу, можно, ты мне очень нравишься, а за что я тебе нравлюсь, за то, что у тебя косы нет, а еще за то, что у тебя имя такое красивое, Тамара, я же не Тамара, я Вера, вот я и говорю, какое красивое имя Вера, а какие у него были губы, как они притягивали к себе и обволакивали и принимали форму моих губ, свет в глазах померк, за окном уже темно, это же ночь, один поцелуй на четыре урока и конца не видать, няня ломится в закрытую дверь, кто там закрылся, а нам все равно, мы ничего не слышим, я сама губами зову его губы, мои губы принимают форму его губ, и вот уже не разберешь, у кого чьи губы, потому что все это стало наше общее и только наше, а я ведь первый раз в жизни целуюсь и уже такая мудрость, целуй меня крепче, ну крепче же, не покидай меня губами, Сеня, крепче, я же не Сеня, я Дима и Вовочка, не все ли равно при таких губах, все равно ты единственный, ты самый-самый, а как же контрольная по физике, какая контрольная, ведь это было в сорок первом и Сеня — Дима — Вова с такими вот бессмертными губами ушел на войну и остался там, но пока живы мои губы, вторая половинка бессмертного поцелуя, наш поцелуй не умрет, уже никто другой не мог поцеловать меня потом таким поцелуем, а почему же Старик не падает, ведь все давно упали Сеня, Дима, Вова, на Волге, на Висле, на Шпрее, даже не знаю где, потому что за один, всего один бессмертный поцелуй не полагается похоронки, я плачу и буду плакать, зачем так холодно лицу и губы такие соленые.

Валентин Петрович Корешков наблюдал за полетом ракеты с высоты освоенных им мыслей. Ракета летит, и это совершенно закономерно, людей выпустили из зоны, у нас всегда так. Кампания за кампанией, я лично слышал в очереди за буфетным кефиром, прибежал Нечитайло, зав. канцелярией, и орет на весь буфет, Юру, брата моего, отпустили, пришла телеграмма, завтра возвращается, я тогда еще подумал, зачем их отпускают, если они вернутся и расскажут, за что их сажали, что же это такое, народу будет неприятно знать, как можно на свободу сразу всех одним чохом, транспорт не справится с перевозками, надо делать с умом, в несколько этапов, и не всех же, а с разбором, неужели там не нашлось ни одного, который сидел бы за дело, тут Юра пришел к нам, Нечитайлин брат, и говорит, я был репрессирован незаконно, получил свою десятку, но срок отсидел честно, спасибо нашей партии, что меня освободили, у нас были такие, которые по двадцать пять сидели, но все равно верили, что придет справедливый день, потому что наша партия самая справедливая, мы отметили с Юрой его благополучное возвращение, он на нас

не в обиде, не ты — так другой, не другой, так я, лес рубят, щепки летят, Юре нашли местечко кладовщика, спасибо вам, дорогие товарищи, потом другие приходили, а зачем качать правду-матку, разве ее всю перекачаешь из одного болота в другое, так бы и шло шито-крыто, но некоторым захотелось ворошить старое, я же говорил, не надо было их скопом оттуда вытаскивать, они же отвыкли от нашей среды, вот он стоит и ракету пускает, от него слова благодарности не дождешься, есть у нас неблагодарные личности.

Егор Егорович Телятников при виде ракеты хотел было привычно шмыгнуть в кусты, да гитара на плече помешала, потому что я сидел со своей пукалкой, а меня со всех сторон дубасило звуками, а ночью кругом ракеты и я один, совершенно один, какие прекрасные песни мы тогда пели, если завтра война, чужой земли мы не хотим ни пяди, как я только уцелел, ничего подобного, разве я уцелел, когда я был начисто раздавлен звуком, а они палят в меня со всех сторон, как я уцелел, маленький человек, меньше не бывает, у меня в петлицах единственный треугольник, а в Городищах один дом культуры и девочки танцуют только с лейтенантами, так что мне достается лишь поглядеть, как на деревенской свадьбе, увольнительная кончается в десять вечера, тогда как лейтенант может гулять до утра, но все равно на нас на всех это последняя ночь, не труба трубит, не слово зовет, а по ушам лупит, схватил винтовку, сейчас я ему отвечу, куда там, я затвором клац-клац, а он за это время меня двадцать раз из автомата накрывает, та-та-та-та-та, где-то за леском наша пушка пук-пук, а он со всех сторон бабахает, чухает, трахает, рвет и мечет, это был звуковой шок, звуковой удар в мое клацкающее сердце, я не выдержал и побежал через дорогу, да разве убежишь от звука, шлепнулся в канаву, а там уже двое таких оглушенных гавриков, нас глушили тогда, как рыбу в реке, и мы всплывали кверху лапками, пойдем сдаваться, говорит, а я слова сказать не могу, потому что оглох и горло забито криком, за родину, за товарища Самина, они уползли на хутор, а я отдышался и побежал в другую сторону.

Стоя в толпе до того, как взлетела ракета, Бурич пытался настроить себя на возвышенно-страдальческую мысль, где бы трактовалось о его роли в искусстве, но вместо этого почувствовал непреодолимое желание помочиться. Он пригнулся и юркнул в кусты. Дождь шелестел здесь громче, тяжелые капли сочились с деревьев. Бурич выбрал место поукромнее. Мокрый куст внизу вдруг зашевелился:

— Куда лезешь, падло?

Буричу показалось, что он узнал этот голос, спина покрылась холодным потом. Не разбирая дороги, он пустился прочь от рокового места. Он не мог знать, что забрал слишком влево и должен будет выбежать к аллее как раз в том месте, где стоит клеть, подготовленная для падения Старика. Красная ракета уже взлетела косо над парком, и Буричу казалось, что он бежит правильно, как раз на ее свет. Он выбежал прямо к клети и в то же мгновение понял, что ошибся. А Старик, облитый кровью, поманил его пальчиком, и это означало, что Бурич должен пасть перед ним на колени, чего он никак не хотел. Высокая клеть закрывала Бурича, и люди по ту сторону не видели его. Он закричал им, чтобы они остановились, но этот крик был беззвучным, как во сне. Из последних сил Бурич цеплялся зубами за землю и пола.

Глеб Федоровский видел, как ракеты сближаются, пачкая чистоту изначального цвета. Серо-зелено-буро-малиновые всполохи пробегали по плечам Старика, опадая к земле по его спине и ногам.

Тросы натягивались все сильнее. Ракеты, падая, гасли, и площадка окутывалась первоначальным мраком. Федоровскому снова показалось, что там, за клетью, кто-то есть и хочет заявить о себе бессвязным шепотом, безвольным взмахом руки, но все было уже неостановимо. Темная глыба качнулась, словно Старик топнул ногой по постаменту. Спина внезапно развернулась, но Старик не успел обернуться до конца, чтобы посмотреть на своих врагов и запомнить их лица, так как тросы продолжали тянуть его дальше во время разворота, он прополз на каблуках, желая крепче зацепиться и не отдать своего, но тросы были сильнее его, Старик дернулся последний раз, потерял равновесие и, грохоча, лязгая, звеня, высекая искры, полетел головой вниз на шпалы. Фуражка зацепилась за постамент, проехалась по гранитной плоскости, искры ослепительно озарили место приземления. С зубовным скрежетом заголосило железо.

Земля содрогнулась под нашими ногами. Голова с грохотом обрушилась на шпалы, разбивая их в щепу, желтый коттедж качнулся, зашелестел распадающимися кирпичами. Отчаянный крик боли раздался где-то рядом с домом, а может, внутри его, а может, внутри Старика; а может, то был звук лопнувших от сверхнапряжения жил, твоих и моих. Медная спина рухнула на клеть, разламывая и круша шпалы, ноги проехали по земле и замерли. Разломанная щепа взметнулась над опавшим телом.

Стало тихо. Лишь сверху летел бестолковый птичий гомон: птицы кружились там, где была голова Старика. Птицы лишились своих гнезд и не могли понять, что случилось.

— Дать свет! — приказал голос на столбе.

Прожекторы вспыхнули, ослепив глаза, залив матовым светом аллею, перекошенную клеть с заваленным Стариком. Возбужденно крича, размахивая руками, люди со всех сторон бежали к поверженному телу.

26. Еще один бездомный

Аркадий Бурич лежал, прижимаясь к ворсистой обивке сиденья и медленно приходил в себя. Где я? Оглянулся. Кажется, в машине. Куда еду? Демонтаж закончен, еду обратно. Старик летел прямо на меня и пальчиком грозил на лету. Голова отделилась и захохотала. Все это сказки для маленьких детей. Это ночь великих испытаний. Демонтаж мы провели безупречно. Но сколько было лишнего грохота! И потом — к чему щепки? Это не эстетично.

Бурич задвигался на щекочущем ворсе, нечто острое впилось в бок и все время покалывало. Серая ворсистая обивка тоже о чем-то напоминала ему своей мягкостью. Ведь я уже прикасался к этому ворсу — и не далее как утром. На этом ласковом сиденье я приехал сюда. Но тогда в бок не кололо.

Бурич решительно уселся, пытаясь принять вертикальное положение. Прожекторы ровно и мощно горят за кустами. Значит, все идет по графику. Медная голова доставлена на землю. Пора спасать ее.

Он посмотрел влево, пытаясь определить, откуда бок колет, и начал высвистывать желанную мелодию. Освещенный прожекторами прямо перед ним на заднем сиденье стоял эскиз, исполненный в красках на толстом картоне, оно-то и колол Бурича неподатливым углом.

Бурич взял картон в руки. Глаз знатока сам собой прежде всего скользнул в правый угол — на подпись. Так и есть: Митрясов. Это тот самый конкурсный проект, ему дадут премию, уже дали. Но по радио объявят завтра.

Остальное, как говорится, детали. Чересчур гениально. Нынче время не для гениев. С гениями нынче так: сигнал красной ракетой и тросом за лопатку.

Смелость Митрясова граничила с безрассудством, гениальность с невежеством. Вопреки всем канонам его монумент не вздымался ввысь, а был заглублен в землю. Рваная воронка, выложенная черным мрамором, зияла в центре, в воронке была вода, а под водой запрокинутое лицо солдата в каске, вода в воронке все время колебалась, и по лицу солдата пробегали всполохи муки и страдания. Но не мог подняться солдат, ибо он уже умер — и умер так, что продолжал умирать дальше, под каждым новым взглядом, обращенным на него, он умирал бессчетно, бесконечно, вот отчего ему так больно и мучительно под неверной водой. Вокруг центральной воронки были сделаны извилистые ходы сообщения, по которым должна идти публика, а из-под земли всюду что-нибудь торчит: сжатая в кулак рука, полузасыпанное плечо с погоном, сапог высунулся — и все из хорошего материала, из мрамора. Весь мемориал опоясан надолбами, похожими на коленопреклоненных людей — то живые склонились перед павшими.

Вот как было задумано.

А над главной воронкой мостик сделать для прохода людей, чтобы сверху смотреть на корчи солдатской муки. Не догадался мостик сделать, с завистью

подумал Бурич о неведомом Митрясове, но талант, талант, гнать его в шею подальше от монументов, пусть он и думать о них забудет. Погонять его года два в гранильщиках, чтобы он очухался, после сам приползет на коленях.

У террасы он столкнулся с Наумовым. Сергей Леонидович увидел у Бурича эскиз и приостановился.

— Нравится?

— Как вам сказать? — Аркадий Бурич задумчиво пососал ушибленный совестью палец.— Признаюсь, хотя это как тайна исповеди: я писал заключение на этот проект и предлагал дать ему первую премию на конкурсе.

— Против себя? — Наумов был удивлен.— Это интересно, мы поговорим. Пройдемте в дом, там что-то случилось.

Разлом прошел по углу дома, который был ближе других к Старику. Угол расшился заметно на глаз, но потолок держался, лишь штукатурка местами просыпалась. Окно вместе с рамой вывалилось наружу.

Обнажившиеся кирпичи матово краснели в проломе. Обои треснули, портьера упала на пол. Ветер заметал в пролом капли дождя. Остатки ужина удачно дополняли картину разрушения. Сквозь пролом была видна левая нога, тупой носок башмака, задравшийся к небу.

— И дом сломали. Совсем хорошо.

Силин спокойно вошел в пролом окна, словно всю жизнь так ходил в дом. Он был тих и безропотен.

— Спасибо, Старик,— сказал он внятно, повернулся в сторону пролома и низко поклонился левой ноге.— Отплатил мне за службу мою.

Силин сел в кресло и основательно задумался.

Над площадкой растекался голос, смешанный с пеленой дождя:

— Приготовиться к разделочной операции.

Мимо провала пробежали рабочие, натужно заработали моторы танков.

— Досадная история,— сказал Наумов, оглядывая комнату.

— Присаживайтесь, Сергей Леонидович. Разрушение пустяковое. Можно легко заделать.— Бурич ловко накинул палку с портьерой на уцелевший крюк и тут же пролома не стало, комната приняла прежний вид. Лишь портьеру ветерком надували с той стороны.

— Других разрушений нет? — спросил Сергей Наумов.

— Я все обследовал, Сергей Леонидович,— бодро сообщил Егор Телятников.— Комнаты целы. Несколько повреждены два предмета: гитара и кастрюля с ухой. В гитаре, так сказать, небольшой прокол от упавшего кирпича, уха же несколько замутнилась от пыли, но это все, выражаясь художественно, разрушения метафизические, от них убытка нет.

— Так и в стене разрушение чисто символическое,— добавил Бурич.

Наумов засмеялся:

— Как легко иметь дело с художниками, все можно перевести в метафору. Но как же уха? Она ведь материальна?

— Уху можно процедить,— авторитетно заявил Бурич, подходя к столу.— Как вы на это смотрите, Сергей Леонидович? — и показал красномордую рожу бутылки.

— Это идея,— возбужденно объявил Наумов.— Ушицы бы я попробовал.

— Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять, этот заечкин миленок назывался поросенок.— Бурич поколдовал над столом, наполняя бокалы, и тут же всплыло на поверхность стола блюдо с поджаристым поросенком, распространяющим по комнате завлекающий запах.

— Сразу видно, из столичного буфета,— определил Наумов,— мы у себя таких и не видывали.

— За что же? — полуспросил Бурич, поворотясь к истинному хозяину этой исторической ночи.

— Так, так, товарищи,— начал Сергей Леонидович, с готовностью вставая в позу оратора на авансцене.— В эту Небывалую ночь, когда у всех нас одни мысли, вы сами знаете какие, тост может быть один: за успешное окончание нашего демонтажа.

Выпили дружно и сурово. Но тут Силин сообразил с опозданием, что не за то пьет, и хлопнул ладонью по столу.

— Я супротив! — дерзновенно пискнул он.— Пью за монтаж!

Сергей Леонидович неторопливо отведал поросенка.

— Я у вас в гостях, товарищ Силин, но должен поговорить с вами серьезно,— заговорил он с тревогой в голосе.— У меня создалось впечатление, что у вас еще живучи культовые настроения.

— Я старый, я больной,— плакался Иван Силин, доставая тряпочку и прочищая ею глаза.

— Вы обязаны преодолеть в себе данные настроения,— требовательно взывал Сергей Наумов.

— А ты что, не любил Его, секретарь хороший? — хныкал Силин.

— Прежде всего мы любим наше дело, которое превыше всего.

— Где моя работа? Безработный я,— ну хнычет и хнычет.— Где мой дом? Бездомный я.

— Тебе, Иван, обязаны предоставить работу,— потребовал Аркадий Бурич.— И жилье. Теперь не те времена. Давай выпьем за твою новую жизнь, Иван.

Выпили, но как-то нестройно, прежде всего сам Силин, который хныкал и за платок хватался.

— Работу вам подыщем,— сказал Наумов.— Я обещаю. И ордер дадим. Найдем возможность. Ваша дочь работает ведь?

— Труженица на Канатном,— ответил Силин.— Передовик производства, имеет грамоты.

— Вот и подскажем профсоюзам, чтобы они не тянули с этим делом.

— Спасибо, секретарь, за заботы,— говорил Силин, принимая от Бурича очередной фужер.— Вот сейчас ты подошел ко мне как человек к человеку. А то сразу в огонь: «Дай ключи». Ты же не железо демонтируешь. Для этого у тебя главный технарь есть. А я душа человеческая, меня на трос не зацепишь. Ты вот задумайся пристальнее о моей судьбе. Может, у тебя еще где памятник есть? Я бы туда пошел. У меня стаж десять лет. Ни одного замечания не имел. Специальность редкая. Такие специальности на улице не валяются. Вот он лежит, Старик-то. А специальность моя при мне осталась.

— Понимаю тебя, Иван,— сказал Бурич, подходя к Силину и кладя руку на его колено.— Ты нелюдим. Любишь работу безлюдную, которая протекает в тишине. Но Сергей Леонидович прав. Мы выйдем с тобой на люди. Пойдем на Три холма. Там встанет новый мемориал. Будешь помогать строить. А если построим благополучно, хранителем останешься. Как смотрите на это, Сергей Леонидович?

— Не пройдет номер.— Наумов засмеялся, грозя пальчиком Буричу.— Там же памятник другой.

— Памятник другой, секретарь хороший,— ответил за Бурича Силин.— А работа та же самая: уши, ноздри чистить, да от крыс беречь.

— Ах, Иван, мы там такое завернем,— Аркадий Бурич встал в позу девы-Воительницы.— Это будет монумент для народа-Гулливера. Не чета этому,— Бурич небрежно кивнул на эскиз, косо приставленный к валику дивана.

— Результаты конкурса пока не известны. Решение не состоялось,— Наумов обернулся и тоже посмотрел на эскиз.— Разве вам не нравится проект Митрясова? Хотелось бы знать мотивы большого художника.

— Что я должен ответить? Чью точку зрения вы хотите знать? Мою или вашу? Я ведь всякий, золотой и серебряный,— и за вас могу ответить.

— Так вы давайте за всех сразу,— замахнулся Наумов.— Мы люди привычные. Авось выдержим.

27. Победа дается нам дорогой ценой

— Ну хорошо,— отважно рыкнул Аркадий Бурич, подкрадываясь к эскизу.— Пусть я буду первым секретарем. Уговорили. Правда, ненадолго. Дед моей жены прокутил два имения. По-моему, прокутить область много проще. Так что долго я на области не продержусь. Но пока меня не сняли, я еду в Москву защищать свой проект, вернее, не свой, а этого, Митрясова, так, Егор?

И еду защищать проект, потому что лично мне он нравится, в нем что-то есть. Товарищ Корешков, упакуйте, пожалуйста, чтобы не помялся в дороге. Лечу. Прилетел в Москву. В аэропорту меня встречают стрелки, указывающие шесть разных направлений. То ли в Министерство финансов, то ли еще куда. Но поскольку в монументе отражена война, свой первый визит я наношу министру обороны маршалу Волченко, о котором слышал только хорошие слова. Недаром его в народе называют несгибаемый маршал. Воевал на двадцати двух фронтах, солдат считал исключительно на километры: дайте мне двести тысяч штыков, и я пройду еще сто двадцать километров. Сидим с ним, вспоминаем былые походы. Помнишь, как ты ко мне на Западный фронт приезжал, я ведь знаю, ты в «додже» Ганса и Фрица возил, мне доложили, а я что, пусть их возит, они же мертвяки. Я знал, что ты знаешь, Жора. Я проявил тут полную красноармейскую находчивость, маршал никогда не будет против. Ладно, ты меня не перебивай, я сам знаю, что мне вспоминать. Только ты от нас уехал, мне приказ от самого Верховного: десант выбросить на дальнюю землю. Двенадцать тысяч через озеро по льду прямо на тот берег. Разработали план, все как надо, послезавтра пойдем и захватим берег, а тут эти гады-фрицы забрались к нам в тыл, захватили языка-майора с планшетом, а в планшете карта со всей боевой обстановкой: какие полки куда высаживаются и все такое, сам понимаешь. Что делать? Отменить десант? Так ведь час самим Верховным назначен. Доложить, что немцы пронюхали, захватив нашего майора с планшетом? Да что я, дурной, на себя докладывать? Звонок из Ставки: как у вас, все готово? Так точно. Все в полной боевой готовности. Полки заняли исходные позиции. И пошли. Двенадцать тысяч. Все молодые, отборные ребята из сибирского пополнения. А немцы все заранее знают: когда и куда они идут. У меня буквально сердце кровью обливалось, когда я их на бой посылал. Колошматили их шесть часов без передыха. Обратно вернулись сто десять человек. Ну, думаю, как я Ему докладывать буду? А Ставка уже на проводе. С трепетом беру трубку, товарищ Самин, разрешите доложить, силы противника оказались более значительными, обратно вернулись всего сто десять человек. И что же я слышу в ответ? Исторические слова:

— Победа дается нам дорогой ценой. Враг жесток и коварен. Но нам, товарищ маршал, дешевая победа не нужна. Наградите всех вернувшихся. А погибших наградить посмертно. Мы за ценой не постоим.

Вот какой Он был, величайший из величайших. За эту операцию маршал Волченко получил орден Кутузова первой степени и личную благодарность от Величайшего. Да, говорит, было времечко, сражались до последнего солдата. Я тогда пустил приказ по фронту:

— Трупов не считать.

И что же ты думаешь? Помогло. Сразу рванули вперед на триста километров. Ты знаешь, Аркаша, я тебе скажу по секрету. Еще одна победа, и Россия не выдержит. Ну ладно, давай показывай, что ты мне приволок. Только учти, я Три холма уродовать не дам, хоть ты и первый секретарь. Подаю ему проект. Он изучает. И знаете, что сказал мне маршал всех маршалов, несгибаемый Георгий Дермидонтович, который не задумываясь посылал на смерть десятки и сотни тысяч.

— Что сказал вам Георгий Дермидонтович? — выскочил вперед Егор Телятников, не выдержав напряжения рассказа.

— Да, да, молодой человек. Георгий Дермидонтович не сказал. Он спросил, осмотрев проект. Скажи мне, Арик, спросил он, кто победил в этой войне, русские или немцы? Я сражался на двадцати двух фронтах, я дошел до самого Берлина, до каких же пор наше хваленое искусство будет держать оборону на подступах к Москве? Они что, пороха не нюхали? Зато я, маршал Волченко, знаю, что такое победа. Так кому же ты хочешь поставить на Трех холмах свой вшивый монумент, жертвам или победителям? Ты меня понял, Арик? Жора, конечно, я тебя понял. Я же первый секретарь, я знаю о том, что мы победили. Скромно складываю свои картонки и молча покидаю кабинет моего любимого Георгия Дермидонтовича, голову которого я лепил в терновом венке победителя.

— Так и сказал вам, Аркадий Евгеньевич? — со смехом спросил Наумов.

— Не мне сказал, а вам, Сергей Леонидович,— галантно парировал Бурич.

— Ну что ж, мне кажется, я понимаю вас.

— Ах, Сергей Леонидович,— Бурич горестно вздохнул.— Меня вам понимать вовсе не обязательно. Жизнь соткана из противоречий. Не пытайтесь размотать этот клубок. Иначе распадется гармония. Но я еще не кончил. Еще не рассказал вам, о чем вы будете шептаться с министершей культуры — несравненной Капитолиной Алексеевной во время обеда в ее заднем кабинете. Капа, какая прелесть, какие кудри, плечи, грудь. Она расскажет воркующим голосом сладкую сказочку о некотором прелестном городе, который был славен своими военными победами и не знал поражений во внутренней жизни, но потом в силу некоторых неизвестных нам, но тем не менее высших исторических причин был приподнят за шиворот и опущен в мешок истории, на котором стояло клеймо: вторая группа снабжения. Арик, сказала томным голосом Капа, у тебя же колбасы не стало, у тебя балетную труппу сократили, а ты хочешь построить на Трех холмах этот мрак, эту ностальгию по колбасе. К тебе же вообще порядочные люди ездить перестанут. Ни одного иностранного принца к тебе не пошлют, я уж не говорю о королях. Я, конечно, не Георгий Дермидонтович, кричать на тебя не стану, у нас сейчас демократия, если хочешь ставить такой монумент,— ставь! Но учти, твой город от этого мрака придет в запустение, у тебя начнут разваливаться дома, откажет водопровод, лопнет канализация и по главному проспекту потекут фекалии. Нет, Арик, я бы тебе не советовала. Ты поставь величественный монумент во имя нашей грандиозной победы, имеющей всемирно-историческое значение. Мы за нашу победу заплатили двадцатью миллионами жизней, и надо сделать такой монумент, чтобы цена его сразу была видна. Тебе, Арик, нужен не монумент, а этикетка, где указана небывалая цена за нашу грандиозную победу. Но сделай это не в лоб, как делает твой Митрясов, а образно и с нашим русским размахом. Арик, шепчет милая Капуля, если ты хочешь иметь колбасу в своем городе, поставь у себя самый великий монумент в мире, ты имеешь на это право. Пусть он будет этак на восемьдесят восемь метров, даже на все девяносто, чтобы нам с тобой переплюнуть ихнюю статую Свободы, которой они так кичатся, денег мы тебе дадим. Это будет не скорбь, а величие подвига. Зачем подсовываешь мне эти слезы? Мы же с тобой работаем на план, на наш замечательный народ и потому мы не имеем права расслаблять наших прекрасных трудоспособных людей. Арик, выжми из них слезу, разве мы запрещаем тебе, но это должна быть наша родная патриотическая слеза — слеза радости и надежды, которая зовет нас на труд. Пусть они заплачут, но уйдут от твоего монумента более трудоспособными, чем пришли. А что предлагает этот Митрясов? Он ковыряет в живой ране. И что в результате? В результате мы будем иметь снижение производительности труда. И вот уже Капа рыдает у меня на груди: Арик, не лишай меня последней надежды, возроди былую славу своего города. Пусть весь мир ахнет при виде девы-Воительницы, и со всего света будут слетаться паломники, город снова переведут на первую категорию снабжения, потребуется срочно строить пять новых высотных гостиниц для интуристов, новый аэропорт, театр, телецентр, чтобы не стыдно перед иностранными гостями, которые прилетят к тебе из своего капиталистического ада, а также перед нашими вечными друзьями по лагерю, тебе будет уже мало первой категории, Арик, тебя переведут на высшую категорию, и колбасу станут давать вообще без лимита. Это будет город-святыня, город-герой, ты, Арик, будешь принимать шахов и шахинь, у тебя для этого имеются все данные, выстроишь себе, то бишь для них, резиденцию со своей древнеримской тахтой, а главное, кругом ускоренными темпами будет расти производительность труда. Тысячи людей будут рыдать у подножия твоего монумента. Тебе придется выстроить в области завод по производству осколков, чтобы каждое утро раскидывать на Трех холмах свежие осколки военного времени для благодарных туристов. И я отвечаю ей, лаская ее светлые кудри. Дорогая Капуля! Ты мудрая государственная женщина, спасибо тебе за совет и науку, но давай сейчас не будем ничего решать, потому что этот Митрясов талантлив как сто чертей, но талант его пока не наш, а мы должны сделать его нашим, но бог с ним, давай сейчас забудем обо всех этих монументах, возьмем мой само-

лет и слетаем до утра в Пицунду, там есть храм десятого века, и я зажгу там жертвенный огонь в твою честь. Ах, Капа, она утвердила проекты ста четырех монументов, шестьдесят пять из которых были построены, но главный ее памятник — это дача в Загорках, монументальная и гостеприимная дача на сорок две комнаты, которую она сумела построить целиком из художественных отходов, не истратив ни одной копейки из собственного кармана, ах, Капа, какая женщина, сколько мудрости в ее государственной голове, но еще больше мудрости в ее теле, которое она считала общенациональным достоянием и совершенно правильно делала, с первой попытки признавала тридцать семь лет, со второй — сорок восемь, на самом же деле имела все пятьдесят пять, но все равно, сколько неги и страсти, своего мужа, чтобы он не отвлекал ее своим присутствием для семейных дел, она отправила послом за границу, и тело Капы поступило в распоряжение родины, у нее была всего одна слабость, да и та почти микроскопическая, столь простительная женщине ее положения, вышедшей из рабфака, она любила исключительно титулованных мужчин, и это незабвенное пятиспальное ложе на ее не менее незабвенной даче из художественных отходов, сколько было этих счастливчиков, общий счет их еще не закончен, как говорится, все еще впереди, но счет открыт ровно полвека назад, и на том счету 9 министров и 3 премьера, 14 маршалов и даже один гофмаршал из захудалого австрийского двора, 7 академиков и 22 члена-корреспондента, 18 народных артистов, 56 заслуженных, 33 Героя труда, 3 гроссмейстера, 44 лауреата, 179 заслуженных мастеров спорта, которых она, будучи необыкновенной женщиной, предпочитала всем остальным. При этом учтите, она никого не насиловала, мы сами добивались ее и не жалели о том, потому что она одаряла нас за это монументами, званиями, орденами, а то и просто мимолетным поцелуем за кулисами. Мы помним ее, любим ее, потому что она нас учит бороться за производительность труда.

— Слава! — выкрикнул Силин из кресла.

Сергей Леонидович Наумов слушал Бурича внимательно, иной раз даже похохатывал и за животик хватался, в серединке кваском запил, а под конец сделался задумчивым до грусти.

— Странное дело,— начал он.— Нас перевели во вторую группу снабжения со всеми вытекающими отсюда последствиями, а культуру нам предлагают по самой высшей группе. А как мы еще не доросли до высшей-то культурной группы? Вот вы же сами говорили, что это талантливо: и перед министром культуры, и перед маршалом.

— Но кем я тогда был? Я был вами, не так ли?

— Будьте самим собой. Хоть на минуту. Это талантливо, да?

— Только это и может быть талантливо, Сергей Леонидович. Так и быть. Ансамбль на Трех холмах имеет шестьдесят гектаров. Подарим Митрясову один процент — шестьдесят соток. Но только на периферии мемориала, по ту сторону торжественности. Кроме того, я согласен использовать принцип воды, творчески переосмыслив, разумеется, без мертвой головы...

— Не согласен! — вскричал Телятников, перебивая мастера.

— С чем ты не согласен, Егор? — вопрошал Бурич.

— Я обмолвился,— спешил оправдаться Телятников.— Неправильно понят. Заявляю официально и твердо: я согласен с тем, с чем я молча не согласен.

— Скор! Начинаешь осваивать тему. Ну-ка, еще раз тот же мотивчик, но мягче, ритмичнее,— Бурич не успел закончить. В комнату влетела Троицкая. На лице ее написан восторг, в руке ведро с половой тряпкой.

— Сергей Леонидович,— застрекотала она с порога.— В мое распоряжение прибыли солдаты для очистки мусора из постамента. Мы готовы выполнить задание партии. Только прикажите.

— Что я должен приказать вам? — удивился Наумов.

— Можно или нельзя?

— Что можно?

— То, что вчера было еще нельзя.

— С чего вы решили, что сегодня можно то, что было нельзя?

— Ага, все-таки нельзя? Тогда я пойду отпущу солдат.

— С чего вы взяли, что нельзя?

— Значит, все-таки можно, да? Тогда как еще вчера это было нельзя. Пойду обрадую солдат. Как долго мы ждали этой минуты. Мы будем там мыть полы, я уже договорилась с Настей. Сейчас поставлю воду на плитку,— Троицкая оглянулась, так как в этот момент из-за ее спины выступил Валентин Петрович Корешков, ведя за руку некое невесомое создание, которое во имя справедливости следовало бы нести за собой на ниточке, как воздушный шарик. Но Корешков держался с шариком сурово, оберегая себя от новых наветов.

— Вот,— строго сказал Корешков, останавливаясь на некотором почтительном расстоянии перед Сергеем Леонидовичем.— Прибыли в ваше, так сказать, личное, если вы не возражаете.

Цветной шарик мягко опустился на пол и обернулся красной девицей в платьице со взбитыми плечиками и розовыми оборочками. Несмотря на свою воздушность, она стояла на земле прочно и глаз не прятала, лишь круглые, слегка припухлые щечки (они-то и были воздушным шариком) слегка порозовели, но в данном случае воздушность с лихвой искупала нехватку опыта, причем глаза и губы были столь же воздушными.

— Вы ко мне? — удивился Сергей Леонидович.

— Ваша личная стенографистка, комплексная продовольственная программа, исключительно по этой программе, дело неизведанное, опыт по крупицам, важно не утратить, сохранить, зовут Катерина, всегда начеку, фиксирует любую мысль.

— Я готова,— сказала Катя, раскрывая блокнот и нацеливаясь в Наумова острым кончиком карандаша.

— Подождите,— отрезал Наумов.— Вы сами это придумали, Корешков?

— Никак нет. Яков Михайлович Козаченко прислал. Берегите, говорит, наш опыт. Программа-то комплексная. Она и другим областям пригодится. Из Москвы уже пришел договор на издание брошюры.

— Вы откуда, Катя? — мягко спросил Наумов.

— Я из комсомола,— книксен сделала.

— Тогда пишите. Москва, Академия художеств. Золотому и серебряному Буричу. Благодарю за консультацию. Понедельник вылетаю Москву с проектом Митрясова, запятая, пройду лично по вашим адресам, точка. Искренним уважением Наумов.

— Разрешите расписаться в получении,— Бурич склонился над Катей и оставил в ее блокноте автограф.— С нетерпением буду ждать результатов.

— Кстати, Сергей Леонидович, забыл доложить,— торопился довольный Корешков.— Фургон с колбасой вышел на Главную площадку.

— Первый реальный результат комплексной программы налицо,— подскочил к столу Егор Телятников.

— У колбасы странное свойство,— прогудел Бурич.— Пока она лежит на прилавке, ее никто не замечает. Но как только ее нет, все начинают вопить благим матом: где колбаса?

— Это писать? — спросила Катя, поводя карандашиком в сторону Бурича.

— Вы опасная женщина, Катя,— отрубил Бурич.— Я согласен иметь дело с вами. Но молча.

— Екатерина Михайловна,— всенародно объявил Корешков.— Вы фиксируете исключительно мысли Сергея Леонидовича, выраженные им в словах. Все прочие побочные звуки для истории нашей области ценности не представляют.— Валентин Петрович был на валете: наконец-то он подобрал золотой ключик к начальнику, с помощью такого ключика ход истории можно вывернуть в любую сторону.

— Что ж, пройдемте в мой штаб,— предложил Наумов.— Я познакомлю Екатерину Михайловну с общей обстановкой.

— А я воду буду греть,— оповестила Троицкая.— Иван Васильевич, вы не возражаете, если я воспользуюсь вашей плиткой. Где же вы?

Но Силина не было. За домом слышались суматошные крики.

Сергей Леонидович предложил пройти в хлев. Все двинулись за ним, освещая дорогу фонариками.

Распластавшись на соломе с перебитым хребтом, Буренка судорожно дергалась. Не составляло труда уяснить случившееся, так как бревно, упавшее с потолка, еще лежало на Буренке в месте перелома. А наверху был виден конец старой прогнившей балки, не выдержавшей динамического удара в момент падения Старика. Буренка находилась при последнем издыхании.

— Досадно. Весьма,— молвил Наумов, что-то слишком часто сегодня ночью вздрагивает под ногами земля, готовясь двинуться на новый круг. Нет, не все идет по графику, налицо явные отклонения.— Надо выяснить обстоятельства. Я назначу комиссию,— закончил он, несколько приободрившись.

— Бедная животинка,— молвила Вера Васильевна Троицкая.— Такая печальная судьба. Ни дня в стаде.

— Живой вес. Это уже не метафора,— сказал Телятников.— Надо ее скорее прирезать, тогда удастся сохранить мясо.

— Буренка, Буренка, тебе больно. Вот остался последний кусочек сена. Возьми.

Буренка грустно жевала пустым ртом.

— Правильнее рассчитывать не на частный сектор, а на комплексную программу,— строго заметил Наумов.

— Как это чутко! — воскликнула Вера Троицкая.

— Я это записала,— сказала Катя.

— Что происходит? — сквозь зыбкую цепочку присутствующих решительно протиснулся генерал Лев Шкунаев, умелыми руками ощупал Буренку и без промедления полез в задний карман.— Или среди вас нет мужчин? Нервных прошу отвернуться.

Бахнул выстрел. Получив пулю в левое ухо, Буренка дернулась, опала животом. Бурич молча снял шляпу.

— Товарищ первый секретарь обкома партии,— послышалось за нашими спинами.— Объект сдан в полном порядке. Разрешите приступить к разделке?

Окончание следует

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

◆◆◆

Как торжественна музыка в 24 часа...
Даже можно поверить, что наше злосчастное время
Называют великим... Что были и мне голоса,
И утешно взывали тянуть эту лямку со всеми...
Где еще так пирует, как в нашем раю, нищета!
Полыхает судьба в закопченном подвальном камине...
Мы свое отгорели. Нам черные риски считать.
И котельных котят неприрученной лаской кормили.
Да святится манометра — узенькой лиры — изгиб:
Чуть пульсирует жизнь в незатянутой этой петельке...
Так Орфей уходил. Так огонь высекали — из дыб...
Так меняют режим социального зла — на постельный...
Что российским поэтам на ярмарке медных карьер,
Где палач и паяц одинаково злы и жалки...
О, друзья мои, гении,— дворник, охранник, курьер!
О, коллеги по Музе — товарищи по кочегарке!
Что играют по радио? Судя по времени — гимн...
Нас приветствует Кремль в преисподних ночных одиночках...
Мы уснем на постах, беспробудным, блажным и благим,
И слетятся к нам ангелы в газовых синих веночках...

◆◆◆

Снова нэп. Торгаши — барыши.
Вот чем ты обернулась, свобода...
И чего было ждать от народа,
Для которого все хороши...
Не вонзайте мне в ухо серьгу!
Не трясите в бирюльках штанами!
Лучше бабушке в детской панаме
Перейти этот мир помогу...
Нет, Россию никто не спасет,
Ей не вырежешь дурость, как гланды...
Но какие рождала таланты!
И родит! — Искупленьем за всё!

◆◆◆

Откуда только к нам Шагал не прилетал...
То из Парижа, то из Токио...
Лиловый
Наш вечер витебский, и воздух наш еловый,
Его с горчинкой, чуть искривленный, кристалл.
О, как Россия на художников щедра:
Ей волю дай — так полпланеты обеспечит,

Швыряя гениев, как в газовые печи,
В дыру забвения...
И ширится дыра.
И не срастается...
Кого ни напитал
Наш воздух косвенный, настоянный на хвое,
На крови клюквенной с поземкой голубою...
Откуда только к нам Шагал не прилетал...

◆◆◆

Ничем не удивишь: ни смертью, ни Джокондой
Того, кто видел пляж летейских берегов...
Повесят ли на крюк иль вынесут из комнат,—
Не лучше ль скрестный блеск, осенний Петергоф?..—
Где весь восторг и свет, искрящийся в фонтане,
И крона, и дворец — легки, как за чертой...
И живопись Творца, где мы на заднем плане,
Тем только и жива, что влагой золотой...
Не лучше ль в Петергоф, где белки не пугливы,
Покуда на шедевр не выдрали хвоста;
И вторят за спиной приливы и отливы
Фонетике разлук от люльки — до креста...
Где, умник, помолчи о стоне суггестивном,
О колере травы и тяжести долгов,
Затеплив, как алтарь, касаньем совестливым
Воскресный восковой версальский Петергоф...

А. В. Македонову

◆◆◆

Мы нараспев дышали Мандельштамом,
Почти гордясь припухлостью желез...
И жизнь была бездарностью и срамом,
Когда текла без мужественных слез.
Оберегая праздников огарки
Средь ослепленной люстрами страны
В дни Ангелов мы делали подарки
Друзьям, что были дьявольски пьяны...
Так и взрослели — горечи не пряча,
Брезгливо слыша чавканье и храп;
И в нашу жизнь — могло ли быть иначе —
Вошли Кассандра, Совесть и этап...

200 ЛЕТ ТАВРИЧЕСКОМУ ДВОРЦУ

Фото В. Мельникова

Общий вид с вертолета

Дворец — и конюшня; склад вышедшей из моды мебели, скульптуры, театральных декораций — и место проведения европейских и всероссийских выставок. Здесь жил А. В. Суворов и умер Н. М. Карамзин, торжественно отмечалось столетие со дня рождения А. С. Пушкина, С. П. Дягилев устроил выставку Русского исторического портрета.

Созыв Государственной думы (робкая попытка демократизации России) привел к переделке дворца. Изуродовали центральные парадные залы: железобетонными перегородками отделили Колонный зал от Зимнего сада и последний превратили в Зал заседаний. Таврический лишился уникальной особенности — сквозной перспективы. В марте 1907 года в Зале заседаний рухнул свод и вместе с ним рухнули надежды на демократизацию.

А в феврале 1917-го Таврический дворец — центр политической жизни. «Екатерининский (Колонный) зал стал казармой, военным плацем, митинговой аудиторией, больницей, театром, спальней, колыбелью новой жизни», — писал М. Кольцов. Более тридцати раз бывал и выступал во дворце В. И. Ленин. Вспомним только один день — 4 апреля 1917 года, когда Ильич дважды выступил с Апрельскими тезисами.

С 1919 года во дворце — партийное учебное заведение, сперва имени Зиновьева, позднее имени Сталина. Сейчас — Ленинградская ордена Октябрьской Революции высшая партийная школа, размещение которой тоже на контрастах: пышные, с полихромной росписью бывшие гостиные, столовые, будуары — и бывшие «службы» для крепостных, маленькие, тесные. Все это — аудиторный фонд.

Судьба И. Е. Старова (1744—1808), автора проекта дворца, созвучна его творению. Родился в Москве, учился в Петербурге, стажировался во Франции и Италии, проектировал и строил в Петербурге и для юга России, возводил и видел свое творение разобранным до основания (дворец в Пелле). «...Опередил Россию на целых полвека» (И. Э. Грабарь), пользовался мировой известностью, но в настоящее время вспоминаем его так редко.

Нелегко найти в нашем городе, а может быть, и в стране, здание, двухвековая история которого так интересна, значительна — и так мало известна. Ленинградской высшей партийной школе обещают построить новое здание и тогда.. Какой будет твоя судьба, Таврический дворец?

Л. И. ДЬЯЧЕНКО

Архитектор Иван Евгеньевич Старов (1745—1808)

Вид Дворца со стороны сада. Акварель XIX века

Исторический зал заседаний

В дворцовых покоях. Старинный рисунок

У парадного подъезда

С. МИХАЙЛОВСКИЙ

Н. Н. ПУНИН. Портрет в супрематическом пространстве

Ирина Николаевна Пунина получила письмо от отца, когда его уже не было в живых. Письмо привез Иван Андреевич Петренко, отбывший срок и отправленный на поселение. Он провез это письмо через всю Россию под стелькой башмака. Читая слова надежды, заключавшие письмо: «целую тебя и верю, что скоро увидимся», Ирина Николаевна не знала, что тот, чей голос так явственно слышится ей, кто говорит с нею,— уже мертв и похоронен между Воркутой и Интой на безымянном кладбище в Абези. Могила его уже затерялась среди тысяч одинаковых могил с низко обрезанными вешками, пронумерованными рядами. Рожденный с именем человек ушел из этого мира с номером. Комбинация цифр, рассеявшаяся в пространстве.

Это пространство — не осиянная солнцем земля, не пространство, наполненное светом и воздухом, каким его видели старые мастера. Это разрезанное горизонталями, мучительно выгнутое пространство распадающихся форм, острых углов, резких сопряжений: словно гигантский пресс обрушился на мир и деформировал предметы, людей, перспективу. В первые послереволюционные годы в пылу полемики Пунин призывал «взорвать, разрушить, стереть с лица земли старые художественные формы». Теперь это взорванное, наполненное гулом пространство поглотило его самого.

Жизнь его заканчивалась в большом бараке абезского лагеря. Этот барак был выстроен когда-то как гараж для грузовиков, и в нем удобно было разместить на двухъярусных нарах сотни заключенных. Один из заключенных назвал это странное сооружение фаланстером — излюбленным словом социальных утопистов, под коим подразумевали они дома-дворцы, объединяющие членов трудовой общины для отдыха после исполненного радости совместного труда во благо человечества. Абезский фаланстер имел одну особенность: его железный свод, выгнутый над головами обитателей, собирал влагу, методично капающую на головы людей. Под иными из таких источников ставили жестяную посуду, и неуклонный звук тяжелых капель, падающих с высоты, наполнял барак днем и ночью. Разговоры, которые вели в бараке, и споры уголовников, и ночные стоны — все сопровождалось этим одинаковым, равной высоты и силы звучанием. В этом фаланстере в начале 1952 года Пунин написал стихи. Их записал искусствовед В. М. Василенко и по возвращении из лагеря передал Анне Ахматовой.

А восток полыхал все сильней и вдали
Был слышен протяжный гул.
Потому что на той стороне земли
Поднялся безрассудный разгул.

И я друга спросил — что же делать нам?
И сказал мне друг: молись!
Но молитва не шла к онемевшим губам.
И тогда он сказал: смирись!

Хоть бы грудью припасть к сухим снегам,
Чтобы сердцем их растопить,
Хоть бы руки прижать к воспаленным губам,
Чтоб тоску подавить...

Если б мог я из тела уйти своего
И другую орбиту найти,
Если б мог и в свет превратить его,
Распылить во всем бытии.

Но я тихо хожу по дорогам зимы,
И следы потерялись в снегах...
Да и сам я забыл, откуда мы
И в каких живем временах.

Пунин говорил нечасто, больше молчал, погруженный в себя. И все же разговоров об искусстве, как вспоминает в своих записках солагерник инженер Анатолий Анатольевич Ванеев,— было немало. Они велись в бараке на нарах, перед бараком, где солнце обогревало бугор с проплешинами травы, в теплом среди зимней стужи сарае электростанции, где Ванеев работал электриком.

Сюда Николай Николаевич захаживал иногда погреться. Его высокая прямая фигура возникала в светлом проеме двери и замирала на пороге: он приглядывался к полусвету. Последнее время он видел плохо и ходил, опираясь на палку. Порой, когда зрение его еще более ухудшалось, он сидел, положив руки на палку, глядя перед собой широко открытыми глазами. Улыбаясь, он говорил: «Я что-то потерял сегодня масштаб». На электростанции произошел разговор о Татлине и Малевиче. Пунин объяснял Ванееву: Малевич поклонялся геометрии и цвету, считал их независимыми от материального носителя. Способность видеть и располагать

объемы и формы в единственно возможном сочетании геометрии и цвета он называл супрематизмом. Татлин же считал, что форма определится материалом вещи. Малевич и Татлин безудержно спорили между собой. Однажды Татлин вышиб из-под Малевича табурет, говоря: «попробуй усиди на геометрии и цвете без их материального носителя». Так понял и так записал этот разговор Ванеев.

Когда Ванеева переводили в другой лагерь и Пунин прощался с ним, он сказал, что случайность событий и жизненных факторов — лишь кажущаяся случайность, а на самом деле есть особый смысл в их сочетании, некая высшая предопределенность, которая придает жизни внутреннюю законченность. «У жизни есть свой супрематизм»,— сказал Пунин. Не имел ли он в виду, что не случаен и этот фаланстер, собравший таких разных людей, как литовский врач Шимкунас, спасший в санчасти многих, в том числе и Пунина, известный богослов Карсавин и египтолог Коростовцев, поэты Сергей Спасский и Самуил Галкин, читающий стихи на непонятном еврейском языке, епископ Яворкв и православный священник отец Иоанн, как сохранившие воспоминания об этом времени филолог Герасимов и искусствовед Василенко... Разве назовешь все имена?

Как-то ночью всех разбудили, построили в колонну и под конвоем повели к большому котловану. Больных несли на носилках. Охрана расставила заключенных по периметру, но казнь не совершили. Эту страшную мистерию в северной империи ГУЛАГа разыгрывали не однажды. Узкая полоска земли уходила из-под ног, зияющая чернота котлована разверзалась, готовая принять тело, пространство жизни сужалось до светлой полосы, охватывающей черный квадрат. Каждый раз на кромке котлована люди прощались с жизнью, и каждый раз после краткого ужаса ожидания их возвращали в барак к нарам, пайке, собакам. Что это было: шутка палача или репетиция запланированного уничтожения людей — никто из них так и не узнал.

«Черный квадрат» — название картины Казимира Малевича. «Беспредметный мир» — название его трактата. «Пустыня беспредметного искусства, к которой можно дойти по крутому и мучительному подъему... населена не имеющими реальных очертаний ощущениями, которые заполняют все»,— писал Малевич.

Жизнь в лагере временами тоже теряла свои реальные очертания и представлялась пустыней, перейти которую у Николая Николаевича Пунина не хватит сил.

Работать на общих работах он не мог. Здоровье его было подорвано, он был освобожден от работ. Дни и месяцы вынужденного бездействия тянулись страшно медленно. Однажды возвратившиеся с работ застали его у входа в столовую: он сидел, как обычно, устремив невидящий взгляд поверх голов, и раздавал ложки. На вопрос, зачем он тут, ответил: надо же найти себе какое-нибудь применение. В одном из писем домой он просил прислать пастель и бумагу, подобрать цветные репродукции — натюрморты и пейзажи. «Я бы мог, интерпретируя их, сделать что-нибудь для столовой и клуба, а то я бесполезный человек».

Мало кто мог угадать тогда в старике в опорках и ватнике знаменитого искусствоведа, петербургского эстета. Вслед за Ходасевичем Пунин мог сказать: «Я, я, я — что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея?»

Всезнающим он стал потому, что прошел через многое. Когда сидел неподвижно и молчал, он, может быть, прислушивался к голосам, звучащим во внутреннем пространстве. Лихорадочное воображение людей, у которых отняли все, кроме памяти, воскрешало, делало живыми события, гаснущие для тех, кто на воле. В воспоминаниях действовал принцип обратной перспективы: чем дальше в глубину отодвигался предмет, тем отчетливее он становился. Все самое интересное находилось в глубине. Стынущая на морозе земля уносила в — обязательно летние, обязательно жаркие, с обязательной назойливостью пчел, вязнущих в свежем варенье, в отчетливо, до каждой складки на платье, до каждого играющего на ветру листа, до всех бликов на траве — видимые дали. Туда, где начиналась жизнь.

В архиве Пунина хранится фотография: маскарад в Царском Селе. Он был устроен дочерьми морского генерала Аренса, обретавшегося при дворе, и проходил на берегу пруда в здании Адмиралтейства. С беспечной веселостью замерла перед фотографом костюмированная толпа, над молодыми лицами пудреные парики, затейливые шляпы. Легко преклонил колено перед Зоей Евгеньевной Аренс Николай Николаевич Пунин. Улыбаясь, смотрит на нее. Брат Александр Николаевич стоит, картинно опершись на эфес шпаги. Впереди, на авансцене, Николай Степанович Гумилев. На секунду сдержали шутки, смех и как только щелкнула крышка фотоаппарата и фотограф взмахнул рукой, разрешая быть свободными,— все задвигалось, зашумело, кадр рассыпался, разбрелись по дому и парку молодые пары. Легко предположить, что рассыпавшаяся толпа может погрузиться на диковинные суда, хранящиеся в шлюпочном сарае, отчалить от берега под звонкие выхлопы фейерверка и войти в акварели Константина Сомова, Евгения Лансере, Александра Бенуа...

В компании царскоселов Пунин держится особняком, подчеркнуто независимо. На старинной фотографии он без маски и маскарадного костюма. Это не случайность жизненной ситуации, пленка запечатлела отдельность, обособленность существования Пунина. Жизнь доигрывает последний маскарад, по-особому сверкают в прощальном блеске дворцы и парки, живопись освещена бенгальскими огнями мирискуснических карнавалов, поэзия — театрально подсвечена символистами, но Пунин уже перешел границу самоиграющего существования, он избрал место не в тени царскосельских лип, а на сквозняках истории.

Замеченная современниками стремительность его походки, когда он почти бежал по царскосельскому парку, бормоча что-то на ходу, была механическим преображением глубокого внутреннего движения, в котором пребывали его душевные силы. Высокий, стремительно движущийся, с речью далеко не плавной, а бурной, захлебывающейся, полной безошибочных наблюдений, Пунин обладал нечастым даром: чувствовать живописную, а не литературную сторону искусства, безошибочно отделяя подлинное его начало от имитации.

Его пристрастие — русская икона. Еще будучи студентом Петербургского университета, где он учился на историко-филологическом факультете, Пунин начал работать в Русском музее, в отделении древнерусской живописи.

Пунин не был ее первооткрывателем: иконографический метод к тому времени насчитывал немало серьезных исследований. Тяжеловесные, с медлительной основательностью написанные труды не были, однако, похожи на стремительные писания молодого Пунина. Живопись он не рассматривал через толстое стекло монокля, переползая с детали на деталь, а схватывал ее мгновенно судорожным порывом души. И мгновенность охвата, отблеск его личных чувств, его взволнованности лежит на небольших статьях, написанных в один присест, не переводя дыхания. Это был не стиль ученого, исследующего живопись по заранее выверенной схеме, но стиль поэта, владеющего словом и способного выразить им тончайшие движения чувств и самые неожиданные наблюдения.

Следует заметить, что начало века оказалось отмечено дарованиями такого рода. Новый век взглянул на старое искусство свежим взглядом, и под этим взглядом засверкали не замеченные ранее шедевры. Заново явилась икона. О ней многие писали, но кто мог начать статью об Андрее Рублеве таким вот пейзажем: «под сияющим, необыкновенно густым и плотным небом Мореи, на склонах рыжеющей горы дремлют руины Мистры, перебрасывая свои обнаженные арки и купвя призвмистые и покосившиеся купола в чистом, чуть-чуть дрожащем воздухе». Научная ценность статьи о Рублеве, опубликованной Николаем Николаевичем Пуниным на страницах журнала «Аполлон», достаточно велика, и все же очарование ее не только в научных наблюдениях, но и в том, что автор, по собственному признанию, «возносит к иконе свою душу». Статья написана в 1915 году. Заканчивается она пророчески: «жизнь неумолима и жестока... Путь нашего искусства тернист, и венец нашего художественного гения — терновый венец».

В Петербурге эстетизация старины достигла высочайших вершин: все были увлечены ампирной прорисовкой виньеток, стариной и жили, устремив взгляд вспять,— там, в прошлом, как казалось, заключены вечные ценности искусства. Между тем левое искусство все громче заявляло о себе. Не только в Москве на Кузнецком мосту расхаживали облаченные в желтые кофты футуристы — «мы желаем звездам тыкать, мы устали звездам выкать»,— но и в Петербурге, известном своим консерватизмом, устраивались футуристические диспуты, выставки левых художников, объединившихся в «Союзе молодежи». И все же со звездами здесь были на «вы». Александр Бенуа, вождь тогдашней художественной элиты, сказал ясно: «...единственно, что есть на свете действительного, реального — это прошлое. Настоящее есть не идущий в счет миг, будущее просто не существует... Остается прошлое — единственное поле нашего наблюдения, нашей оценки, наших симпатий и нашего обсуждения». Он сказал это стариком, но думал так и будучи молодым.

Темперамент Пунина был иным. Один из современников отметил в нем такие свойства: «всегда второпях» и «горя лихорадочным эстетизмом». Лихорадочный эстетизм выталкивал Пунина из обжитого уютного пространства журнала «Аполлон». Кажется, еще совсем недавно он был сотрудником редакции, участвовал в издании сборника «Русская икона», и вот теперь, посетив «Союз молодежи», с восторгом говорил о футуризме, предрекая ему большое будущее. Пунина влекли мастерские, улицы, ему нравился шум, разноголосье и острый, как ацетон, запах новизны. Очень скоро искусство, обращенное в прошлое, стало казаться ему пресным, а попытки удержать развитие живописи на отметке «ретроспективная мечтательность» он назвал резко: «диктатура Бенуа». «Отдельность» Пунина, его обособленность, его расположение отдельно от группы, крайним слева (таким он предстает перед нами на фотографии выпускников Царскосельской гимназии), его отказ от жизненного маскарада начали

сказываться на эволюции его пристрастий.

В искусстве авангарда Пунин улавливал интуитивный акт прозрения, предчувствие того распада жизненных форм, той деформации привычных понятий, которым еще предстояло совершиться в жизни. Подземный гул катаклизмов слышался Пунину в полотнах левых художников, а в их смелых теориях он ощущал наступление новой эпохи. То, что он еще недавно считал «смертью для краски», становилось новым пониманием цвета; цветовые сочетания утрачивали гармонию убаюкивающих созвучий. Он слушал страстные, как заклинания, теории авангарда, и ему казалось, что пришло время осмысленного искусства, когда произведение рождается не как отголосок страстей, бушующих в человеке, но как продукт разума, осознания, одоления умом живописных таинств. Никогда, пожалуй, искусство так не стремилось сорвать покров таинственности, скрывающий акт творения. Наука еще не помыкала человеком, но ее всесилие уже ощущалось.

Человечество, предчувствующее многое из того, что принесет ему двадцатый век, восприняло первую мировую войну как апокалипсис: тысячи жертв, жестокость методов уничтожения, масштабы разрушений — все казалось катастрофичным и потрясало сознание людей. Было бы странно, если бы в этом мире искусство сохранило формы, обретшие устойчивость в прошлом веке. Искусство приближалось к новому пониманию своего смысла. Оно пыталось выразить этот смысл надрывным криком своих деклараций. Отринув жизнь, оно бежало в пустынные пространства, где надеялось разъять самое себя, чтобы извлечь нечто полезное для страждущего человечества.

Окна квартиры Пунина, которую он снял летом 1915 года в большом доме «модерн» на углу Загородного и Казачьего, выходили во двор. Но и сюда доносился тяжелый солдатский шаг. По булыжной мостовой солдаты маршировали к вокзалу. Мировая война требовала жертвоприношений, и жертвы проходили под окнами: их шеи были готовы к газовой удавке. Рыская по строчкам газет, жадно ловя известия с фронта, Пунин физически ощущал, как изменяется понятие пространства, как возникает напряжение в простых географических названиях: «большинство этих названий волей-неволей наполнялось живым содержанием, движением и напряжением сил; были пространства активные, как бы намагниченные, и пространства пассивные... мы уходили в эти новые пространственные широты, растворяясь и теряясь в них».

Важнейшая глава жизни Пунина должна бы называться: «квартира № 5». Эпиграфом к ней надо бы поставить его слова из воспоминаний: «Если на белом листе бумаги поставить точку, пространственный мир листа локализуется, стягивается вокруг этой точки. Точно так же в жизни — место собирает пространство, стягивает вокруг себя жизнь».

Таких мест в Петербурге было немало. Были кафе, притягивающие артистическую богему, были особняки, где роилась, утопая в роскоши, буржуазия, были конспиративные явки, стягивающие революционеров... Была Башня Вячеслава Иванова — запрокинутая в небо надстройка, обитатели которой были погружены в гипнотическое ожидание неотвратимых бед. Была «квартира № 5».

Она принадлежала С. К. Исакову, хранителю музея Академии художеств, и была расположена в самом здании Академии. В этой квартире была и мастерская молодого художника Л. А. Бруни, пасынка Исакова.

Что-то символическое есть в названии «квартира № 5». Оно как будто вызывает из будущего вереницу квартир, где, стеснившись, стали жить люди в открытом для постороннего глаза и общем для всех быте. Оно предвосхищает время, когда средоточием духовной жизни станут коммунальные квартиры.

Лев Александрович Бруни мог считать Академию своим предком, ибо несколько известных имен сплелось в его фамильном древе: Брюлловы, Бруни, Соколов. Работы П. Ф. Соколова висели на стенах мастерской: сановные старики с прозрачными, нежно подрагивающими щеками и дамы в воздушных прическах были принуждены рассматривать пеструю толпу молодежи и выслушивать сумасшедшие разговоры о новых путях, ведущих в будущее.

Часы, проведенные в квартире № 5, сохранились в его памяти как время «наибольшей жизненной полноты». За длинным столом, над которым горела лампа, освещая лишь его середину, собирались художники П. Митурич, Н. Альтман, Д. Митрохин, О. Розанова, В. Татлин, К. Малевич, композитор Артур Лурье, поэт Велимир Хлебников, искусствовед Всеволод Воинов — человек до двадцати. Собирались обычно раз в неделю. В другие дни водили друг друга по мастерским. Так, Л. Бруни, «неутомимый собиратель никому неведомых художников», привел Пунина к Н. Тырсе в небольшую комнатку на Пантелеймоновской. Он же познакомил его с Н. Альтманом. Этот скуластый человек с лицом азиата, затейливый, веселый и практичный, представил на выставку «Мира искусства» портрет Анны Ахматовой, о котором Пунин писал в одной из статей. Писал он и о других: о том же Бруни, о Тырсе, позже много писал о Татлине.

Татлин был самой крепкой привязанностью Пунина. Он не выделялся бойкостью, говорил мало, но убежденно, «был конкретен, жил и думал в материале». Зато Малевич, если попадал в квартиру № 5, то в тесноте почитателей и учеников был красноречив и горяч. Их спор превращался в схватку: «...они всегда делили между собою мир: и землю, и небо, и межпланетное пространство, устанавливая всюду сферу своего влияния. Татлин обычно закреплял за собою землю, пытаясь столкнуть Малевича в небо за беспредметность. Малевич, не отказываясь от планет, землю не уступал, справедливо полагая, что и она планета и, следовательно, может быть беспредметной». Однажды, выйдя на набережную, Пунин заметил, что идет не своей обычной походкой, а тяжеловатой, несколько неуклюжей походкой Татлина. Он обладал способностью так глубоко чувствовать художника, что даже мог на короткое время физически перевоплотиться в него.

...В лагере А. А. Ванеев записал короткий разговор, состоявшийся между ним и Пуниным, когда они вышли из больничного барака от умирающего Л. П. Карсавина.

— Он золотистый,— сказал Пунин о Карсавине.

— Как это понимать? — спросил Ванеев.

— Я вижу его золотистым.

— А меня Вы каким видите?

Пунин, прищурившись, посмотрел на Ванеева:

— Вас вижу синим.

...Пунин обладал счастливым даром впитывать и адсорбировать живописные впечатления. Он был устроен так, что вся жизнь — вокруг него и внутри него — получала осмысление через живопись. Этот дар он сохранил и тогда, когда увлекся авангардом.

Авангард принес в искусство военную фразеологию. Говорили об убийстве формы, о том, что художник — стрелок и плохо, если он ранит форму, едва коснувшись ее, что художникам нужны «меткий глаз и тренированная рука, охотничий нюх, сноровка и повадки охотника». Позднее Пунину пришел на ум образ поезда, идущего в революцию. Не такой уж великий путешественник, он попадал не просто в железнодорожные составы, он попадал в поезда истории. Метафорический смысл слова «поезд» хорошо был знаком Пунину. Не революция привезла Пунина в авангард. Авангард привез его в революцию. Он спешил сесть в этот поезд, чтобы мчаться вместе с ним.

Однажды в кабинет, где работал в Русском музее Пунин, пришел искусствовед В. Денисов. Он предложил ему участвовать в создании объединения «Свобода искусству». Мысль о создании объединения левых художников понравилась Пунину, и он согласился участвовать в этой работе.

Весенние месяцы 1917 года разразились собраниями, как проливными дождями. Где только был мало-мальски пригодный зал, там и собирались, спорили до хрипоты, решали, каким быть русскому искусству. За полукруглым столом конференц-зала Академии художеств, покрытым синим сукном (память Пунина сохранила бахрому этой скатерти, которую он теребил во время скучных выступлений), собирались почти регулярно. Были чинные заседания, были и баталии, в которых дело едва не доходило до драки.

Между прочими вопросами дебатировался и такой: как быть с Академией художеств? Защитников у старой Академии было не так уж много, почти все сходились на необходимости обновления, хотя страх перед тем, что взъерошенные желтоблузники ворвутся под своды Академии и вместе с гипсами разнесут и сами стены, был сильным. Тем более, что в зал врезались то Зданевич, то Мейерхольд, то Маяковский; они рассекали толпу, а следом мелкими бурунами вскипали десятки сопроводителей — молодых, нахальных, горластых. В своих воспоминаниях Пунин особенно отмечает фигуру Маяковского («казался больше стен»), одетого во френч с крылатыми колесами на погонах. Сам Маяковский вспоминал какого-то академического бородача, который яростно кричал с места: «только через мой труп Маяковский войдет в Академию, а если он все-таки пойдет, я буду стрелять». На одном из собраний, помнится Пунину, какой-то неизвестный поручик грозил бочкой с порохом. После таких собраний, в два прыжка преодолев коридор и взлетев по лестнице, можно было попасть в квартиру № 5 — уже не с акварелями на стенах, а в мир звенящего телефона, незапертой двери, топота в прихожей, серой изнанки холстов, повернутых к стене. Здесь обсуждения продолжались.

Много шуму наделало собрание 12 марта в Михайловском театре. В золоченых ложах, на галерке, на сцене с чинным президиумом разворачивалось революционное действо. Председательствовал В. Д. Набоков (отец писателя), по отзыву Пунина, изощренный оратор и политик. Сам Набоков назвал четыре часа, проведенные в кресле председателя, «нравственной пыткой».

Группировок было огромное количество, и каждая рвалась на трибуну со своей программой. Приверженцы противоположных программ объявлялись злейшими врагами. О них говорили с ненавистью.

Если попробовать разобраться в ожесточении схваток и определить, что же решалось на этом собрании, получится, что на нем решался (и не решился, ибо такие вопросы на собраниях не решаются)

главный, основной вопрос: будет ли искусство государственным, то есть подчиненным государственным программам, ведомствам и государственным вкусам, или оно будет независимым от государства, самостоятельным, стихийно развивающимся. Решалась судьба Министерства изящных искусств, о создании которого усиленно толковали в кругу Бенуа и его единомышленников. Пунин был против такого ведомства. Ведь Министерство недавно было уничтожено революцией, только называлось оно Министерством императорского двора. Пунин считал, что Министерство, заведующее искусством, облечет его в казенные формы, утвердит некий государственный стиль, который станет господствующим и обязательным для всех художников. Вспоминая то время, Пунин писал: «Мы мыслили автономное от государства искусство, может быть, даже диктатуру искусства над государством. К этой мысли приучила нас „Труба марсиан“, вообще хлебниковская концепция „государства времени“...»

Бенуа был убежден, что искусство может произрастать лишь на тщательно ухоженных почвах, что ему нужны традиции, нужна музейная атмосфера. Он боялся разгула художественной стихии, за которой угадывал полную гибель искусства, считая, что надо любыми путями охранять те богатства, которыми Россия уже владеет, что будущие богатства — дело сомнительное, а уже созданные — несомненны. Он полагал, что лучше отдать искусство во власть государства и его учреждений, чем отдать его на волю разнузданной толпы. Это, по его мнению, сможет оградить государство от «апофеоза уродства», от «бесовщины». А к «бесовщине» он одинаково относил Кандинского, Малевича, Пикассо, всех левых художников. Назвав собрание в Михайловском театре «разбушевавшейся стихией нелепости», Бенуа покинул президиум в середине заседания и ушел из театра.

Чем сильнее кипели страсти, чем ожесточеннее сопротивлялись признанные художественные авторитеты наступлению авангарда, тем больше привлекал он Пунина. Он считал, что именно сейчас перед русским искусством раскрылись доселе невиданные возможности. Попытка натурализовать живопись, предпринимавшаяся в течение двух веков, уводила от искусства. Теперь искусство становилось самоценной реальностью. «Раньше художник смотрел в мир как в окно, теперь он входит в мир»,— писал Пунин.

В сотрясении революциями семнадцатом году, холодным декабрем Пунин вместе с композитором Артуром Лурье отправился в Зимний дворец на встречу с Луначарским. Он вызвался ходатайствовать о постановке в эрмитажном театре пьесы Хлебникова «Ошибка смерти». Драматизм пьесы вызывал воспоминания о пире во время чумы: «Да славится наша попойка, пусть славится наша пирушка, Где череп веселых — игрушка». Игра черепами казалась дерзкой мистерией, никто из участников не мог предугадать ее переход и превращения в жизнь.

Дворец стоял пустой. Интеллигенция саботировала революцию. Луначарский, руки которого «были сжаты в кулаки и энергично откидывали тело», быстро ходил по комнате «стремительной и падающей походкой». Углы его рта были покусаны. Сначала речь шла о пьесе, но скоро Луначарский перешел на другую тему. Он был красноречив. Говорил о свободе для художника, которая наступила, о возможностях, которые открылись перед авангардом,— никаких присяг, никаких заявлений о преданности и повиновении! Представляется полная свобода! Нужны люди, которые могли бы этой свободой распорядиться! Прозвучало слово: Наркомпрос. Орган, обеспечивающий свободу художественного творчества, охраняющий культурные ценности, организующий их изучение. Говорил Луначарский убедительно, страстно, и программа, обрисованная им, Пунину понравилась. Особенно в части заботы о левых художниках и создании художественных студий. Дать людям холсты, кисти, краски, дать им свободу творить — разве не благородная задача?

«Поскольку искусство есть познание материала, а не приложение художественных средств к классовой борьбе или к классовой деятельности, оно не содержит в себе обязательного условия что-нибудь изображать». Оно «не украшает, не агитирует, не услаждает, не содействует угнетению и не служит средством обогащения — искусство умножает человеческий опыт».

Так писал Пунин в статье «Искусство и пролетариат» в редактируемом им журнале «Изобразительное искусство». Писал не как частное лицо, а как один из руководителей Наркомпроса, отдела ИЗО, сотрудниками которого в то время были художники Штеренберг и Альтман, Чехонин и Карев, скульптор Матвеев.

Декретом 1918 года Академия художеств была преобразована в Свободные художественные мастерские. Здесь Пунин с 1919 года преподает «историю художественных форм». В бывших мозаичных мастерских Академии Татлин работает над моделью памятника III Интернационала.

В огромную спираль, устремленную в небо, заключены простые объемы: куб, конус, шар. Математически уравновешенное сооружение светилось — оно несло в себе идею вращения: вращающаяся спираль света упиралась в звезды. Она будет наполниться телеграфным гулом, все новинки техники будут вмонтированы в нее. На огромном экране в вечерние часы должны возникать сводки последних новостей, полученных по телеграфу. Пунину чудилось нечто космическое в этом сооружении: «идея увлекательна, необыкновенна, величественна, достойна нашей революции, в художественном же отношении в ней есть несомненная внутренняя логика». Когда он слушал объяснения Татлина, медленно расхаживающего вокруг модели, ему, Пунину, хотелось самому пойти в ученики к этому чародею.

Но, вопреки ожиданиям, в мастерскую Татлина пролетарии не ломятся, хотя им открылась туда дорога. В революционном искусстве намечается иная тенденция. Мечтатели новых форм, создатели футурологических проектов «громадных цеппелинов», на которых будут держаться города, студии художников, «угадчики будущего», вынашивающие планы освоении космического пространства, наблюдали, как города обрастали целым сонмом монументов, выстроившихся по ранжиру и уже набивших оскомину в прошлом. С грустью взирал Пунин на эти монументы: «...у нас на тусклом холодном севере — до какой степени ложны, нелепы, примитивны и плоски эти фигурные монументы. Так и хочется в морозные дни нахлобучить им на голову меховую шапку, накинуть на плечи бекешу».

В первую годовщину Октября Пунин видит улицы и площади, застроенные щитами, красные полотнища с лозунгами и многофигурными композициями. Он протестует. Ему нравится смелый замысел Альтмана не драпировать Александрийский столп, а взорвать его геометрическими формами. При этом он, разумеется, не призывал к пиротехническим взрывам на площади, однако футуристические призывы Пунина использовались для создания мифа о воинственном комиссаре с наганом в руке. Меньше года издавалась газета «Искусство Коммуны», редактируемая Пуниным. Журнал «Изобразительное искусство» вышел одним-единственным номером. Да и сам «комиссар искусства» был арестован по первому разу очень рано — в августе 1921 года.

В 1918 году Пунин совместно с Е. Полетаевым издал книгу «Против цивилизации». Те, кто знает об этой книге лишь по названию, предполагают, что она призывает к сокрушению культуры. Однако под цивилизацией имеется в виду комплекс тех благ, которых человечество добилось к двадцатому веку. Цивилизации противопоставляется культура — «власть над хаосом жизни», «интенсивное созидательное творчество». Именно в культуре выражается творческий потенциал народа. И если Европа, по Пунину, стремится заменить понятие «культура» понятием «цивилизация», то Россия обладает скрытыми силами с огромными запасами энергии.

Когда Пунин писал эту книгу, он вряд ли представлял себе, какая сила энергии заложена в «великорусском начале», на которое он уповал. Через три года после написания книги ее автор был арестован и, может быть, в подвале на Гороховой вспомнил свои слова: «отдельные индивиды могут, конечно, пострадать или погибнуть, но это необходимо и гуманно и даже спорить об этом — жалкая маниловщина, когда дело идет о благе народа и расы и, в конечном счете, человечества».

В следственном изоляторе ЧК на Гороховой Пунин столкнулся с Гумилевым. Одного вели на допрос, другого — с допроса. У Гумилева была «Илиада» Гомера. Он не расставался с нею ни в далеких путешествиях, ни на фронте в мировую. Теперь она тоже была с ним, и единственное, что он успел,— это показать ее Пунину. Когда-то он написал: «Я закрыл „Илиаду“ и сел у окна, на губах трепетало последнее слово, что-то ярко светило — фонарь иль луна, и медлительно двигалась тень часового». Что это — страшное пророчество?

Вскоре Пунина перевели на Шпалерную. Оттуда ему удалось передать письмо, в котором он описал короткую встречу с Гумилевым: «Мы стояли (друг) перед другом, как шалые, в руках у него была „Илиада“, которую от бедняги тут же отняли».

В следующем — двадцать втором году в Новгородской губернии в деревне Санталово в доме художника Петра Митурича умер близкий Пунину поэт Велимир Хлебников. В одном из писем Митурич писал Николаю Николаевичу: «беда большая. Велимир разбит параличом, пока что отнялись у него ноги». Последнее сообщение: «Велимир ушел с земли 28-го июня в 9 часов утра, за сутки потеряв сознание и так постепенно затухал». Он был похоронен в гробу, на котором было написано: «Первый Председатель Земного Шара Велимир Хлебников». Могилу его у самой ограды кладбища, рядом со старообрядцами, Митурич постарался запомнить получше. Он просил Пунина известить о смерти художников Татлина, Матюшина, Филонова...

Незадолго до революции Пунин прикрепил к стене в своей квартире хлебниковскую декларацию «Труба марсиан». В этом манифесте Хлебников писал: «пусть Млечный Путь расколется на Млечный Путь изобретателей и Млечный Путь приобретателей». Как точно определил он, какими путями и в какие русла потечет художественная энергия в будущем! Отделив изобретателей от приобретателей, выделив изобретателей в особую породу «других прав и особого посоль-

ства», левые тем самым предопределили и свмостоятельность развития приобретателей, которые — как показала история — быстро адаптировались в новых условиях, оказались более жизнеспособными. «Будущее решит, кто очутится в зверинце»,— писал Хлебников, уверенный, что «грызть кочергу зубами» станут, конечно, приобретатели. Как он ошибся!

Очень скоро «изобретатели» Хлебникова оказались «безыдейниками и беспредметниками», которые «никакого идеологического искусства, никакой величественной скульптурной или живописной иллюстрации к великим событиям истории... дать не могли». Задачей искусства стало «создание картин Иванова и Сурикова, но с новым содержанием, соответствующим новому времени». Художественные концепции на глазах превращались в политические обвинения.

В нескольких номерах журнала «Жизнь искусства» за 1923 год Пуниным был напечатан обзор Государственной выставки. Он писал: «можно не пройти ни через одну из существующих в современном искусстве систем — идеологий и быть по живописному чувству современным художником». Комментарий редакции к статье Пунина был недвусмысленным: «от кого другого, но только не от Пунина можно было бы, казалось, ожидать заявления: „Искусство есть самодовлеющая реальность“. Как недолго проходил Пунин в марксистском наряде и как быстро слетели с него павлиньи перья».

Татлину и Малевичу — двум стихиям русского авангарда — не суждено было преобразить мир «новыми формами красоты». «Нет уж, гр. Малевич, бросьте ваши рассуждения, делайте свое дело, занимайтесь лабораторными изысканиями, но не путайте революцию в ваше антиреволюционное мышление». Уже существовал АХРР — хрипяще-рыкающей аббревиатурой обозначила себя группировка, ставящая задачу отображения окружающей действительности методом «героического реализма». Авангардное искусство, миновав рубеж Революции, кончалось, создавалось искусство для новых чиновников.

В одной из статей, напечатанных в «Искусстве Коммуны», Пунин предрекал возможность такого исхода. Тогда, в 1919 году, он писал: «До тех пор, пока революция, в особенности наша революция, не изжила себя, ни один из нас не имеет права говорить о государственной линии в искусстве... для того, чтобы проводить государственную линию не надо вызывать нас, левых».

В 1922 году идеологи АХРРа обратились в ЦК ВКП(б) с просьбой «указать пути, по которым нам надо идти и работать как художникам», и получили указание идти на заводы, в рабочую массу, изучать и изображать её, ибо только рабочая масса «подскажет вам направление вашей деятельности». «К черту беспредметников! — восклицал художник Е. Кацман.— Посмотрите на эти великолепные лица, затылки, полушубки, смотрите, как они сидят, разговаривают, едят, все это живописно и великолепно».

В беснованиях ахрровцев, в проклятиях, которыми они осыпали бывших авангардистов, бросалась в глаза одна мысль, выраженная Кацманом достаточно ясно. «Как это теперь ни пикантно,— писал он,— но „правые“ оказались в конце концов нужнее для революции» и «когда у революции дошла очередь до „своего“ искусства, она, революция, прогнала „левых самозванцев“». Действительность подтвердила эти слова. Все чаще АХРР пользовался поддержкой сверху. В отзыве на выставку АХРРа 1926 года Луначарский писал: «эта выставка порадовала меня огромным количеством бодрых, ярких, густыми соками жизни наполненных произведений. Мне стоит только закрыть глаза, думая об этой выставке, чтобы передо мной поплыли волнующие образы».

Самый радостный и волнующий образ еще не появился в живописных полотнах, но до его появления оставалось совсем немного. В 1932 году на выставке «Художники РСФСР за XV лет», устроенной в залах Русского музея, волнующему образу было отведено особое место: в последнем зале, в самом центре.

Это была удивительная выставка, создатели которой приложили немалые усилия, чтобы представить не один лишь «магнитстрой ИЗО» (выражение Кацмана), но произведения художников, принадлежащих самым разным группировкам: «Мир искусства» и «Бубновый валет», ОСТ и «4 искусства», «Круг» и АХРР. В отдельных залах экспонировались работы супрематистов и мастеров аналитического искусства. Широкий диапазон выставки не был случайным. В ее подготовке принимал участие Николай Николаевич Пунин, отстаивавший необходимость изучения современного искусства во всем его многообразии. «Учить художника бесполезно, да и невозможно, гораздо разумнее за ним следить и его понимать»,— считал он. Руководствуясь этим принципом, в послереволюционные годы Пунин работал над организацией уникального в своем роде Музея художественной культуры, а потом — созданного на его основе Института художественной культуры, директором которого был Малевич, сотрудниками Филонов, Татлин, Матюшин, Мансуров.

В печально известной статье Г. Серого (неплохой псевдоним выбрал себе художественный критик) «Монастырь на госснабжении», во многом определившей

судьбу ГИНХУКа, о Пунине было написано: «в многословном, нарочито пестревшем именами, безграмотном, с точки зрения всякого марксиста, докладе собравшиеся оповещались о том, что художественная культура прежде всего зависит от творящей личности художника». Творящая личность уже вызывала ядовитую усмешку, но механизм превращения творящей личности в винтик еще отлаживался. Разгон ГИНХУКа был одним из актов налаживания такого механизма. И все же Пунину тогда удалось отстоять искусство — в 1926 году он организовал в Русском музее отдел новейших течений, разместившийся вскоре в «старом» флигеле Росси. Не личные вкусы и пристрастия внес он во вновь организованный отдел: строгая научность, беспристрастность, незамутненный эмоциями интеллект — таким ему хотелось видеть ученого. Однако же сам он не стал таким. В нем просыпался царскосельский эстет, лупа выпадала из рук, в интеллектуальных ретортах прекращался аналитический опыт, и чувства, обычные человеческие чувства восхищения, нежности и любви просыпались в нем. Нервный тик, легкая судорога, пробегающая по лицу в момент волнения, придавала особую остроту его речи.

В знаменитом Фонтанном Доме Пунин поселился в начале двадцатых годов. В бывшем Шереметевском дворце была размещена экспозиция Музея дворянского быта. Лестница, покрытая коврами, вела на второй этаж мимо конской сбруи и чепрака, на которых герой Полтавы — фельдмаршал Борис Петрович Шереметев — гарцевал под ядрами рядом со своим государем. На блестящем паркете парадной залы танцевала когда-то круглощекая царица Елизавета, а спустя полвека, в удаленных покоях, сумеречных от зашторенных окон, умирала нежная и чувствительная крепостная актриса Параша Жемчугова. Во дворце, полном музейных ценностей, Шереметевы дожили до революции, когда Сергей Дмитриевич Шереметев передал дворец государству. Во флигелях и в самом дворце жили искусствовед В. К. Станюкович, ставший историографом и главным хранителем Фонтанного Дома, комиссар по делам музеев Г. С. Ятманов, искусствовед, университетский профессор Д. В. Айналов, учитель Пунина. Пунин поселился в южном корпусе. С Фонтанки через сад проходили во двор, входили в правый флигель по узкой лестнице, окрашенной в масляную краску, поднимались в анфиладу из небольших комнат.

Однажды, переступив порог этого дома, осталась здесь на многие годы Анна Андреевна Ахматова. Она прославила Фонтанный Дом, в гербе которого был девиз: «Бог хранит все».

Когда Ахматовой казалось, что жизнь кончается, когда уже были написаны строки: «Все души милых на высоких звездах. Как хорошо, что некого терять И можно плакать...» — в это тяжелое голодное время пролегла дорога от Мраморного дворца, где жила Ахматова, к Фонтанному Дому. Странное время: в огромных пустых дворцах, в оставшихся от прежней жизни мебелях зябли, дрогли и голодали художники, артисты, поэты...

Сюда приходили вести об арестах, которые совершались все чаще. Арестовали П. И. Нерадовского, многие годы заведовавшего отделом Русского музея, Н. П. Сычева, с которым Пунин дружил с давних времен (он был сотрудником редакции «Русской иконы», потом работал в Русском музее). Сычев был отправлен на Беломоро-Балтийский канал, откуда в августе 1935 года писал Пунину: «единственной для меня отрадой является живопись. Хотя у меня почти нет красок, но пишу я каждый день и не без успехов. Из меня выработался профессиональный живописец, отчасти портретист, а главное пейзажист. Только этим я и живу. Не будь живописи, честное слово, немедленно окунулся бы навсегда в Онежское озеро. Мысль об этом все чаще и чаще приходит мне в голову».

В том же августе, когда было написано это письмо, Пунин был арестован. «Уводили тебя на рассвете, за тобой как на выносе шла, в темной горнице плакали дети, у божницы свеча оплыла» (А. Ахматова). Анна Андреевна отправилась хлопотать в Москву. Ей удалось отстоять опального, дело до суда не дошло, срока не дали.

Решение об освобождении Пунину объявлено было ночью. Зажав в кулаке разбитые очки, он попросил разрешения остаться в тюрьме до утра, ибо не мог двигаться в темноте по ночному городу. «У нас не гостиница»,— услышал он в ответ.

Едва различая привычные очертания ленинградских улиц, он шел по городу и не узнавал его. Впервые, может быть, он всем своим существом ощутил то самое смещение и деформацию пространства, которую он наблюдал на полотнах художников. Представший в распадающихся формах город был понятнее ему. Резко сопряженные плоскости обступали его. Он шагал, устремившись вперед, близоруко щурясь и всеми нервами ловил диссонансы ночного города. Никакого согласия не было в ночных созвучиях. Освобождение казалось неверным и временным, а будущее тревожным.

Мир, которым жил Пунин, рушился на глазах. Умер от рака затравленный Казимир Малевич, побывавший в тридцатом немецким шпионом (в тюрьме следователь спрашивал его: «О каком сезанизме вы говорите? О каком ку-

бизме проповедуете?»), но чудом сохранившийся до тридцать пятого. Не дожил до очередной посадки. Неизбежность смерти была для него очевидна, и в знак своего неотречения он спроектировал супрематический гроб, в котором и был похоронен. Ушел, по определению Пунина, «ересиарх супрематической веры».

Возможности для работы становилось все меньше. Статьи Пунина не печатались. Он занимался педагогической работой, читал курс истории западноевропейского искусства, стал одним из основателей искусствоведческого факультета в Академии художеств. Каким он был преподавателем, рассказала на одном из собраний, посвященных Пунину, Антонина Николаевна Изергина. Заведующая картинной галереей Эрмитажа, знаток французской живописи, она была ученицей Николая Николаевича.

«Николай Николаевич как-то сказал о себе одну вещь, как всегда очень метко, очень искренне. Он сказал: „У меня в сущности есть только один, но настоящий дар: я умею понимать живопись“. Это верно. Он так понимал живопись, как никто.

...Он любил близко работать с картиной, стоять рядом с плоскостью. Он показывал импрессионистскую картину (Моне или Писсаро) и говорил: „Вот вы будете работать в музеях, хранить старую живопись, вот предположим, у вас порвется картина — портрет или натюрморт художника 17 века,— вам будет чрезвычайно важно, где прорвалась эта картина: на изображении лица, предмета или фона. Если вы узнаете, что прорван только фон (мы-то, эрмитажники, так и рассуждаем), вы скажите: ну это еще ничего, невелика беда. Но прорвите импрессионистскую картину — неужели важно, где она прорвется: там, где человек или где небо или дерево — все важно, вся поверхность холста драгоценна“. Он учил видеть совокупность живописных явлений, и как нам скучно было читать или слушать потом, что импрессионизм потерял предмет, что было у него неуважение к портретной модели. Потому что Николай Николаевич показал нам ту новую ценность, которую принесли с собой импрессионисты. Но коньком его был Сезанн. О Сезанне он говорил неслыханно. Он говорил самые невероятные, самые неслыханные вещи: как он говорил о синем протекающем цвете, о концентрации воздуха, который трепетал в полотнах импрессионистов! Этот воздух у Сезанна, стремящегося к строительству и конструктивности живописи, приобретал характер синего протекающего цвета. „Вот, товарищи,— говорил он,— если вы будете пальцем ковырять — конечно, не дай бог вам это сделать — какую-нибудь старую картину, будет такое впечатление, что вы соскребли краску, а там глубже — уже подмалевок и холст. А когда вы смотрите на картину Сезанна, попробуйте представить, что вы ее копаете — там будет все та же синева, все тот же цвет, потому что весь холст пропитан этой живописностью“.

Я помню, как он стоял перед нашей эрмитажной картиной „Сосна в Эксе“ Сезанна и говорил: „Вот представьте себе сосну Шишкина, предположим, вы хотите эту сосну выдернуть из картины. Вот потяните ее за ветку — и за ней полезет ствол. Потяните за ветку сосну Сезанна — и за ней полезет соседний кусок неба“. Ну как можно лучше, красноречивей показать специфику живописи Сезанна?

На основании его вдохновенного, поразительно тонкого, умного и экспрессивного анализа о нем стали говорить, что он, якобы, формалист, что содержание и идея ему, якобы, безразличны. Как это несправедливо! Он жил живым ощущением, живым восприятием. Он понимал старое искусство отнюдь не хуже, не менее остро, чем новое. Искусство обступало его, он видел его беспрерывно. Я помню: дождливый день, слякоть, он повернул с Невского на улицу Бродского, показал на Русский музей и сказал: „Посмотрите, он же смотрит! Вот филармония не смотрит, театр не смотрит, а он смотрит!“ И вот вы пойдете мимо Русского музея, каждый из вас — запомните эти слова, вы увидите, что фасад Русского музея действительно смотрит.

У него было несколько ложных репутаций. Надо отдать должное: Николай Николаевич любил дразнить людей и с присущим ему темпераментом поддерживать ложные репутации. Кроме того, что он формалист, говорили, что он — сноб. Он, который с такой щедростью, с такой полнотой со всеми всегда делился своим вдохновением! Ведь как он возился с художниками, как думал, вникал. Однажды мы даже сказали: „Ну, Николай Николаевич, ладно, хватит, перейдем к чему-нибудь более существенному!“, и как он нам ответил: „Художников нужно не только понимать, их нужно уметь вдохновлять!“

...Когда мы начали ездить за рубеж, когда мы попали в этот гвалт, в сумятицу новых и новейших течений, всякий раз, бывая в Париже на выставках, я думала: вот нету Николая Николаевича, нет его поразительного восприятия, нет того, кто, как лакмусовая бумага, отделил бы ложное от настоящего, и не только отделил бы, а показал бы, почему это так. Его не было. Его действительно не хватало».

Вращается магнитофонная кассета, стекает с нее голос Изергиной. Если попробовать, можно даже услышать голос Пунина, звучащий в памяти его учеников. Он ушел, а его голос, интонации, слова остались. Ушла и Антонина Николаевна Изергина. Остались ее голос, ее слова о Николае Николаевиче. Мы пытаемся задержать череду уходов, восстановить связи с теми, кто предшествовал нам.

Вот потрепанная книга в сером бумажном переплете, учебник по истории западноевропейского искусства. Что-то деревянное, принудительно-занудное есть в слове «учебник». Кто станет, отодвинув все дела, безо всякой нужды читать учебник — для одного лишь удовольствия, для отдохновения души? Учебник Пунина читать можно. Сейчас по нему не учатся. После него были написаны, приняты, утверждены иные учебники, а этот был запрещен и подлежал уничтожению. Он уничтожался вместе с множеством других, в присутствии специальных комиссий, и члены комиссий расписывались в акте, своей подписью подтверждая, что вредные идеи уничтожены. Перестав существовать как учебник, он превратился в книгу, которую не надо зубрить, в которую можно погружаться. Вот небольшой отрывок из этой книги, где Пунин пишет о картинах Эль Греко:

«Человеческие тела мерцают в каком-то лихорадочном переливающемся свете, возникая одно рядом с другим, сплетенные беспокойным, колеблющимся, как языки пламени, ритмом. Их удлиненные пропорции, их подчеркнутая мускулатура, страстная, нередко экзальтированная жестикуляция, выразительные длинные лица, часто с ассиметрично расставленными и широко открытыми глазами, широкие плащи, извивающиеся так, как будто они живые, золотые и фиолетовые одежды святых, металлические доспехи воинов — все это брошено на поверхность холста в один общий колористический поток, поглощающий весь этот предметный мир и возносящий его наверх, так что создается впечатление, будто сама картина движется, как бы корчась под взглядом зрителя».

Пунин преподавал на искусствоведческом факультете, время приближалось к сороковым годам, когда по Академии прошел слух об очень талантливом художнике, владеющем светотенью почти как Рембрандт, а рисунком почти как Репин. А. Лактионов работал над дипломной картиной «Курсанты выпускают стенную газету».

В солнечном зале на красном ковре стоят молодые военные. Они только что нарисовали стенную газету и теперь весело смеются, поглядывая друг на друга. Чему они смеются? Видимо, в газете есть уголок сатиры, и там, вероятно, нарисована какая-нибудь меткая карикатура. Например, на какого-нибудь противника. Будущего, конечно. Которого предстоит разбить. Курсанты смеются потому, что противника они несомненно разобьют, тем более, что все враждебные элементы среди них уже уничтожены. И зритель в это несомненно верит: у курсантов такой бодрый вид! А в простенке между окнами висит картина. На этой другой картине мирно и уверенно прогуливаются два человека на фоне Кремлевской стены — Сталин и Ворошилов. Их прогулка усиливает ощущение уверенности.

В картине Лактионова как бы вскрывался второй пласт жизни — среди курсантов присутствовал «великий вождь великого дела». Но присутствие его было деликатным, неназойливым, хотя и наводило на приятные и бодрящие мысли. «Я лежу поэтом на диване, ты висишь портретом на стене»,— сказал один безымянный графоман тех лет. Защита диплома прошла блестяще. Единственный человек, выступивший против такой живописи,— Николай Николаевич Пунин.

Война, к которой так весело и непринужденно готовились лактионовские курсанты, наступила быстрее, чем ожидали. Первой из Ленинграда уехала Ахматова. Тяжелобольной Николай Николаевич лежал в стационаре, размещенном в подвале здания Академии. Из Ленинграда Пунины уезжать не хотели, но Академия готовилась к эвакуации. Отправление поезда было назначено на 19 февраля 1942 года.

«Собирались наскоро,— рассказывает Ирина Николаевна,— с ребенком на руках, тяжелобольным Николаем Николаевичем погрузились в вагон. Но поезд отправился на третий день. Были такие, кто, не выдержав томительных дней ожидания, вернулся домой. На этом поезде доехали до Ладоги, потом ехали по льду на автобусах, а потом опять на поезде. Когда поезд двинулся, многие полагали, что отправляемся в Ярославль, там нас ожидал директор Академии, но потом выяснилось, что в Среднюю Азию».

В Вологде была остановка. Именно там была куплена на рынке желтая, красиво шуршащая в руке луковица, с ее помощью надеялись поднять силы ослабевшего Пунина. Простой натюрморт с луковицей припомнился Пунину, когда его, осужденного, провезли по этим же путям, и сквозь щели решетки ему удалось выкинуть из вагона записку, извещающую близких: начинается самое тяжелое — пересылка.

На пути в эвакуацию весной 1942 года казалось, что он умирает. На счастье, в поезде нашлась камфора.

Однажды в запыленном окне возникло целое море тюльпанов невероятного матиссовского цвета. Измученные холодом и болезнями обитатели промерзшего поезда безмолвно смотрели на это цветение. Николай Николаевич тоже молчал и смот-

рел в окно на степь, пытаясь уловить сладкие запахи трав.

В Ташкенте их встречала на вокзале Ахматова. Они не виделись полгода. Анна Андреевна спрашивала про знакомых, но свидание оказалось недолгим. Зато какую череду чувств подняло оно со дна души! Из Самарканда, где обосновались сотрудники Академии, из больницы Николай Николаевич отправил Ахматовой письмо, она бережно хранила его всю жизнь.

«В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки. Все это, я помню, наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем необычным, не сентиментальным умилением, созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай (вообще тогда много было от „Божественной Комедии"). И радовался я не столько за Вас, сколько за мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, и я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован: но что есть Бессмертное и я в нем окажусь — это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне удалось перечитать „Бесов". Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа, как золотая заря среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: „Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и — славой — о, кто бы я ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего" и т. д.

Эти слова почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно — „и славой" — именно, „спокойное счастье". Вы и были тогда выражением „спокойного счастья славы". Умирая, я к нему приближался. Но я остался жить и сохранил и само то чувство, и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть, и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так много раз случалось со мной в жизни. Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня, и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство бессмертного. И я счастлив...

В вагоне, когда я заболел, мне почему-то вспомнился Хлебников, и я воспринял его как самый чистый голос моего времени, по отношению к которому Маяковский что-то одностороннее, частный случай, Вы — не частный случай, но почему-то я не мог соотнести Вас с Хлебниковым, и это до сих пор мне не понятно.

Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас видеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале...».

...И вот они снова собрались в Фонтанном Доме. Казалось, война кончилась, и все страшное осталось позади. На кафедре Пунин ведет курс «Анализ художественных форм». А между тем о форме уже известно: «национальная», а о содержании: «социалистическое».

Однако академический профессор не способен извлекать из своего мозга аварийный набор понятий, такой простой, удобный: гладкие формулировки, пустые внутри, хорошо поддерживающие на плаву. Он может извлекать эти формулировки, может приложить их к чему угодно: к давке в автобусе, к субботнику, но не к искусству. Как не может приложить их к ледоходу на Неве, разламывающему окна аудитории и остановленному у подоконника холодным порывом ветра, к стихам, часто и некстати приходящим в голову, к мучительным мыслям об их авторе, живущем за стеной.

...По утрам, когда домашние еще не проснулись, он лежит и прислушивается к тишине, наполняющей Фонтанный Дом. Многих, кого он любил, за кого сражался, уже нет в живых. Что же все-таки будет? И как все обернется? Где-то в закоулке бдения возникает напоминание о художнике, который нравился именно разухабистым цветом, о Кончаловском, о натюрморте с зайцем — этого зайца Кончаловский, заядлый охотник, утром подстрелил, получив удовольствие от охоты, днем с наслаждением создавал натюрморт, а вечером зайца съел. «Человек создан для счастья...» «Как заяц для натюрморта»,— решает он.

В конце сороковых годов из музея нового западного искусства начинают выносить полотна французских импрессионистов. Грузятся в кузова голубые танцовщицы Дега, виноградники Ван Гога, зеленые сосны Сезанна. А в распахнутые двери морозовского особняка, где находился музей, вносятся рулоны ковровых дорожек, массивные столы, за которыми будет решаться судьба русского искусства. Здесь разместится Академия художеств СССР. Отсюда будут посылаться директивы в Ленинград, в учебный институт, ставший придатком столичного учреждения. В особняке на Кропоткинской отремонтированы кабинеты, чисто побелены потолки. Амуры с лепных карнизов бросают прощальный взгляд на отъезжающих в ссылку французов.

Рассказывают, что незадолго до закрытия музея его посетили президент Академии художеств А. Герасимов и К. Ворошилов, увлекающийся живописью — их связывали не только узы дружбы, но и родственные отношения. Во взглядах на искусство они были на редкость единодушны: музей закрыть, собрание расформировать.

В феврале 1947 года состоялось обсуждение выставки ЛОСХа. В обсуждении принял участие Пунин. Он обратил внимание на крайне низкую художественную культуру участников выставки и отметил, что на этом фоне выделяются лишь небольшие пейзажи художника В. Соколова. Владимир Серов, возглавлявший в то время ЛОСХ — его картины висели как раз напротив пейзажей Соколова,— вскочил, как подброшенный пружиной. Он кричал о наступлении на идеи, об опасности такой критики, которая вносит раскол в стройные ряды ЛОСХа. Казалось, что искусство находится на военном положении и все, немедленно вооружившись, должны встать на защиту... нет, не искусства — на защиту Серова.

В одной из своих статей он писал: «Пунина устраивает только то искусство, которое потеряло признаки всякого здравого смысла: только предельное уродство, маразм и разложение вызывают у него восторг». Статьи Серова множились, умножались и характеристики: «открытый и злобный враг реалистического искусства», «идейный вдохновитель космополитов», «матерый враг советской культуры».

Не отстает и К. Джаков. На страницах «Ленинградской правды» он пишет о том, что учебник Пунина «открыто пропагандирует декаданс, упадочное, развращенное искусство Запада и таких его представителей, как Сезанн, Ван Гог и других. Этих крайних формалистов космополитствующий гурман Пунин называет гениальными, великими художниками».

Пунин читал эти статьи. Он знал, что они означают. Намыливалась веревка. Рука, которой предстояло накинуть эту веревку, укрепляла мускулы.

Осужденное за формалистическое трюкачество искусство наконец-то осознало свою задачу. В мастерских Академии громоздились портреты одного и того же человека и нескольких приближенных: с рабочими-нефтяниками и среди стахановцев, на Царицынском фронте и на празднике авиации, на партсъезде и с тружениками свекловичных полей, в Кремле и у Кремлевской стены. Сталинская премия 1948 года была присуждена А. Герасимову за картину «Сталин у гроба Жданова».

Пунин против сюжетов картин не выступал. В конце концов, Ван Дейк писал вельмож, Рафаэль — папу и кардиналов. Веласкес — королей. Им это не мешало. Пунин выступал против плохой живописи. Почему связь Веласкеса с королем не мешала ему хорошо писать, а связь Герасимова с вождем так дурно отражалась на живописи — таких вопросов Пунин в публичных лекциях не поднимал. Пунин касался чисто художественных вопросов. Именно живописная сторона создающихся полотен подвергалась им откровенной критике. «Все мы,— сказал Пунин на одном из собраний в ЛОСХе,— в силу исторической необходимости — передовые люди Европы, но сказать, что у нас передовое искусство мы не можем». В Союзе он прочел доклад не о последних лауреатах Сталинской премии, среди которых были В. Серов и А. Лактионов, а на тему «Импрессионизм и картина». Это тогда, когда уже всем — даже школьникам — было известно, что импрессионизм — чума, а «просто картины», «вообще картины», картины в отвлеченном смысле слова не существует. Есть картины — высокое достижение, есть высочайшее завоевание, а есть картины-маразм, картины-разложение. И есть художественные критики, которые интересуются этим маразмом — они являются «реакционными и махровыми апологетами гнилой буржуазной культуры».

На третьей сессии Академии художеств избиению подверглись искусствоведы Лазарев, Грабарь, Эфрос, Тугенхольд, Пунин, художники Осмеркин, Фаворский, Тышлер, Фонвизин, скульптор Матвеев.

Верховенствовал на сессии А. Герасимов. Когда-то на выставку АХРРа художник из города Козлова представил портрет Мичурина, великого селекциопера. Методы селекции, вероятно, с тех пор так овладели его воображением, что он перенес их на почву искусства. Он призвал к тщательной прополке, беспощадной борьбе с сорняками, к бдительной охране полей. Сельскохозяйственная терминология была в ходу. «Надо понимать,— говорил Герасимов в заключительном слове,— что добрый злак растет труднее и медленнее, чем сорная трава, и если дать волю сорной траве, она навсегда задушит добрый злак».

Серпы были наточены, и все было готово для жатвы. Герасимов дал знак к ее началу. В 1953 году Пунин писал из лагеря: «Я буду сидеть в Абези до тех пор, пока Герасимов сидит там, где он сидит».

Механизм очищения рядов был Пунину хорошо знаком. В какой-то момент он живо представился ему сочленением рычагов, хорошо промасленных и двигающихся быстро, с аппетитным чавканьем. «А между тем курчавое чело подземного быка в пещерах темных кроваво чавкало и кушало людей» (В. Хлебников).

Летом 1949 года он провожал семью в Прибалтику. На вокзале у поезда в суматохе с вещами, наказами, поцелуями он все же успел взглянуть на черные пятна масла, вытекавшие из металлических поршней паровоза, готовых дернуться по первому свистку. Он обнял дочь и бодро улыбнулся. В один из дней к нему пришла женщина, она работала на кафедре иностранных языков, и он знал ее лишь в лицо. Она предупредила его, что ему нужно срочно уехать из Ленинграда. «Я не заяц, чтобы бегать по России»,— ответил он.

Его арестовали 26 августа 1949 года. Последним, кто обнял его, была Анна Андреевна Ахматова. «И сердце то уже не отзовется на голос мой, ликуя и скорбя. Все кончено... И песнь моя несется в пустую ночь, где больше нет тебя».

Захлопнулась дверь увозящей его машины. И никто больше не знает, что было дальше. Впрочем, знает.

В Москве возле Университета в одном из бесчисленных домов, расставленных на земле, как бетонные сигаретные блоки, живет профессор Виктор Михайлович Василенко. Он — один из тех, кто встречался с Николаем Николаевичем Пуниным в абезском лагере. Голос Виктора Михайловича, свежий для его восьмидесяти с лишним лет, сворачивается в плоской пластмассовой коробочке. «Крутится? Можно начинать?»

«В 1952 году я работал на погрузке угля на шахте в Инте и там тяжело заболел инфекционным гепатитом, а когда стал выздоравливать, я не был пригоден для шахты и меня направили в Абезь. Это на реке Усе лагерь, там я продолжал свое существование. Примерно через неделю мне сообщили, что меня хотят видеть, и вечером тайком повели в один из бараков. Это был барак для тех лиц, престарелых или больных, которые не годны никуда на работу. Помню, меня подвели к нарам, на которых сидел пожилой человек, весь покрыт каким-то странным пледом, голова окутана полотенцем. Лица я не различал, в бараке было полутемно. Я остановился в недоумении. Человек протянул руку и сказал: „Добрый вечер, Виктор Михайлович, узнаете?" Я всмотрелся и тихо произнес: „Это Вы, Николай Николаевич? Как Вы сюда попали?" Вопрос был, конечно, нелепым, и я сразу же сел рядом, сказал: „Вот и я здесь".

Мы с Пуниным были знакомы по Ленинграду, я приезжал туда и слушал его лекции еще до войны, и в Москве с ним встречался раза два-три через искусствоведа Анатолия Васильевича Бакушинского. Я его очень ценил, считал и считаю, что он — блестящий ученый. И вот эта весьма почитаемая мной личность предстает такой неожиданной и мало узнаваемой фигурой. Тогда, впрочем, ничему не удивлялись. Вот так, при таких обстоятельствах мы встретились с Николаем Николаевичем.

Что, собственно, я могу вам рассказать о нашем общении? Мы нечасто общались — днем я был, как правило, на работе, а он был болен и оставался в бараке. Самым близким к нему человеком был Лев Платонович Карсавин, он был профессором философии петербургского университета, затем эмигрировал, жил в Прибалтике, потом преподавал в Берлине, в Париже, в Сорбонне читал лекции по истории средневековой философии, дружил с Марселем Прустом, хорошо знал Матисса, Леже и так далее. Беседы Николая Николаевича со Львом Платоновичем были чрезвычайно интересными. Оба сохраняли какую-то стоическую силу.

Карсавин считал, что искусство родилось из стремления человека к совершенству, он говорил: когда мы общаемся с искусством, мы общаемся с совершенным, делаемся лучше. Это нравилось Николаю Николаевичу и он говорил, вот так — слегка театрально: „а вы знаете, Лев Платонович, это интересная и очень точно сформулированная мысль. Нельзя безнаказанно смотреть на совершенное, сам будешь совершенствоваться, даже если не хочешь".

Николай Николаевич понимал искусство очень глубоко. Он любил касаться третьей, четвертой и последующей, сразу не раскрывающейся внутренней содержательности живописных созданий; он говорил: то, что мы видим и то, что очень многие историки искусства изучают — это поверхность; нужно проникнуть за эту поверхность, то есть „уподобиться", то есть войти внутрь. И добавил: „Правда, это очень трудно, начинаешь задыхаться, как пловец, который у берегов Цейлона ныряет в глубину Индийского океана за жемчужиной. Создания искусства различаются не столько по стилю, сколько погружением в глубину, насколько они погружаются в глубину". Сидящий рядом Лев Платонович Карсавин добавил: „Чем они ближе к Богу". Николай Николаевич не возразил, кивнул головой и пожевал губами. Как-то раз он сказал, что фактически, по существу, по глубине проникновения между Сикстинской Мадонной Рафаэля и женским портретом Пикассо нет никакого различия. „То есть они, конечно, есть, но они несущественны". Сказал, и, как иногда у него бывало, больше не стал говорить, не желая говорить дальше.

Однажды Николай Николаевич спросил: „А знаете, чем различаются Владимирская Божья Матерь и Сикстинская Мадонна?" Я немного смутился, понимая, что на такие вопросы должен отвечать тот, кто спрашивает. Он сказал: „Так вот, милостивый государь (он так иногда обращался ко мне, младшему, и эти слова очень странно звучали, наверное, в бараке, где слышались крики, бормотанье какое-то, мат, кто-то просто бубнил) — разница в том, что когда Сикстинская Мадонна смотрит на вас, то она видит вас таким, каким я вас вижу — в вашем бушлате, с вашими голубыми глазами, видит физически, а Владимирская Божья Матерь не видит вас совсем такого, как вы есть, то есть смотрит на вас и вас не видит, она видит только душу без вашей плоти, сущность, а не физическую оболочку. Вот почему эта икона приписывалась святому Луке: не за ее внешние достоинства, а за сверхчеловеческое прозрение". Это говорил мне тот, кого обвиняли в формализме, в том, что он формально понимает искусство. Я передаю его речь своими словами у меня не было возможности записать его слова, у нас отнимали карандаши и бумагу, их не дозволялось иметь при себе, но то, что я говорю — точно, слово в слово, потому, что этот разговор поразил меня неожиданной мыслью, и я его хорошо запомнил.

Вот такие речи слушал я, сидя сбоку на нарах. Иногда подходили редкие в нашем лагере уголовники, они пристраивались рядом,— тоже любили послушать. Они говорили Николаю Николаевичу, когда тот замолкал: „Вот голова!". И Льву Платоновичу: „У тебя тоже голова". У этих блатных, как ни странно, была тоже тяга к красоте. Однажды Пунин получил из дома второй том Всеобщей истории искусства — первый или второй? — нет, второй том, там, где ренессанс. Этим томом Михаила Владимировича Алпатова он очень дорожил, и вдруг у него этот том похитили. Он, разумеется, очень огорчился. И потом этот том опять появился, блатные ему вернули его. Когда Николай Николаевич стал его листать, то „Венеры" Джорджоне там не оказалось. Очень понравилась Венера, ее осторожно оттуда выдули. Потом вдруг ее кто-то обнаружил в кабинете начальника режима, оперуполномоченного, забыл, как его фамилия — что-то вроде Медведев, она висела у него в БУРе (бараке усиленного режима). Он, видимо, экспроприировал ее у блатных. И вот как-то раз сидели мы у Шапшая, художник такой был у нас, номера рисовал на одежде, и у него каптерка маленькая была, где он работал, сидим мы в этой каптерке, укрывшись от начальства, и вдруг дверь распахивается и — силы небесные! — наш оперуполномоченный, Медведев этот; мы вскочили, испугались страшно, но Медведев рукой махнул: „Ребята, ша! Все спокойно! Ничего плохого!" И вынимает из рулона, который был у него под мышкой, нашего Джорджоне и спрашивает Шапшая: „Можешь мне копию сделать?" Тот говорит: „Могу (у нас в лагере все было можно). Но у меня красок нет и холста".— „Вот тебе краски, вот холст, чтобы к завтрему было готово". Шапшай говорит: „К завтрему не выйдет, так скоро не могу".— „А когда можешь?" — „Через неделю". Уходя, этот Медведев дал нам по пачке махры и по куску хлеба. Шапшай принялся за работу, написал эту даму: представьте кустодиевскую купчиху в духе примитива, жирная такая, ядреная, небо — синькой, и зелень луга — вырви глаз. Оперу очень понравилась, но он уже нам махры не дал и хлеба тоже...

А историю искусства Алпатова второй том Пунин подарил мне. Мне очень хотелось смотреть эту книгу, я завидовал Николаю Николаевичу, считал его обладателем бесценного сокровища. Он отдал мне эту книгу. Когда я вернулся из лагеря, я возвратил ее в семейство Пуниных.

...Действительность, которая нас окружала там, была жестокой, но в ней была своя красота, природа была по-своему интересной. Красота природы как-то оберегала нас, оберегали, спасали стихи, они уводили прочь, создавая защитные формы существования, как бы ограждали.

Да... О чем еще сказать? — О смерти. Мы были вдвоем с Юрием Константиновичем Герасимовым, сидели в бараке, кто-то прибежал, позвал, сказал, что Николаю Николаевичу плохо. Мы бросились к нему, положили его на носилки (по-моему, он был без сознания, если мне не изменяет память) и понесли в лагерную больницу. В больничный барак. По-моему, на другой день он скончался. Утром. Похоронили его в Абези, как всех. Нас хоронили без ящиков, в одной рубашке, на которой был номер, клали прямо в землю, в яму, выдолбленную в вечной мерзлоте. Так что, когда настанет последний день и труба возовет на Страшный Суд, ни Николаю Николаевичу Пунину, ни Льву Платоновичу Карсавину не надо будет собирать свою плоть».

...Я возвратился в Ленинград. Передавая Ирине Николаевне Пуниной пленку, я спросил о книге Алпатова «Всеобщая история искусства»: не знает ли она, где эта книга. Ирина Николаевна достала том, переплетенный в холст, и, раскрыв его, я прочитал: «Милому Виктору Михайловичу Василенко во искупление абезских обид на светлую память Н. Пунин. 1951, май. Абезь».

В очерке использованы архивные материалы, любезно предоставленные автору И. Н. Пуниной

ПИСЬМА
АРИАДНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЭФРОН

8 апреля 1952 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Поздравляю вас с наступающим праздником, целую вас, желаю вам, чтобы вы встретили его хорошо, радостно, и, встречая, не забывали бы вспомнить маму, папу, Мура и меня, всех нас, всю семью объединили в ваших сердцах и мыслях в этот день...

Посылаю вам две плохоньких картинки — на одной — ранняя наша весна, на второй — маленький тунгус с лайкой. Обе картинки нарисованы плохо, но в какой-то мере похожи. А на собаках здесь возят воду и дрова, они все очень кроткие, не лают, несмотря на свое имя, и не кусаются. Их здесь великое множество, причем часть из них дежурит у магазина, где продают хлеб. Стоят на задних лапах и выпрашивают довески.

Лилину открытку получила на днях, рада, что у вас, видимо, все в порядке. Обычно, долго не получая от вас известий, очень беспокоюсь, не заболели ли. У нас тут многие болели каким-то жестоким гриппом, и я все боялась, что м. б. в Москве тоже грипп и Лиля болеет, я ведь знаю, как она его тяжело переносит.

У меня все по-прежнему, началась предмайская подготовка, но эта работа уже привычная, и поэтому не кажется такой интересной, какой была предыдущая, к гоголевским дням. Фотографий у нас, конечно, нет, если вам интересно, могу прислать мои эскизы. Опять с весной подходят мои волненья — с открытием навигации и до осени клубная работа обычно сокращается, вот и боюсь, как бы с ней вместе не «сократилась» и я. А ведь Ада моя без работы с 1 января, живем на мой заработок, так что мне остаться без работы совершенно невозможно... Вот уж никогда не думала, что мне придется тревожиться о хлебе насущном! И правда, останься я в Рязани, так давно прочно встала бы на ноги, а тут все время хвост вытащишь, нос увяз, нос вытащишь — хвост увяз, и т. д. А главное, совершенно не умею жить бесперспективно, без завтрашнего дня, да это и в самом деле очень трудно, и очень размагничивает день сегодняшний! Ведь корни идут из прошлого, ветви — в будущее, а у меня получается ни то, ни се — обрубок, чурбан какой-то! И людям мне стало трудно писать — всем, кроме вас. Описывать северную природу не всегда хочется, а о самой себе, об условиях жизни и работы — получается довольно нудная повесть, которая может звучать как намек о том, что я, мол, нуждаюсь в помощи, а это впечатление производить — ужасно неловко и неприятно. Вообще же — ну, сколько раз человек может тонуть? Ну раз, ну два, но не может же он постоянно находиться в состоянии утопления — могут вполне справедливо подумать мои корреспонденты — все, кроме вас! Да по сути дела корреспонденты мои раз, два и обчелся! Да и не в них дело, дело в самой себе, в том, что нарушено какое-то внутреннее равновесие, и все время заставляешь себя жить и действовать так, как будто бы никто и ничто не думало его нарушать.

А дни у вас стоят один другого краше и ярче, и длиннее, но солнце почти совсем еще не пригревает. В этом году, наверное, не будет такого сильного наводнения, как в прошлом, зима была не очень снежная. Прошлой весной Енисей плескался у самого нашего домика, и мы очень волновались, не хуже его самого!

Зинуша, мне более чем стыдно утруждать Вас своими неиссякаемыми просьбами, но больше некого! Если только будет возможность организовать мне посылку, то очень попрошу прислать мне или мамин большой синий платок, или клетчатый плед, который оставался у Нины. Дело в том, что мне совершенно нечем застилать постель, зеленое одеяло, которое взяла с собой, износилось совершенно, а покупать новое не по средствам, да и нелепо, если осталось еще что-то свое. Кроме того, мне очень нужны две акварельные кисти — 1 средняя и 1 маленького размера, и две плоских кисти для живописи, прибл. 4-6 №, для писания некрупных шрифтов. ⟨...⟩

Плакаты и портреты получила все и вовремя. Еще раз спасибо!

Крепко, крепко, крепко целую вас, мои родные, и люблю.

Ваша *Аля*

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 4, 5.

12 июля 1952 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Так давно ничего от вас не получала, что начинаю серьезно беспокоиться о вашем здоровье, а кроме того, до сих пор не знаю вашего дачного адреса, и боюсь, что мои весточки подолгу залеживаются в Москве. Так хочется хоть вкратце знать о вас, о вашем самочувствии, о вашем лете. Бесконечно много думаю о вас, и хоть мы в разлуке, и, по сути дела, так мало были вместе за нашу жизнь,— вы обе все глубже и полнее раскрываетесь мне — и во мне. Несмотря на расстояние, несмотря на то, что письма ваши так редко ко мне приходят... Очевидно, каждая человеческая встреча бросает семена в нашу душу,— немногие дают всходы, и еще меньше приносят плоды. Причем никогда не знаешь, что за растения и что за плоды дадут эти семена! И самой мне и странно, и сладко сознавать и ощущать теперь, столько лет спустя, и глубину корней, и прелесть цветения в душе моей «встречи» с Вами, Лиля. Пусть звучит смешно — какая же это «встреча», когда Вы знаете меня с моего рождения... И долго и бледно рос во мне этот стебелек — Лиля — среди цветов и дерев моего детства и моей юности, креп незаметно и рос незримо, и в дни печальной зрелости моей оказался дивным, бессмертным растением, опорой и утешением, родством души моей. И незаметно для меня вплелись в Ваши корни и корни Зининого дерева, стали едины во мне, обе родные, обе вложившие в меня лучшее свое, и лучшее, доставшееся вам от старших. Чудесная тайна душевного зерна! Из одного вырастает тоска и опустошение, из другого — противоядие всех зол, сила и любовь.

Простите мне эту лирическую ботанику, просто очень о вас соскучилась.

Лето наше холодное, но все же пока с хорошими проблесками солнца, окрашивающего все окружающее в невероятные, какие-то субтропические цвета.

Но все же в одном платье ходить не приходится — холодно. Весна была совсем неудачная, похожая на позднюю осень, ну а лето — вроде ранней осени, только пока еще без желтизны. Пока я вам пишу, рабочие (соседи, плотники — отец и сын) разламывают стены и разбирают крышу нашей кухни, одна стена которой прогнила, ну а крыша вообще превратилась в труху. Приходится частично перестраивать. Это только написать просто — «перестраивать», а для того, чтобы добыть необходимый строительный материал пришлось нам с Адой повалить в лесу, далеко, за несколько километров, 22 сосны, с невероятным трудом добывать грузовую машину, грузить и вывозить ночью лес, таскать на себе мох, землю, опилки и т. д. Потом, когда плотники закончат, будем штукатурить, белить. А как трудно было доски достать на крышу. Для пола еще не достали. И, конечно, все обходится очень дорого, и, конечно, стоит много сил. Ну, и кроме основной работы, кроме очередных бытовых дел, кроме строительства предстоит еще заготовка дров, энное количество воскресников «по благоустройству райцентра» и, финалом летнего сезона — месячная поездка в колхоз на уборочную. Впрочем, все это мало интересно. В свободные минуты с неизменной проникновенной радостью перечитываю Чехова — рассказы и «Сахалин». В том же томе, где «Сахалин», есть заметки о Сибири, и в них чудесные строки об Енисее.

Цветы растут, но неохотно — холодно им. Цветут поздно, в прошлом году только что зацвели маки — и снег.

Была сегодня в лесу, ходила за мхом для прокладки между бревнами в кухонной стене. Кроме мха и комаров ничего не заметила! Крепко, крепко целую вас и очень люблю, мои дорогие.

Ваша *Аля*

Пришлите адрес!

8 ноября 1952 г.

Дорогие мои Лиленька и Зина! Спасибо за открытки, деньги и телеграфное сообщение о здоровье Бориса. За все, за все спасибо, родные мои. Как я рада за Бориса, что он поправляется [1], какой это камень с души, но еще не вся гора. Я в вечной тревоге за вас и за него и вечно Бога молю, чтобы вы были живы и здоровы. Кажется, да может быть так оно и есть, в вас заключена и моя жизнь, во мне и ваша, настолько болезненно переношу все ваши болезни, настолько вместе с вами оживаю, когда вы поправляетесь. Вы знаете, я даже не очень огорчилась, узнав, что ту, клубную, посылку из Москвы не приняли, настолько ругала себя за посланную Вам эту просьбу. Я ведь лучше других знаю и понимаю, насколько трудно вам каждое лишнее усилие.

Чувствую я себя эту зиму не очень-то важно, ужасно переутомлена, до того даже, что мне, при моем неизменном аппетите и есть больше, чем раз в сутки, не хочется. Работаю, работаю, просто из кожи вон лезу, чтобы только отдалить ту минуту, когда моему начальству захочется снять меня с работы. Конечно, это — не единственный смысл в моей работе, вы сами знаете...

Зима в этом году такая холодная, что когда после сорока и пятидесяти градусов морозов вдруг выдается какой нб. двадцатипятиградусный денек, нам кажется, что

весна наступила! Топить можем только раз в сутки, т. к. обе работаем с утра и до вечера без обеденного перерыва, и наш домишко промерзает насквозь, стены (внутри) в снегу, вода на полу замерзала, кот сидит в духовке, а собака явно грелась на кровати. К тому же темно 22 часа из 24 возможных, и глаза болят от непрерывного керосинового, притом же недостаточного — освещения. Подумать только — это моя четвертая зима здесь! Очень приятно! (...)

В кино не хожу почти никогда, м. б. оттого, что оно у меня под боком, и мне слышно все звуковое оформление, все диалоги каждой картины. Наши концерты и постановки не смотрю никогда, чтобы не расстраиваться, т. к. всегда что нб. да не так! Но за кулисами бываю часто, и все равно расстраиваюсь оттуда. По части всяких сценических неполадок одну, забавную, рассказал мне наш художественный руководитель: на одном любительском спектакле герой поцеловал героиню так крепко, что его чересчур сдобренные клеолом черные усы оказались приклеенными на ее лице. Пришлось закрыть занавес, публика же не могла успокоиться в течение двадцати минут.

Сейчас у нас готовится «Женитьба» Гоголя, несколько одноактных пьес, концерт ко дню рождения т. Сталина и программа к новогоднему балу-маскараду. Работы уйма, особенно у меня (декорации, костюмы, фотомонтажи и выставки, лозунги, плакаты, рекламы). Если успею, вложу в это письмо несколько новогодних картинок, чтобы вы поздравили кого захотите. Если нет — вышлю следующим письмом.

Целую вас крепко и люблю.

Ваша *Аля*

Слышно ли что про Нину, Кузю, Мульку? Где и как они?

---

[1] В октябре 1952 г. Б. Л. Пастернак перенес инфаркт миокарда.

2 января 1953 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Наконец, могу хоть немного поговорить с вами, после многих и многих дней отчаянной работы в условиях отчаянной здешней зимы. Во-первых, огромное спасибо за снег, бахромки и елочных зверей (последние пришли как раз 30 декабря в целости и сохранности). Какие очаровательные игрушки, еще не видела таких. Их я, конечно, оставила себе. К сожалению, снег дошел не весь, два конверта, в одном из которых, судя по Вашему письму, должен был быть счет, пропали. Очень подозреваю, что пропали именно здесь, но, увы, доказать ничем не могу. Напишите хотя бы так, без счета, сколько стоили бахромки и снег, наш директор обещал все равно оплатить и просит передать вам свою благодарность за внимание к нашему далекому Дому культуры.

Такой холодной зимы, как эта, мы еще не переживали здесь. Все время температура колеблется между 40° и 50°, с достаточно сильными ветрами. Снега пока что, по сравнению с прежними годами, очень мало (по здешним, конечно, понятиям!), что имеет свои преимущества, т. к. ходить можно по хорошо утоптанным дорожкам и тропкам, не проваливаясь то по колено, то по пояс в очередной сугроб. Но холодно почти что нестерпимо, «почти что» потому, что нет такого холода, которого не преодолевал бы русский человек. Так же возят дрова из леса, сено из-за реки, воду из Енисея, так же ходят в школу и на работу. В нашем же клубе как раз в период подготовки к Новому году совсем не было дров и пока дирекция с величайшим трудом добывала их, мы все работали в помещении, где стояла такая же стужа, как на улице, только разве что без ветра. Больше всего доставалось мне, которой почти всегда приходится работать на полу, т. к. обычно размеры рисунков, плакатов, лозунгов, декораций не позволяют расположиться на столе. Краски и вода замерзали немедленно, кисти превращались в ледяные несгибаемые, да и сама я превращалась в сосульку. На все огромное здание горела одна железная печурка, да и то с большими перерывами. В таких тяжелых условиях пришлось готовить все новогоднее, праздничное, сказочное, веселое оформление. Только в последние дни декабря удалось наладить отопление, и теперь все слава Богу! Со всеми своими «оформительскими» задачами справилась, правда, с большим трудом и напряжением. Ведь вы представьте себе — после 12—14 часов работы на таком морозе приходишь домой, где тоже все застыло, колешь дрова, затапливаешь печь, с нетерпением ждешь тепла, а оно приходит так медленно! И надо еще и готовить, и стирать, и прибрать, и все на свете! А тут еще под конец года у нас оказались по всем статьям израсходованы все средства, очень задержали зарплату — одним словом, все одно к одному. Ада тоже работала очень много, приходила поздно, бились мы, бились, и наконец, кое-как спровадили этот несчастный холодный декабрь. Теперь верим и надеемся, что 1953 будет для нас всех теплым, добрым, милостивым!

Сегодня у меня, наконец, выходной день, после стольких дней рабочих. Я сижу в одной ночной рубашке и пишу вам, ожидая, пока согреется вода (вернее — талый снег!) для мытья головы и всей собственной персоны. Время — уже двенадцатый час,

но пишу еще при лампе. День начинает немного прибавляться, о чем знаем пока что из календаря, а так, простым глазом, еще не видно. И все же скоро настанут белые ночи, вернее — сплошные, круглосуточные, дни, которые так же надоедят, как сплошная зимняя ночь.

Новогодние праздники у нас в клубе прошли удачно, своим оформлением я в общем довольна, т. е. на нем нет и следа тех климатических трудностей, которые приходилось преодолевать, осуществляя его. С большим трудом, чуть ли не со «слезьми» удалось выпросить в одном магазине 30 метров коричневой оберточной бумаги по 5 р. килограмм. (Другой бумаги вообще в природе нет!) И вот на этом фоне я расположила маскарадные фигурки, пляшущие вокруг елок, пляшущих же Дедов-Морозов, разбрасывающих подарки, звезды и всякое новогоднее волшебство. Так были украшены большими панно все стены фойе; в зале же были просто флажки да снежки, нанизанные на нитки и поднятые к потолку. Елки были две, по обеим сторонам сцены. Украсить их удалось неплохо, а вот с освещением их вышло неважно, т. к. были только обычные, комнатные лампочки, слишком для елки яркие, заглушавшие все игрушки и украшения. На сцене повесили два задника — на первом, темном, был 1952 год — Дед-Мороз, уходящий — и большой листок календаря с датой 31 дек. В полночь этот задник отдернули, и на втором, красном, появился Новый год — ребенок, летящий на самолете в сопровождении голубей мира, и листок календаря с датой 1 января.

Особенно удачно прошел у нас вчера детский бал-маскарад. Чудесны были праздничные, умытые ребятишки, с такой радостью игравшие во все игры, так тепло встречавшие наших артистов, с таким восторгом перебивавшие Деда-Мороза! Были чудесные костюмы, Крокодил, Слон, Заяц, Охотник, Рыбак, ну и, конечно, множество Голубей мира, Снежинок, Снегурочек и т. д. Сами дети тоже много выступали, читали, пели, плясали, некоторые очень хорошо. В общем, все остались довольны, и у меня как-то потеплело на сердце после этого праздника — без пьянки, без хулиганства, без всего того, что в здешней глуши так часто уродует каждый праздник.

Причем были все возрасты детства, и такие товарищи, которые еле-еле выучились ходить самостоятельно, и мальчуганы с ломающимися голосами и пробивающимися усиками, и девочки, робко и гордо несущие свою пробуждающуюся девичью красоту, и милые существа в марлевых костюмчиках, существа, с одинаково угловатыми движениями, одинаково звонкими голосами, не мальчики и не девочки, а просто «дети».

Новый год мы с Адой встретили вдвоем, начерно, усталые, но дружные, немножко выпили, немножко закусили и легли спать сейчас же после того, как Новосибирск поздравил нас с Новым годом по радио. Собираемся еще раз встретить его хоть по старому стилю, по-настоящему, с елкой, чистые, отдохнувшие и даже нарядные. Надеемся, что нам это удастся. Ведь из-за моего расписания работы мы никогда ничего толком не празднуем!

Вот сколько наговорила вам всякой всячины. Пора заканчивать. Спасибо вам, дорогие, за подарки, письмо, за новогоднюю телеграмму. Все пришло как раз к празднику. Еще раз поздравляю вас с Новым годом и желаю большого, большого счастья. Спасибо вам за всю вашу доброту, за всю вашу любовь, за вечно молодое и отзывчивое ваше сердце, за то, что вы — моя семья.

Очень продолжаю беспокоиться о Борисе, хоть и радуюсь вестям о том, что он поправляется, но какая это мучительно-долгая история и как ему, наверное, тоскливо в больнице!

Крепко целую вас и люблю. Пишите!

Ваша *Аля*

16 марта 1953 г.

Дорогие мои, как была счастлива, получив вашу телеграмму, ведь с самого начала года не имела от вас ни строчки и безумно волновалась. Слава богу, что вы, поелико возможно, здоровы, а больше мне ничего и не нужно от вас, лишь бы были здоровы! Хоть и знаю, что здоровье ваше состоит из сотни болезней, а все же обрадовалась.

У нас потеплело, мороз около — 15 °, и кажется — жарко, душно, трудно дышать — честное слово! Солнце начинает пригревать, дни — длиннее, скоро прилетят первые здешние птицы — снегири, похожие на белых воробьев, трогательные предвестники той необычайной катавасии, которая здесь называется весной. Сейчас, пожалуй, самое для меня приятное время года — уже не холодно, еще не тепло, не тревожат душу плеск воды, шум птичьих крыльев, гудки пароходов, мороз уже не сковывает, ночь не угнетает, день не будоражит. И было бы хорошо и тихо на душе, если бы тихо было в мире. Но увы, это совсем не так...

Эти дни особенно много работала над декорациями к пьесе «За вторым фронтом» [1], которая у нас вчера, наконец, была поставлена. Декорации, учитывая наши весьма

ограниченные возможности, получились неплохие, но я никогда не бываю вполне довольна своей работой, хоть и лезу из кожи вон, чтобы сделать хорошо. Меня до сих пор выручают присланные вами краски, кисти. Ваша забота всегда со мной. Спасибо вам за все.

9 марта мы вместе со всей страной провожали в последний путь товарища Сталина. Все население села собралось на маленькой площади перед трибуной, слушали траурный митинг на Красной площади, и Москва была близко, как никогда. Всем было очень грустно, многие плакали, особенно во время речи Молотова. Странным казалось все это, нереальным, и эти траурные знамена, и имя Сталина в сочетании со словом «смерть» — взаимоисключающие слова! Вообще же смерть я пойму, наверное, тогда, когда сама умирать буду. А так — все ушедшие мне дороги, все равно живут, во мне и со мною.

На душе у меня все время грустно-грустно, хоть я и бодра, и, вероятно, даже внешне жизнерадостна. А как хотелось бы посидеть рядом с вами, поговорить, и может быть даже помолчать, просто побыть рядом. Тут ведь так далеко, так отчужденно и одиноко!

Сейчас уже поздняя ночь, очень тихая и темная. И звезда с звездою говорит. Крепко целую вас и люблю, мои дорогие. Всегда всей душой с вами. Пишите хоть открытки, хоть изредка, я ведь очень о вас беспокоюсь. Скоро напишу еще и, надеюсь, менее непутево.

Ваша *Аля*

---

[1] Пьеса украинского советского драматурга В. Н. Собко.

6 апреля 1953 г.

Дорогая моя Лиленька! Ваше письмо с цикламенами получила в субботу накануне Пасхи. Очень ему обрадовалась — еще бы! Первое письмо за этот год! Но зато огорчило состояние Вашего сердца и этот припадок. Т. к. сейчас опять все медицинские светила на своих местах [1], надеюсь, что сердцу Вашему будет лучше! Моему, определенно, стало легче. Страшно было представить себе возможность существования такой дикой группы в наше время и, главное, в нашей стране. И радостно, что сумели разобраться и что виновные будут наказаны.

Лиленька, Вы пишете об амнистии и о том, чтобы я написала о себе Ворошилову. Амнистия ко мне не относится, и Ворошилову я писать не буду. Я не одна в таком положении, и «дело» мое никого не заинтересует. Кроме того, по-честному говоря, я не считаю, что вообще могу подойти под какую-либо амнистию, т. к. вины никакой за собой не знаю, и «простить» меня нельзя! Но вот Асе может быть облегчение, т. к. я слышала (но не знаю еще, насколько это достоверно), что инвалиды будут иметь право на выезд. Это было бы чудесно, ей ведь там так тяжело живется! И Юз должен получить «чистый» паспорт; у него ведь срок был всего 5 лет. Придется Нине «обратно» менять свою квартиру, а это ведь очень сложное дело! ⟨...⟩

Весна приближается. Два дня у нас было чуть выше нуля, начало таять, мы все растерялись — рассчитывали еще на по меньшей мере месяц морозов. Светло уже до 8 1/2 вечера, можно лампу не зажигать. И солнце сквозь стекла подогревает, зеленый лук растет вовсю. А главное, и небо и снег днем наливаются какой-то особой, спелой, сливовой синевой, и чувствуешь — вот-вот вода, вот-вот весна!

Снег покрыт тонкой корочкой льда, и ребятишки ожесточенно катаются с гор на санках. Уже настолько тепло, что на свет божий выбираются самые малыши, бледные, как картофельные ростки. Здесь ведь зимы настолько суровы, что самые маленькие от осени — до весны безвыходно сидят дома.

Пасху мы немножко справили — Ада спекла куличик, наши две несовершеннолетних курицы снесли за три недели три яйца, и в субботу удалось достать немного творога, так что все было честь-честью, даже с вашими цикламенами.

Читать не успеваю, в кино не хожу, нигде, кроме работы не бываю, но зато постоянно мысленно говорю с вами и, выговорившись, сажусь за письмо. Ну, и выходит, что писать почти нечего.

Крепко целую вас и люблю, дорогие мои, постоянно с вами и, здравому смыслу вопреки, все равно верю, что мы встретимся!

Ваша *Аля*

---

[1] 4. 04. 1953 в «Правде» было помещено сообщение Министерства Внутренних дел о реабилитации группы врачей, обвинявшихся «во вредительстве, шпионаже и террористических действиях в отношении активных деятелей советского государства». В числе реабилитированных был упомянут проф. П. И. Егоров, в течение многих лет лечивший Е. Я. Эфрон.

15 июня 1953 г.

Дорогая Лиленька! Сегодня, наконец, после очень долгого перерыва, получила сразу от вас две открытки и письмо, а также письмо от Нюти. Спасибо сердечное Вам обеим за вашу неизменную заботу и любовь. Насчет заявлений, о которых вы пишете, скажу вот что: во-первых, многие уже отсюда писали, и уже получили ответ, отрицательный, все, как один. Во-вторых: *мое* «дело» как таковое, лично мое, конечно, существует, соответствующим образом оформленное много лет тому назад. Тем не менее, мое твердое убеждение таково: это «мое» дело» — пустая проформа, все заключается в том, что я дочь своего отца, и от отношения к нему зависит и отношение ко мне. Я не сомневаюсь в том, что до этого, основного, дела, доберутся, как и до тех, кто его в то время разбирал или запутывал. Тогда и только тогда решится и моя участь. Писать же об этом я не могу, т. к. дела не знаю совершенно, могу лишь догадываться. Мое же дело настолько стандартно, что я рискую только получить стандартный же отказ, и на том успокоиться. Так что, короче говоря, нет у меня ни малейшего желания писать, ибо это будет не по существу, а написать по существу также лишена возможности, т. к. более чем нелепо основываться на предположениях и догадках, как бы ни были они близки к истине. Еще буду думать, м. б. соображу, как, в какой форме я могла бы написать именно об отце? ⟨...⟩

Тяжелый этот год, с болезнью Бориса и авт. катастрофой Дм. Ник.[1] Я как раз много-много о нем думала и вспоминала его: готовила выставку о Пушкине и поместила туда две фотографии Дм. Ник.— из «Путешествия в Арзрум» [2] и читающего — долго берегла их, вырезав из старых «Огоньков». И как-то эти карточки много мне напомнили — хорошего, светлого, истинного. Не помню, рассказывала ли я Вам, что давно, в 39—40 году, идя по длинным этим коридорам,[3] я увидела афишку с объявлением о Митином концерте в их клубе, и была довольна этой встречей хотя бы с его именем... Надеюсь, что все будет хорошо с ним, дай Бог!

Ледоход у нас прошел благополучно, писала Вам о нем во всех подробностях, повторять я не буду, не потому, что сказать нечего, а — безумно некогда. Холодно у нас нестерпимо, еле-еле пробивается травка, все время ждем, не дай Бог — выпадет снег. Отвоевались с огородом, картошка показывает крохотные листочки. Устали неимоверно, но обо всех подробностях (бытовых) нашей весны — в следующем письме. А пока крепко целую вас, мои дорогие, желаю отдохнуть и поправиться, и чтобы все было хорошо. Поцелуйте и поблагодарите от меня Нютю, когда она приедет. Как я устала и как мне все здесь надоело! Кстати, с открытием навигации здесь свирепствуют амнистированные, население не в восторге от поведения некоторых из них, видимо, стремящихся обратно!

Еще целую.

Ваша *Аля*

---

[1] В мае 1953 года Д. Н. Журавлев в тяжелой автомобильной катастрофе получил глубокое черепное ранение и перелом обеих ног.

[2] Д. Н. Журавлев исполнял роль Пушкина в фильме «Путешествие в Арзрум» (1937 г., реж. М. З. Левин).

[3] Т. е. на Лубянке.

25 августа 1953 г.

Дорогие мои, часто пишу вам, да не знаю, доходят ли до вас мои письма, т. к. весточек от вас почти не поступает. За все лето получила от Лили одну открыточку, а от Зины вообще ничего. Надеюсь, что все у вас хорошо, насколько возможно,— часто мысленно разговариваю с вами, даже во сне вас вижу, а больше ничего сделать не могу для того, чтобы вам и к вам быть ближе.

У нас осень, холодно, уже были заморозки. Случаются чудесные ясные и яркие дни, когда природа раскрывается во всей своей простоте и мудрости, а потом опять наползают тучи и не разберешь, что к чему. Хожу в лес — он желтеет на глазах — так хочется остановить падение листьев, увядание, бег времени! Много ягод — наварила черничного и голубичного варенья, собрала ведро брусники. Далеко в тайгу не хожу, боюсь заблудиться, плохо ориентируюсь в лесу, увлекаясь ягодами, теряю направление и забываю, где право, где лево!

Лето было жаркое и сухое, все лесные болотца пересохли, только на дне маленьких озер осталось немного воды. Летом коровы ходят пастись в тайгу (пастбищ тут нет), заходят далеко, за много километров, и лес, куда редко люди заходят, полон тропинок, протоптанных скотом. Попадешь на такую тропку и непременно она тебя приведет к какому нб. совершенно тебе не нужному водопою.

Хорошо сейчас в лесу! Уже никто не кусает — комары исчезли, пропадает и мошка, не переносящая холода — никто не мешает любоваться кедрами, соснами, лиственницами, березами, никто не мешает вспоминать, думать и даже мечтать по-детски. По-прежнему много работаю, несмотря на то, что получила отпуск. Взяла заказ на оформление клуба — не нашего, а другого, небольшого, профсоюзного — те же лозунги, плакаты, монтажи, диаграммы, так что отдохнуть не придется, но денег подработаю рублей 300. Осенью их уходит особенно много, т. к. все приходится закупать па зиму, и топливо, и овощи, и сахар покупать на зимнее варенье, и т. д. Потом зимой легче в этом отношении. В этом году нам обещают электричество, привезли мощный локомобиль, и как будто бы будут снабжать электроэнергией все село. Вот было бы хорошо, а то у меня от керосинового освещения очень устают глаза, трудно постоянно работать при лампах, да и возни много с керосином.

Ночь постепенно прибавляется, но дни еще большие. Как не хочется расставаться со светом, залезать в долгую зимнюю темноту! Я ведь уже пятый год здесь — время идет беспощадно! 31 августа будет мамина годовщина [1], я надеюсь, что в этот день вы с Зиной вспомните о ней теплее, чем это могу здесь сделать я...

Я маму особенно вспоминаю в лесу — она так любила природу и так привила мне любовь к ней, что сама для меня как бы растворилась во всем прекрасном, не человеческими руками созданном. Если только погода позволит, 31-го пойду в золотую тайгу и там одна вспомню маму.

Ну вот, дорогие мои. Крепко целую вас и люблю. Отдыхайте и поправляйтесь, и, главное, будьте здоровы.

Ваша *Аля*

---

[1] 31 августа — годовщина смерти М. И. Цветаевой.

12 октября 1953

Дорогие Лиля и Зина! Сегодня, наверное, последний мой выходной день до ноябрьских праздников, и поэтому хочется воспользоваться им и немного поговорить с вами. У нас все еще стоит небывалая осень — ночные заморозки быстро исчезают утром, стоят теплые, иногда немного дождливые дни. В прошлом году снег выпал числа 25-го сентября и больше не стаял, а в этом году мы его еще и не видели по-настоящему. Кончилась навигация, прошли последние пароходы, а на Енисее еще ни льдинки, и мы до сих пор полощем белье в реке. Только ночи по-зимнему длинные, да все короче делаются дни. Природа проделала все, что ей по календарю положено, опали листья, завяли травы, и все стоит голое и удивленное тем, что нечем прикрыть наготу. Только жаль, что я всегда так занята и некогда сходить в лес, я так люблю его ранней весной и поздней осенью, когда он стоит творческой схемой, до мельчайших подробностей продуманным замыслом, не приукрашенный листвой и цветением, не озвученный шорохами и шелестами. Да что говорить — всегда и всяким люблю я его, в любое время года!

А живу я как-то нелепо и всегда наспех, нет времени на то, чтобы хоть когда-нибудь, хоть над чем-то сосредоточиться. Это меня мало трогало бы, будь я помоложе, но после сорока впереди остается мало, ужасно мало *творческого* времени, и поэтому обиден каждый день жизни, раздробленный и размолотый мелочами. Много работаю, а все без толку, и все сделанное проходит бесследно, как уходит вода, ежедневно приносимая мною с реки. Все же на редкость нелегкая досталась мне судьба, и не в том дело, что просто нелегкая, а в том, что тяжесть эта — бессмысленна, как говорится; ни себе, ни людям! Ну, не буду больше ворчать, слава Богу, хоть это-то не в моем характере. Учитывая мою тяжелую долю, создатель для равновесия дал мне легкий характер, с которым, авось, и доживу до лучших дней. Еще и еще хочется мне благодарить вас за ваши посылки, за такую внимательную вашу заботу. Все, что меня окружает красивого и приятного, все, что у меня припрятано вкусного для всяких знаменательных дат — все прислано вами. И тем более всегда обидно, что мы так далеко друг от друга — вещи близко, а люди далеко. И все разговоры — только мысленно и только во сне! Прямо мистика какая-то.

Сейчас перечитываю «Анну Каренину» и вновь эта вещь хватает меня за душу — в который раз! Между прочим, последняя прозаическая вещь Бориса [1] напоминает мне Толстого, и не могу уловить чем, и в чем сходство и родство двух таких разных писателей. Впрочем, может быть и сходства нет, а сама я лишь теперь по-настоящему доросла до обоих, и мое взрослое и зрелое восприятие роднит их для меня? Нет, есть родство, есть, есть, но для того, чтобы мне найти ключ к нему, как раз и нужно сосредоточиться, как раз и нужно побродить одной по первозданному лесу, притихшему в ожидании зимы. Ах, какой предварительной работы требует всякое откровение, и сколько сил нужно положить на то, чтобы Сезам открылся!

Когда наберетесь сил на очередное послание, непременно напишите мне. Я не знаю, в Москве ли вы уже, или еще на даче, я это — второе письмо, которое пишу вам по московскому адресу. Да, Лиленька, читали ли Вы Говарда Фаста «Последняя граница» и «Дорога свободы» — мне очень понравилось, я раньше читала только коротенькие его статьи в «Литер. газете». Недавно слышала Наталью Григорьевну [2] по радио, мне нравится, как она читает ⟨...⟩ Крепко целую вас и люблю.

Ваша *Аля*

---

[1] Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго».
[2] Н. Г. Ефрон (1896—1973), актриса театра и кино, чтица; подготовила с Е. Я. Эфрон ряд концертных программ.

10 ноября 1953 г.

Дорогие мои Лиля и Зина! Простите, что не поздравила вас с 36 годовщиной Октября — это не забывчивость и не невнимание. Я дней за десять до праздников заболела, простудилась во время воскресника (белили все помещение клуба), и так до сих пор толком не поправилась — все еще кашель мучает. Конечно, все это время пришлось напряженно работать, и я из-за нездоровья впервые не смогла осуществить все, что задумала сделать к празднику, в том числе и телеграмму поздравительную вам не отправила. Все время с температурой, то горло болит, то зубы, то ухо, то просто кашель с насморком — кое-как вытянула со всевозможными порошками и пилюлями, от кальцекса до пенициллина, но все еще слабая и разбитая, как после настоящей болезни. ⟨...⟩

На днях неожиданно получила письмо от Нюти, в котором она пишет, что дома у нее не так хорошо, как хотелось бы, но в чем плохое, совсем не пишет и вообще о себе, кроме того, что занята и устает, ничего не сообщает. Она просит у меня маминых стихов, надеясь что что-нибудь, может быть, удастся опубликовать, но у меня здесь ведь нет ничего, все что уцелело,— у Вас. Только одна к Вам просьба — никогда я ни для кого, кто бы он ни был, не расставайтесь с мамиными подлинниками, ни с книгами ее, изданными при жизни, и так остались крохи, и самый любящий и внимательный человек может потерять, как это было с ее письмами в руках Бориса, с фотографиями и книгами, хранившимися у М.[1] У нас уже долгие темные ночи, и вся жизнь окружающая делится на черное и белое — черные ночи, белый снег. Весной будет наоборот — белые ночи, а земля почернеет — только не скоро это.

Спасибо вам большое за ваши телеграммы — только почему две? Первая была получена седьмого, а вторая восьмого, с одинаковым текстом, только в первой было просто «поздравляем», а во второй «поздравляем праздником». Долго гадала, в чем дело, так и не догадалась. Это, наверное, мне в укоризну, мне, не приславшей ни одной. ⟨...⟩ Простите за нудное письмо, немного оживу — напишу получше. Будьте здоровы.

Ваша *Аля*

---

[1] У С. Д. Гуревича (*Мули*).

10 мая 1954 г.

Дорогие мои, спасибо за телеграммы, получила обе к обоим праздникам. У нас весна, правда, совсем непохожая на вашу, более угрюмая и несравненно более «масштабная». Уже где-то «поблизости» идет Енисей, и через недельку можно ждать его здесь. Каждый год ждем его не без трепета, из-за живописного, но не безопасного местоположения нашей лачуги, да и вообще само зрелище ледохода на такой огромной и даже страшной реке угнетает и без того достаточно угнетенную душу.

Я еще работаю, но очень скоро, видимо, это прекратится, что меня тревожит не меньше ледохода. На Адины 300 р. (тоже неверных, т. к. работа ее также не из постоянных), вдвоем не проживешь, а «верных» заработков здесь нет и не предвидится. И надоело вечно жить под ударом, это больше всего лишает сил и равновесия.

Как писала вам в прошлом письме, отправила два заявления, одно на имя т. Круглова [1], другое на имя Тихонова [2] для т. Ворошилова, но до сих пор нет ни малейшего извещения о том, что хотя бы одно из них было бы кем-то и где-то получено. Это меня беспокоит, тем более, что первое, более подробное и основательное, я подавала через здешнее РОМВД, а за это время отдел, нами ведающий, расформировали, и очень возможно, что заявление застряло где-то в ведомственных дебрях. Вот и не знаю, повторять ли его теперь или чего-то ждать? Тихонову отправила заказным месяц тому назад, но сообщения о том, что оно получено, тоже нет. М. б. нужно просто спокойно ждать, а м. б.— очень беспокойно действовать, но я об этом ничего не знаю.

Очень обрадовала меня весточка от моей давней приятельницы Дяны,[3] с к-ой мы были вместе в 1939 и 1940 г. и потом в 1948 встречались в Москве. Она, оказывается, в Москве уже с августа, и наконец, разыскала меня через Вас. Напишите, была ли она у вас и какое произвела впечатление? Во всяком случае я была очень тронута тем, что она меня не забыла, мы вместе пережили много тяжелого, и еще тогда мечтали о том, что все это кончится благополучно. Слава Богу, что у нее это, наконец, получилось. У нее чудесный муж, который ее ждал все эти годы, и не только ждал, а вырастил оставшихся у него на руках двух племянников, из к-ых один теперь уже совсем взрослый, а второй — подросток. Пишу вам, а за окнами валит снег, и кажется, что о весне, с которой начала я свое письмо, не может быть и речи. Впрочем, все это сплошное очковтирательство Крайнего Севера — весна будет, весны не может не быть. 〈...〉

Получили ли деньги, что я вам отправила, и очередные мои просьбы? Только там в одном месте я ошиблась, мне кажется, что я попросила слишком тонкие нитки для стежки одеяла (зеленые), а они нужны потолще — в общем, Зина сама разберется. Если, Бог даст, дело мое разберут благополучно, то уж тогда не буду хоть поручениями этими надоедать! Крепко целую Вас и люблю, мои родные!

Ваша *Аля*

---

[1] Круглов Сергей Никифорович, с 8.08.53 министр Внутренних дел СССР.

[2] Николай Семенович Тихонов (1896—1979) — писатель и общественный деятель. На приеме у него как у депутата Верховного Совета СССР от Ленинграда побывала А. Я. Трупчинская с просьбой о реабилитации А. С. Эфрон.

[3] Речь идет о Надежде Вениаминовне Канель (р. 1903). В одной камере с нею А. С. Эфрон в 1939—1940 гг. провела первые шесть месяцев — время допросов — во Внутренней тюрьме на Лубянке. Оказавшись в 1941 г. в одной камере с Юлией Вениаминовной Канель (1904—1941), Ариадна Сергеевна смогла рассказать ей о сестре. На следующий день после того, как в газетах появилось сообщение о разоблачения Берии, А. С. Эфрон отправила в Прокуратуру СССР письмо, в котором сообщала то, что было ей известно об истязаниях, которым подвергались сестры Канель.

3 июня 1954 г.

Дорогие Лиленька и Зина, пишу вам совершенно безответно — и в который раз! От вас с самой зимы нет весточек, кроме приветственных телеграмм, но ведь в них ни слова не сказано о вас самих. А так хочется знать, как ваше здоровье, как жизнь, какие планы на лето. Я говорю «планы», а вы, возможно, уже выехали куда нб. Постоянно забываю разницу в климате, и мне все кажется, что и у вас еще выпадает снег, ночью заморозки, а днем дует «север».

Пишу вам в поздний час, но у нас давно уже белые ночи; лето будет дождливое и холодное, т. к. Енисей прошел «своей водой», т. е. ледоход на Енисее прошел раньше, чем на его притоках, и потому «большой воды» совсем не было, а ледоход продолжается с 19 мая и по сей день ему конца не видно. Только вчера пошла Тунгуска — и тоже «своей водой», без притоков. В этом году наводнения нам бояться не приходится, вода идет метрах в 25 от нашего жилья.

Я вам писала, что по совету Нюти обратилась к Тихонову, но ответа никакого не получила. Письмо, наверное, дошло, т. к. отправляла заказным, но это еще не значит, что оно «дошло» до Тихонова, видимо, на этот вариант я напрасно рассчитывала. Теперь, недели две тому назад, написала на имя генерального прокурора, с уведомлением о вручении. Уведомление уже получила обратно, теперь буду ждать дальнейшего. Также Ада написала и уже получила ответ, что дело пересматривается и о результатах будет сообщено. Только все это очень долгая история, можно себе представить, насколько прокуратура загружена подобными жалобами и заявлениями и как долго приходится искать правды в каждом таком, плохо скроенном, но крепко сшитом деле, когда до него, наконец, доходит очередь! Окончательного решения нужно ждать никак не меньше года.

Но перемены в наших краях все же чувствуются большие. Получили паспорта греки, когда-то сосланные из Крыма, немцам, сосланным из Поволжья, разрешают выезжать (главным образом, на Алтай и на Урал), нам облегчено передвижение в пределах края — но еще не во все населенные пункты. Несколько человек, правда, пока очень немногие — получили реабилитацию, кое-кто — снятие ссылки. Говорят, что получают паспорта и те, у кого срок был 5 лет, т. е. что амнистия распространяется теперь и на эту категорию. Как же и где теперь будут Нина с Юаом? Квартиру ведь Нина потеряла?

Получила от Дины второе письмо — ответ на мое — она пишет о том, как через приятельницу узнала мой адрес, и как родные опасались, как бы она (Дина) не сообщила мне о Мульке.[1] Я ведь еще в феврале 1953 г. прочла о нем, но главного не знала, что он уехал еще в 1950 г., и поэтому думала, что уехал он значительно позже, и надеялась, что таким образом он дожил до разоблачения Берия. Видимо, это не так, и его

давно нет в живых. Иначе он был бы реабилитирован в числе самых первых, как Дина. Ах, еще немножечко дотянуть, и остался бы жив человек. Мне только этого нужно было от него — о себе я уж много лет, как перестала думать. С каждой человеческой потерей немного умираю сама, и, кажется, единственное, что у меня осталось живого — это способность страдать еще и еще. Совсем я состарилась душой.

Напишите же мне о себе! Бесконечно летят с юга птицы, скоро придут пароходы. Целую вас и люблю.

Ваша *Аля*

---

[1] Об аресте С. Д. Гуревича сообщалось в статье Н. Козева «О революционной бдительности» («Правда», 6.11.53).

20 июля 1954 г.

Дорогие Лиля, Зина, Нютя! спасибо большое за весточку, очень обрадовавшую меня, особенно потому, что Нютя, наконец, рассказала мне про дачу так, что я смогла себе представить, впервые за многие годы, вашу летнюю жизнь. Об этой ужасной жаре я каждый день с сочувствием слушаю по радио. Теперь я тоже очень плохо ее переношу, даже здесь, на огромной реке, откуда постоянно (даже чересчур!) веет прохладой. Впрочем, в этом году нам на жару жаловаться не приходится, ибо о лете напоминают, главным образом, комары. Представляю себе, насколько Лиле с ее сердцем тяжело переносить жару, тем же, кто в городе, так просто нестерпимо. Я очень мало работаю, день раздроблен по мелочам, и ни на чем, по сути дела, не успеваешь сосредоточиться, ничего не доводишь до конца, и это самое тяжелое. Репетиции, лозунги, монтажи, опять репетиции, опять доски почета, и все наспех, и все ужасно низкопробно. «Мероприятия» у нас проходят два раза в неделю и каждый раз что-то новое, при очень ограниченном количестве участников, не особенно развитых, не знающих, не понимающих и не чувствующих сцены. С ними нужно заниматься долго и упорно, но вот на это-то не хватает времени и у них, и у меня. А у меня к тому же никаких знаний, кроме чутья, да чего-то на лету перехваченного у Лили. Короче говоря, всегда устаю и всегда очень недовольна результатами.

На свое заявление, отправленное 18 мая на имя Руденко[1] я до сих пор ответа (стандартного, отпечатанного на бланке, что мол, дело ваше направлено туда-то на рассмотрение) не получила. Аде ответ пришел через 10 дней. Настоящий же ответ, о результатах пересмотра, приходит через несколько месяцев (6—9 приблизительно). Вообще-то, говорят, есть какое-то решение чье-то от 31 мая этого года о снятии ссылки как «повторной» меры за одно и то же, и мы уже видели тут первых людей, освобожденных от ссылки. Это, вероятно, коснется всех, и очень это хорошо, но я, конечно, мечтаю о пересмотре и реабилитации, т. к. при снятии ссылки остаются прежние ограничения 39-й статьи паспортизации, т. е. не разрешается проживать там, где хочется, а только в районных центрах, и прочие, исходящие из одного этого, ограничения и огорчения. Вообще же, если, как я очень надеюсь, дождусь я этого счастья, то совершенно не представляю себе, что с ним делать, куда и на какие средства ехать и чем заниматься, чем зарабатывать на жизнь и где? За нашу хибарку, стоившую нам с Адой 2000, в случае отъезда не дадут и 500 р., настолько здесь подешевели дома из-за отъездов, принявших действительно массовый характер, за все же прочее барахло никто и гроша ломаного не даст, настолько все это старое, немодное и никому не нужное. Не везти же это все с собой в неведомое «куда-то»?

Вчера вернулась с воскресника (трехдневного). Ездили в один из соседних колхозов на заготовку силоса. Слава Богу, погода была на редкость удачная, только комары заедали. Я немного помирилась с Енисеем, проехав по нему в общей сложности около 80 километров в оба конца, красиво донельзя, если бы не портили все впечатление сонмы комаров. Деревенька маленькая, ветхие домики с двухскатными замшелыми крышами все повалились в разные стороны, как после землетрясения. Тайга и река. Край света. Приехала, огляделась и почувствовала, что действительно, дальше ехать некуда! Кстати, это чувство охватывает вас на каждом здешнем станке. Пока кончаю, т. к. день явно дошел до предела, перейдя в следующий, и все равно не поймешь утро ли, вечер ли. Светло. Письма Чехова я тоже сейчас читаю. Целую вас всех и люблю.

Ваша *Аля*

Особое спасибо за марлю в посылке. Спим под пологом, как боги! На воскресник брала с собой полог и спала отлично.

---

[1] Руденко Роман Андреевич (1907—1981) — с августа 1953 г. Генеральный прокурор СССР.

14 августа 1954 г.

Дорогие Лиленька и Зина! Большое спасибо за деньги и за сопровождавшие их телеграфные слова. Я до сих пор еще дома, на работу выхожу только завтра. Эта моя простуда в жаркое время оказалась, по мнению здешних врачей, вспышкой туберкулезного характера, рентген показал какой-то очажок в правом легком, но вообще-то ничего страшного, никакие анализы никаких «бк» не обнаружили, т. ч. открытым процессом и не пахнет, да у меня их вообще не бывало и в более подверженном этому делу возрасте. Несколько дней была высокая температура, теперь околачиваюсь в пределах 37, 1, 2, а утром и днем нормальная. Чувствую себя значительно лучше. Вообще-то я весь этот год как-то недомогала, ужасно уставала от всего. Здешние врачи отнеслись ко мне очень внимательно, закормили «паск'ом» и вообще всевозможными лекарствами. Кстати, в отношении лекарств на Крайнем Севере хорошо, сюда засылают новейшие и ценнейшие препараты, которые компенсируют неопытность многих врачей, когда-то в свое время недоучившихся или работающих не по прямому назначению. Нам уже объявили, что все мы «повторники», т. е. те, кто попал сюда не прямо из лагеря, а в свое время был освобожден, должны получить свои прежние паспорта со своими прежними ограничениями, т. е. с 39 ст. Это долгожданное чудо должно произойти осенью. Теперь не знаю, что делать и вообще и в частности. Мне ужасно хочется взять отпуск (зимой, иначе по работе не получается, а летнее свое отпускное время я все проболела) и приехать повидаться с вами — (стосковалась я по вас ужасно, кажется, пешком через тайгу ушла бы, будь хоть видимость дороги!). Но такое путешествие будет стоить безумных денег. От Туруханска до Красноярска билет самолетом (другого сообщения зимой нет) 790 р., да и обратно столько же, вот уже 1600, да поездом до Москвы и обратно вероятно рублей 250 в один конец, да прочие расходы, набегает около 2500. Из этих денег у меня есть тысяча, к-ую мне в июне прислал Борис, и к-ую я положила на книжку. Остальные деньги тоже можно найти, забрав все наличие у Ады, взяв аванс на работе и т. д. Но тогда я и Аду оставлю без всего, и вернусь на пустое (в смысле денег) место, а главное, что не сумею ни достать, ни заработать за остающиеся до начала навигации будущего года месяцы суммы, необходимой на окончательный выезд (совершенно еще неизвестно, в каком направлении!) и на первое время на новом месте. Если бы могли продать наш домишко тысячи за три, но боимся, что и за тысячу не продадим, т. к. уезжают и распродаются все, а покупать некому! Вот и не знаю, на что решиться. Мне ужасно хотелось бы приехать именно в отпуск, и именно самолетом, и именно налегке, мне уже так осточертели все эти путешествия с узлами, черепашьими темпами, за эти 15 лет! И так хочется поскорее повидаться с вами, столько нужно услышать и рассказать, столько всего накопилось за эту разлуку! Столько лет было потрачено зря, что теперь дорогим кажется каждый день, не говоря уже о месяцах! По времени (своему, рабочему) я могла бы выехать сразу после ноябрьских праздников, а вернуться в начале декабря, чтобы успеть подготовиться к новому году. Вот и не знаю, как все это решить, — с одной стороны я свято знаю, что я *вправе* на этот отпуск, а с точки зрения материальной выходит, что это — причуда, и что если я могла ждать столько, то могу подождать и еще годик.

За эту зиму нужно решить, куда выбираться, в случае, если на наши ходатайства о реабилитации не будет еще ответа, или если ответ будет отрицательным. В случае реабилитации человек имеет право поступить на ту же работу в том же учреждении, откуда его когда-то взяли (в первом или во втором случае, на выбор), имеет право жить там же, где когда-то был прописан, и даже получает двухмесячный оклад с последнего места работы. С нашей же 39 ст., вы сами помните, какая морока. Я бы на какое-то время осталась здесь, заключила бы м. б. даже договор на 3 года (договор в условиях Крайнего Севера дает порядочные льготы, в том числе двухмесячный отпуск ежегодно, со второго года дорога оплачивается), но жалко расставаться с Адой, с которой мы очень свыклись, а ей здесь делать нечего, по специальности она преподаватель вуза (английский язык), значит, работать может только в областном центре. Кроме того, остаться здесь одной — немыслимо, мы и вдвоем еле справляемся. А куда ехать на авось, не знаем!

Сейчас стоят последние ясные дни, такие редкие здесь и чудесные. В нашем садике цветы цветут великолепно, как никогда. Настурции огненные и немного желтых, глазастых — окружают весь наш домик, а по фасаду — разноцветный душистый горошек, матиолы, перед домом клумба ноготков, и еще клумба всякой смеси — ромашки, васильки, маки садовые, огородные, махровые, и разные пестрые безымянные. Сколько с ними было возни пока они были слабенькой (особенно маки!) рассадой, а как они хороши и самостоятельны теперь! Я радуюсь каждому ясному дню, любуюсь цветами и окружающим видом, прекрасным при солнце и грандиозно-унылым в дождливую погоду.

Да, Лиленька, никогда я не думала, что в жизни может быть так, что счастье приходит слишком поздно — пусть не счастье, а просто радость. Слишком много пережито, слишком многие не дожили, и это все омрачает. А люблю я Вас, Лиленька,

бесконечно. В Вас сосредоточилось для меня все тепло, все добро ушедших, все их несказанное душевное благородство. И поэтому мне с Вами легко и просто — Вы так все знаете и понимаете, и чувствуете. ⟨...⟩

Лиленька, Зинуша, пишите. Дай Бог, чтобы вы отдохнули хорошо и поправились. Где Нютя, у вас, или уже дома? И ее увидеть ужасно хотела бы. Простите за безалаберное письмо, к нам люди пришли и шумно.

Крепко-крепко целую вас и люблю.

Ваша *Аля*

Лиля, я хотела бы переслать Вам бандеролями несколько книг Бориса с дорогими мне надписями, сейчас, пока реабилитация, и почта дешевле. Можно? Ответьте.

4 октября 1954 г.

Дорогие мои Лиля и Зина, только что получила Лилино письмо опять из Болшева. Видимо, Лилечка, здоровье лучше, раз Вы опять там и работаете. Слава Богу, а я очень беспокоилась, что вам пришлось из-за болезни перебраться в Москву. На предыдущее ваше письмо я ответила по московскому адресу, да вы, наверное, получили. Командировочные удостоверения постаралась взять не только от клуба, но и от местного отдела культуры, все-таки посолиднее. Кроме того, постараюсь добыть от здешнего главврача направление на лечение или на консультацию. Думаю, что ни те, ни другие мне не откажут, да кроме того и в самом деле врачам нужно будет показаться, да и клуб с отделом надают мне немало поручений — приобретение репертуара, нот, маловольтажных лампочек для елки и пр.

Работы у меня сейчас ужасно много, больше, чем обычно в предноябрьский период, т. к. все работники у нас новые, все — не специалисты; и приходится не только помогать, но зачастую и просто работать за них. Штат довольно большой, но толку пока что довольно мало. Так что уеду я, как сумасшедшая, авось в дороге очухаюсь. Самолеты в праздничные дни не ходят, или, если совершают рейсы, то нерегулярные, и мне нужно будет постараться успеть или в предпраздничные дни вылететь, что навряд ли удастся, или сейчас же после праздников. Я Вам писала, кажется, что Борис предложил мне остановиться у них на даче, с тем, чтобы днями (в дневное время), когда он работает, я могла бы ездить по своим делам, а вечера коротать в Переделкино. М. б. действительно так и сделаю, во-первых, повидаюсь с ним, как следует, он почитает мне свое новое, а во-вторых, это — не так на глазах, хоть времена и изменились, но все же не настолько, чтобы я чувствовала себя абсолютно спокойно в московских гостях. М. б. хоть несколько дней так, а еще несколько — иначе, понемногу могу гостить и у Т. С., к-ая теперь живет в вашем же переулке, и у Дины. Хотелось бы узнать насчет прописки, м. б. это сейчас легко и просто, тогда я бы прописалась недели на 2 по любому адресу и была бы спокойна. Писала ли я Вам о том, что Эренбург обещал помочь с пособием (ежемесячным) от Литфонда для Аси? Хоть бы Литфонд не отказал! Тогда я была бы за нее (материально) спокойна, кто ей помогает, продолжал бы помогать, а кроме того, у нее был бы какой-то постоянный прожиточный минимум, а это ужасно важно.

Как подумаешь — и все мысли в одно упираются, в реабилитацию. Тогда все было бы несказанно легче и проще. А как представишь себе отъезд отсюда в полнейшую неизвестность, нигде ни квартиры, ни работы, ничего надежного — и руки опускаются. Сил-то мало, сколько раз можно все начинать сначала, бороться все с теми же нелепостями? Все, кроме Вас и Бориса, ругают меня за мою отпускную затею — справедливо в отношении бесхозяйственного расходования денег, которых всегда мало, и несправедливо во всех прочих отношениях, но я уверила себя, что делаю правильно. Весной уедешь куда нб опять к черту на рога, опять впряжешься в какую нб. нудную работенку, и так еще долго ни с кем не увидишься. Трудно все это.

Целую вас крепко и люблю.

Ваша *Аля*

P. S. Дина писала мне об афишах Митиных и Ваших в Москве — хочет пойти послушать. Как его здоровье, совсем ли поправился? Дай Бог всем здоровья!

Зиночка, дорогая, какие дивные апельсинные корки, а в одной коробочке с земляничной примесью! Спасибо, родная! Целуем обе.

30 ноября 1954 г.

Дорогие мои Лиленька и Зина! Пишу вам, чтобы успокоить насчет дальнейшего моего путешествия — в одном купе со мной оказался чудесный попутчик, к-ый сходит в Красноярске и дальше летит до Норильска, т. ч. нам и с вокзала и до аэродрома — по

дороге. Это очень удачно, один будет доставать машину, другой сторожить вещи и т. д. Так что не тревожьтесь, все будет в порядке.

Будьте все здоровы, мои дорогие. Пишите хоть по чуть-чуточки, чтобы эта теплая ниточка не прерывалась и не переходила в «гольное воображение». Очень вас всех люблю.

Ваша *Аля*

Еду очень хорошо, чудесный вагон, хорошие спутники и обслуга, только вот направление...

Привет всем квартирным, с кем не успела попрощаться.

Спасибо вам бесконечное за все, мои родные. Я впервые за все эти годы чувствую себя по-настоящему отдохнувшей, проветрившейся, как будто бы все окна моей души раскрылись жизни навстречу (а не только окно вашей комнаты). Все это не поддается словам и все вы отлично знаете и понимаете, недаром родные. Особым, действительно огромным счастьем был для меня «Дом с мезонином» [1]— дом души моей. Спасибо Мите «Не прошло и трехсот лет», как до меня, до самых недр и глубин дошло ваше величайшее искусство, которое я раньше воспринимала немного внешне, снаружи; как-то только эмоционально. А теперь самым сердцем, как настоящую любовь.

Ем беспрерывно и не знаю, как выйду из этого положения!

По приезде телеграфирую. Зинуша, солнышко мое, так нежданно появившееся на вокзале, спасибо!

Целую вас всех горячо и нежно. Очень все же грустно расставаться!

---

[1] Д. Н. Журавлев в это время работал с Е. Я. Эфрон над рассказом А. Чехова «Дом с мезонином».

11 февраля 1955 г.

Дорогие мои Лиленька и Зиночка! Слава богу, Зинуша «раскошелилась» на письмо, и я немного успокоилась. Как-то по-сумасшедшему быстро идет время в суете и сутолоке, и как много его поглощают мелочи! С самого своего приезда без передышки пишу лозунг за лозунгом, делаю монтаж за монтажом, перескакиваю с декорации на декорацию, никогда не успеваю отдохнуть, собраться с мыслями, и главное, чтобы эти мысли были ясными и бестревожными! У нас такой нетрудоспособный и малоразвитый коллектив, что приходится делать все за всех, а это значит, что на свое не остается необходимого времени, и все делается скоро и плохо.

Я до того акклиматизировалась здесь, что совсем перестала понимать, когда тепло, а когда — холодно. Вижу солнце, кажется — тепло, а оказывается — минус сорок! Несмотря на все «минусы», погода с полмесяца стоит хорошая, с каждым днем солнце отвоевывает себе все больше и больше неба, а земля все больше и больше солнца. Ветров настоящих не было, так что и морозы не страшны. Небо здесь — чем не устаю хвастаться во всех своих письмах — изумительное, ненаглядное! Про ложные солнца я вам писала, а вот еще бывает, что солнце всходит, разрезанное на несколько отдельных (горизонтальных) ломтей, потом они все соединяются, но контур солнца еще не четкий, ровный, а зигзагообразный. Еще полчаса — и настоящее солнце. Все мне кажется здесь необычайно близким к мирозданию, точно Бог еще все лепит и пробует — как лучше? А какие здесь тени на снегу. Синие, глубокие, прочные, так что и на тень не похоже, кажется, можно этот ультрамарин выкопать, вырубить, вытащить с корнем, такие они (тени!) весомые и осязаемые. И тишина здесь первозданная.

Никаких ответов ни из каких на свете прокуратур нет, и я, пожалуй, не решусь ехать без реабилитации. По-прежнему ехать некуда, и 90 % товарищей, выехавших с этими «недоделанными» паспортами, устроились плохо, несмотря на семьи, квартиры и т. д., а то и вовсе не устроились. Несколько человек уже вернулись обратно. Не знаю, не знаю...

Ехать куда-то «под Москву» и долго-долго околачиваться без работы неизвестно на чей счет? И при малейшей дополнительной тучке на горизонте рисковать вновь «загреметь», как я в свое время «загремела» из Рязани? А вы как думаете? М. б. умнее ждать на месте окончательного разрешения дела, и потом, в зависимости от того, каково оно будет, решать все окончательно? Я так привыкла, что за меня решают стихии, что сама — боюсь! Напишите!

Крепко вас целую и люблю. Ваша *Аля*

От Бориса за все время ничего не имела.

Спасибо за картинки, здесь они пользуются заслуженным успехом.

Над чем работает с Д. Н.? А с учениками? Что с делом Аваиесова-отца [1]? Жив ли он?

---

[1] Отец соседей Е. Я. Эфрон по квартире — Юрия и Левона Аваесовых, Петрос Сергеевич Аваесов (1889—1956) — член ВКП(б) с 1917 г., преподаватель истории в Коммунистическом университете народов Востока (КУНВ), а затем в Высшей пограничной школе; в 1938—1948 гг. был репрессирован по 58 статье, а в 1949 г. сослан в Красноярский край, где находился, по словам сына — Ю. П. Аванесова, в инвалидном доме для заключенных. В 1957-м — посмертно реабилитирован и восстановлен в партии.

Туруханск, 28 марта 1955 г.

Дорогие мои, сперва хотела позвонить вам по телефону, а потом побоялась не столько обрадовать вас, сколько напугать, и решила ограничиться телеграммой. Вызвали меня в здешнее РОМВД, я, конечно, забыла сразу о возможностях каких-либо приятных вариантов и шла туда без всякого удовольствия. Войдя в натопленный и задымленный кабинетишко, бросила привычный незаметный взгляд на «ихний» стол, и увидела среди прочих бумажек одну, сложенную, на к-ой было напечатано «Справка об освобождении», тут у меня немного отлегло от сердца. Мне предложили сесть, но в кабинетишке не оказалось стула. Вообще насчет обстановки плоховато, стол, кресло «самого» и на стене выцветший квадрат от бывшего портрета. Ну, стул мне принесли, я села, они молчат, и я молчу. Помолчала-помолчала, потом решила начать светский разговор. Говорю «самому»: «Интересно, с чего это вы так потолстели?» Он: «Рáзи?» Я: «Точно!» Он: «Это от сердца, мне здесь не климáт!» Я: «Прямо!» Он: «Точно!» Помолчали опять. Он сделал очень суровое лицо и спросил, по какому документу я проживаю. Я непринужденно рассмеялась и сказала: «Спрашиваете! По какому вы мне дали, по такому и проживаю!» Он сделал еще более неприступный вид и сказал: «Теперь можете получить чистый паспорт и ехать в Москву». Я рассмеялась еще более непринужденно и сказала: «Интересно! Тот паспорт давали, то же говорили!» Он: «Нет, тот — с ограничениями, а этот совсем чистый!» И дает мне преогромное «Определение Военной коллегии Верховного Суда СССР», в к-ом говорится, что свидетели по моему делу (Толстой [1] и еще двое незнакомых) от своих показаний против меня отказываются, показания же Балтера [2] (его, видно, нет в живых) опровергаются показаниями одного из тех незнакомых, и что, как установлено, все те показания были даны под давлением следствия, и что ввиду того-то и того-то прокуроры такие-то и такие-то выносят протест по делу Эфрон А. С. Дальше идет определение Коллегии о реабилитации. После всего этого данную бумагу отбирают, а мне дают «Справку» Управления МВД по Красноярскому краю от 18 марта, за № 7349... «Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 19.2.55 постановления Особого Совещания от 2 июля 1940 г. и от 18 мая 1949 г. в отношении Эфрон А. С. отменены, дело за отсутствием состава преступления прекращено». Теперь остается приклеить на эту справку фотографию, а в паспортном столе мне на нее еще одну печать поставят и потом буду всю жизнь носить ее за пазухой, т. к. она «при утере не возобновляется». Теперь я здесь получу «чистый» паспорт, потом в Москве достану метрику, и на основании ее буду добывать московский паспорт, т. к мой год рождения нужно исправить (у меня везде 1913). Таким образом, получив четвертый за год паспорт, я успокоюсь. Теперь только Аде дождаться, и все будет хорошо! Следующее письмо, надеюсь, будет более толковым, а пока целую. Пусть только Митя попробует не поздравить меня персонально.

---

[1] Павел Николаевич Толстой, племянник А. Н. Толстого. Будучи в Париже, А. Н. Толстой просил С. Я. Эфрона, одного из руководителей «Союза возвращения на Родину», способствовать возвращению племянника в СССР. В 1939 г. П. Н. Толстой был арестован и на очных ставках с Т. В. Сланской (см. примечание к письму от 17.08.42) показывал, что С. Я. Эфрон давал ему шпионские задания, а Сланская, никогда в действительности Эфрона не видавшая, служила у них связной. (По рассказу Т. В. Сланской.)

[2] Имеется в виду Павел Балтер.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ [1] А. С. ЭФРОН

Год этот остался в памяти смутным и трудным. После радости реабилитации пошло свыкание с ней, врастание в новое состояние. Для этого надо было сломать неверное, но ставшее привычным, как в тесном своем быту, так и внутри себя, отважиться шагнуть вперед, но еще вслепую, наощупь, пока глаза не приспособятся к свету, руки-ноги — к отсутствию незримых и давних кандалов. Переход из одной достоверности в другую труден даже физически; состояние невесомости испытали мы прежде Белки и Стрелки. Так или иначе, каждый из нас думал о мифическом «возвра-

---

[1] Редакция и публикатор благодарят А. А. Федерольф-Шкодину за любезно предоставленную ею возможность познакомиться с данной рукописью.

щении» в некое мифическое «домой», а значит и к тому, доарестному, довоенному, самому себе. Но *домой* вернулись немногие, к самим же себе — никто. Время не миновало ни нас, ни того прошлого, которое подспудно продолжало для нас оставаться настоящим — сегодняшним и истинным — рассудку вопреки. Истинным для нас, доживших и уцелевших. Да уж так ли уцелели дожившие, чтобы *осознанно* рассчитывать на несокрушимую ценность когда-то оставленного.

Кто распродав, а кто раздав немудрящее свое барахло, уложив в пламенеющие суриком деревянные новенькие чемоданы то, что казалось необходимым в новой жизни, вновь унося в памяти ставшие вчерашними дни, отношения, образы, с грузом прожитого ехали мы к недожитому, недоданному. Будет ли додано, будет ли дожито?

На дворе был июнь, на Енисее — ледоход; нарядный белый «Балхаш» — первый гость с материка в эту навигацию — маневрировал среди черных ангарских льдин, державших путь к Океану. День был пасмурный, холодный; бреющий ветер бросался жесткой крупкой. Заслышав наш прощальный гудок, Туруханск дрогнул, вытянулся во фрунт, чтобы напоследки предстать нам таким, каким мы годы назад увидели его впервые, потом, тускло сверкнув всеми, цвета рыбьей чешуи, оконцами, отвернулся уже отъединенно и стал, медленно сливаясь с горизонтом, отходить в прошлое.

Помню, Москва поразила своей — иного слова не подберу — округлостью. От лихорадящего, самому себе противоречащего города 37—39 годов на первый взгляд и следа не осталось.

В те годы улица Горького только еще вгрызалась в Тверскую, шла в наступление от Пушкинской площади к Белорусскому вокзалу; по ночам против здания «Известий» тракторы рвали на части сопротивляющиеся розовые стены Страстного монастыря; на месте Арбатского метро был крытый рынок; туда, не смешиваясь с нескаванной московской толпой, ходили за покупками нежно-яркие, игрушечные чужеземки, в кимоно и сандалиях-котуриах на высокой подошве: в Морозовском доме помещалось японское посольство. По всей Москве постукивали, позвякивали, поскрипывали уютные красные трамваи; их обгоняли, навсегда оставляя позади, черные отечественные автомобили «Эм-один». Трехрублевыми штрафами москвичей приучали к пешеходным дорожкам; Авдреевский классик печального образа, казалось, прочно сидел на своем пьедестале.

В один прекрасный зимний вечер столица праздновала новую, сталинскую конституцию на Манежной площади, в двух шагах от зеленого Лубянского здания со слепыми часами на лбу; каждая минута на них была чьей-то последней; на площади играл оркестр НКВД — народ плясал под его надраенные медные дудки.

Москва 1955 года показалась мне внешне устоявшейся, гладкой, бестревожной. Слаженное движение толпы и транспорта приобретало стремительную плавность. Люди были хорошо и весело одеты, с улиц уходила ветхозаветность, из витрин — допотопность. Византия куполов сменилась псевдоготикой небоскребов, на всем лежал непривычный глазу и сердцу глянцевитый налет сытости, даже пресыщенности. По выкорчеванным нашим корням не осталось ни ям, ни рытвин — *эта* Москва по нас не плакала и не кровоточила. Она встречала нас вежливо, рассчитывалась с нами по постановлению за № ..., очень хорошему постановлению: заносила во внеочередные списки для получении жилплощади взамен изъятой, выплачивала «выходное пособие» в размере двухмесячной зарплаты, предоставляла свободу сызнова отращивать вершки и корешки. Она не раскрывала нам объятий, однако и не поворачивала спину, еще не зная, как с нами быть дальше. Уцелевшие друзья вполголоса радовались нам, уцелевшим, рассказывая и расспрашивая, невольно переходили на шепот. Они, как и мы, видимо, переживали *свое* состояние невесомости, но их невесомость отличалась от нашей опять же некоторой округлостью, обкатанностью, которых были лишены мы, прибывшие из края острых углов, сами — сплошной острый угол.

Как и в 1937 году, я приютилась у Лили с Зиной, в их крохотной, темной и неизменно доброй норке. Теткам и самим-то, по правде, негде было жить и нечем дышать — их вытесняли, отнимали последний воздух вещи многих людей и многих поколений, призрачные вещи, вполне реально громоздившиеся и ввысь и вширь. Все мы трое спали на старых горбатых сундуках, под угрожающе провисавшими книжными полками. В изголовье у Зины стоял железный ящик с маминым архивом, привезенным после ее гибели моим братом Муром — из Елабуги через Ташкент — и сбереженный тетками вплоть до моего прибытия. Чтобы в этот ящик засунуть хотя бы руку, требовалось каждый раз разорять многослойное Зинино гнездо, перекладывать ее постель на постель больной Лили, ставить дыбом доски, на которых лежал матрац. Мамины тетради я доставала наугад — и ранние, и последние, где между терпеливыми столбцами переводов навечно были вмурованы записи о передачах отцу и мне, наброски безнадежных заявлений, всем, от Сталина до Фадеева, и слова: «Стихов больше писать не буду. С этим покончено». Читала их по ночам, когда затихала большая ком-

мунальная квартира. Напрасно думала я, что когда-то выплакала все слезы — *этого* было не оплакать. И требовала вся эта мука не слез, а действий, не оплакивания, а воскрешения.

Днем я уходила — кого-то разыскивала, с кем-то встречалась, искала работу; а пепел Клааса стучал громко в сердце мое и не давал мне спокойно и пристойно разговаривать с людьми; естественно, им не внушали доверия ни моя резкость, ни внезапные приступы рабской робости, ни вскипавшие на глазах слезы, равно вызывавшиеся и чужим участием, и чужим равнодушием. Участия, впрочем, попадалось маловато: иногда в начальственных или секретарских зрачках вспыхивали искорки любопытства, но быстро угасали: от «всего этого», воплотившегося во мне и еще ни чуточку не выветрившегося, лучше было быть подальше. Не внушала доверия и убогая моя одежда, штапельные платьишки, сшитые в Туруханском «ателье», по фасону, шедшему мне шестнадцать лет тому назад, ни грубая обувь, ни рыжие чулки. Для того, чтобы одеться-обуться «как все», нужны были деньги, нужна была, следовательно, работа; для получения работы требовалось «выглядеть». А я не выглядела. Мало того, что я не владела ни той одежкой, ни тем умом, по которым встречают и провожают — не было у меня и элементарнейшей человеческой шкуры: ту, дубленую, я поспешила скинуть в Туруханске, а новая еще не наросла. Однако, прежде чем браться за мамины труднейшие дела, надо было хоть как-то справиться со своими, такими, казалось бы, несложными, учитывая и реабилитацию, и восстанавливаемые ею все и всяческие мои права... Но, приученная преодолевать непосильное, я разучилась перешагивать невысокие порожки человеческих и служебных — только-только входящих в норму — взаимоотношений. (Обо всем этом так подробно, потому что «я» тех лет была определенным *явлением*, то мое «я», возможно, являлось обобщением некоторых, а может быть и многих других «я», находившихся в моем положении и подобно мне сталкивавшихся в начале своего реабилитированного пути с неясностью, неопределенностью, выжиданием, с многолетней инерцией недоверия.)

Составление, текстология и примечания
Р. Б. ВАЛЬБЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Самолетная арифметика
или «жар холодных числ»

В. МАРИНИЧЕВ

НА НЕБЕ НЕ НАЙДЕШЬ СЛЕДА

Литература, посвященная минувшей войне, необозрима. Скоро будет полвека, как на страницах и экранах «рвутся снаряды, строчат пулеметы» и, полосуя перед собой из автоматов, гонит врага на запад наша героическая пехота. Под ее несмолкаемое ура, уханье артиллерии и завывание «катюш» как-то удивительно умело отучили нас интересоваться элементарной арифметикой и задаваться вопросом «сколько». Например, сколько было накануне войны у нас самолетов, танков, радиолокаторов, пленных, перебежавших к немцам. Казалось бы, в стране, заплатившей за победу морем крови, эти вопросы не поставят в тупик и ребенка. Но ответы соотечественников — от школьников до генералов, в том числе фронтовиков — шокируют своим невежеством, в то время, как иностранцы, особенно западные немцы, бойко оперируют цифрами и именами, ссылаясь на не читанные нами источники.

Отчасти утешительно было бы, уличив наше общество в беспробудной лени, обратиться к книжным полкам и, полистав ту или иную книгу, найти спорную цифирь. Но это занятие безнадежное. Историография красноречиво молчит о самом волнующем, и иноплеменным собеседникам приходится противопоставить исключительно квасной патриотизм, что стало уже нашей доброй традицией.

Сейчас пишется новая история второй мировой войны. По крайней мере, ходят такие слухи. Однако печальный опыт, который мы имеем, вызывает тревогу, что после завершения многолетнего труда нас вновь угостят суррогатом правды.

Настоящая статья представляет собой попытку противостоять такой возможности хотя бы в отношении авиации.

Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы...

А. Блок. «Скифы»

Позор пограничного сражения предопределил не виданный ни до ни после в военной истории разгром авиации, которая была, по выражению Г. К. Жукова, «коньком Сталина», и которой, как усердно уверяет наша историческая и мемуарная литература, руководство страной уделяло самое пристальное внимание. В сущности, речь идет о погроме, то есть ситуации, при которой одна сторона устраивает безнаказанное избиение другой. Эта ситуация выглядит тем более обидной, что избиваемая сторона имела более чем достаточно сил для того, чтобы нанести врагу тяжелое поражение. К несчастью, этого не произошло, хотя козыри были в наших руках, в первую очередь — количество самолетов.

Число это старательно скрывается. Можно сколько угодно рыться в наших ученых трудах, учебниках и воспоминаниях полководцев, но только для того, чтобы прийти к одному выводу — нигде не сказано прямо, каким количеством самолетов располагала Красная Армия. Возможно, цифра эта и есть в подольских архивах, доступ к которым наглухо закрыт читателю, но, листая доступную литературу, он может ослепнуть от усердия, однако цифры этой не найдет, хотя там же, при небольшом противоречии одного источника другому, говорится, сколько немецких самолетов осуществило вторжение:

3900 немецких плюс 1000 финских и румынских («История Великой Отечественной войны Советского Союза». М., 1961, т. 2, с. 9);

4950 — «Великая Отечественная война», краткий научно-популярный очерк, М., 1970, с. 37;

около 4000 — «История второй мировой войны» М., т. 3, с. 328.

«Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне», воспетые неким С. Голиковым, «исправленные, дополненные» и изданные Госполитиздатом в 1954 году, на стр. 20 с присущей тому времени сурово-сдержанной скороговоркой свидетельствуют, что «гитлеровцы имели численное превосходство в танках, авиации и автоматическом оружии». Четкость и простота авторского изложения не может не впечатлить доверчивого читателя, но оставляет наш вопрос без ответа, и мы вынуждены продолжить поиски в более объективных трудах, каким, без сомнения, является шеститомная «История Великой Отечественной войны».

Мариничев Владимир Викторович родился в 1950 году. Закончил юридический факультет ЛГУ. С 1976-го по 1987 год работал в Ленинградском уголовном розыске. В настоящее время — преподаватель права в ЛИИЖТе. Публикуется впервые.

От назойливо повторяющихся упоминаний о роли партии и правительства, постоянно «проявляавших» и «уделявших», рябит в глазах. Невольно закрадывается подозрение, да «уделяли» ли вообще. И кому было это делать? Жданову? Молотову? Маленкову? Берии?

Впрочем, вернемся к интересующему нас вопросу. Казалось бы, зачем плутать в трех соснах, достаточно назвать абсолютную цифру, и все стало бы на свои места. Но не все у нас так просто. Славный коллектив научных сотрудников готов приводить то цифры авиаполков, то авиадивизий. Сплошь и рядом при этом воспоминания военачальников пестрят указаниями на то, что та или иная дивизия вступила в войну чуть ли не наполовину неукомплектованной. Сомнительно, чтобы в авиадивизиях дела обстояли лучше. Да и вообще каждому гражданину нашей страны известны баснословные показатели то по хлопку, то по проценту раскрываемости, то по производству мяса и молока. Известна и механика появления таких цифр: получается несбыточный план — указание, и в ответ на это указание изготовляется бумага с молодцеватым выводом — «выполнено». Однако нет ни хлопка, ни молока, ни мяса, а население продолжает пребывать под основательным прессом уголовников. Так и тут — авиадивизия может быть сформирована, но это значит только то, что назначен ее командующий, заместитель по политчасти и начальник штаба, а сколько в этой дивизии самолетов, и в каком они состоянии, и есть ли кому на них летать — дело десятое. По таким данным высчитать ничего нельзя. Развернутая на бумаге авиадивизия — еще не стоящие в ангарах самолеты [1]. Авторы шеститомника изворачиваются как только могут, но правды не говорят. Листай шеститомник вдоль и поперек — точной цифры нет. Все же на странице 414 первого тома выуживаем: «...новые самолеты ЯК-1, МИГ-3, ПЕ-2 стали выпускаться лишь в 1940 году. Так, ЯКов было выпущено 64, МИГов — 20, „пешек" — одна или две. В 1941 году МИГ-3, ЛаГГ-3, ЯК-1 — 1946, ПЕ-2 — 458, ИЛ-2 — 249». Всего, следовательно, 2739. Найденное число удовлетворить нас не может. Самолеты у нас и до 1940 года не единицами выпускались. Следовательно, 2739 — только часть их, но какая?

Листаем увесистый том дальше и на странице 476 узнаем, что «этих новых самолетов было мало, примерно 22 процента от общего числа наличных самолетов в авиации приграничных округов». Опять непонятно. Во-первых, самолеты приграничных округов — только часть всей нашей авиации. Во-вторых, и эту часть установить невозможно. Неужели авторы серьезно предлагают читателю высчитать общее число, не зная, какое количество составляют 22 процента?

Последнее упоминание по интересующему нас моменту находится на 454 странице первого тома, где упоенно-торжественным тоном сообщается, что общая численность самолетов в ВВС возросла по сравнению с началом 1939 года более чем вдвое. Искать, сколько их было в 1939 году — бесполезно, об этом неприхотливому читателю не считают нужным сообщить. Таким образом из просмотренного труда выудить абсолютную цифру невозможно, но мы можем запастись тремя имеющимися там намеками, которые способны оказать нам помощь в дальнейшем. Вот они:

1. к 22 июня 1941 года Красная Армия располагала 2739 самолетами новых конструкций;

2. самолеты новых конструкций, находившиеся на западной границе, составляли 22 процента от всех, находившихся там;

3. количество самолетов, которыми располагала Красная Армия с начала 1939 года, до начала войны увеличилось более чем вдвое.

Неутоленное этими намеками любопытство влечет нас дальше и отчасти вознаграждается. Краткий научно-популярный очерк, изданный в 1970 году издательством политической литературы под редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР генерал-лейтенанта П. А. Жилина, «Великая Отечественная война» повествует нам, что «войска приграничных округов... насчитывали... 1540 самолетов новых типов и значительное количество устаревших конструкций...».

Значительное количество... Нельзя все-таки не порадоваться аптекарской точности авторов, но что же нам делать с этим высказыванием? С одной стороны, можно сосчитать количество наших самолетов на западной границе, памятуя о «примерно 22 процентах от общего числа» (см. намек № 2 шеститомника), но ведь краткий очерк об этом процентном соотношении не говорит ни слова. Все же, встретив в составе редакционной комиссии шеститомника фамилию генерал-лейтенанта П. А. Жилина, рискнем предположить, что один и тот же человек может отвечать за написанное им в двух разных книгах.

[1] У Рокоссовского, когда он отправляется под Ярцево, было два автомобиля с зенитными пулеметами и несколько офицеров. Прибывавшие к нему дивизии «представляли собой только номера. В одной 260 человек, в другой и того меньше». На бумаге же все это именовалось: «Группа генерала Рокоссовского».— К. К. Рокоссовский. «Солдатский долг», М., 1968, стр. 25—31.

В таком случае, если 1540 действительно 22 процента, то на западной границе мы имели 7000 самолетов. Уже можно сделать первые выводы. Жаль только, что разноголосица в количестве самолетов, осуществивших вторжение, которая имеет место в наших источниках, не позволяет точно подсчитать наше превосходство. Итак,

1. если верить шеститомнику, авиация агрессора насчитывала 4900 машин (том 2, стр. 9) — и разница в самолетах, в таком случае, составляет 2100 в нашу пользу (7000—4900);

2. согласно Краткому очерку, «против Советского Союза были нацелены 4950 самолетов» (стр. 37). Разница равна 2050 (7000—4950);

3. в соответствии с таблицей на стр. 328 том 3 «Истории второй мировой войны»: боевых самолетов, предназначенных для агрессии против СССР, было «около 4000», наше превосходство равнялось 3000 (7000—4000).

Получается, наша авиация на треть, а то и почти вдвое превосходила противника. С учетом того, что 64 процента наших самолетов на западе составляли истребители, выходит, что на каждый немецкий самолет мы могли выставить по истребителю — преимущество более чем приличное.

Посмотрим, как воевали наши будущие союзники.

Английская авиация годом раньше один на один схватилась с нацистами, летавшими, кстати, на нашем бензине. Пребывая в количественном меньшинстве, она тем не менее выиграла битву за Англию. Да и качественно англичане уступали немцам. На равных с «мессершмидтами» могли драться только «спитфайеры», которых было мало. Основным английским истребителем был тогда «харрикейн», уступавший «мессеру» по всем параметрам. Общее же количество истребителей, с трудом поддерживавшееся английской промышленностью, в период битвы за Англию равнялось примерно 600 против 2200 немецких самолетов. Можно, конечно, сказать, что англичанам и то было на руку, и другое, и пятое, и десятое (расстояние, к примеру, ограничивавшее радиус действия немецкой авиации, особенно истребителей). Но думается, что сталинскими стратегами битва за Англию была бы проиграна вполчаса, а Черчилль с сотоварищи на их месте к вечеру 22 июня заканчивал бы уничтожение немецких ВВС.

Не было бы никакой необходимости заниматься многовариантными подсчетами, раз несколько источников называют одну исходную цифру выпуска самолетов новых конструкций — 2739, если бы и она была окончательной, но на 217 странице своих воспоминаний маршал Жуков, вступая в противоречие с вышеперечисленными трудами, неосторожно обмолвился: «...по уточненным архивным данным, с 1 января 1939 года по 22 июня 1941 года Красная Армия получила от промышленности 17 745 самолетов, из них 3719 самолетов новых типов». Кому же верить, ученым трудам или Жукову? У него-то данные «уточненные», и если он прав, то, по «уточненным архивным данным», наша авиация должна была шутя переиграть люфтваффе.

Однако не будем спешить с выводами. Как ранее мы уже предположили, и до 1 января 1939 года самолеты у нас выпускались. Только сколько их точно было на 1 января? Ответа нигде нет, но «ищите и обрящете», авось удастся ухватиться за какие-нибудь нити.

Как известно, в августе 1939 года в Москве проходило совещание английской и французской военных миссий с руководством Красной Армии, представлявшее из себя своеобразную попытку создания второй Антанты, способной обуздать Гитлера. Насколько серьезной была эта попытка, не является предметом нашего вопроса, нас интересует другое. На заседании 15 августа командарм Б. М. Шапошников, в присутствии наркома обороны К. Е. Ворошилова, заверил иностранные миссии, что «против агрессии в Европе Красная Армия в европейской части СССР выставит от 5 до 5,5 тысячи самолетов (без вспомогательной авиации), то есть бомбардировщиков и истребителей». 17 августа начальник ВВС РККА командарм А. В. Локтионов подтвердил высказывание Шапошникова и развил его, заверив присутствующих, что «это (т. е. 5—5,5 тысячи) количество составляет авиацию первой линии, помимо резерва» (см. Г. К. Жуков. «Воспоминания и размышления», АПН, М., 1969, стр. 190 и 193). Что из этого следует? Если по «уточненным архивным данным» Красная Армия получила от промышленности 17 745 самолетов с 1 января 1939-го по 22 июня 1941 года, а Локтионов еще в августе 1939 года обещает выставить 5—5,5 тысячи (и это только первая волна!), то сколько их всего получается? 17 745 плюс 5000 равно 23 245. Пусть даже из этих пяти тысяч половина была произведена с 1 января по 15 августа, когда Локтионов назвал эту цифру, так не с нуля же начали 1 января. Не исчислялись же самолеты десятками до этой даты? А ведь в это время силы нашей авиации находились и на востоке, где 20 августа началось генеральное наступление наших войск на Халхин-Голе, причем в этих боях приняла участие такая тьма наших самолетов, которую, по воспоминаниям Симонова, ни он, ни Жуков, командовавший наступлением, не видели больше за всю Отечественную войну. Выходит, считай мы самолеты только первой

линии и те, что приводит Жуков, без тех, что 20 августа стали засыпать бомбами японские войска на Халхин-Голе, и без тех, что, по подсчетам Локтионова, составляли вторую линию (кто назовет это число?), получится, что располагали мы не меньше чем 23 тысячами самолетов.

Но и эта цифра далека от действительности. Помянем доброй памятью страницу 454 первого тома Истории Великой Отечественной войны и прочитаем вторично: «Общая численность самолетов в ВВС возросла по сравнению с началом 1939 года более чем вдвое» (намек № 3, которым мы запаслись в начале нашего путешествия в темноте). Чувство законной гордости по поводу столь стремительного роста наших ВВС несколько притупляется, если мы в волнении удвоим количество самолетов, сообщенное нам Жуковым. Ведь если 17 745, выпущенные с 1939 года, удвоили численность ВВС, то к 22 июня 1941 года наши военно-воздушные силы насчитывали тридцать пять тысяч четыреста девяносто самолетов... Так и это только вдвое, а увеличились они «более чем вдвое»! Хоть и пересчитано все неоднократно, разум все же отказывается верить в эту цифру. И как ни крути, никак не удается спасти репутацию наших стратегов во главе со Сталиным. При уму непостижимом превосходстве, более чем на тридцать тысяч самолетов, не то, что сведение разыгравшегося в июне сражения вничью, победа с большими потерями должна была бы рассматриваться как образец полководческого бессилия, почти не имеющего аналога в истории военного искусства [1].

Таким образом, имеющиеся в наших руках официальные источники дают нам печальную возможность вывести колоссальную по своим размерам цифру — «более чем» 35 490 самолетов. Хоть она и понадергана из нескольких ученых трудов, но все же они ссылаются на один надежный источник — архив Министерства обороны СССР. На архив ссылается и М. Н. Кожевников, который на 22 странице своей книги «Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне» приводит состав ВВС западных приграничных округов на 22.06.41 года. Конкретное количество самолетов не называется, но дано распределение по полкам. Следовательно, можно, располагая средней цифрой количества самолетов в одном полку, подсчитать, сколько их было на западной границе. Итак, на 22 июня 1941 года на аэродромах базировалось:

Ленинградский военный округ	—	840/175[1]
Прибалтийский военный округ	—	665/175
Западный военный округ	—	1085/280
Киевский военный округ	—	1120/350
Одесский военный округ	—	525/210
ИТОГО:		4235/1185

Данная цифра расходится с остальными источниками. Так, «История второй мировой войны» (том 3, стр. 425) говорит о том, что на западной границе находилось 50 процентов самолетов, которыми располагали наши ВВС. Следовательно, они тогда должны были насчитывать 8470 самолетов. А как же тогда данные Жукова — 17 745 только с 1939 года? А краткий очерк с 1540 самолетами новых конструкций? Так были же и внутренние округа, был Дальний Восток, были авиация ПВО, авиация ВМФ, авиация дальнего действия. Если ориентироваться на данные Кожевникова, то получается, что то, что находилось на западных границах, было обречено Сталиным на заклание вроде жертвенного барашка. Видно, Сталин рассуждал так: пусть удар коварного врага уничтожит пять тысяч самолетов на границе — не беда. Чуть позже «в бой будут вступать все новые и новые силы», то есть следующие пять тысяч, за ними еще пять или десять тысяч, потом еще... В конце концов «Германия не выдержит такого напряжения и рухнет под тяжестью своих преступлений» и побед — чего-чего, в людишек у нас хватает, пространства необозримые, техники боевой девать некуда... Стратегия, которая во имя конечной победы, позволяет врагу полстраны превратить в пустыню и безнаказанно осыпать бомбами население, а потом вынуждает прилагать неимоверные усилия, отвоевывая эту пустыню обратно?

Возможно, что 9/10 высчитанного нами фантастического количества числилось только на бумаге. Эта ситуация при охватившем наше общество маразматическом доверии к отчетам и стремлении ведомств вовремя, а лучше досрочно, отчукарекать, а там хоть не рассветай, более чем вероятна. Тогда об этом и сказать надо прямо, не так было бы унизительно сознавать полную несостоятельность нашей военной машины. Но, возможно, наше руководство само перестало ориентироваться в сложившейся обстановке, сопоставляя в тиши кабинетов груды бумаг с убаюкивающе непомерными цифрами и факты ошеломляющих поражений, которыми так

---

[1] Сравнить подобные поражения можно с завоеваниями Америки испанцами, да разве еще с битвами XVII—XVIII веков, когда сотни европейских солдат разгоняли сто- и трехсоттысячные армии индийских феодалов. В этих случаях, правда, каких-то таинственных причин не находит, ответ прост: «...Встретилась регулярная армия XVIII века с восточно-феодальным войском».— А. Б. Каплан. «Путешествие в историю», М., «Наука», 1979.

[1] Числитель — общее количество самолетов, знаменатель — новых конструкций.

«порадовала» Красная Армия свой народ, обязавшись устами Ворошилова защитить его малой кровью.

Затихла ли бумажная война в 1945 году? Весь смысл нашего исследования — в примерке к сегодняшней ситуации. Истина, спрятанная от глаз в архивах Министерства обороны, не служит нам, благодаря чему наливаются соком и крепнут могучие традиции «бумажной войны», которые рано или поздно приведут нас к краху. Думаю, что ее девятые валы продолжают и до сего дня обрушиваться на штабы и управления нашей армии, усиливая и так кровно присущую ей бестолковщину и неразбериху.

Стоит ли сомневаться и в том, что не все самолеты у нас были исправны? Мы всегда кормим собак, идя на охоту. Что толку оправдываться: не хватало запчастей, мастерских и так далее? Обязательным условием существования армии является ее *постоянная* боевая готовность. А если наша промышленность с сумасшедшей быстротой рапортовала о выпуске фантастической по своему количеству техники и не успевала ее вовремя чинить, то кто в этом виноват, как не понукавшие и кукарекавшие?

И, наконец, последнее, что можно сказать, заканчивая разговор о количестве. Германская авиация располагала в общей сложности десятью тысячами самолетов вместе с учебными и резервными. Более 4000 из них находились к 22.06.41 на востоке, то есть люфтваффе сосредоточили здесь не просто половину, а именно основную ударную часть боевых самолетов, которыми располагали. Нам, если не хотеть быть битыми по частям, надо было противопоставить противнику тоже основную часть боевых самолетов. Было ли это сделано? Пока нет точной цифры и ответа на этот вопрос нет. Все же думается, и здесь руководство дало промах.

Краеугольным камнем стратегии является определение направления главного удара. Сталин накануне войны оказался перед дилеммой — как разумнее распределить имеющиеся силы. Угроза была с двух сторон — с запада (Германия) и с востока (Япония), причем нападение могло произойти и одновременно. Решить задачу было, конечно, трудно. В результате крайне непоследовательной внешней политики и невиданного террора в отношении собственного населения страна оказалась практически в международной изоляции и была вынуждена до предела напрягать свои силы, намереваясь воевать со всем миром сразу.

Как бы то ни было, даже при разделе авиации поровну между предполагавшимися фронтами Красная Армия располагала бы на западе 17 745 машинами, то есть примерно на 12 тысяч больше, чем немцы. Проиграть схватку с таким соотношением сил можно только при архибестолковой постановке дела. Если цифра эта была меньше и авиацию усиливали на востоке, что, похоже, так и было, то это только доказывает, что Сталин не обладал даже подобием предвидения и разумной оценки действительности. Можно до сего дня упиваться тем обстоятельством, что «производственные мощности авиационных заводов к лету 1941 года превысили мощности авиазаводов Германии в 1,5 раза», что Советский Союз в 1939-м и 1940 годах производил самолетов больше, чем Германия, но стыдно сознавать, что для победы над врагом нам обязательно было необходимо численное преимущество, да еще настолько огромное. Как-то незаметно привыкли мы к мысли, что без численного преимущества не видеть нам победы, а ведь победа в численном меньшинстве — признак цивилизованных народов, обладающих более высокой организацией жизни, в том числе и военной. Достаточно вспомнить серию побед нашего оружия в русско-турецких войнах. Традиционные неуспехи турецкой армии в XVIII веке являлись следствием болезней турецкого государства, военачальники которого постоянно стремились к созданию подавляющего численного превосходства и раз за разом оказывались битыми.

Подобная ситуация характерна, начиная с Николая Павловича, и для нашей армии. Предпочтение числа в ущерб инициативе, дерзости и таланту стало традицией нашей армии [1]. Гипертрофированное уважение к числу было особенно присуще Сталину, как типичному восточному владыке. Любовь к числу охватила и его окружение. В число они вынуждены были верить больше, чем в способности народа. Отсутствие демократических структур в государстве породило обстановку умственного паралича, при котором руководство страной, имея колоссальное преимущество в количестве самолетов, проиграло битву в воздухе «всухую».

Куда, кстати, подевалась наша авиация после 22 июня? Сколько самолетов было нами утеряно? Генерал Н. М. Скоморохов сообщает, что 1200. Где же остальные неисчислимые тысячи, ведь в небе наша несчастная пехота почти ничего не видела до 1943 года? Оставались ли еще самолеты у Красной Армии? Берегло ли их командование для решающего удара по скифско-кутузовскому методу (первый вариант), или, проморгав их в первые рас-

[1] Примеры тому: Крымская война (реки Альма и Черная), Балканская (Плевна и общий ход войны, сломавший план Обручева, рассчитанный на быструю победу), русско-японская особенно, с ее серией позорных поражений, увенчавшихся Цусимской катастрофой, первая мировая с Танненбергом и Горлицей.

светные часы, продолжало бездумно пускать оставшееся на распыл (второй вариант), или не имело их вовсе (третий вариант). При отсутствии точных данных об этом можно только гадать, исходя из стереотипа рефлексов сталинского руководства.

Лишь под Москвой, что называется «в последний час», когда судьба столицы повисла на волоске и туда стали бросать все, что только могло летать, удалось собрать около одной тысячи самолетов против 600 немецких, и чаша весов сразу качнулась в нашу сторону, хотя в танках и артиллерии мы продолжали уступать немцам. До этого же момента и долго еще после него наши войска не имели «крыши». Вот в каких выражениях описывает фронтовое небо К. К. Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг»: «В воздухе... мы не видели нашей авиации» (стр. 13). Это Юго-Западный фронт, июнь. «...Фашистские летчики гонялись за командирскими машинами, не жалея времени, пуль и бомб» (стр. 35), «...неприятельские самолеты буквально обнаглели...» (стр. 38), «гнусный гул вражеских самолетов... мы ничем не могли помешать им в их налетах на Москву» (стр. 47). Это уже Западный фронт, июль, август и сентябрь. Кстати, там, под Ярцево, немцы, развлекаясь, сбрасывали с самолетов бумажные кульки с насекомыми на наших солдат. До этого ли им было бы, имей они достойное сопротивление в воздухе!

Так или иначе, пользуясь цифрами, выуженными из нашей исторической литературы, нужно сказать, что наша авиация, насчитывая даже только 1540 новых самолетов, могла «продать» себя куда дороже, чем об этом хладнокровно сообщает генерал Скоморохов [1].

Гробы или самолеты?

Рассматривать качество наших самолетов как козырную карту в начальный период войны считается просто неприличным. А так ли это?

Во-первых, качество можно компенсировать количеством, если разумно им воспользоваться. А во-вторых, и уступая в качестве, можно драться успешно. Держалась же как-то немецкая авиация вторую половину войны, проигрывая нам в качестве и количестве. И «мессеры», и «фоккеры», и «штуки» успешно конкурировали с нашими образцами самолетов, превосходившими их по тактико-техническим данным. Одно дело — постепенно уступить господство в воздухе и иметь возможность сопротивлиться до последнего, другое — легкомысленно погубить все в один день. Что говорить тогда о финской войне? Неужели финская авиация была настолько несокрушима, что не давала возможности советским бомбардировщикам смешать с землей линию Маннергейма, так запомнившуюся нашей пехоте? Царапались же вкровь финны, неизвестно на чем летая. Оружие — всегда оружие, важно только, в чьих оно руках. В 1945-м, когда у немцев залетали ракетные «мессера», их сбивали и английские «спитфайеры» и наш И. Н. Кожедуб на ЛА-5, хотя кажется, куда там против ракетного. К примеру, старший лейтенант С. П. Путяков на несчастной «чайке» не только сбивал «мессеры», но и умудрился посадить фашистский самолет-разведчик, прижимая его к земле. В одном из боев его «чайка» получила 326 пробоин, но дотянула до аэродрома. И это на И-15 — биплане, скорость которого на 100 км меньше «мессершмидта». А И-16 — «ишаки» были во всех отношениях лучше «чаек». Дважды Герой Советского Союза Б. Ф. Сафонов до 1942 года летая именно на И-16, сбил 30 самолетов. Грех был бы бросить камень в военное руководство, проигрывай наша авиация бои в воздухе постепенно, в упорной борьбе. Тогда, в те жуткие дни, важно было связать люфтваффе боями, выиграть время, не давать им безнаказанно молотить наши войска и население. Качество наших «ишаков» и «чаек» позволяло это делать, вполне они годились для выполнения этой задачи, но вместо этого они легкомысленно были подставлены под удар и превращены в груду обломков. Историки, правда, этим не очень-то смущены: «значительное количество самолетов устаревших конструкций» — пренебрежительно, не трудясь сообщить точное число, повествуют авторы краткого очерка на стр. 51. Нам, как само собой разумеющееся, внушают мысль: стоит ли, мол, поштучно учитывать этот многочисленный, но по сути дела металлолом... Но позвольте, если это был металлолом, не стоящий даже упоминания, то как можно было заставлять летать на нем летчиков? А если это не металлолом, а грозные машины, в чем на XVIII съезде ВКП (б) под оглушительный гром аплодисментов уверяло народ руководство страны, то почему их боевые качества так оскорбительно не прини-

[1] Интервью с генералом (Лит. газета № 19 за 11 мая 1988 года) можно, не будь столь трагична тема, принять за юмористический рассказ. Сам воевавший и сбивавший врага, то есть бывший тем, кого так безжалостно подставили под удар, он снисходительно журит критиканов: «А то иной раз так увлечемся самобичеванием.. ». И это о 200 сбитых немецких самолетах в первый день войны против 1200 наших. Отдавая дань уважения лично Скоморохову в годы войны, поражаешься все-таки его отношению к тому, что произошло. Ведь ничего особенного-то и не было. Ну, имелись ошибки... С кем не бывает?

маются во внимание? Что же тогда подсовывали Шапошников с Локтионовым несостоявшимся союзникам в августе 1939 года?

Поражаешься все-таки той неописуемой легкости, с которой Сталин и его подручные втирали народу очки. Перед войной бессовестно лгали, что наши самолеты лучшие в мире [1], потом обрекли летчиков гореть на них синим пламенем, а потом (и то через много лет), объяснив разгром допотопностью машин, его виновники спокойно продолжали пользоваться всеобщим почетом и персональными пенсиями. Робкая критика в их адрес воспринимается квк оскорбление памяти павших! И через весь этот многоголосый заздравный хор никто не заикался тогда, что авиация наша никуда не годится. Попробовал, правда, П. В. Рычагов («Вы заставляете нас летать на гробах!» — крикнул он Сталину) и заплатил за это своей жизнью. И попробовал-то, кстати, на совещании, посвященном большой аварийности в ВВС.

Так какой же вывод можно сделать, на чем же вынуждены были летать наши летчики, на самолетах или гробах?

Судя по литературе, посвященной этому периоду, партия и правительство «постоянно уделяли развитию авиации самое пристальное внимание». А раз так, то мы должны были быть к началу войны если не на голову выше немцев, то хотя бы на таком же уровне по качеству самолетов. И что же? Несмотря на «постоянное внимание и заботу», подавляющая часть истребительной авиации западных округов не соответствовала своему названию, поскольку «ишаки», «чайки» не могли догнать даже один из немецких бомбардировщиков Ю-88, скорость которого была 472 км/час. Наши лучшие самолеты, соответствовавшие мировым стандартам, были созданы с опозданием, после того как все армии капиталистических государств их уже имели. ЯК-1, МИГ-3, ЛаГГ-3 пошли в серию только в 1940 году. Сравним даты создания истребителей капиталистических государств, которыми они располагали перед самой войной.

Страна	Тип	Скорость	Год создания
СССР	И-153 «чайка»	444	1938
	И-16 тип 24 «ишак»	472	1939
	новые:		
	ЯК-1	580	1940
	МИГ-3	640 (только на высоте 7000 метров)	1940
	ЛаГГ-3	600	1940
Германия	МЕ-109 (к 41 году были единицы)	470	1934
	МЕ-109 В-2	545	1938
	МЕ-109 Е-3	545	1939
	МЕ-110	545	1936
Италия	МС-200 «саетта» (на нашем фронте появился в июле 41-го)	503	1938
Япония	Мицубиси «зеро-сен»	535	1939
Франция	Девуатин Д-520	525	1939
Англия	Хоукер «харрикейн»	545	1935
	Супермарин «спитфайер»	635	1936

Как видим, все истребители капиталистических государств чуть ли не на сто, а «спитфайер» чуть ли не на двести км/час превосходили наши «ишаки» и «чайки», выпускающиеся в тех же годах. В ходе войны, правда, и у нас залетали самолеты не хуже немецких, но ложка-то дорога к обеду!

Что же говорить об американских истребителях:

Кертис Р-40 «томагавк» [1]	533	1940
«аэрокобра»	571	1940
Лайтнинг	635	1939
Мустанг	690	1940
Тандерболт	750	1941

[1] В марте 1939 года с трибуны XVIII съезда ВКП(б) Ворошилов говорил: «...сейчас нередко встретить на наших аэродромах не только истребитель, но и бомбардировщик со скоростями, далеко перевалившими 500 километров в час». Показательна и реакция делегатов на эти слова: «бурные аплодисменты. Возгласы: „Ура! Да здравствует товарищ Сталин!" „Да здравствует товарищ Ворошилов!" „«Да здравствует Красная авиация!" „Ура!" Зал, стоя, устраивает овацию вождю народов товарищу Сталину...».— XVIII съезд ВКП(б), стенографический отчет, ОГИЗ, 1939, стр. 195.

О том, что наши истребители имеют, якобы, скорость более 500 км/час, говорил представителям английской и французской военной миссий в том же году и Локтионов.

Американцы, чувствуется, готовились по-настоящему, без похвальбы, без ежегодных соколиных рекордов и покорений пространства и времени. С таким качеством самолетов, да еще с беспредельными возможностями своей авиационной промышленности они могли позволить себе Перл-Харбор, и хотя быстро отыгрались за него у Мидуэя, до сих пор не успокаиваются, все ищут виноватых. У нас же тишь-гладь да божья благодать. Виноватых нет.

Какие из всего сказанного напрашиваются выводы? Несмотря на то, что основная масса наших самолетов устарела, и на них можно было успешно воевать, используя их количество и мастерство летчиков. Важно было распорядиться ими разумно. Если же у нас и впрямь была не авиация, а ни на что не способные гробы, то чем тогда занималось руководство страны, с пеной у рта уверяя, что зверства режима и недостойный человека уровень жизни народа вызваны необходимостью готовить страну к обороне?

Но все это эмоции. Хоть и сгинуло у нас двадцать два миллиона (да и двадцать два ли?), мы на них права не имеем. Неохотно нас кормят цифрами, но попробуем все же ими пооперировать.

Соответственно имеющимся источникам, авиация вторжения насчитывала 4900 самолетов. Из них собственно люфтваффе составляли 3900 самолетов, а авиация финнов и румын — 1000.

Согласно уточненным данным Жукова, из 17 745 самолетов, полученных Красной Армией за полтора года до войны, самолеты новых конструкций составляли 3719. Ну-ка, отнимем это число от немецких 3900... Какова разница? 181 самолет в их пользу. И это при полном нашем качественном превосходстве! Навалим-ка на эти 181 самолет наши несметные тысячи... Мало? За вычетом самолетов новых конструкций у нас осталось 14 026 самолетов (17 745—3719).

Ах да! Забыли учесть еще исполинскую мощь румынской и финской авиации, и если понадеяться, что тысяча наших «ишаков» и «чаек» способны противостоять тысяче самолетов гитлеровских союзников (или аграрная Румыния выпускала самолеты лучше наших и немецких? или крохотная Финляндия была индустриальным колоссом?), то, за этим вычетом (14 026—1000), против 181 оставшегося немецкого самолета у нас имеется еще 13 026 самолетов, то есть на один немецкий самолет приходится около ста наших!

Впрочем, мы исходили из того, что на западных границах находилось 50 процентов авиации («История второй мировой войны», т. 3, стр. 425). 17 745 — как раз половина с учетом увеличения нашей авиации по сравнению с 1939 годом вдвое. Косвенно подтверждает это и краткий очерк: 1540 новых самолетов составляют примерно половину 3719 — числа новых самолетов, сообщенного Жуковым.

Немыслимо, конечно, драться, имея преимущество в 13 тысяч самолетов, ну так вспомним, что еще 17 745 самолетов находятся на Дальнем Востоке, из них (3719—1540)... 2179 новых конструкций. Сколько надо продержаться, чтобы оттуда подоспела помощь? Обратимся к командарму Локтионову, который 14 июля 1938 года писал в «Правде»: «В будущей войне, которую готовят против нас фашистские агрессоры, военная авиация СССР покажет свою выучку и боевые свойства... Если понадобится, то авиация европейской части СССР через сутки сможет появиться на Дальнем Востоке». Следовательно, тринадцати тысячам машин надо было продержаться лишь денек.

Итак, стоит скороговорки нашей историографии типа «значительное количество» заполнить цифрами, как получается вывод, совершенно противоположный тому, который проповедуется нашими источниками: наша авиация была не только количественно, но и качественно выше.

Далее, при всем кажущемся качественном превосходстве многие немецкие самолеты вполне могли стать добычей наших «чаек» и «ишаков». Большую часть немецкой авиации составляли бомбардировщики. К примеру, основной бомбардировщик люфтваффе «Хейнкель-III», имевший скорость 400 км/час, и особенно пикирующий бомбардировщик Ю-87 — «штука», превратившийся в подлинное проклятие нашей пехоты. Расчищая дорогу немецким танкам, он не позволял до их подхода поднять голову нашим солдатам и разгонял по щелям орудийные расчеты. Пользуясь тем, что небо было безмятежно чистым, они, израсходовав боезапас, часто просто пикировали без стрельбы со включенными сиренами, изматывая до предела нервы наших пехотинцев, уткнувшихся лицом в дно окопа, а в это время немецкая пехота под шумок и без догляда подходила на сто, а то и пятьдесят метров, устанавливала пулеметы и таким огненным шквалом поддерживала свою атаку, что достигала наши траншеи почти без потерь. Справься «ишаки» и «чайки» с тихоходными «штуками», не смогли бы немцы взламывать нашу оборону так играючи.

Можно было бы на этом поставить точку, придя к решительному выводу, что наши ВВС имели количественное и качественное превосходство, только руководите-

[1] «Томагавк» нехорошо вспоминается нашими летчиками. Но американцы создавали его для себя и Сталину его не навязывали. Если он растерял свою авиацию, то приходилось брать то, что дают: дареному коню в зубы не смотрят. (См. сноску на стр. 182 справа.)

ли не сумели этим воспользоваться, да не все еще по этому поводу сказано.

Ориентируясь исключительно на бумажные показатели, руководство страны вряд ли представляло себе реальное воплощение цифр на практике. Как известно, всю полноту власти в стране в период войны сосредоточил в своих руках ГКО — Государственный комитет обороны. За производство авиатехники отвечал один из его членов, в частности Г. М. Маленков, и, следовательно, лучше его представлять истинное состояние нашей авиации никто не мог. Тем не менее, только в сентябре 1942-го ему случайно удалось убедиться в том, что ЯК-1 не в состоянии догнать «мессершмидт». А ведь эти самолеты мы числим среди «превосходивших немецкие по тактико-техническим данным». Куда их теперь записать и как примеривать только что воспетое нами качество?

Или история с «илами». Трудились, мучились и создали самый лучший в мире штурмовик, летающий танк. Машина по всем отзывам хоть куда. Так нет, подоспело чье-то (и как глубоко укоренилась у нас скромность — до сих пор неизвестно чье) мудрое решение — не снабжать штурмовики стрелком. Так они и летали и в 1941-м, и в 1942-м, и в 1943-м. Машины эти были исключительной живучести, и сбить их было очень трудно, если стреляли по самому самолету. Фашистские же истребители, пользуясь отсутствием стрелка, подходили к нему сзади и поражали незащищенного летчика. В результате каждый наш ИЛ успевал в среднем сделать всего 11 вылетов. Насколько это ничтожно мало, говорит тот факт, что бомбардировщик в среднем переживал 48 вылетов, а истребитель — 64. С учетом того, что это был самый массовый самолет второй мировой войны (всего их было выпущено 36 тысяч), можно понять, какую нужду испытывали в нем войска, и изумиться воистину героической работе нашего тыла.

И все же, была ли наша авиация качественно лучше? Несомненно, была, но воюют не машины, а люди, которые имеют способность и хорошую машину погубить своим желанием побыстрее заслужить благодарность начальства.

Как это делается? А так — отрапортовать о досрочном выпуске целлулоида, из которого изготовляют фонари (крыши кабин самолетов), и после двух-трех вылетов целлулоид начнет желтеть от солнца так, что летчикам придется откидывать фонарь, чтобы увидеть противника. А сопротивление воздуха возросло, и скорость упала.

Можно еще отрапортовать о перевыполнении плана изготовления самолетов, делая их обшивку из дерева. А дерево легко повредить, и нарушенная аэродинамическая форма ведет опять к возрастанию сопротивления воздуха и падению скорости.

Еще как? А, к примеру, составить инструкцию и загрузить самолет лишней сотней килограммов совершенно ненужного оборудования, и опять тише едем.

Словом, была использована масса способов, чтобы превратить прекрасный истребитель ЯК-1 в небесный тихоход.

Мы уже не будем повторять о том, как ИЛ-2, который выдерживал попадания снарядов, стал не только самым массовым, но и самым уязвимым нашим самолетом. Ведь это только подумать — самолет-то создавался как своеобразный воздушный танк! И чем кончилось?

Таким образом качественным превосходством наших новых самолетов воспользоваться в полной мере не сумели. Самолеты же устаревших конструкций слова своего не сказали, и прикрываться этим грешно. Английский флот при Трафальгаре сплошь состоял из старых кораблей и качественно уступал французскому. Однако у англичан был Нельсон и мастерство моряков. У нас же — обратная ситуация — Нельсона не было, но были машины, которыми можно было воевать. Превратился же при умелом использовании допотопный «рус фанер» ПО-2 чуть ли не в самую грозную машину для немцев, за которую вражеские летчики получали повышенную оплату, если ее удавалось сбить.

Боится ли дело мастера?

Что касается мастерства, которым обладали наши летчики, то и здесь нашей историографией пропагандируется их невысокий уровень. Так, незабвенный шеститомник сообщает нам («История Великой Отечественной войны», т. 1, стр. 476), что «полеты на новых самолетах еще не были освоены летным составом. Так, к 1 мая 1941 года полетам на ПЕ-2 (пикирующий бомбардировщик) было обучено 72 процента летчиков. (Кстати, когда только успели? Ведь в 40 году «пешек» была одна или две на всю Россию-матушку, а за полгода промышленность выпустила их 458 штук — стр. 414 этого же тома. Когда же успели полетать?) ...на ЛаГГах — 32, на МИГ-3 — около 80 процентов...», а «к переучиванию на ИЛ-2, на ЯК-1 и некоторых других и вовсе не приступили за отсутствием их в строевых частях». Здесь же говорится, что за три месяца 41 года летчики находились в воздухе:

Прибалтийский военный округ	—15,5 час.
Западный военный округ	— 9 час.
Киевский военный округ	— 4 час.

Исходя из данных цифр, желательно было бы узнать, чем же еще занимались наши летчики в преддверии грозных событий и что тогда наше командование понимало под боевой подготовкой?

Сейчас за громом аплодисментов предвоенных лет и не понять, насколько оправданными были неуемные восхваления сталинских соколов. Были же рекорды, суперперелеты. Первыми героями СССР были как раз летчики, сажавшие в непогоду самолеты на крохотные льдины. Куда же они подевались? Почему не создали из них эскадрилий асов, наподобие «трефового туза» или «зеленого сердца» у немцев? Не дутой ли была вся эта погоня за рекордами и стахановские авторитеты? Длинного списка сбитых самолетов за теми, чьи фотографии заполняли страницы советских газет в тридцатые годы, не значится. Тяжесть единоборства с люфтваффе вынесли иные летчики, большинства которых мы не знаем. Новые герои: И. Н. Кожедуб, А. И. Покрышкин, П. А. Покрышев, Амет-хан-Султан, Е. Я. Савицкий, справедливо заменившие их на Досках почета, проявились уже в ходе войны.

Воспоминания мемуаристов пестрят примерами, как один наш семерых побивахом. Кочуют эти примеры из книги в книгу, и хоть грех в это не верить, не можем мы принять эти воспоминания за основу, хотя бы потому, что и немцы этим же могут похвастаться. Кессельринг, командующий одним из воздушных флотов люфтваффе, разгром нашей авиации в июне назвал настоящим избиением младенцев.

Помог бы тут хорошо налаженный архив, да только учет сбитых самолетов у нас неправедно велся — летчики поощрялись только в случае предъявления ими табличек с моторов вражеских самолетов. А поди предъяви ее, если противник сбит на вражеской территории. Допускались, правда, и свидетельские показания, но сбитые самолеты у нас и по дружбе раздавались, как об этом прямо говорит Н. М. Скоморохов. Немцы же точно знали, что стоит каждый их летчик, поскольку на их самолетах была кинокамера, начинавшая работать в момент открытия огня. Сопоставить бы сейчас эти данные, можно было бы и узнать, чье мастерство было выше. А так, что немецким архивам противопоставить — нашу страсть к припискам?

Были, конечно, и у нас мастера, но свойственное нашей системе пренебрежение к человеку сказалось и тут. Вместо неумеренных восхвалений вырванных из тысяч единиц, увешиваний их наградами и назначения на несоответствующие их знаниям, опыту и возрасту посты, надо было разумно обобщать кровью добытый опыт и создавать из них ударные эскадрильи, способные на равных драться с «трефовыми тузами» и «зелеными сердцами». Наши же асы нередко вместо этого находили себе применение в руках заплечных дел мастеров из НКВД, как, например, Я. В. Смушкевич, дважды Герой Советского Союза, который во главе группы летчиков на Халхин-Голе, по словам Жукова, «преподал предметный урок японским летчикам». В то время как Смушкевич, Рычагов (и сколько сгинуло вообще бесследно?) позарез нужны были в кабинах самолетов, их в упоении избивали в кровь резиновыми дубинками в угоду верховному главнокомандующему.

К тем, кто летать не умел, судьба была более благосклонна. Делегацию в Германию накануне войны возглавлял генерал Гусев. Толком ничего наша делегация там не сделала, к спецам не прислушалась, посчитав, что немцы вместо новой своей техники подсунули нам старье, но в лице генерала Гусева красочно опозорилась, когда Курт Танк, шеф-пилот Геринга, директор авиазаводов Фокке и автор «фоккевульфа», продемонстрировав каскад фигур высшего пилотажа, предложил ему опробовать самолет. Гусев позорно поставил самолет на «попа», не сумев даже взлететь, и после этого, как пишет А. С. Яковлев, «ничего не оставалось делать, как принять предложение отобедать». Вот таким генералам нередко дано было право решать судьбу нашей авиации. Благодаря им с техникой врага так и не познакомились, хотя возможности для этого были. Немцы ничего не прятали. А как важно летчику посидеть в кабине вражеского самолета, узнать его слабые места, мертвые зоны, возможности обзора, да и вообще проникнуться чувством, которое испытывает противник. Не додумались, сочли, видимо, что это не способствует повышению идейного уровня пилотов.

А немецкие генералы летать умели. О Геринге, правда, в люфтваффе были невысокого мнения (как о руководителе), но как летчик он был ас — герой первой мировой войны, заместитель Рихтгофена. Сам Манфред Рихтгофен, лучший летчик первой мировой (80 сбитых самолетов), в Испании командовал авиасоединением легиона нацистов «Кондор», а во вторую мировую — 4 воздушным флотом, словом, прежде чем руководить, доказал это право в бою. Заместитель Геринга, генерал Удет, тоже самолет водил блестяще. Курт Танк, как мы уже убедились, директорствовал опять-таки не по знакомству.

Но по генералам сравнивать мастерство все-таки трудновато. Не все, к счастью, у нас были такие, как Гусев. Не отсиживался же в блиндажах Е. Я. Савицкий, командуя корпусом, или Г. П. Кравченко, командуя ВВС 3 армии Юго-Западного фронта, хотя могли бы не выползать из

блиндажей, прикинувшись озабоченными руководством. В компетентность нелетавших, а их-то было, несомненно, большинство, верится плохо. Покрышкин в одном телеинтервью говорил примерно следующее: «Жизнь — борьба! А борьба с кем? С начальством. Начальство-то не летает, поди докажи ему, что по инструкции много не навоюешь». Такую общую оценку авианачальству дал Покрышкин, и трудно ему не поверить. Нашему руководству ВВС, к примеру, два года пришлось доказывать, что истребителям летать надо парой.

Нет, не зря изучали мы тактику

Наперекор опыту двухлетней войны, бушевавшей на континенте, никто не удосужился пересмотреть тактику «роя», применявшуюся нашей авиацией, летавшей группами по 6—8 самолетов в плотном строю. Можно как-то понять наше руководство, когда они не имели возможности, сев в кабину самолета, лично схватиться в бою с немецкими асами. Но что мешало им сделать это с июня 1941 года, чтобы уразуметь всю порочность нашей тактики? Необходимость руководить из кабинетов, подальше от фронта, в то время как лейтенанты в отчаянии таранили вражеские самолеты?

Наши истребители примерно половину войны летали группой, в плотном боевом порядке, стремясь максимально прикрыть друг друга. Это сковывало их действия и лишало самостоятельности — все вынуждены были держаться друг друга и постоянно следить за старшим.

В результате не использовалось главное достоинство истребителя — скоростной маневр.

Несмотря на то, что воздух кишел фашистской авиацией, немецкие летчики летали парами, стремясь атаковать на вертикалях, сверху или снизу. Ошибку первого исправлял второй, повторявший его маневр. Минимальная связь истребителей друг с другом позволяла импровизировать в бою, выжимая из машины все ее положительные качества. И чтобы это постичь, руководству наших ВВС понадобилось два года. Опыт, конечно, дело наживное и был он целиком на стороне немцев — два года войны плюс Испания. Но ведь и наши были не лыком шиты — та же Испания, Китай, Хасан, Халхин-Гол. А финская война? И почему надо было обязательно учиться только на собственном опыте? Зачем у нас, собственно, существовали разведка, академии, штаб ВВС?

С 1939 года фашистская авиация практически на наших глазах громила всю Европу, причем раз за разом применяла одну и ту же тактику, начиная с ударов по аэродромам. Второго августа началась так называемая «битва за Англию», представлявшая из себя серию гигантских воздушных сражений, в которых принимали участие 2200 самолетов люфтваффе. Неужели невозможно было сделать разумные выводы из борьбы англичан с немцами?

Что касается взаимодействия немецкой авиации с наземными войсками, то было оно отменным и расписано по минутам. Сосредоточивая свои усилия на направлении удара, люфтваффе так обрабатывала нашу оборону, что она ни разу не могла выдержать натиск немецких танков, и так продолжалось до 1943 года. Даже под Курском, наступая в численном меньшинстве, группа армий «Юг» едва не прорвала нашу оборону на южном фасе дуги. Но это только одна сторона дела. Разгром нашей авиации не позволил ей в первую половину войны осуществить то же по отношению к немецким войскам — не с кем было взаимодействовать нашим сухопутным силам. Отсюда и неудачи наших контрударов.

Повелевая сильным войском...

Лучше ли бы пошло дело при других начальниках или нет, трудно сказать. Ясно одно — не хуже, хотя бы потому, что хуже было просто некуда. П. Ф. Жигарев, командующий ВВС, как скромно и просто отмечено Кожевниковым, за несколько дней до начала войны «сменил» на этом посту генерала Рычагова, героя воздушных боев у озера Хасан, который после своего «смещения» погибал в застенках НКВД. Сам Рычагов сменил Смушкевича, замученного вместе с ним, а тот Локтионова — единственного из них, кто сумел выдержать пытки и ничего не подписать. Как видим, руководство ВВС никак не могло устояться, да и о каком руководстве могла идти речь, о какой разработке тактики и «постоянном повышении» боевой готовности, если все начальники были одержимы единственной мыслью — выжить в водовороте интриг и доносов.

Как существовал, допустим, тот же Жигарев?

В середине января 1942 года Конев, во время наступления Калининского фронта, негодовал на командующего ВВС фронта генерала С. И. Руденко: «Почему немцы летают, а наши нет?». Попытки растолковать ему, что погода с немецкой стороны хорошая, а с нашей нет, что видимость менее 500 метров и летать в таких условиях — самоубийство, были бесполезны. Руденко в отчаянии обратился к Жигареву, попросив вмешаться. И что ответил этот командир? «Разбирайтесь сами. Я вмешиваться не буду». То есть — пущай летчики ломают себе в непогоду шею, гробят машины (которых у нас, кстати, как всегда не хватает), главное — лишь бы меня оставили в покое. Зачем, спрашивается, нужен был тогда командующий ВВС? Чтобы ни во что не вмешиваться?

Жигарев занял это место в 40 лет, в звании генерал-лейтенанта. Четыре года назад, в 1937-м, он был еще полковником, в 1938-м, вернувшись из Китая, получает назначение начальником управления боевой подготовки ВВС, потом переведен на должность командующего ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии. С Дальнего Востока он возвратился незадолго до начала войны и был назначен командующим ВВС Красной Армии. В 1942 году он был заменен Новиковым и опять направлен на Дальний Восток. Ну как все это объяснить? Что была за необходимость в таких скоропалительных перемещениях? О какой роли и авторитете командующего, о какой способности осуществлять квалифицированное руководство может идти речь при таком положении вещей?

Неожиданность назначений тем более удивительна, что квалифицированных авиаторов просто не было или они были наперечет. Ведь практически все руководство ВВС до войны и во время ее вышло из общевойсковиков. Что было делать, говорят нам, авиационных специалистов не хватало, а авиацию надо было развивать. А как могло их хватать, если они подобно бизонам истреблялись чуть ли не с 1917-го года? Подробными данными мы не располагаем, но отдельные эпизоды, не говоря уже о массовом уничтожении авиаторов до войны, во время нее и после, говорят о многом.

К. В. Акашев, преданный большевистскому правительству и оказавший ему неоценимые услуги (правда, не как авиатор) при взятии Зимнего Дворца, был в благодарность за это расстрелян в 1931 году. Так это ж тридцатые года, золотая пора истребления, опять-таки скажут нам. А до этого было легче? Сын Инессы Арманд, Федор, еще при жизни Ленина имел недоразумения с комиссаром воинской части, в которой служил. Что из себя представляли эти недоразумения, можно понять по записке Ленина, который был вынужден срочно вмешаться, чтобы отвести угрозы от сына товарища Инессы. Вот записка Минскому губвоенкому, а копия — в губком партии (видно, сомнительно было, что военком сразу послушается):

«Летчик — наблюдатель 38 авиаотряда Федор Александрович Арманд лично мне известен, заслуживает доверия, хотя он бывший офицер и не коммунист. Прошу товарищей красноармейцев и комиссаров не подозревать его».

Так это сын Арманд. Что же было говорить о других бывших офицерах и некоммунистах, которые не читали Маркса, умея при этом летать, а главное, не были лично знакомы с Лениным? Откуда же было взяться преемственности традиций в нашей авиации? Она была преступно прервана, и руководить ею пришлось тем, кто, несмотря на все свои положительные качества, себя к этому не готовил [1].

Вот А. А. Новиков, первый маршал авиации. Пришел из общевойсковых командиров уже в зрелом возрасте, и никого это до сих пор не удивляет, словно авиатором рождаться необязательно,— приказали, и пошел (из общевойсковиков, кстати, был и Локтионов). А как же искра божья? Ведь в будущем, помноженная на опыт, она-то и является источником того самого творческого духа и смелости, без которых нет полководца и которые напрочь отсутствовали в верхнем этаже нашей воинской власти. Логика мышления Сталина, раздававшего посты, поражает своей примитивностью и отсутствием элементарного уважения к человеку. Вот тебе партия первой скрипки — садись и играй. Но как это сделать, как научиться, да еще за год? Музыки-то не будет. У нас же считалось (да не считается ли и сейчас?), что пребывание в течение года в академии и на курсах способно сделать из любого военнослужащего руководителя ВВС. А как же он может руководить асами, когда сам летает с трудом? Для этого же нужен талант, годы тренировок да боевой опыт. Откуда мог взяться авторитет, который рождает в войсках доверие к своим полководцам и удесятеряет тем самым их силы?

Ничего плохого не скажешь о Новикове, но ведь что о нем говорится как о полководце — «дал указание», «координировал», «предложил»... Это же о любом можно написать. Где же обстоятельные, капитальные труды с доскональным разбором действий, ходов и решений нашего военного руководства? Их нет. Неужели это не нужно нашей армии и народу? Неужели мы снова готовы пережить 22 июня и все, что произошло потом?

Все же в пользу Новикова говорит, пожалуй, следующее.

Назначен он был командующим ВВС Западного фронта именно в дни несчастно начавшегося для нас «тайфуна», когда у Сталина горела земля под ногами и во главе войск он все-таки вынужден был ставить тех, кто, вроде Жукова, понимал дело. Да и Жигарева Новиков вскоре заменил и удержаться сумел до конца войны — значит, нужен был. Зато и отблаго-

[1] Как, например, командующий ВВС Западного фронта генерал И. И. Копец, который покончил с собой, когда увидел воочию результаты июньского разгрома.

дарил его генералиссимус от души — посадил после войны вместе почти со всем руководством ВВС. Волна эта захлестнула вместе с Новиковым и его первого зама Г. А. Ворожейкина, и члена военного совета ВВС Н. С. Шиманова, и главного инженера ВВС А. К. Репина, и начальника управления заказов Н. Г. Селезнева. Все прошедшие войну генералы.

Партия и правительство воистину никогда не обделяли вниманием ВВС. После гибели в авиакатастрофе, как тогда называли, «нач. воздуха» Баранова, разбившегося на ТБ-1, за какие-то пять лет один за другим на посту командующего ВВС сменилось шесть человек: Алкснис, Локтионов, Смушкевич, Рычагов, Жигарев, Новиков. Из них четверо расстреляны, а Новиков посажен.

В застенках НКВД, предварительно подвергнутые пыткам, погибли и командующие авиацией на Дальнем Востоке — Ингаунис и Пумпур. Вместе с Алкснисом был арестован и расстрелян его заместитель Хрипин, а начальник Военно-воздушной академии Тодорский с этого времени начал свое путешествие по лагерям.

Как тут могла быть создана традиция в руководстве, как мог быть обобщен опыт? Нельзя даже говорить о том, что ВВС вообще кем-то руководились и кто-то готовил их к войне. Этого некому было делать.

Возьмем штаб ВВС. В мае 1941-го начальником назначается генерал П. С. Володин, то только лишь для того, чтобы через неделю после начала войны освободить это место для генерала Ворожейкина, который через 9 месяцев освобождает его для генерала С. А. Худякова, а тот через три месяца — для генерала Фалалеева, а тот через десять месяцев — опять для Худякова уже до конца войны. Спрашивается, неужели должность начальника штаба ВВС была столь опереточной, что кандидатуру на этот пост нельзя было подобрать заранее, окончательно и с умом?

Скажем, Ворожейкин. В тридцать втором году он был «с должности командира стрелковой дивизии откомандирован в авиацию». Не будем, однако, спешить увидеть его в кабине самолета осваивающим технику высшего пилотажа. Годик он провел в стенах академии Жуковского, после чего его сочли достойным стать командиром легкобомбардировочной бригады. Вскоре (опять вскоре) он назначается помощником командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армией. После этого видим его в должности командующего ВВС Приволжского военного округа, потом уже в войну он «руководил ВВС 21 армии, затем ВВС Центрального фронта». С этой должности Ворожейкин прибыл в штаб ВВС Советской Армии, и «штаб ВВС сразу приобрел четкость в работе», как с чувством глубокого удовлетворения заключает этот рассказ М. Н. Кожевников. Постеснялся почему-то только уважаемый автор добавить, что после войны отправился Ворожейкин ни за что ни про что в лагеря и так же «четко и организованно» валил там лес.

Да Ворожейкину еще и повезло — дожил до реабилитации. Преемник же его — генерал Худяков после Ялтинской конференции все мрачно удивлялся — почему Сталин из всех военных чинов с ним одним поздоровался и долго тряс руку, неизвестно за что благодаря? Так и не разгадал, а после победы был безжалостно расстрелян — заподозрил шутник-верховный, что собирается коварный генерал улететь в Америку, дошло до него, что Худяков летает на американской «аэрокобре» и изучает английский язык...

Такими были наши командующие, таким был у нас штаб. Как в таких условиях они должны были тягаться с Танками, Удетами и Рихтгофенами? Для этого им не хватало знаний, боевого опыта, а главное, все они жили в ожидании гибели, которая могла последовать ежесекундно. До войны ли тут было? Подозревало ли наше командование, что организация советских ВВС не соответствует требованиям времени? Вряд ли. Еще сто лет назад Тютчевым было верно замечено, что политическое недомыслие не может не наложить свою печать на военное управление, да и вообще нашим традиционным проклятием является, как известно, богатство страны при одновременном отсутствии в ней порядка. Летопись и та начинается с недоумения наших предков над парадоксальной ситуацией: страна богата, а порядка нет. Продолжаем недоумевать мы и до сего дня, не говоря уже о периоде, предшествующем 22 июня 1941 года. Все преимущества, которыми обладала наша авиация, были крест-накрест перечеркнуты отсутствием ее разумной организации.

В результате неизвестно чьих решений и указаний советские военно-воздушные силы делились на фронтовые, армейские, войсковые и авиацию дальнего действия. Согласно этому делению, командующий ВВС командовал только авиацией дальнего действия, а остальная авиация ему не подчинялась, вернее подчинялась только по вопросам учебной подготовки, но не боевого использования. Это привело к тому, что ВВС, несмотря на наличие командующего, не управлялись из единого центра и стратегическое руководство осуществить ими было невозможно. Даже в спокойной обстановке для этого необходимы были отчаянные усилия по бесчисленным согласованиям, не говоря уже о той чудовищной неразберихе, в которой потопуло наше благодушно настроенное руководство утром 22 июня. Вырвать инициативу из рук врага можно было только нанесением ударов большого количества самолетов на нужных нам направлениях, то есть заставить немцев решать наши шарады, а не ломать голову над теми, которые они предложили нам. Но кому было массировать силы авиации, если командующий ВВС ими не командовал? В свою очередь командование ВВС фронтов тоже не было хозяином положения. Фронтовая авиация делилась на армейскую и была тем самым распылена по армиям, вследствие чего использовалась несогласованно и каждая армия пыталась решить свои задачи, если к полудню 22 июня и было чем и кому их решать.

В отличие от нас люфтваффе были сконцентрированы в воздушные флоты, командующие которых спокойно маневрировали своими силами и на нужных им направлениях создавали численное превосходство на фоне нашей авиации, действовавшей вразнобой.

Использовать авиацию таким образом, то есть делить ее на армейские, дал повод Халхин-Гол, и в условиях локального конфликта это было оправданным. Отсюда можем предположить, что к этому делу герои Халхин-Гола Жуков и Смушкевич руку приложили. Лишь к маю 1942 года, то есть через год после начала войны, от такой организации отказались, и были сформированы воздушные армии, придававшиеся каждому фронту.

Плюсы и минусы

Итак, подведем баланс плюсов и минусов наших ВВС и люфтваффе: количество — полное наше превосходство, какую цифру при подсчетах ни возьми за исходную; качество — наше превосходство; мастерство — подсчитать невозможно, но если ориентироваться на количество рекордов и мемуары — наше, а если на результаты июньских боев — немцев; тактика — немецкая лучше; командование и организация — немецкие по всем параметрам выше нашего.

Вопреки этим выводам наша историческая литература пропагандирует мысль, что руководство страны «всемерно повышало, уделяло, оказывало и организовывало» (раз), но, к сожалению, того не было, сего не было, а если и было, то не того качества (два). Как видно, если в чем мы ощущали недостаток, так это в организации и квалифицированном руководстве, а не в самолетах. И не самолеты были плохого качества, а мероприятия по подготовке страны к обороне. Вот примеры этой подготовки.

«История второй мировой войны» (том 3, стр. 384) сообщает: «В марте 1941 года для ускорения строительства аэродромов было создано Главное управление аэродромного строительства. Эта организация получила квалифицированные кадры, в ее распоряжение поступила мощная строительная техника. ГУАС занялось созданием аэродромов с бетонными взлетными полосами». Что из этого получилось? А то, что строительство аэродромов в приграничных округах было отдано на откуп НКВД («квалифицированные кадры» и «мощная техника» — это не армия ли заключенных, руками которых НКВД готово было соорудить хоть Вавилонскую башню? Откуда же еще у НКВД строители?). Вместо того, чтобы переоборудовать аэродромы постепенно, большую их часть разворотили одновременно — надо ж было досрочно доложить лучшему другу советских летчиков об окончании строительства. В результате вся наша авиация сгрудилась на ограниченном числе аэродромов, как бы специально собранная для разгрома. Люфтваффе охотно пошли навстречу этому желанию и сделали это, как на образцово-показательных учениях.

А служба оповещения? О чем она оповестила и кого? Она с треском провалилась, прозевав перелет фашистской авиации через нашу границу. Зато не без гордости «История второй мироной войны» (том 1, стр. 261) повествует: «В 1934 году инженером П. К. Ощепковым были созданы первые экспериментальные установки для радиообнаружения самолетов». И что? Создали? «...К началу войны радиолокационные станции, да и то лишь единичные, имелись только в системе противовоздушной обороны территории страны» («Великая Отечественная война», том 1, стр. 454). На что же были направлены все семь лет усилия руководства? Англичане-то сумели решить свои задачи: мало того, что они читали немецкий радиокод, чего одного было достаточно для отражения воздушных налетов, они сумели создать стройную систему наблюдения — и радиолокационную и визуальную. Встречали нацистов во всеоружии.

А радиосвязь? «Выпускаемые перед войной самолетные радиостанции были невысокого качества... почти совсем не было в авиации хороших наземных радиостанций. Основным средством связи на земле были телеграф и телефон, а в воздухе — ракеты и эволюции самолетом (покачивание крыльями и тому подобное)». И это в стране, где было изобретено радио. Кто же усиленно уделял внимание и постоянно проявлял заботу?

Не подсчитать и потерь, которых стоило запрещение открывать огонь по немецким самолетам, в результате чего немецкие летчики подробно высмотрели наши аэродромы. Это позволило им сделать привязку по ориентирам и сразу, пере-

летев границу, не плутая, выходить на цель.

Все эти промахи были обусловлены неспособностью высшего командования и руководства страны соответствовать уровню стоявших перед ними задач. Будь командование иным, немцы не завоевали бы господство в воздухе в один день. Господство же в воздухе давало им практически все:

1. благодаря отсутствию противодействия нашей авиации, танковые группы легко взламывали нашу оборону, на которую немецкие бомбардировщики дождем сыпали бомбы. Остановить этот дождь могли только истребители, а они догорали в это время на белорусских, украинских и прибалтийских аэродромах;

2. люфтваффе легко срывали попытки наших контрударов. Разгром авиации не позволял резервам своевременно оказываться в горячей точке. До подхода к местам боев они добирались под бомбами и подходили обескровленными и измотанными, и если контрудары все-таки благодаря стойкости солдат и имели место, то эффект их был далеко не тот, на который с завидным оптимизмом рассчитывало наше командование до 22 июня;

3. поскольку у немецкой авиации были развязаны руки, она безнаказанно терроризировала население, поливая толпы беженцев из пулеметов и кромсая их бомбами. По сути дела, население никто не защищал. Штурмы городов и деревень не обходятся без бомбежек и артобстрелов, и, когда все это отвоевывалось обратно, наши бомбы и снаряды сыпались на голову нашего же населения.

Мы не говорим уже о безнаказанной бомбардировке железнодорожных станций, подходивших и отходивших эшелонов, командных и призывных пунктов.

Все значение погрома нашей авиации, учиненного люфтваффе в это роковое утро, было в том, что именно он создал общий надлом в войне. Лишенные воздушной крыши, наши сухопутные войска оказались как бы между молотом и наковальней, поскольку подвергались одновременным ударам и сверху и снизу, то есть танков и авиации. Именно поэтому раз за разом наша оборона не выдерживала натиска вермахта аж до 43 года. У войск и командования в ожидании немецкого наступления пропадала уверенность в том, что этот натиск можно выдержать (в Московской, Сталинградской битвах, под Ленинградом враг останавливался на излете своего наступления). Не сгинь так жутко наша авиация в июне 1941-го, и на земле сопротивление было бы стопроцентным. Война не началась бы таким невиданным обвалом.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК

В. ПОПОВ

«СОСТАВ ЗЕМЛИ НЕ ЗНАЕТ ГРЯЗИ...»

В рассказах Насущенко нет покоя. Герои их живут неуютно, часто — в общежитиях; на работе они сражаются с яростной, разлаженной, почти неуправляемой техникой, требующей каждый раз сверхусилий, а иногда и жертв. Только сильным, отчаянным людям это по плечу. О таких и пишет Насущенко, справедливо полагая, что именно они более всего заслуживают права называться героями — героями жизни, героями рассказов.

Люди эти, на мой взгляд, редко изображаются так полно и глубоко, как в книге «Белый свет». Тут нужен автор, который способен вместе с ними выстоять сверхтрудные вахты, перестрадать те же страдания, что и они. Насущенко — один из немногих писателей, кто способен на такое. Чувствуется, что он был с героями в самые тяжкие моменты их жизни, и не просто был, а жил. И именно они и только они, закусив от напряжения губу и выражаясь не всегда благозвучно, запускали, как огромный мотор, нашу неукомплектованную, разбитую, разлаженную жизнь и в конце концов добивались, чтобы из хлада и хаоса образовались свет и тепло.

Автор начинает «фотографировать» таких людей с военных лет, начиная с обезображенного, но доброго, надежного Хрусталева (рассказ «ФД») и, переходя к нынешним временам, убедительно и грустно показывает: и сейчас все продолжает держаться лишь на них. Они «тянули жизнь» в войну («Тяжелый маршрут», «Если я не приду»), тянут ее и сейчас («Хлеб с маслом», «Впереди было чисто», «Крутой спуск», «Незабудки для Томаса»). Тяжелая ноша сделала их нескладными, грубоватыми от постоянного напряжения — но только возле таких можно спастись, согреться в холодной, неуютной жизни, которую Насущенко рисует бесстрашно, подробно и трагично...

«Из дежурки вышла старуха в грязном пиджаке, взяла у стены совковую лопату и спустилась в канаву выбрасывать раскаленный шлак на поверхность. Она долго копошилась там, заходясь кашлем от угарного газа».

Не знаю никого, кто бы настолько глубоко и полно знал все это, как Насущенко! Читая описания военного быта, а потом теперешнего, мы вдруг с ужасом понимаем, что жизнь многих изменилась за прошедшие десятилетия чрезвычайно мало, ноша их не стала легче.

Отчаянная, неустроенная — не обеспеченная ни бытом, ни правами, перед нами проходит жизнь людей, живущих, наверно, в самом тяжелом слое нашего бытия. И — что лукавить! — большая часть нашей страны так и живет, только вот писателя своего раньше у нее не было. Насущенко тут — один из первых. Он рисует жизнь не выдуманную, приглаженную, а настоящую, шершавую. Вот как описывает он место свидания влюбленных: «Лодка вошла в затон. Здесь была старая покинутая лесопилка, у воды, вверх колесами, валялась тележка для подтаскивания бревен к пилораме, кругом — горы бурых опилок, корья» («Пианино в рассрочку»). Рисуя обстановку порой самую неприглядную, например, полусгнившую баню, в которую привычно уже приходит герой рассказа «Патруль» Ивакин, автор смотрит на все как бы глазами героя, не видевшего в жизни других бань. Какая-либо отстраненность, брезгливость чужды писателю, он полностью сливается со своими персонажами и тем пробуждает наше глубокое сочувствие и уважение. «Состав земли не знает грязи» — как сказал великий поэт.

Герои Насущенко осваивают неприспособленные и вроде бы даже непригодные для человеческой жизни пространства и ситуации: проходят по ломающемуся льду над бездной («Весы», «Белый свет»), в тесной вонючей трубе с гаечным ключом в руке добывают право на самоуважение и уважение окружающих («Хлеб с маслом»), простаивают длинные вахты в адских, как выясняется, условиях современных судовых кочегарок («Соленый круг»). Такая жизнь не уродует их морально — они или поднимаются, или гибнут. Только люди настоящей крепости оказываются в местах, требующих сверхусилий — другие сюда не ходят. Побитые физически, со шрамами и переломами, они вызывают наше восхищение — Насущенко показал нам, что это за люди, и за это огромное спасибо ему. Забраться, например, на учительство в самую глушь и оттуда, преодолев непроходимое пространство, дойти к любимой могут только весьма достойные — как герой рассказа «Последняя Марфа». Мусор не липнет к таким, им чужды самолюбование и

В. Насущенко. Белый свет. Л.: Советский писатель, 1988.

спесь, скромность их — необыкновенна для наших дней. Когда этот человек попадает в критические ситуации, так и хочется с азартом подсказать ему: «Скажи же, что ты учитель, а не бродяга, скажи — и все сразу устроится!», но он не говорит этого — скромность и достоинство не позволяют быть «выше других».

«Одна мышь умывалась на кочке, вздрагивая на ветру тонким носиком, потом зевнула, как ребенок. Здесь было мышиное царство...»

Такой же — суровый, холодный, чистый пейзаж в рассказе «На холодной реке» великолепным образом помогает создать образ героя (тоже учителя) — человека страдающего, больного, но сильного, чистого, отвергающего «подачки жизни». Великолепен педагог «старой закваски» и как бы уже не модной сейчас порядочности — из рассказа «Педагогика на тройку».

Прочитав впервые несколько рассказов Насущенко, можно подумать, что у автора просто необыкновенно чуткие глаза и уши. Но вскоре понимаешь, что перед нами не бытописатель, а настоящий писатель — как бы растворившийся в своем материале. Вот он в рассказе «Розовая дача» пишет перестрелку в заброшенном доме — и снова, как и в событиях современных, увиденных самим, вдруг пронзает нас деталями удивительно жизненными, точными, убедительными.

«Они (немцы.— *В. П.*) полезли целым косяком. Он успел выхватить гранату и спрятать под живот. Сыпалась всякая дрянь, пыль, пух. Андрес расчихался, как на именинах. Стало тихо. На лестнице прислушивались, как он чихает, даже загоготали: „Гут, гут...“»

Это «гут, гут» — деталь высокого класса. Шкловский, гениально понимавший литературу, писал: «Читателя убеждают только детали необязательные — он не любит, чтобы его водили на коротком поводке». Но попробуй найти эту необязательную деталь!

На мой взгляд, самое трудное (и почетное) для писателя — написать рассказ о любви несложившейся. Хочется — уж хотя бы тут! — помочь героям, «подлить счастья», сгладить углы, но тогда теряются характерность, разностильность, а нередко — социальная ограниченность людей, теряются картины неустроенности, характерной, увы, для нашей жизни более, чем устроенность. Насущенко «хаппи эндами» не балуется. Если герои и находят свое зыбкое счастье — то все равно автор честно показывает все ямы на их пути, влюбленные живут как бы «на сквозняке», пронизывающем все наше необустроенное существование («Петр и Лиза», «Пианино в рассрочку», «Девушка с кошкой», «Командировка на Север», «Рената», «Счастливый день»). Холодны декорации этих «любовных историй», но писать иные — значит лгать, а в этих нелегких, корявых людях мы видим нашу жизнь гораздо ярче и полнее, чем в иных сказочках и мелодрамах. Рассказы эти волнуют очень сильно — райские кущи оставили бы нас абсолютно равнодушными. «Зачем вешать лапшу?» — как сказали бы мы, в стиле суровых и мрачноватых героев Насущенко. Счастье с закрытыми глазами — не для них. Не может быть полного счастья без знания несчастья — даже просто покоя не может быть без этого. Совесть героев этой книги (и автора ее) — самой высшей, действенной пробы.

Язык этих людей, страдающих в очередях, разрушает старую эстетику и создает новую, как бы грубую и корявую, но в гораздо большей степени соответствующую реальности, чем прежние наши о ней представления («Кончай базарить, волосаны!»). Детали рассказов драгоценны тем, что мы видим не только сами детали, но и тех, кто их видит: «на завалах, как клапана на баяне, торчали опята», «он был забрызган маслом, как сардина».

Если предъявлять к Насущенко претензии, я бы заметил, что схемы его рассказов нередко повторяются. Первая схема — «преодоление»: преодоление непослушной машины, преодоление сурового пространства варьируются в книге не раз и не два («Последняя Марфа», «Розовая дача», «ФД», «Соленый круг»). Вторая схема — «неудачное любовное свидание» — тоже повторяется многократно («Петр и Лиза», «Девушка с кошкой», «Рената», «Пианино в рассрочку»). Правда, герои всегда живые и точные, особенно тут удаются автору образы женские. Конечно, писатель не должен отказываться от найденного, но главное — наполнять рассказы все более острым и горячим содержанием.

Книга Насущенко вышла в трудное время. Никогда еще, наверное, у нас не было такого засилья одних авторов (пусть и весьма достойных) над другими, не менее достойными, но не попавшими в орбиту острого читательского интереса — который определяется сейчас лишь степенью политической остроты либо крайней экзотичностью материала или судьбы автора. Признаки эти вовсе не противоречат созданию хорошей литературы — но ориентироваться лишь на них, как это делает читательская масса... Все сделались вдруг «очень левыми» (или «очень правыми»), остальное никого не интересует: люди словно забыли вдруг, что существует огромная жизнь (без всяких экзотических «меток») — и великолепная литература о ней. В борьбе крайностей мы все чаще замечаем лишь крайности, а жизнь и литературу — не видим. А ведь это — наша жизнь и наша литература.

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

На протяжении всей своей сознательной жизни я испытываю острую неприязнь к многочисленным фальсификаторам и имитаторам народного искусства. Это и поэты-халтурщики (могу доказать и назвать пофамильно, что не раз делал и что собираюсь сделать в специальной статье), и наивные самодеятельные сочинители, члены так называемых творческих групп профессиональных и полупрофессиональных народных хоров, и композиторы, падкие на актуальные фразы, и ученые — откровенные приспособленцы (есть, впрочем, и добросовестно ничего не понимающие и не чувствующие), и беспринципные издатели (что угодно — лишь бы не крамола), и, наконец, руководители органов и учреждений культуры, заставляющие каждый хор иметь в своем репертуаре «современные народные песни» — то есть авторские произведения, славящие все, что нужно славить в данный момент: от Сталина и кукурузы до борьбы за мир и счастливой судьбы деревни. Музыкальные издательства, радио, телевидение, эстрада всячески и до сегодняшнего дня и часа активно пропагандируют подобные изделия. Но за более чем сорокалетнюю собирательскую работу я ни разу не слышал бытового исполнения этих, с позволения сказать, песен и частушек: только со сцены, только в официальном концерте. В деревне по праздникам, а в городе и на буднях.

Неприязнь моя к тому, что издавна выдается за советский, современный фольклор — от былины о челюскинцах до пословиц о военной тайне,— вызвана даже не столько низкими художественными качествами текстов, сколько естественным нравственным чувством, отвращением ко лжи, к кощунственной спекуляции на имени народа, от имени народа («Держи с народом связь — не ударишь лицом в грязь»,— учит одна «современная» — опубликованная, конечно! — пословица). Деревня гибнет, вымирает, а на сцене, на страницах песенников, букварей, ученых книг — гимны, гимны, гимны. В честь вождей, в честь конституции, в честь доярок, комбайнеров, трактористов, азартно побеждающих друг друга в веселом социалистическом соревновании.

Будет стадо с радостью доиться,
И польются реки молока,
Если, как в народе говорится,
Взять быка в работе за рога!

Отличный образ быка — особенно применительно к молоку. И тоже народно, «как в народе говорится»! Это поэт В. Семернин, песня «Я — дояр». Модно и современно. 1985 год. Книга «Припевки, шутки, прибаутки». Тираж 250 000. Для массы, значит, для народа.

Пойду, выйду, полюбуюсь
На привольные поля.
Раздавайся, моя песня,
От колхоза до Кремля!

Ты, подруга, пой, пой,
А мы тебе подпоем.
Мы с тобой в колхозе вашем
Замечательно живем.

С эпитетом «заросшие» первый куплет еще туда-сюда. А второй не исправишь никаким эпитетом. Фальшь и полная художественная беспомощность. Никак эти авторы не могут почувствовать даже формы частушки, ритмов ее, словесной игры... Это сборник «Русские народные песни», выпуск 7, 1987 год. Нужный тираж вычислен с умопомрачительной точностью: 205 тысяч 830 экземпляров, ни больше ни меньше.

Главная беда всего этого городского ширпотреба для сельского населения — легковесность по сравнению с подлинной народной лирикой, неправдивость, полное несовпадение с реальной жизнью деревни.

Но продолжало существовать, отзываться на любые завихрения колхозного бытия подлинное, народное, безымянное, коллективное творчество. Оно, разумеется, никем не поощрялось, но зато и не контролировалось — ютилось по избам, а порой бесстрашно выходило на улицу. Вот о нем-то и речь.

Нужно сказать, что на первых порах в народном творчестве, как и в самом обществе, действительно шла классовая борьба, выражались различные позиции. Помните, у Есенина в «Песни о великом походе»:

«Пароход идет
Мимо пристани.
Будем рыбу кормить
Коммунистами».
А у аас для них поют:
«Куда ты котишься?
В Вечека попадешь —
Не воротишься».

Впрочем, лучше вспомнить бывшие в ходу в начале революции частушки типа: «Сидит Троцкий на заборе, Ленин выше, на ели. До чего же вы, товарищи, Россию довели». Можно не сомневаться, что это голос недавних хозяев страны — стоит вслушаться только, как уничижительно звучит здесь слово «товарищи». Опасения, вызванные слухами, возможно в какой-то части и сознательно распускаемыми, отражает такая частушка:

В колхоз идти —
Нечего бояться:
Сорок метров одеяло,
Будем одеваться.

Но в целом народ принял Октябрь и на многие годы вперед выдал кредит на доверие, который, к сожалению, постепенно превратился в острый дефицит его. Это очень хорошо видно по частушке. Ранние звучат так:

Вейся, вейся, не разбейси,
Серенький утевочек.
Я сама Советской власти,
Коммунист миленочек.

И про колхозы поначалу с энтузиазмом пели (как-то отошло раскулачивание, колхозы были маленькие, свои, жизнь к середине тридцатых годов вроде чуть-чуть наладилась).

Черну курочку кормила,
Черна курочиа ие ест.
Коллективная работа
Никогда не надоест.

Нынче пашеньку пахала —
То овраги, то гора.
Скоро, скоро в наше полюшко
Приедут трактора.

И даже так:

Как колхозные ребята
Начинают богатеть:
Дома строют, тесом кроют,
Интересно посмотреть!

Это записано из народных уст десятки раз.

Но дальше все шло хуже и хуже. Частушка дореволюционная знает множество зачинов, связанных с трудом, подчас очень тяжелым: «Маменька родимая, Работа лошадиная...», «Всю неделю молотила, На беседу не пришла...», «Молотила, молотила, Примолачивала...», «Жито жала, приустала...», «Картошку копал...» и так далее и тому подобное. Трудолюбие было нравственной категорией («Говорят, что не работаю Работы полевой. Наговаривают дролечке, Не верит дорогой»). А вот в частушках советского времени эти зачины постепенно выходят из употребления, заменяются другими: «Я работала в колхозе, Заработала пятак...», ироническим «Говорят, в колхозе плохо, Нет в колхозе хорошо...» (следует какая-то сатирическая картинка). Труд становится чем-то ненужным, от чего хочется избавиться — словом, это тот малопроизводительный принудительный труд, о котором нынче так часто пишут экономисты.

Даже следа классового противостояния первых лет революции, о чем говорилось выше, к середине тридцатых годов уже не осталось. К сожалению, возникло новое противопоставление: народ, крестьяне, колхозники как единое целое — и власть, отчужденная от них, власть бригадира, председателя, райкома и далее, и выше. Отнюдь не идеальны власти. Не идеальна и деревня, как она видит себя сегодня...

По подсчетам старых исследователей частушки на социально-политические темы составляют не более 3—5 % от общей массы (да еще среди них озорных, соленых сколько — блистательных, но, увы, не слишком удобных для печатного воспроизведения!). Это же соотношение, полагаю, справедливо и для послеоктябрьского времени. Однако штрихи эпохи, народное отношение к новым явлениям быта ясно выражаются и в лирических частушках — походя, незаметно для самих певцов.

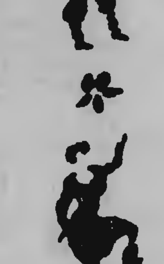
На вершине, на рябине
Воробей качается.
Кто корявую полюбит —
Продналог кончается.

Мы можем не знать сегодня, велик ли был, обременителен ли этот знаменитый продналог. Но по шуточной частушке понять нетрудно.

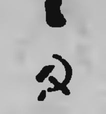
Предлагаю вниманию читателя частушки, услышанные и записанные мной в 1946—1988 гг. на Псковщине, Новгородчине, в Ленинградской области — на горемычном нашем Нечерноземье. Это народное мнение, его нужно не только выслушать, но и сделать все возможное для возрождении земли и человека на ней.

Владимир БАХТИН

ВОЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ



Ты подумай-ка, подружка,
Шуру раскулачили.
Его новую гармошку
На торги назначили.



Хорошо тому живется,
Кто записан в бедноту,—
Хлеб на печку подается,
Как ленивому коту.

Мы в колхоз-то заходили,
Думали — на шуточку.
Нам спокою не дают
Ни одну минуточку.

Эх, калина-ка́лина,
Шесть условий Сталина —
Из них четыре Рыкова
И два Петра Великого.

Эх, малина-ма́лина,
Нам не надо Сталина,
А нам надо Рыкова
И Петра Великого.

Едет Сталин на корове,
У коровы один рог.
Ты куда, товарищ Сталин?
— Раскулачивать народ!

Едет Сталин на телеге,
А телега на боку.
Ты куда, товарищ Сталин?
— За налогом к мужику!

Я работала в колхозе,
Не жалела белых рук.
При отчете получила
Яровой соломы пук.

Я работаю, работаю,
Не знаю и кому.
Кто с десятниками дролится —
И премия тому.

Говорят, в колхозе плохо,
А в колхозе хорошо:
До обеда ищут сбрую,
А с обеда колесо.

Задушевная подруженька,
В колхозе хорошо:
Прогуляешь — не ругают,
А проспишь — так хоть бы что.

Кладовщик блины печет,
Счетовод подмазыват,
Председатель водку пьет,
Бригадир не сказыват.

До чего же надоело
В исполкоме кланяться.
Уходи ты с сельсовета,
Председатель-пьяница!

Я на печке сижу,
Похохатываю,
Каждый день трудодень
Зарабатываю!

Я в колхозе работа́ла,
И работать было лень.
Бригадира поцелую —
Он запишет трудодень.

Полюбила бригадира
И до дела довела.
Я все лето не работала,
Ударницей была.

На дворе собака лает,
Не собака — бригадир:
— Выходите на работу,
А то хлеба не дадим!

Бригадир, бригадир,
Мохнатая шапка,
Кто пол-литра принесет,
Тому есть лошадка.

Я надену платье бело,
И пойду я под венец.
Никого я не боюси —
Председатель мой отец!

Куда, бабка, идешь,
Куда ковыляешь?
— В райком за пайком,
Разве ты не знаешь?

Шла старуха из правленья,
Трудодиям обижена.
Юбка рвана, кофта рвана,
Догола обстрижена.

Шла корова из колхоза,
Слезы капали из нос.
— Оторвите ноги, хвос(т) —
Не пойду больше в колхоз!

Советская власть,
Чем ты недовольна?
По амбарам, сундукам
Ходишь самовольно.

Картошка, картошка,
Какая тебе честь —
Как бы не было картошки,
Чего бы стали есть?

Наварила мать картошки,
Разделила всем по (о)дной:
— Вот вам, детки, по картошке,
Насчет хлеба — выходной.

Прионежские деревни
Можно Питером назвать —
Только лавочки построить
И камнями торговать.

Как Лавровская деревня
Начинает богатеть:
Окна тряпкам затыкает,
Чтоб вороне не влететь.

Надоели нам колхозы,
Надоели нам быки,
А еще нам надоели,
Ох, лепешки без муки!

Вот спасибо Сталину —
Сделал меня барыней:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

Колхозница я,
Четыре имя у меня:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

Милый любит модницу,
Ну, а я не модница.
Ему учительницу надо,
Ну, а я — колхозница.

Мой миленок комсомолец,
Да и я партейная.
Оттого у нас любовь
Такая канительная.

У кого какой милóй,
У меня — мастеровой:
По Москве телегу возит
С газированной водой.

Не стращайте нас Сибирью,
Сибирь — наша сторона.
Все равно полфунта хлеба,
Только воля не своя.

Нынче мода-то такая,
С этой модой пропадешь:
Если девка без пол-литра,
То и парня не найдешь.

Если хошь знакомиться,
Приходи в столовую,
Приноси буханку хлеба
Самую здоровую!

Если хошь знакомиться,
Приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба
И картошки котелок.

Ребята с армии приходят
И на девок не глядят.
Им бы вдовушку с коровушкой
И парочку ребят.

Уж как нынешни ребята
Знают, с кем знакомиться:
У кого картошки много
И корова доится.

Когда Сталин умирал,
Хрущеву наказывал:
— Чтобы хлеба не давал,
Масла не показывал!

Пойдем, милка, погуляем,
На дворе така жара.
Пусть картошку убирают
Из Москвы профессора.

Вставай, Ленин, вставай, милый,
Разгони колхоз ленивый!
Ленин встал, взмахнул рукам:
— Что ж мне поделать с дуракам?!

Мини-мемуары

Юрий Павлович Анненков (1889—1974) — известный русский художник, книжный иллюстратор и портретист, работавший также в области театра и кино. Классическими стали его иллюстрации к поэме А. Блока «Двенадцать»; он был автором бутафории и рисунков к костюмам в спектаклях таких режиссеров, как К. Станиславский, Вс. Мейерхольд, Ф. Комиссаржевский. Работа Анненкова в искусстве, начиная с десятых годов, продолжалась свыше шести десятилетий. За эти годы судьба подарила ему встречи со многими замечательными людьми, да и сам он был весьма крупной фигурой. Выпускник юридического факультета Петербургского университета, учившийся гатем в художественной школе Штиглица, Анненков еще перед первой мировой войной продолжал свое художественное образование в Париже. После возвращения (1913) он плодотворно работает на родине. Художник приветствует революцию, участвует в оформлении зрелищ под открытым небом, таких как «Гимн освобожденному труду», «Взятие Зимнего Дворца». В 1920-м избирается профессором петербургской Академии художеств...

Однако спустя четыре года жизнь его круто меняется: во время одной из поездок за границу он остается там, поселившись в Париже. Как видно по воспоминаниям художника, он не считал более, что на его родине есть необходимые условия для свободного развития искусства. Воспоминания, отрывок из которых помещен ниже, были выпущены в Нью-Йорке в 1966 году. Это — «Дневник моих встреч»: словесные и художественные портреты многих больших русских писателей — Н. Гумилева, Е. Замятина, М. Горького, В. Маяковского, Б. Пильняка, В. Хлебникова, И. Бабеля, Г. Иванова. Есть здесь и портрет Анны Ахматовой, начатый еще в 1911 году, до первой поездки художника в Париж. Ахматову рисовали многие — Н. Альтман, А. Модильяни, О. Делла-Вас-Кардовская... Но анненковскую руку ни с чьей не спутаешь. Взгляните на его портрет. Он заставляет думать и о художнике и о его модели. О столетии одногр и другого. Вклад их в наше искусство велик, как бы по-разному ни сложилась судьба каждого.

Юрий АННЕНКОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

5 июня 1965 года на мою долю выпал счастливый случай присутствовать, в амфитеатрв Оксфордского университета, на торжественной церемонии присуждения Анне Ахматовой звания доктора Honoris Causa[1]. Кроме Ахматовой, таким же дипломом были одновременно награждены английский поэт Сигфрид Бассин, английский прозаик Жофрей Кейнс и итальянский профессор, флорентиец Джианфранко Контини, специалист по Данте.

Трудно сказать, кого больше было среди переполненной публики: людей зрелого возраста или молодежи, в большинстве, вероятно, студенческой.

Появление Ахматовой, облаченной в классическую «докторскую тогу», вызвало единодушные аплодисменты, превратившиеся в подлинную овацию после официального доклада о заслугах русской поэтессы.

Часа через два после этого события в моей отдельной комнате раздался телефонный звонок: говорил по-русски женский голос от имени Ахматовой. Узнав, что я нахожусь в Оксфорде, Ахматова просила меня возможно скорей приехать к ней. Я не замедлил исполнить ее желание.

— Страшно подумать: почти полных полвека! — сказала Ахматова, протянув мне свою руку.

Наша беседа длилась более двух часов. Воспоминания, вопросы, разговор обо всем. Ахматова сказала мне, что она получала все мои письма и что советские туристы, бывавшие в Париже и видевшие меня, всегда передавали ей мои приветы. Меня чрезвычайно обрадовало и тронуло, что Ахматова вспомнила даже о том, как в 1911 году позировала мне в моей квартире, сказав, что это происходило в яркий, солнечный июньский день и что она была одета в очень красивое синее шелковое платье.

Но еще более меня тронуло нечто совершенно неожиданное: Ахматова привезла с собой в Оксфорд и подарила мне одну страшно ценную для меня фотографию, относящуюся к первым дням войны 1914 года. В один из этих дней, зная, что по Невскому проспекту будут идти мобилизованные, К. Чуковский и я решили пойти на эту улицу. Там, совершенно случайно, встретился и присоединился к нам Осип Мандельштам, о котором Ахматова написала замечательную статью в журнале нью-йоркском «Воздушные пути» (№ 4, 1965). Когда стали проходить мобилизованные, еще не в военной форме, с тюками на плечах, то вдруг из их рядов вышел, тоже с тюком, и подбежал к нам поэт Бенедикт Лившиц. Мы обнимали его, жали ему руки, когда к нам подошел незнакомый фотограф и попросил разрешение снять нас. Мы взяли друг друга под руки и были так сфотографированы...

Ахматова приехала в Оксфорд в сопровождении очень симпатичной молоденькой Ани Каминской, внучки Николая Пунина, известного русского искусствоведа, теоретика и защитника авангардных форм художественных исканий в первые годы революции, с которым я был в товарищеских отношениях. Второй спутницей была американская студентка, проживающая в Англии, Аманда Чейс Айгт, изучающая русский язык и уже неплохо говорящая на нем. Теперь она готовит книгу о поэзии Ахматовой.

Я виделся с Ахматовой в Оксфорде три раза. Само собой разумеется, наши разговоры сводились, главным образом, к взаимным расспросам о литературе, изобразительном искусстве, о музыке, о театре — в СССР и за рубежом, а также о наших общих друзьях, живущих там и живущих здесь.

Мы расстались очень дружески, и я вернулся в Париж 8 июня. Но 17 июня, неожиданно, Анна Ахматова тоже приехала в Париж, где пробыла четыре дня. По случайному совпадению она поселилась в отеле «Наполеон», на авеню Фриедланд, около площади Этуаль, оте-

[1] В силу своих заслуг, то есть без защиты диссертации.

ле, управляемом Иваном Сергеевичем Маковским, сыном Сергея Константиновича Маковского, поэта и основателя знаменитого художественно-литературного журнала «Аполлон», где были напечатаны ранние стихотворения Ахматовой... Иван Маковский, узнав, что в его отеле остановилась Ахматова, послал в ее комнату огромный букет цветов.

Встретившись в этом отеле, мы заговорили о наших далеких парижских воспоминаниях, о балетах Дягилева и, конечно, о художнике Амедео Модильяни, сделавшем с Ахматовой несколько портретных набросков в 1911 году, и о котором она тоже интересно рассказала в журнале «Воздушные пути». Затем — о монпарнасских кофейнях, о ночных кабачках Монмартра и Латинского квартала, но вскоре, незаметно, оказались на Михайловской площади в Петербурге, в «Бродячей собаке» Пронина. Там Ахматова поведала мне, что название питерской улицы, на которой я жил и где Ахматова мне позировала — Кирочная улица,— было, в месяцы осады Петербурга гитлеровской армией, заменено другим именем, потому что слово «Кирочная» происходит от немецкого слова Kirche (церковь). На этой улице действительно находилась немецкая церковь, при немецкой школе...

Ю. Анненков. Портрет Ахматовой

Я пригласил Ахматову приехать ко мне к обеду на следующий день с Аней Каминской и с американской студенткой. Ахматова сразу же согласилась, и суббота 19 июня останется для меня одним из незабываемых дней. В рабочем кабинете и в библиотеке, на стенах мои портреты Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Сергея Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Казимира Малевича, Алексея Толстого, Никиты Балиева, Леонида Андреева (1911), Валентина Инкижинова, а также — гуашный портрет Ахматовой, знакомый ей лишь по фотографиям, так как он был закончен мною уже в Париже.

— Мне кажется, что я вернулась в мою молодость,— прошептала Ахматова, оглядываясь на эти рисунки.

— Мне тоже, потому что вы здесь,— ответил я...

21 июня, в 11 часов утра, Ахматова и Каминская уезжали в Москву с Северного вокзала. Я приехал туда проводить их, Аня и Аманда сидели на перроне, что-то записывая друг другу. Я встретил там же художника Дмитрия Бушена, Сергея Эрнста и приехавшую из Америки Нину Берберову, с которой я не виделся уже многие годы.

Анна Ахматова была уже в купе спального вагона Париж — Москва. Она сказала мне, что утром, вследствие усталости и сильных душевных волнений, у нее начались боли в груди и что ей пришлось принять специальные пилюли, но что теперь все уладилось, и она чувствует себя хорошо. Я спросил, какое у нее осталось впечатление от этого почти трехнедельного пребывания за границей. Ахматова сказала, что она никак не ожидала такого радушного, такого теплого приема со стороны всех, кого она встретила и с кем ей удалось беседовать, и что она никогда не забудет этого путешествия. Мы трижды поцеловались.

Когда поезд тронулся, Ахматова и Аня, стоя у открытого окна вагона, очень ласково махали нам руками до тех пор, пока вагон не скрылся.

Вступительная статья и публикация
А. РУБАШКИНА

К. ВИДРЕ

ТАМ, В ТАШКЕНТЕ...

Мне семнадцать лет. Я эвакуировалась из Москвы в сентябре 1941 года и живу в Ташкенте у родных. Учусь в университете на филологическом.

Поздней осенью я присутствовала на состоявшемся в зале Дома Красной Армии, при большом стечении интеллигенции, выступлении только что приехавшей группы московских и ленинградских писателей вместе с узбекскими писателями и переводчиками.

Здесь я и увидела Анну Ахматову. Я знала наизусть «Четки», «Белую стаю», зачитала чуть не до дыр предвоенный сборник «Из шести книг». Представляла я ее по рисунку тушью Юрия Анненкова, который запомнила, листая страницы «Литературной энциклопедии». Но жила она так давно, в другом мире, теперь, верно, старуха дряхлая. И вдруг на авансцену вышла мо-

лодая Ахматова с челкой и четками (это было ожерелье, но для меня — четки), в черном атласном платье, стройная, величавая, с нежным бледным лицом и разве что чуть тронутыми сединой волосами. Очень сдержанно, как бы воздвигая барьер между собой и залом, прочитала она два стихотворения. Кажется, это были «Клятва» и «Первый дальнобойный в Ленинграде».

Окончился вечер. Я увидела ее в вестибюле, какой-то одинокой среди людей, с замкнутым и несколько горделивым выражением лица. Живая Анна Ахматова, оттуда, из стихов, как во сне... Я всех растолкала, протиснулась к ней и незаметно дотронулась до ее черного платья. Сквозь толпу пробивался вполне бесцветный белобрысый молодой человек с ее пальто; она позволила себя одеть, небрежно кивнув ему и что-то сказав сквозь зубы. Меня резануло полное несоответствие дешевого «москвошвеевского», из какой-то светлой дерюжки пальтишка до колен — атласному длинному платью, всему «ахматовскому» облику.

Прошло время, Ахматова болела. Я слышала рассказ о том, как она, больная, лежит в комнатушке с запечатанной розеткой (пользоваться электроплиткой запрещалось); это был тиф, и, кажется, она попала в больницу. Помню рассказ о том, как Алексей Толстой хлопотал о ней в каких-то местных высоких инстанциях, говорил, что Ахматова не умеет о себе позаботиться и никогда за себя не просит. Ответ был: «Зато за нее много просят другие».

Несколько раз я встречала Ахматову на улицах. Помню ее, бредущую с какой-то сумкой по длинной пустынной улице, в ташкентскую жару. Показалась она мне тогда сильно постаревшей.

Жила она трудно. И все-таки я слышала о том, что она подкармливала Мура Эфрона, осиротевшего сына Марины Цветаевой, слышала воркотню писателя-юмориста Александра Раскина, мужа писательницы и журналистки Фриды Вигдоровой: «Зачем рвешь платья Анны Андреевны? Тебе дай хитон Пушкина, ты его тоже на пеленки употребишь». Речь шла о старых платьях, подаренных Ахматовой на пеленки для их новорожденной дочки Саши. При ташкентской бедности тех лет — подарок ценный.

Прошло года полтора с того запомнившегося мне вечера, и однажды летом 1943 года мой дорогой старший друг Фрида Вигдорова сказала мне: «Хотите, Кена, зайдем со мною к Анне Андреевне?». Я, конечно, захотела.

Ахматова жила на улице Жуковского в так называемом лауреатском дворе. Там жили писатели и их семьи, Луговской, Елена Сергеевна Булгакова и некоторые другие. Двор был четырехугольным, огороженным невысокими строениями с довольно низким первым этажом. Вход в квартиру Ахматовой — против ворот. Мы поднялись по наружной лестнице, ведущей на второй этаж. У входа столкнулись со стройным седым господином (хочется назвать его именно так). Ахматова провожала его до порога, дружески о чем-то разговаривая. Это был Георгий Шенгели, известный переводчик и теоретик стиха, о котором я знала только из уничижительных отзывов Маяковского.

Анна Андреевна встретила нас очень приветливо, у нее было совсем другое, открытое лицо. Чувствовалось, что она относится к Фриде с любовью. Вигдоровой, приехавшей в Ташкент вторым корреспондентом «Правды», удалось напечатать в своей газете на первой полосе стихотворение Ахматовой «Мужество». Впервые на всю страну в трудные дни начала 1942 года прозвучал голос Ахматовой:

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах
И что́ совершается ныне,
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Дружба Ахматовой с Вигдоровой продолжалась до последних дней жизни Фриды. Никогда не забуду моего свидания с Фридой незадолго до ее смерти. Я приехала из Ленинграда в Москву, и меня пустили к ней совсем ненадолго, когда ей стало немного легче. Но она удерживала меня, не отпускала. «Молитесь за меня, Кена...». И вдруг: «Перед вами была Анна Андреевна, забрала замечательные стихи молодых поэтов, жаль, не могу их дать...». Ахматовой тоже оставалось жить недолго, в следующем году, 5 марта 1966-го умерла и она. Но еще успела подарить только что вышедший «Бег времени» А. А. Раскиной с надписью, которую я счастлива, с ее разрешения, впервые опубликовать: «Пусть эта книга будет хотя бы слабым и несовершенным напоминанием о Той, кому я когда-то обещала ее подарить, о Той, кто была Вашей матерью и единственным высочайшим примером доброты, благородства, человечности для всех нас. Анна Ахматова. 11 января 1966, Москва».

А тогда, в Ташкенте, она дала Вигдоровой стихи молодой поэтессы Ксении Некрасовой, много одобрительного сказав о ней. Поговорили и о романе «Мастер и Маргарита», который Елена Сергеевна Булгакова тогда, в Ташкенте, давала читать избранным друзьям (удалось прочесть и мне из Фридиных рук) и который

владел нашими помыслами. Именно тогда Вигдорова дала прочитать «Мастера» и Константину Симонову: он был в Ташкенте проездом из Алма-Аты на фронт. Реакция Симонова была такова: «Булгакову, чтобы быть большим писателем, не хватает одного — быть напечатанным».— «Он и так большой писатель, у него для этого уже все есть»,— гневно возразила Вигдорова. Пишу об этом, отвлекаясь от рассказа об Ахматовой, потому что сам факт мне кажется интересным для воссоздания литературной атмосферы тех лет. Насколько мне известно, об этом никогда не писали; считается, что Симонов впервые прочитал роман в шестидесятых.

А в тот ташкентский день мы ушли от Ахматовой, унося несколько напечатанных на машинке страниц. Там среди прочих стихотворений Ксении Некрасовой было «Баранчук» и еще одно, я запомнила его начало:

Где вы, где вы, мои товарищи
Из юности чудесной?..
Апостолы двадцатилетние
искусства,
Пророки недосказанных
стихов...

И дальше — о мечтах друзей: что земной шар будет управляться ими, молодыми поэтами, художниками, учеными. «Баранчук» был напечатан позже, а этого стихотворения я в печати не видела.

«Помню я эту Ксению,— сказала нам первая жена Пастернака Евгения Владимировна, соседка Вигдоровой,— такая странная, нелепая, сумасшедшая... Вечно торчала у нашего подъезда, не давала проходу Борису Леонидовичу». Ахматова опекала Некрасову, стараясь помочь ей, чувствуя ее яркую талантливость и беззащитность.

«Надо вернуть стихи Анне Андреевне, можете отнести, если свободны».

Я была свободна. Заодно прихватила, не поставив Фриду в известность, свою подругу, поэтессу Мирру Рапопорт, моего тогдашнего кумира, она была на несколько лет старше меня и уже с кое-каким жизненным опытом...

Опять поднимаюсь по лесенке. Ахматова приветлива, но от робкой просьбы послушать стихи моей спутницы пытается увильнуть. «Может быть, вы Луговскому почитаете? К нему ходят... Он тут во дворе живет, совсем рядом...».— «Нет, и хочу вам почитать»,— тихо, но упрямо бормочет Мирра. И вот, небрежно бросив что-то повелительное пожилой женщине, которая мыла посуду на четырехугольном столе, стоявшем посреди комнаты (не домработница, а старая поклонница, конечно), Анна Андреевна пригласила нас во вторую комнату. С обреченным выражением лица легла на узкую железную кровать, скинув босоножки из узких красно-синих ремешков (такие были и на мне — ташкентское производство), и приготовилась слушать.

День был знойный, Ахматова была бледна, и думаю, она не выставила нас только потому, что я пришла от Фриды. Мы сели на стулья против двери, в ногах у Ахматовой. Я незаметно разглядывала светлую комнату, лежащую Ахматову. Она не была еще грузной, как позднее, хотя уже не такой стройной и молодой, какой я увидела ее впервые. Величавый горбоносый профиль не гармонировал с дешевеньким ситцевым платьем. Комната — почти пустая, за спиной у нас — невысокие книжные полки (кажется, выкрашенные светлой масляной краской), на них — основательная стопка книг, незадолго до того вышедший в Ташкенте сборник стихов Ахматовой — мне не удалось его купить, а теперь он библиографическая редкость. Над полкой — небольшой портрет Ахматовой, я посмотрела — работы Тырсы.

Терпеливо выслушала Анна Андреевна длинную поэму, и сейчас представляющуюся мне не лишенной достоинств. Речь в ней шла о судьбе Мирриного любимого, у которого был арестован брат. Может быть, этот сюжет предопределил дальнейшее. Ахматова сказала только: «Очень вы мне подражаете». И после паузы: «Я прочту вам свою поэму». Взяла стакан с водой, легла поудобнее. Мне, робко прятавшейся за Мирру: «Сидьте так, чтобы я видела ваше лицо». Я подвинула стул.

Это была «Поэма без героя». До сих пор слышу ее голос, он показался мне каким-то курлыкающим, журавлиным (а может, лебединым?). Я перечитываю часто оба варианта. Многие куски знаю наизусть, иногда по-новому начинаю понимать какие-то строки. У меня с тех лет хранится список (я сделала его вскоре после посещения Ахматовой) с моими наивными, полудетскими комментариями, но тогда, при первой встрече с поэмой, незаслуженно облагодетельствованная на всю жизнь, я не нашла, что сказать. Эти стихи оказались для меня слишком сложными, не смогла я воспринять их сразу на слух. Оглушенная, я только пролепетала: «Мне кажется, здесь тема „Высокие стены костела“ и „О нет, я не тебя любила, палима сладостным огнем“».— «Ничего подобного»,— сурово и непримиримо сказала Ахматова. Ужасная неловкость. Мне бы сейчас туда, вернуть этот час! Я бы нашла, что сказать, да и спросить есть о чем.

«У вас есть мой сборник?» — спросила вдруг Ахматова.— «У меня

есть»,— сказала глупая Мирра. «Но у меня нет»,— занервничала я. «У меня два, я тебе дам»,— не унялась Мирра (неблагодарная, она так никогда и не дала мне этого сборника). Ахматова усмехнулась. Мы попрощались. А когда спустились снова в «лауреатский двор», Мирра сказала: «Никому не будем говорить, какими мы оказались дурами, ладно?».

Надо ли рассказывать о похоронах? О них написано много. Скажу только, что я привела к собору Николы Морского свою девятилетнюю дочь.

Группа московских писателей, пробирающаяся сквозь толпу; суетящиеся телевизионщики, тянущие провод, отзвуки скандала — их изгоняют из храма. Мы в соборе, отпевают рабу Божию Анну. К гробу не подойти. Позже, после долгого стояния в толпе на лестнице в Доме писателя я прохожу мимо гроба и вижу снова прекрасное лицо, ахматовский профиль.

Совсем недавно. Совсем давно

А. НИКОЛАЕВ

МУЗЕЙ НА УЛИЦЕ КРОНШТАДТСКОЙ

Давно о нем слышал, но как-то не вникал в смысл понятия «народный музей»: все представлялись ряды унылых витрин с черно-белыми фотоснимками да бесчисленные прозаические и поэтические тексты в металлических рамах. Тем не менее, собирался в него зайти.

А тут как-то ехал в трамвае по Кронштадтской и вдруг увидел безликое крупнопанельное здание, похожее на пакгауз, увидел пэтэушников возле него, а на крыше бесконечную, как мне показалось, вывеску и два примечательных слона в ней: «имени А. А. Жданова». И что-то меня словно подтолкнуло: да ведь здесь, в этом ПТУ при крупнейшем в Ленинграде судостроительном заводе и находится народный музей Ахматовой!

Каждый из нас на своем веку видит множество разных музеев. Все по-своему интересны. Но это — не тот классического типа музей, где царит атмосфера бла-

Один из залов народного музея

гопристойной почтительности к экспонатам, где витает в воздухе специфический запах старины и в каждом углу сидит строгая тетя с готовым окриком на устах.

Это — музей народный, демократический, общепонятный и общедоступный. Это, если можно так сказать, музей самодеятельный. И потому яркий, запоминающийся.

Если бы меня спросили о самом первом впечатлении от него, я бы ответил так: оно было светло-голубым, подобным цветовой гамме известного портрета Ахматовой работы Натана Альтмана, и оно было праздничным. А кроме того, все то время, пока я осматривал шесть его залов, меня не покидало ощущение какой-то необыкновенной близости к театру, ощущение даже чего-то... несколько феерического. Да и в нашем диалоге с заведующей преобладал некий «исполнительский» элемент. В нем не было вопросов и ответов, в нем были реплики. А в страстном, стремительном монологе Валентины Андреевны Биличенко, чрезвычайно богатом разнообразнейшими модуляциями, содержалось так много сведений, что я поначалу несколько растерялся. Впрочем, может быть, это мое личное, чисто субъективное восприятие? Давайте сверимся по книге отзывов — толстому тому в красном переплете.

Вот. «Спасибо за открытый урок, прекрасный урок человечности, труда и преданности. Учителя литературы школ Ленинградской области (120 человек)».

Таково, как видим, коллективное суждение.

А музей и в самом деле возник из преданности Ахматовой и самозабвенной любви к ее поэзии, и в основу экспозиции, насчитывающей в своем составе около трех тысяч единиц, легла собственная коллекция Валентины Андреевны. В залах все прижизненные издания ахматовских книг, книги многих ее современников, некоторые с дарственными надписями. Одну из них я списал с титульного листа поэтического сборника Арсения Тарковского «Перед снегом»: «Анне Андреевне Ахматовой как выражение неизменной преданности, благодарности и поклонения перед самым прекрасным, что я встретил на пути — „исканий наугад за кровом и за хлебом“. 25.VII.62».

Возле витрины с этим сборником я долго стоял, как, впрочем, и возле многих других экспонатов,— будь то редкая фотография Николая Гумилева или живописный портрет Максимилиана Волошина, гитара Александра Галича или изящная деревянная шкатулка (в таких Гумилев любил хранить документы), портрет Ахматовой, выполненный Л. Сморгоном, или ее бюст работы скульптора В. Астапова...

И меня не покидало чувство обновления моего собственного отношения к Ахматовой. Но здесь я вновь должен обратиться к книге отзывов.

«17.II.87. Музей — открытие! Бесконечно благодарны за утверждение светлой памяти дорогой нам А. А. Ахматовой. Сотрудники горбольницы № 44».

Запись эта выбрана наугад. В большой красной книге их великое множество, все они сходятся в одном — в преклонении перед Ахматовой и благодарности за возможность приблизиться к ней. Их оставили библиотекари, рабочие, учащиеся техникумов, педагоги, врачи, студенты — всех не перечтешь.

Вот волнующие строки: «Огромное спасибо! Просто нет слов, чтобы сказать, как это прекрасно. 01.02.89. 10 „б“ класс 89-й школы».

В моем блокноте, помимо этих свидетельств, говорящих о популярности музея, есть большой список хорошо известных имен. Здесь нередко проводятся интересные вечера, устраиваются творческие встречи и даже концерты. Не стану подробно о них рассказывать, назову лишь фамилии тех, кто на них бывает: сын Анны Андреевны Ахматовой известный ученый Лев Николаевич Гумилев, писатели Даниил Гранин и Виктор Конецкий, главный редактор журнала «Нева» Борис Никольский, актер и поэт Владимир Рецептер, филолог Николай Николаевич Скатов, балерина Татьяна Вечеслова, поэт Михаил Дудин, композитор Борис Тищенко...

Я говорил о своем ощущении некоторой как бы театральности. Она есть. Ее создает сочетание подлинных предметов в экспозиции с декоративностью оформления. Экспозиция организована так, чтобы можно было вести последовательный рассказ о жизни и творчестве Анны Андреевны Ахматовой. Рассказ получается как бы овеществленный. Мы слушаем его в «декорациях», обозначенных выставками «Царское Село», «Слепнево», «Ахматовиана», «Весь Петербург», «Ташкент», «Комарово», «Заграница», «Поэма без героя». Может быть здесь нет полноты, зато есть наглядность и доступность. А когда рассказ ведется человеком увлеченным, условное становится для слушателей безусловным. Они видят Ахматову в жизни. Это главное.

Экспозиция кажется особенно яркой, когда в залах народного музея безлюдно. Тогда, воспринимая ее сразу всю, целиком, отдаешь себе отчет: это своеобразная интерпретация ахматовской судьбы, притом довольно свободная, одухотворенная личной пристрастностью Валентины Андреевны Биличенко.

И великая Анна здесь незримо присутствует — непостижимая и понятная всем, кто приходит сюда ради приобщения к миру ее поэзии. И пусть на границе этого мира в чьей-то душе иной раз и прозвучит:

> Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
> Такой на свете быть не может,—

в конце концов любой из посетителей проникается доверием к этой весьма демократической трактовке образа Ахматовой и, вероятно, становится духовно богаче.

А что касается «примечательных слов», то слякотным февральским утром с крыши здания ПТУ сняли лишние буквы — числом четырнадцать — и перестало существовать не ясное многим, нелепое сочетание — «имени А. А. Жданова». Прочие слова сохранились. Они читаются из окон звонких трамваев. «Профессионально-техническое... Судостроительного завода...». Демонтированные буквы увезли на грузовике. Куда? В неведомое. И вряд ли что можно из них сложить...

Пешком по старому Петербургу

Д. ЗАСОСОВ, В. ПЫЗИН

ВРЕМЯ СПОРОВ, БРАНИ БУРНОЙ

В гимназии бывали торжественные дни: начало занятий (20 августа), раздача наград, особые события — панихиды по высокопоставленным лицам. Все собирались в зале на молитву перед образом Иоанна Богослова. Пел гимназический хор, играл свой духовой оркестр. Проба голосов для хора была во втором классе. Учитель пения Четвертаков, по прозвищу Пятиалтынный, напоминал Собакевича. Один из нас на пробе очень волновался и взял не в тон. Это было расценено как озорство, виновника изгнали из зала, а классному наставнику поступила жалоба. В результате несостоявшийся певец был оставлен на два часа после уроков с занесением этого события в дневник, а потом ему попало еще и дома. Так печально закончилось вокальное образование. Но приверженность к искусству у него осталась. В четвертом классе он начал играть на турецком барабане, потом на альте и гимназическом оркестре.

В сентябре проводился традиционный торжественный акт. На него приглашали родителей, гостей из других гимназий. Верхний зал украшался и убирался, покрывался зеленым сукном длинный стол, на стульях рядами сидели родители, за ними стояли гимназисты. Напротив — хор и духовой оркестр. Директор объявлял открытие. На кафедру всходил учитель Степанов, лучший оратор, и докладывал годовой отчет. Это ему очень удавалось: в полной парадной форме, при шпаге, манеры красивые, интонации голоса богатые. Он склонял свою красивую голову то направо, то налево. Начинал он так: «Милостивые государыни и милостивые государи! В отчетном году...».

Отчет занимал много времени. Гимназисты уже отстояли молебен, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, перешептывались. По окончании доклада хор пел кантату, далее начиналось самое главное: торжественная раздача золотых и серебряных медалей окончившим гимназию. Вызываемые, большинство уже студенты, подходили к столу, директор стоя вручал им медали и жал руку. Все аплодировали, оркестр играл туш. После этого выдавались похвальные листы и наградные книги перешедшим в следующий класс с хорошими отметками. Опять аплодисменты, туш. Потом хор пел кантату, прославляющую учителей. Директор объявлял акт законченным, гимназисты играли марш, трубы оркестра гремели, оглушая уходящих гостей. В этот день все приходили приодевшись, некоторые гимназисты даже в мундирах.

Бал состоял из двух отделений. В первом разыгрывался какой-нибудь водевиль или сценки из Чехова, Островского, иногда — концерт силами гимназистов. В конце выступали и родители. Второе отделение — танцы до трех часов ночи. Одни «дамы» пользовались успехом, их приглашали танцевать наперебой, другие с завистью смотрели на танцующих, нервно теребя платочек. Еще больше страдали сидящие рядом мамаши. Но гимназисты-распорядители были бдительны: не давали девушкам долго засиживаться, приглашали их сами или посылали кого-нибудь из товарищей.

В мазурке непревзойденными были гимназист Сиповский и учитель гимнастики поляк Ян Беганский. Они соревновались между собой и выкидывали такие пируэты, так носились по залу и падали на колени, обводя даму вокруг себя,

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 5.

так гремели воображаемыми шпорами, что наблюдающие стыли в восхищении, а потом взрывались аплодисментами, криками «браво», «бис». «На бис» танцевал только победитель со своей дамой. Фурор необыкновенный! Все высыпали в зал смотреть, но танцевать отваживались далеко не все: ведь в этом танце надо проявить особую лихость кавалеру и грациозность — даме.

Некоторые студенты со своими девушками просиживали весь бал в зимнем саду; гимназисты на такое не отваживались. Вообще, студенты на гимназических балах были первыми кавалерами: совершенно независимы, недосягаемы для гимназического начальства, вдобавок — женихи.

К трем часам ночи, когда и танцоры, и музыканты уставали, объявлялся последний вальс и следом — «вышибательный» марш. По традиции его играли сами гимназисты. Все спускались во второй этаж к вешалкам, гимназисты провожали своих дам. Оставались немногие — те, кто сдавал казначею Анфиму вырученные деньги от буфета, от продажи конфетти и прочего. Составив положенный акт, уходил наконец и Анфим со своей шкатулкой. Через несколько дней комиссия, подсчитав чистую прибыль, писала денежный отчет, и деньги, обычно триста-четыреста рублей, распределялись среди «недостаточных» учеников. За год от таких вечеров собиралось около тысячи — сумма по тому времени значительная.

Вспоминается особый концерт. С нами учился Сережа Лабутин — сын чиновника в управлении императорских театров. При его содействии в целях большего сбора в пользу «недостаточных» был устроен очень хороший концерт: помещение было снято в гимназии «Петершуле», где был зал, способный вместить много публики. Лабутин пригласил многих знаменитых артистов — Стрельскую, Ведринскую, Мичурину-Самойлову, Юрьева, Лерского, Варламова, оперных солистов Серебрякова, Касторского, Петренко. Гимназисты-распорядители ездили за ними в трех наемных каретах либо на квартиру, либо в театр — по указанию Лабутина. Одному из нас было поручено привезти Стрельскую и Серебрякова. Они жили в Лигове, карету надо было подать к Балтийскому вокзалу и там их встретить. Мороз был страшный, оба гостя пожилые, старушку Стрельскую нужно было подсаживать в карету с большой осторожностью. Но все обошлось благополучно, как затем и с доставкой Лерского из Александринского театра. Видя такую расторопность и исполнительность, Лабутин поручил привезти еще и артистку Ведринскую из ее квартиры на Фонтанке. Приказано было съездить как можно скорее: кареты необходимы еще для кого-то. Через какие-нибудь пятнадцать минут гимназист входил в квартиру Ведринской. Горничная провела его в гостиную. Вскоре вышла в домашнем платье и хозяйка — миловидная, нежная, небольшого роста, очень приветливая. Она дала поцеловать ручку смутившемуся гимназисту и очаровательным голосом сказала: «Вы садитесь, мы сейчас поедем, я только переоденусь». Горничная принесла чай с печеньем, ушла, и все в доме затихло. Чай был выпит, началось томительное ожидание. Прошло двадцать, тридцать минут, часы отбили три четверти — никто не появлялся. Гимназист в отчаянии, не зная, что предпринять, вышел в переднюю, взял в охапку шинель, открыл французский замок, бросился в карету и доложил по приезде разъяренному Лабутину, что ждал сорок пять минут, а больше ждать не посмел и потом уехал. Кому-то передав свои полномочия, Лабутин отправился за Ведринской сам. Распорядительная карьера гимназиста была погублена, он остался стоять в коридоре, ведущем к кулисам. Концерт шел своим чередом, но ему казалось, что все пропало, что люстры горят тускло, а голоса артистов доносятся глухо, как из подземелья. Вдруг послышался шум шагов, шуршанье платья и любезный голос Лабутина, сопровождавшего даму в роскошном белом платье со шлейфом, с диадемой на голове и с громадным страусовым веером в руке. Заметив гимназиста, она слегка ударила его по плечу веером и проворковала: «Сергей Сергеевич! Вот единственный мужчина, бросивший меня».

Концерт, как говорили, прошел с большим успехом, сбор был большой. Передавали, что Ведринская потом за ужином, смеясь, рассказывала, как ее осмелился покинуть какой-то гимназист...

Интересно вспомнить и тридцатипятилетний юбилей Анфима. Кроме обязанностей казначея, он собирал деньги за чай и за обучение танцам и музыке, взыскивал за всевозможные ущербы — разбитое стекло, сломанный прибор, в случае болезни учителя приходил в класс и смотрел за порядком. К юбилею были приготовлены подарки и адреса от педагогического состава, гимназистов и их родителей. Подарки были обычные в таких случаях: серебряная ваза, набор ложек, в папках — адреса, напечатанные буквами. Анфима любили все: он всегда старался все уладить, начальству на гимназистов не жаловался — и в день юбилея хотелось сделать ему приятное. Собрались все в зале за большим столом. В центре — юбиляр. Слева от стола — хор и духовой оркестр, справа — родители. Торжество открыл директор, потом на кафедру взошел «златоуст» Степанов и обрисовал жизненный путь Анфима, затем инспек-

тор Суровцев прочел адрес, передал подарок от педагогического состава — ящик с серебром — и расцеловал юбиляра. Оркестр сыграл туш, хор спел хвалебную кантату. Один из родителей также поблагодарил Анфима за «полезную деятельность», второй прочел адрес, третий передал подарок. Опять туш, хор. Наконец вышли трое гимназистов, двое держали развернутый адрес, третий, с подарком в руках, читал. Снова туш и хор, прославляющий покровителей и наставников. Затем слово юбиляру. Старичок Анфим в новом форменном сюртуке с Анной на шее страшно растроган, плачет, срывающимся голосом произносит ответную речь. Его под руки отводят на место. Директор объявляет официальную часть оконченной, просит гостей в нижний зал к скромному столу, а гимназистам велит разойтись по домам.

Кроме хорового пения и игры в великорусском и духовом оркестрах, за отдельную плату можно было обучаться танцам и игре на рояле или скрипке. Разучивались и произведения светского характера: торжественные кантаты, русские песни. В великорусском оркестре играли больше тихие, послушные мальчики, а в духовом было много озорников, презиравших «балалаечников»: с их точки зрения те занимались пустяковым делом. Великорусским оркестром руководил большой любитель и знаток этого дела бывший ученик той же гимназии Михайлов. А духовой оркестр появился так: соседний Измайловский полк менял оркестровые трубы и барабаны и продал по дешевке старые оптом за триста рублей. Учил игре на трубах унтер, сильно напоминавший Пришибеева: строгий, с хриплым голосом, великий любитель солдатских приемов — стукнуть дирижерской палочкой по голове, ударить по раструбу трубы, чтобы этот удар передался через мундштук в зубы играющего. Учил он усердно, и через полгода оркестр уже играл гимны, два марша — «Тоска по родине» и «Старые друзья», два вальса — «На сопках Маньчжурии» и «Осенний сон», какую-то польку и несколько русских песен, сольных номеров и дуэтов. Увлечение сначала было большое, все старались. На вечерах для форса левые руки оркестрантов были в белых перчатках. Директор любил духовой оркестр, а инспектор — струнный. Объяснялось это просто: репетиции духового оркестра происходили на четвертом этаже рядом с квартирой инспектора.

Вскоре унтер ушел, его сменил некто Лабинский, выпускник консерватории, человек пожилой, со слабым характером и большой плешью. Гимназисты его звали «Фон-дер-плешь». Вначале он преподавал рояль и скрипку, потом взялся руководить духовым оркестром, хотя медные инструменты знал плохо, толком объяснить ничего не мог. Унтер оказался куда лучшим дирижером, чем питомец консерватории. Гимназисты скоро перестали его уважать, дерзили, играли плохо, и оркестр развалился.

Танцы за пять рублей в год преподавал балетный артист, приходивший со своей тапершей раз в неделю часа на два. Держался он очень гордо, но потом мы узнали, что в Мариинском театре он на самых последних ролях: например, роль рака в массовке — с красными клешнями на руках темно-зеленого цвета. Занятия у него начинались с изучения разных позиций, потом переходили к приседаниям и так далее. Через полгода стали учить вальс, польку, мазурку. Одни гимназисты были за кавалеров, другие за дам. Наука танцев усваивалась туго, изящество прививалось слабо, и это весьма сердило «балетмейстера», иногда он срывался и говорил, показывая какое-нибудь па: «Ведь это просто, какие вы тупоголовые».

Балы и концерты устраивались два-три раза в год, зимой, как мы упоминали, с благотворительной целью. Скромные помещения гимназии преображались. В верхнем зале ставилась сцена, лучшие рисовальщики украшали стены рисунками из античной жизни, рыцарской эпохи, русских былин, на сцене развешивали гирлянды электрических лампочек, елочные ветки, перевитые кумачом, перетаскивалась мебель из квартир директора и инспектора для устройства уютных гостиных, расставлялись скамейки, знатоки в области садового искусства устраивали в одном из классов зимний сад, раскрашивая пол желтой охрой, чтобы создать иллюзию песка. Всем этим заведовали выпускники — восьмиклассники, потому бал и назывался — выпускной. В день бала открывался буфет — чай, лимонад, морс, пирожные, бутерброды, конфеты. Закупались конфетти, серпантин, «почта». Приглашались оркестранты Измайловского полка и тапер. Под рояль танцевали в отдельном зале. Матери учащихся устраивали в павильончиках или беседках беспроигрышную лотерею.

Бывали у нас не только праздники. Взять хотя бы знаменитую битву с ремесленниками. Ремесленное училище (ныне Механический институт) и гимназию разделял кирпичный забор высотой до второго этажа. У этого забора со стороны ремесленного училища были близко кузница и вагранка, где всегда толпилось много учеников: они рубили железо, разбивали чугун, носили каменный уголь, работали у горнов. Дым и запах страшные, все это несло в наши классы, иногда даже невозможно было открыть окна для проветривания. И вот в одну из больших перемен старшеклассники затеяли перебранку с ремесленниками. После

взаимных оскорблений гимназисты начали швырять в ремесленников куски мела, свинцовые чернильницы, поленья. В ответ полетели куски угля, гайки, болты, обрубки железа. Все стекла гимназии в четвертом и третьем этажах были выбиты, занятия прекратили, гимназистов выпустили по черному ходу, так как главные лестницы были под обстрелом. Все это произошло так быстро, что начальство и той, и другой стороны не успело вмешаться. На следующее утро к началу занятий стекла были вставлены, но начальство долго еще доискивалось, кто главный виновник. Так и не доискалось, ибо фискалу грозила «темная»...

Дети переходили из класса в класс, становились выпускниками, по традиции заказывали выпускные значки, где указывались номер и год выпуска и фамилия выпускника. Ювелиры выполняли эти заказы по выбранным рисункам. Значки носились весь год до получения аттестата зрелости. Самым любимым и уважаемым учителям такой значок подносился с соответствующей речью в классе после урока. Педагоги в ответной речи выражали надежду, что весь год гимназисты будут вести себя хорошо и заниматься усердно, и носили значок на цепочке часов в виде брелока. Наступали последние дни перед экзаменами на аттестат зрелости.

Выпускные экзамены проходили с промежутками в два-три дня. В эти дни гимназисты много занимались — обыкновенно маленькими группами, у кого-нибудь на дому, потому что даже во время передышки разговоры вертелись около того предмета, к какому готовились. Настроение было приподнятое, все понимали ответственность: испытания строгие, подсказка и списывание совершенно исключаются.

И вот наступал этот день. Обстановка необычная: у стены длинный стол под зеленым сукном, а по всему помещению расставлены парты, для каждого отдельная, с дистанцией около четырех аршин, чтобы исключить всякую возможность подсказать или переписать. За этим следили и учителя, постоянно прохаживающиеся между партами с приклеенными на них карточками, где были обозначены фамилии экзаменующихся. Гимназисты рассаживались, звучал звонок, все затихали, входила экзаменационная комиссия, человек восемь во главе с директором и инспектором. Инспектор объявлял, что экзамен начинается, и просил подходить к столу по одному. Каждому под расписку выдавались два листа с печатью и номером — для черновика и беловика. Первый письменный экзамен был по русскому языку. Давались две темы — одна по пройденному курсу, другая свободная — на усмотрение гимназиста. На сочинение отводилось пять часов. Сдавать надо было и черновик и беловик. Комиссия отмечала в ведомости время сдачи. Велся подробный протокол всего экзамена. В два часа дня звонок — конец. Следующий письменный экзамен — четырехчасовой — был по математике: комбинированная задача с элементами алгебры, геометрии и тригонометрии. Соседям по партам давались разные задачи.

Через несколько дней начинались устные экзамены. Если по этому предмету был еще и письменный, то сначала объявлялись отметки по нему. (Впрочем, их можно было узнать и раньше в канцелярии.) Приезжали попечитель учебного округа, его помощники или окружные инспекторы. Два-три гимназиста вызывались к столу, где были разложены билеты. Номер вытащенного билета сейчас же вносился комиссией в протокол. Испытуемые рассаживались в почтительном расстоянии друг от друга, но невдалеке от стола с комиссией. После ответов на билет члены комиссии могли задать любые вопросы по пройденному курсу и ставили каждый свою отметку, а по окончании экзамена выводили среднюю и объявляли ее в зале.

Отметить окончание мы собрались в открытом ресторане зоологического сада. Встретили нас очень хорошо, хотя денег было, конечно, немного. Сидели за столом долго, встали в третьем часу ночи — чудной петербургской белой ночи, больше похожей уже на утро: на Обуховской площади торговцы уже раскладывали свои товары. До района Технологического института, где большинство из нас жило, шли пешком, останавливаясь на мостах, любуясь Невой, садились на парапеты набережных, говорили о будущем, клялись в вечной дружбе, давали обещание встретиться через десять лет. Так мы отпраздновали прощание с гимназией.

Кто-то стал готовиться в высшие технические учебные заведения (кроме женщин: их не допускали почти во все высшие учебные заведения России, для них были свои высшие курсы в Петербурге и Москве, в больших губернских университетах Киева, Харькова, Казани, и то по узкому кругу специальностей). Медалисты мечтали поступить в Военно-медицинскую академию или Политехнический институт, куда принимали по конкурсу аттестатов, другие — в университет, кое-кто был вынужден пойти работать. А на следующий год началась русско-германская война, большинство окончивших были направлены в школы прапорщиков и военные училища. Почти все наши выпускники сложили свои головы, защищая Родину...

Окончание следует.

По праву памяти

Из писем в редакцию

Моя мама, Капорова Мария Максимовна,— одна из первых активисток комсомола Петрограда (член РКСМ с начала 1919 г.), была работницей 10-й Гос. швейной фабрики Военного обмундирования, агитатор и комсомольский вожак. В этот период — участие в действиях ЧОНа, подавлении кулацкого мятежа в Елабуге. Во время подготовки к подавлению Кронштадтского мятежа — боец санитарного комсомольского отряда в Ораниенбауме.

Во время работы в Выборгском РК ВКП(б) — очень дружеские доверительные отношения с П. И. Смородиным, многими руководящими работниками района, в т. ч. Каталыновым, В. Румянцевым (с ним особенно). Двое последних были в числе главных обвиняемых по делу об убийстве С. М. Кирова. Впоследствии мама фигурировала в деле как один из руководителей «запасного центра» по организации убийства Сергея Мироновича.

Факты из биографии Капоровой М. М.

С июля 1935 по август 1936 г.— секретарь Исполкома горсовета и зав. орготделом в г. Череповце (своего рода «почетная» ссылка). С ноября 1936 по март 1937 г.— исключение из партии, арест, нахождение в тюрьме под следствием. Март 1937 — май 1938 г.— восстановление в партии, работа техническим секретарем медучилища в Череповце. Май 1938 г.— вторичный арест, осуждена на 8 лет лагеря. Отбывала срок в Казахстане, п/о Жана-Арка. Октябрь 1946 — осень 1948 г.— после восьмилетнего заключения около двух лет работала бригадиром в откормсовхозе в г. Бежецке Калининской области. 1948 г.— май 1955 — внезапный арест во время суточного приезда в Ленинград и направление в ссылку в село Долгий Мост Красноярского края.

И здесь «врагу народа» была поручена ответственная и опасная работа приемщика в «Заготскоте» (были угрозы и даже покушения в связи с тем, что она отказывалась принимать истощенный скот по категории вышесредней упитанности).

Май 1955 — полная реабилитация, возвращение в Ленинград, восстановление в партии без перерыва стажа (с 1920 г.). И — сразу же активное участие в работе: зам. секретаря парторганизации при домоуправлении, зам. председателя комиссии содействия, активист секции старых комсомольцев при ГК ВЛКСМ.

Умерла от рака 25 декабря 1965 г. в возрасте 63 лет.

Мой отец — Михайлов Борис Степанович — в прошлом наборщик, работник райнаробраза, редактор заводской газеты, зам. секретаря «Красной газеты». Хотя родители и были в разводе с 1931 года, отца арестовали и выслали. Это очень на него повлияло, и по возвращении в Ленинград он не пытался ставить вопрос о восстановлении в партии и до пенсии работал простым рабочим-токарем.

Второй муж мамы Астахов Яков Сергеевич (он был ее заместителем в райкоме партии, в Череповце) — зам. директора завода, на несколько лет арестовывался, но по другому инспирированному делу — «о вредительстве».

Чтобы больше не трогали и дали возможность жить в Ленинграде, написал в органы письмо, в котором полностью отрекся от мамы. Так что ей пришлось пережить и это.

Немного о себе. Мне 64 года, участник войны, блокады, после войны — офицер-политработник. Демобилизован в 1953 г.

В 1943 г., когда мне в армии предложили вступить в партию, я рассказал об аресте матери, добавив при этом, что уже 5 лет ничего о ней не знаю и связи не имею. Политработники части, спасибо им, не побоялись дать мне рекомендацию в партию.

В 1951 году, когда я служил в группе войск в Германии (комсорг полка), то сделал в политотделе заявление о том, что в течение ряда лет скрывал факт ареста и нахождения матери в местах заключения.

После того, как прошел шок от этого заявления, мне объявили строгий выговор по партийной линии и в 24 часа (с сопровождающим!) направили в ЗапСибВО, откуда я прибыл в Группу войск.

Поскольку доверять мне выборную партийно-комсомольскую работу стало нельзя, назначили зам. командира роты по политчасти, буквально через несколько месяцев добился перевода на интересную для меня должность начальника гарнизонной библиотеки.

При первом удобном случае был демобилизован (как лицо неблагонадежное, да еще и со «строгачом»).

С женой, двумя маленькими детьми, без специальности и законченного образования возвратился в Ленинград.

В связи с тем, что хорошо знал библиотечную и клубную работу, много пел в самодеятельности, пробился на прием к зав. отделом культуры Горисполкома А. П. Байковой. Обещала помочь, но когда познакомилась с моей анкетой, интерес к моей особе угас полностью.

В общем, пришлось жизнь начинать с нуля,— с ученика печатника в «Печатном Дворе». Работа в типографии, затем в издательствах и 11 лет учебы без отрыва от производства, а также многочисленные нервные стрессы привели к разного рода болезням, но стараюсь держаться и еще поработать на перестройку.

С марта 1985 г., после ухода на пенсию, работаю референтом Ленинградской секции Советского Комитета ветеранов войны, являюсь членом Президиума секции.

Написал я все это с тайной надеждой, что материал может пригодиться при разработке судеб партактива районного звена (пока больше пишется о вождях) при создании произведений о не склонивших головы в тяжелые годы культа.

В. Б. МИХАЙЛОВ

ПРЕМИИ

ЖУРНАЛА «НЕВА» за 1988 год

Редакционная коллегия журнала «Нева» присудила премии за лучшие публикации в 1988 году:

ЧУКОВСКОЙ Лидии Корнеевне — за повесть «Софья Петровна» (№ 2)

ГОРДОНУ Измаилу Борисовичу — за цикл стихотворений (№ 9)

САМОЙЛОВУ Льву Самойловичу — за очерк «Правосудие и два креста» (№ 5)

ЧАЛИКОВОЙ Виктории Атомовне — за очерк «Архивный юноша» (№ 10)

ГУМИЛЕВУ Льву Николаевичу — за статью «Апокрифический диалог» (№ 3)

И. Б. ГОРДОН

Л. К. ЧУКОВСКАЯ

Л. С. САМОЙЛОВ

В. А. ЧАЛИКОВА

Л. Н. ГУМИЛЕВ

Поздравляем наших лауреатов!

Сдано в набор 25.03.89. Подписано к печати 27.04.89. М-25009. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага тип. № 1.Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,93+2 вкл.=24,28 уч.-изд. л. **Тираж 675 000 экз.** Заказ № 1979. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр, 3

Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15